ИВАН ШАМЯКИН

Петроград — — Брест



Иван Шамякин

ПЕТРОГРАД — БРЕСТ

Роман

Часть первая

Перемирие

Глава первая

Заснеженные окопы

1

Богунович и Мира отстали от солдат, солдаты далеко опередили их и подходили уже к своим позициям. Богунович не пошел напрямик, по их следу, а сделал полукруг, держась опушки молодого сосняка.

Мира усмехнулась, но промолчала. Она догадалась, что Сергей хочет уберечь ее от ветра. Это тронуло. Не раз уже замечала, с какой просто-таки рыцарской заботливостью он оберегает ее от простуды, от холода, от солдатской грубости. Чудак, думает, что она такая уж оранжерейная.

А ветер действительно за какой-то час изменил направление и неожиданно стал морозным и жестким. Когда утром шли туда, к немцам, ветер был западный, мягкий, влажный, два дня стояла оттепель. А сейчас — северный, пожалуй, северо-восточный уже. Сразу заскрипел снег под ногами, и по насту поползли синеватые змейки. Они закручивались вокруг сапог, проникали за голенища, пробивали брюки; ползли под шинель к спине, к груди. Сергей почувствовал, как замерз, и подумал о Мире: слишком легко одета, нужно все-таки выписать со склада офицерский полушубок и перешить ей. К черту условности — кто что скажет! Да и пусть говорят. Но сама Мира наденет ли кожушок? Она признает солдатскую шинель, солдатские сапоги — и ничего из офицерской одежды! Был уже у них разговор на эту тему. Довольно бурный. Он доказывал, что женщина во всем должна оставаться женщиной и одеваться соответственно своей природе. Она отвечала,

что в нем крепко засели буржуазно-мещанские предрассудки. Поссорились. Поссорились, чтобы потом помириться. Когда она переставала быть солдатом, партийным агитатором, а становилась обыкновенной девушкой… женщиной, доброй, ласковой, нежной, пьяневшей от любви, — это были часы наивысшего счастья, о котором тут, на войне, он раньше не смел даже мечтать. За три с половиной года окопной жизни, казалось ему, все в нем зачерствело, душа покрылась отвратительными гнойными струпьями. Теперь он радовался, что все так сразу очистилось и он в свои двадцать семь лет вернул свою возвышенную душу, стал как бы прежним, романтичным студентом, который в начале войны сам попросился на фронт. Мира сказала, что его очистила революция. Да, конечно, война и революция очистили его от многих сословных, классовых предрассудков, хотя и тогда, в четырнадцатом, он шел воевать не за царя — за народ, за отчизну. Народу он служит и теперь. Большевистское правительство доверило ему, беспартийному поручику, полк, солдаты любят его…

Какой, однако, студеный ветер! И сосняк не заслоняет от него. Если ударят сильные морозы, будет очень туго — с харчами, с фуражом.

— Опусти уши!

Мира остановилась, повернулась к нему. Опаленные морозным ветром, горели ее щеки, заслезились глаза и, огромные, заблестели, как черные сливы в росе; казалось, еще больше припухли сочные губы; она по-детски облизала их и коротко засмеялась.

— Р-революционер, Сер-режа, не может опускать уши.

От холода ее картавость усилилась, умиляя Богуновича. Ему все нравилось в ней. Разве что не все произносимые ею слова, казалось ему, подходили к этим губам, к этому маленькому носику, влажным очам.

Он, воспитанный на Блоке, хотел видеть в ней только женщину, созданную для любви, для счастья, для

семьи. В облике ее, пожалуй, одно не нравилось — стрижка. Но Мира пообещала, что больше стричься не будет. А так… ни солдатская шапка из черной овчины, ни шинель не портят ее очарования. А единственная женская вещь — красный шарфик, что выбивается из-под воротника, — украшает всю грубую одежду, превращает ее на этой маленькой девушке в одеяние принцессы.

Если бы она позволила, он взял бы ее на руки, под свою шинель, согрел бы, как ребенка, и понес… понес бы по этому заснеженному полю — подальше от окопов, от войны… Но такую вольность она допускает только там, на станции, в их комнатке…

Богунович оглянулся назад, где остались немецкие позиции: выступ сосняка закрыл их. С облегчением вздохнул. Признается ли когда-нибудь ей, почему сделал такую петлю, побыстрее спрятался за сосняк? Нет, в этом нельзя признаваться. Это — нервы. Никогда не был трусом, а тут вдруг испугался. Это невозможно объяснить. Заключено перемирие, между солдатами идет братание, немцы приходят к ним, они — к немцам. Правда, он сегодня пошел впервые — и под видом солдата: очень хотелось глянуть на их позиции. Глянул. И хотя немцы по-дружески вывели их за линию окопов, его охватило жуткое чувство, будто в спины им из хитро замаскированных гнезд нацелены пулеметы, готовые вот-вот плюнуть горячим свинцом. Четвертый год воюет, в штыковые атаки ходил, в разведку — никогда такого не чувствовал. Даже захолодало все внутри, словно ветер этот пронизал насквозь. За кого так испугался? За себя? За солдат? Прежде всего — за нее. За эту девушку, агитатора, переводчика, все делавшую с детской верой. Но она же не впервые шла на ту сторону. Ради этого ее и прислали к ним — вести агитацию среди немецких солдат, поднимать их на революцию. После того как они сблизились, он волновался за каждый ее поход. Но все же не так. Что с ним случилось? Он шел сзади, чтобы прикрыть ее собой, хотя понимал, что это наивно: не солдат она, не упадет на землю, заслышав выстрелы, оглянется и…

бросится к нему, прошитому пулями....

Представлял, как Мира подхватит его, смертельно раненного, на свои маленькие ручки, и тут же холодел от ужаса, не за себя, за нее — убитый, он не заслонит ее собой, не спасет.

Сергей еще раз оглянулся. Слава богу, сектор обстрела закрылся сосняком, теперь их не видит ни один пулеметчик, ни один стрелок. Он остановил Миру, повернул к себе и опустил уши ее шапки, закрыл выбившиеся блестяще-антрацитные подстриженные волосы, маленькие, побелевшие от мороза уши. И поправил шарфик, что сбился, оголив тоненькую, детскую еще, смуглую, как после недавнего загара, шею.

— Плох тот революционер, который отморозит себе уши.

Усмехнувшись, Мира вскинула свои руки в продырявленных вязаных перчатках ему на плечи, где темнели полосы от снятых погон. Он, Сергей, замечал и раньше, что шарфик придает ей гражданский вид. Перчатки она редко надевала, теперь, увидев их так близко, он поразился их необычно мирному, почти домашнему виду. Это была вещь из другого мира, который мог только сниться. Такие перчатки вязали мать его и сестра.

Теперь он совсем близко от дома — рукой подать, за год после Февральской революции несколько раз бывал в Минске, но все равно жизнь семьи казалась недосягаемо далекой — как на иной планете. Только Мира, ее появление приблизило для него жизнь. Никогда за всю войну он так не думал о мире, так не жаждал его. Он, атеист, начал суеверно верить, что какая-то высшая сила дала ему за все его муки эту радость — полюбить девушку, даже имя которой имеет общий корень со словом, ставшим символом будущего счастья.

Сергей наклонился и поцеловал Миру в пухлые и —

странно! — не холодные, горячие губы…

— Славная моя… Как я люблю тебя!

Она засмеялась и отстранилась.

— Солдаты увидят.

— Пусть видят.

— О, ты не боишься, что подумают о командире? Не боишься за свой авторитет? Завел шуры-муры…

— Не мели чепухи. Ты — моя жена.

— «Моя, моя…» Ты феодал. Буржуй. Собственник. Революция уничтожит эти понятия — «твой, мой». Все будет наше.

— И жены? И мужья?

Мира снова засмеялась.

Как-то в их теплой комнатушке в квартире начальника станции она начала доказывать, что революция уничтожит и семью — в эру свободы и равенства любовь тоже будет свободная. Ее ультрареволюционные фантазии часто забавляли его. Он, опаленный войной, чувствовал себя раза в два старше, чем был в действительности, а потому считал, что имеет право с высоты своего возраста принимать любые фантазии этой девушки, непосредственность ее давала ему еще одну забытую радость — возвращение в мир детства. Но ее рассуждения о свободной любви не понравились ему, они оскорбляли его чувства, и — что еще хуже — казалось, оскорбляют саму ее и… его мать, и ее мать.

Сергей тогда заметил, что ему не хотелось бы жить в таком свободном мире, для него семья, материнство — понятия святые, семья — это лучшее, что изобрело человечество в процессе своей эволюции. Семья, как хлеб, как книга, — такое же изобретение, только еще более необходимое для жизни, для прогресса. «И для революции», — заключил он.

У Миры позеленели глаза: он уже хорошо знал эти зеленые, как у кошки, искры в глазах. Попытался свести все к шутке.

«Ты знаешь, чем прославился наш Минск в годы реакции? В восьмом или девятом году, не помню точно, я еще в гимназии был, в городе была создана «Лига свободной любви». Эти молодчики и «свободные» девицы» так оплевывали мораль, бросали такой вызов обществу, что, хотя они в своих политических взглядах смыкались с черносотенцами, полицмейстер отдал приказ о разгоне лиги и их аресте. И это был единственный случай, когда мои отец и мать приветствовали «репрессии против молодежи».

Но в нее вселился уже черт, и черт беспощадный, в такие минуты она становилась похожей на мальчишку, который заполучил в руки пулемет и которому лишь бы стрелять, пока не отберут, — неважно, куда, в какую сторону. Так «стреляла» и она:

«Твой отец — царский прислужник, судья. Он революционеров судил!»

Он едва сдержался:

«Мой отец — адвокат, он всю жизнь защищал бедных, обиженных. Ты не знаешь, что такое честный адвокат в земском суде».

Наверное, Мира действительно плохо представляла себе роль адвоката, потому что у нее часто прорывалась неприязнь к его родителям, вообще ко всем интеллигентам, и эта неприязнь, переходившая в ненависть, пугала и отчаивала. Образованная девушка, гимназию окончила. Как же могут думать неграмотные рабочие, мужики?

Полчаса он лежал на кровати, она сидела за столом, набросив на плечи шинель, взлохмаченная от его поцелуев, встопорщенная. Он жадно курил и пытался читать Чехова. Она листала Карла Маркса на немецком языке, будто хотела найти у Маркса подтверждение

своей непримиримости и свалить этого аристократа-офицерика марксистской цитатой. Она кипела от того, что он может в такой момент читать, да еще кого — Чехова. Тогда она не признавала еще Чехова, пренебрежительно бросала: «Обыватель!» Советовала ему читать Горького и Бедного.

Сергей считал своей серьезной победой, что заставил ее полюбить Чехова. Может, Чехов помог ей сейчас посмеяться над чушью об общих при социализме мужьях и женах.

Нет, скорее всего — Декрет о гражданском браке, о детях… Декрет этот он прочитал в «Известиях» несколько дней назад и почему-то очень обрадовался, как будто победил в чем-то чрезвычайно важном для своей дальнейшей судьбы и судьбы своего народа; так радовался он разве что самому первому советскому декрету — о мире. Выходит, Ленин понимает любовь, семью, ответственность за детей так, как, пожалуй, понимали его родители и сам он, «консерватор», как называла его Мира.

Он показал Мире декрет о семье. С деликатностью педагога не ткнул носом, не припомнил недавний спор, но не без удовольствия наблюдал, как долго и внимательно читала она декрет. Сделалась в тот вечер серьезной, и, он, словно хрупкую вещь, охранял эту серьезность.

Как это хорошо — прощать ей отдельные слабости, капризы… Разве непонятны ему эти наивные, почти детские еще неровности ее характера?!

— Ты тоже опусти уши.

Он послушно снял солдатскую шапку, отвернул наушники.

Ветер усиливался, январский мороз кусал лицо. Вначале побелевшие щеки ее вдруг загорелись. Но от мороза ли только? Взволнованность выдал странный блеск в глазах.

— Ты не знаешь, как я счастлива сегодня… Я не сказала тебе… Как они слушали меня… солдаты! Я знаю, что говорю по-немецки с жутким акцентом… Тогда, прежде… солдаты усмехались… шептались между собой… осматривали меня, как коты… А теперь… Как серьезно они слушали, пока их не разогнал офицер… Я им рассказывала про нашу революцию… Про Декрет о земле… И как они слушали, Сережа! У них горели глаза. И сжимались кулаки… Они мне сказали, что в Берлине и Мюнхене поднялись рабочие. Мы об этом читали в газетах… Но одно — газеты. А другое — вот так, доверительно… сообщают немецкие солдаты… Начинается, Сережа!

— Что?

— Как что? — удивилась Мира. — Революция в Германии. Оттуда она перекинется во Францию, Англию… Запылает пожар мировой революции и сметет кайзеров, министров, всех империалистов… Троны шатаются и завтра повалятся под натиском пролетариата. Под обломками капитализма будет похоронена и эта проклятая война. И это мы… начали, Сережа! Мы — застрельщики и поджигатели мировой революции! Мы!

Они стояли, у ног их намело сугробики снега. От резких жестов у Миры опять сбился шарфик и оголилась шея. Богунович снова заботливо поправил шарфик и повернул ее спиной к ветру, чтобы при разговоре не глотала «ангинный воздух», уже сильно остуженный, но еще не высушенный морозом, а потому такой зябкий, колючий. Не нужно стоять ей на холоде — и так кашляет. Не нужно говорить на ветру. Что он ни скажет, она, безусловно, возразит, и они заспорят, могут даже поссориться, как было уже не раз. Но он тоже был сильно взволнован, правда, совсем не тем, чем она.

— А я увидел другое…

Мира насторожилась.

— Я увидел боевую часть. Кстати, новую… По условиям перемирия ни немцы, ни мы не должны заменять части на фронте. Мы не заменяем… да и не можем. Кем? А они, выходит, заменяют. Для чего? Тебя слушали внимательно потому, что это призыв второй категории — старые люди, отцы… Ты им — дочь. Тем не менее это хорошо обученные солдаты. И хорошо вооруженные. Я увидел то, чего не увидела ты, человек гражданский. Эти солдаты по приказу своих офицеров поднимут нас на штыки. Сама говоришь: пока не разогнал офицер… Да, достаточно было появиться офицеру… Они тянутся перед каждым унтером…

Ее глаза сузились и стали колючими, как этот режущий щеку ветер.

— Ах, как ты грустишь о том, что перед тобой не тянутся!

— Я грущу не об этом, Мира! Я напуган. Пусть бы из наших окопов передней линии выглянул хоть один солдат боевого охранения. Их нет! А если перемирие будет нарушено, если мирные переговоры…

— Ты не веришь в революцию! — жестко перебила Мира. — В мировую революцию.

Богунович вдруг разозлился, не впервые его злили громкие слова о мировой революции. Но в других обстоятельствах он сдерживался. А тут, в поле, вблизи линии своих передовых окопов, явно покинутых солдатами, перед этой девушкой…

— Не верю! Не верю, что мы с тобой разожжем ее!

Глаза у Миры вновь позеленели.

— Ты не разожжешь. С такими взглядами…

— С какими? Я верю в революцию. И революция поручила мне охранять ее вот на этом участке. А я не знаю, как это сделать. Нет сил…

— Не понимаю, что нужно делать.

— Нужно остановить немецкое наступление, когда оно начнется.

— Знаю тебя как облупленного. Одного не знала — что ты трус и паникер.

Но сказала она это уже без злости, покровительственно: глаза ее стали обычными — влажные сливы глаза ее смеялись. Сергею стало немного обидно, что она не понимает его забот, его чувства ответственности, которое кажется ей офицерским пережитком.

Но хорошо уже то, что она не начала, как тот мальчишка, «стрелять» по своим. Бывало, она не скупилась на оскорбительные слова, когда улавливала его скепсис по отношению к ее революционным фразам. И он последнее время остерегался. Но теперь ему было не до скепсиса, опасения его вырвались криком, и она, наверное, поняла это. Спасибо тебе, дитя!

— Пойдем. А то мы заледенеем на этом сумасшедшем ветру. Я все же устрою тебе кожушок.

— Еще чего не хватало! Буржуазные штучки!

— А твоя ангина, твой бронхит — это что? Пролетарские болезни?

Она по-мальчишески погрозила ему маленьким кулачком в дырявой перчатке.

Пошли дальше. Ветер сек в левую щеку, и он зашел слева, чтобы хоть немного прикрыть ее собой. Он приказал себе молчать, чтобы она не отвечала и не хватала морозный воздух слабыми легкими. Но не выдержал:

— Возможно, это необстрелянный, недавно сформированный полк, но вооружен он до зубов. И вымуштрован с прусской педантичностью. Две батареи выдвинуты к переднему краю. Зачем? А кони… Ты видела их коней? Говорят, Германия голодает. Но

боевых коней они кормят овсом, не иначе. И это правильно. А у нас и сена нет. При такой кормежке наши кони не то что пушки не потянут — их самих нужно будет тянуть… Да что кони? Чем накормить завтра людей? А что мы знаем о неприятеле? Я, командир полка, не знал, что перед нами заменена часть. Мы запустили разведку, а немцы ведут ее по всем правилам. Они знали, кто я. Их офицер сказал по-французски: «Вместе с агитаторами русские присылают к нам шпионов…» Я не удивился бы, если бы они арестовали меня как шпиона. Не скоморошничай! Если ты командир полка, не наряжайся под солдата…

Мира остановилась, заглянула в его лицо, и в ее глазах, затуманенных слезами от морозного ветра, Сергей увидел страх, какой видел в глазах матери, провожавшей его обратно на фронт после очередной короткой побывки дома, в Минске.

— Пастушенко правильно отговаривал меня от этого похода… Но очень уж хотелось своими глазами увидеть, какие они теперь, немцы. Увидел…

— И испугался?

— Испугался.

Мира покачала головой.

— Мне остается удивляться, как я полюбила такого… Ты знаешь, кто ты?

— Интересно.

— Ты — ни рыба ни мясо. Не контрреволюционер и не революционер…

— Я — патриот своей отчизны.

— Фу! Даже нафталином потянуло. Как из комода моей бабушки.

Богуновича давно уже брала досада, что Мира, да и другие большевики, кроме разве унтера Башлыкова, не

понимают чувства, овладевшего им после Октября и приведшего его к большевикам, ибо он поверил, что никто, кроме Ленина, не может спасти истекающую кровью страну и многострадальный народ. Это чувство вылилось теперь в одно очень сильное желание: не только не отдать немцам больше ни аршина родной земли, но и освободить захваченную ими. Военной силы нет. Есть только одно: мир, ленинский мир без контрибуций, аннексий, захвата чужой территории. Но пойдут ли немцы на такой мир? Союзники — французы, англичане — не откликнулись на призыв правительства Советов. В таких условиях Германии и особенно голодающей Австро-Венгрии выгодно подписать с нами мир. Так рассуждал он, бывший командир роты, неожиданно выбранный солдатами командиром полка. В это верил еще сегодня утром, пока видел немцев издалека, в бинокль. А теперь из головы не выходили… нет, даже не солдаты, которые действительно вытягивались перед каждым унтером, — кони. Какие сытые кони! И боевая позиция батареи на холмике у кладбища: оттуда можно бить по станции и по усадьбе, по штабу, прямой наводкой.

Взволновало и другое: отсутствие боевого охранения в первой линии окопов его полка в то время, когда, как он увидел опытным глазом, немецкие окопы хорошо обжиты. А наши занесены снегом. В том месте, к которому они с Мирой подошли, в окопах не было даже следов; к утру при такой метели их совсем забьет снегом, сровняет с поверхностью поля. За преступную беззаботность командира роты следует отдать под суд. Но для этого нужно, чтобы проголосовал полковой комитет…

Тень суровости исчезла с лица Богуновича, когда он увидел над блиндажом командира роты прозрачный дымок — в блиндаже топится печь! Конечно, солдаты там. Кто захочет в такой холод сидеть в окопе? Да и к чему людей морозить? Перемирие. Однако часовые должны быть на местах!

— Пошли в блиндаж. Погреемся, — сказал он Мире и

первый соскочил в окоп, протянул ей руку. Тут, недалеко от блиндажа, в окопе все же была протоптана тропка, ответвление хода сообщения вело в тыл — ко второй линии. Правда, теперь, во время перемирия, можно ходить не прячась, но за годы окопной войны люди привыкли зарываться в землю, ходить по траншеям. Разве не пережил он только что страха, ощущая спиной немецкие пулеметы?

Богунович толкнул тяжелую, из неструганых досок дверь блиндажа и пропустил вперед Миру, у которой, было заметно, и в перчатках не гнулись окоченевшие пальцы да и щеки снова побелели.

Она прошмыгнула в черный зев двери, не нагнувшись. Богуновичу же пришлось наклонить голову и согнуть спину.

Мрак блиндажа ослепил. Только сквозь щели чугунной печки светились ярко-алые, словно живые, языки пламени; пламя гудело, билось в «буржуйке», будто хотело вырваться на волю. В лицо дохнуло жаром. После холода легкие хватили горячего воздуха, и Мира закашлялась. Опустилась перед печкой на колени, протянула руки к теплу, сил, верно, не осталось снять перчатки, подожгла их, запахло паленой шерстью.

Не сразу Богунович увидел, откуда еще, кроме печки, цедится слабенький свет, — в углу, на столике, коптилка. Только заметив ее, Богунович рассмотрел все остальное. Хотя что было рассматривать — сам он не день, не два, а семьсот, если не всю тысячу дней, прожил в таком же блиндаже. Нары сбоку. Самодельный столик. Над столиком — портрет Ленина, из газеты. Но не предметы останавливали взгляд. Он искал людей. Где люди? Наконец увидел. Одного. Узнал. Унтер-офицер Буров, теперешний командир взвода.

Буров стоял сбоку от печки, у стены, около вешалки, где висело несколько шинелей: для караульных имелись кожухи, в такую стужу они были в расходе.

Буров, конечно, сразу узнал командира полка. Стоял навытяжку, с хорошей выправкой бывалого солдата, но как-то боком, выставив вперед правое плечо.

— Добры дзень, товарищ командир, — поздоровался Богунович, несколько, пожалуй, по-граждански, но с ударением на «товарищ» и на белорусский манер выговаривая слова, — помнил, что Буров с Могилевщины.

— Здравия же-ла-ю, ваше… — совсем растерялся взводный, хотя Богунович помнил, что кто-кто, а Буров не ошибался, не обращался к нему по старинке даже прошлым летом, при Керенском.

Что с ним?

Вдруг Богунович заметил, от чего растерялся унтер. На гимнастерке его висели три Георгиевских креста — полным георгиевским кавалером Буров не успел стать.

Богунович понял, за каким занятием захватили они недавно выбранного командира взвода. Оставшись один, тот достал свои награды и надел их полюбоваться. После всего увиденного у немцев это почему-то очень тронуло Богуновича, будто Буров совершил еще один геройский поступок.

— Не прячьтесь, Буров, вы их заслужили кровью…

— Спасибо, товарищ командир! — обрадовался Буров.

— Где люди, командир?

Буров ответил не сразу. Снова закашлялась Мира, и он сказал смело, по-отцовски заботливо:

— Кожушок вам требуется, барышня. Чего это она у вас, Сергей Валентинович, без кожушка ходит?

Богунович замер, сжался. Ох, выдаст она сейчас за «барышню» и за такой выразительный намек на их отношения! Нет, смолчала. Только удивленно посмотрела на унтера, а когда тот шагнул к печке, еще

больше удивилась, увидев на его груди кресты. Богунович усмехнулся: будет длинная лекция о царских «побрякушках» придуманных для одурманивания народа. Но и про кресты Мира смолчала. Странно. А Буров словно испугался, что не ответил на вопрос командира:

— За дровами пошли. Мороз берется…

— Весь взвод?

Буров по-крестьянски тяжело переступил с ноги на ногу и вдруг как колуном ударил, даже гакнул:

— А-ах… Сергей Валентинович. Без завтрака люди. Не хватило на всех завтрака. А уже обед…

Это был упрек ему, командиру полка. Если оставался без завтрака взвод, находящийся в боевом охранении, в окопах, — это, считай, уже не армия. Нужно немедленно менять людей, занимающихся продовольственным обеспечением полка. Но как заменить, если полк их выбрал? Всех выбирают. Демократия.

Богунович взял от стола табуретик, подал Мире.

— Сними шинель. Отогрей душу.

— Плох тот революционер, у кого замерзает душа, — раздраженно, явно недовольная, ответила Мира.

— Эх, дочка, — вздохнул Буров, — душа…

Но Богунович кивнул ему, чтобы не развивал своих крестьянско- церковных представлений о душе, иначе эта девчонка распатронит их, несознательных, в пух.

— Кипяточек у меня есть. Выпей, родная. Кашлять не так будешь. Жаль, сахару нет…

Буров ополоснул кружку, выплеснул воду за дверь, впустив облако морозного пара. Налил кипятку.

Мира сняла перчатки — отогрелась, взяла по-детски кружку в обе руки, маленькими глотками, но жадно пила горячую воду. Богунович следил за ней и с тревогой думал, не заболела ли она — очень уж запылали щеки. Но при солдате не припадешь губами к ее лбу, виску — так он, как когда-то мама, проверял, нет ли у нее жара. Она любила такие его поцелуи, но насмехалась над его «аристократическими замашками».

— Иван Егорович, выстоим, если немцы начнут наступать?

Буров, подбрасывавший в печку дрова, словно ожегся, выпрямился, не закрывая дверец, вытянулся по-солдатски; несмотря на отблески пламени, лицо его, показалось Богуновичу, побелело.

— А что — мира не будет?

— Вы, товарищ командир, задаете провокационные вопросы! — жестко и, пожалуй, зло сказала Мира.

— Мир будет. Но до мира все может быть. Фронт есть фронт. И если что — надо выстоять.

— С кем? Сергей Валентинович! С чем? — чуть ли не в отчаянии выкрикнул Буров.

— С помощью пролетариата Германии! Европы! С помощью мировой революции! — уверенно, бодро сказала Мира.

— Разве что с помощью мировой революции, — неуверенно согласился Буров.

Мира не стала, как обычно перед солдатами, горячо доказывать неизбежность мировой революции. Она нахохлилась, будто обиженный котенок. Но Богуновича давно уже умиляло даже то, что она могла вот так надуться из-за политики. Между прочим, такой она бывала только с ним — с солдатами, со своими оппонентами — эсерами, меньшевиками спорила до хрипоты и после спора всегда была весела, даже когда

не удавалось отстоять свою правоту. А с ним — как капризное дитя у нестрогой матери. Как-то проговорилась, что она хочет перевоспитать его — любыми средствами. Наверное, это одно из ее средств.

Богунович сказал:

— Взводный Буров, как вы думаете, что было бы командиру в хорошей армии за уход солдат с позиции?

Буров вытянулся, и голос его зазвучал испуганно:

— Трибунал.

— Боевое охранение передних линий должно вестись по всем правилам позиционной войны, Буров!

— Слушаюсь, товарищ…

— Людей собрать! Передать мой приказ.

— Слушаюсь! Разрешите выполнять? — Буров начал надевать шинель.

….После жарко натопленного блиндажа стужа казалась невыносимой. Ветер сек в лицо с еще большей свирепостью. Началась настоящая метель, Богунович сказал Мире:

— Пожалуйста, не разговаривай. Мне не нравятся твои горящие щеки. У тебя жар.

Нет, молчать она не могла и не о себе думала.

— Должна вам заметить, товарищ командир полка… армий не бывает хороших или плохих… Армии есть империалистические, контрреволюционные… И будут революционные!

— Революционная армия тоже может быть слабой.

— Ах, вы так думаете!

— Любая армия сильна своей дисциплиной.

— Революционной!

— Называй как хочешь.

Мира схватилась в отчаянии за голову и сказала уже без иронии, горячо и с болью:

— Не могу тебя понять! Не могу! Ты же умный человек. Тебя любят солдаты… А ляпнуть, прости, можешь такое… Мы стараемся день и ночь… чтобы вытравить из душ, из сознания солдат рабство, чинопочитание… дикость… Выбросить на свалку истории все установления царизма, буржуазии — чины, звания, ордена…

То, что Буров нацепил, оставшись в одиночестве, кресты, действительно-таки сильно тронуло Богуновича, и он готов был защищать право солдата носить их.

— Пойми: человек заплатил кровью за эти «георгин». Это очень дорогая плата — кровь.

— Скоро ты оправдаешь войну за царя, за отечество…

— Странная у тебя логика! И все-таки: ты можешь помолчать?

— Нет, не могу.

— Тогда слушай меня. Если хочешь откровенно, я тебе скажу… Я признал все декреты Советов, кроме одного… Об отмене званий, чинов… о выборности командиров. Это абсурд… Если мы хотим защищать революцию, мы должны иметь сильную армию. Сила армии — в дисциплине, в грамотных командирах. Командовать полком должен полковник Пастушенко, а не какой-то поручик… Да что поручик! Солдата запросто выбирают…

Мира сначала словно собралась сбежать от его слов — обогнала шага на три, а потом повернулась к нему лицом, загородив дорогу и принуждая остановиться. Богунович увидел ее решимость спорить, доказывать и

подумал: «Хорошо, что хоть отвернулась от ветра». Он знал, что сейчас услышит жестокие слова, но почему-то нестерпимо захотелось обнять ее, согреть. Как все-таки чудно меняется цвет ее глаз! Снова они зеленые.

— Ах, вот чего вам, ваше благородие, захотелось, — с безжалостным сарказмом процедила Мира сквозь зубы. — Вернуть царских генералов, полковников?

Черт возьми, здорово она умеет загонять в угол: действительно, а где взять их, полковников и генералов, верных революции? Он не сразу нашелся, что сказать. А она уже не цедила — почти кричала, как на митинге:

— Революционной армией будут командовать революционные солдаты! Главковерх — прапорщик. А командует не хуже вашего Духонина, по которому вы вздыхаете!

— Мира, это жестоко, — попросил он милости.

Наверное, она почувствовала, что хватила лишку.

— Погончики да эполетики вспомнили. Ах, как вам хочется нацепить их!

Тогда и он рассердился:

— А ты знаешь… хочется! Если я командир полка, то должен иметь какие-то знаки своей должности, чина! Назови их как хочешь! Но знай: армия — не добровольное товарищество…

Она не дала ему кончить и «выстрелила» с мальчишеской бездумностью:

— А к Каледину вам, господин поручик, не хочется?

Он задохнулся от обиды, морозный ветер кляпом забил рот, легкие. Как она может так? Скажи такое мужчина — он бы ответил по-солдатски! Но как ответишь этой неугомонной, одержимой девчушке, преданной идее, но слабо знающей жизнь, мало что видевшей и не очень умеющей пока анализировать, разбираться в людях и

событиях?

Он знал, чем можно ее допечь: однажды произнес эти слова и помнил ее реакцию — полезла, как задиристый мальчишка, с кулачками, что, кстати, его очень насмешило: она может быть и такой!

Он сказал спокойно, но веско:

— Ты — плохая большевичка. И плохой агитатор. Снова ее сжатые в перчатках кулачки поднялись к его лицу, и глаза метнули прямо-таки огненные искры.

— Я — плохая? — Но почему-то вдруг руки ее упали, она повернулась, наклонила голову и быстро пошла навстречу ветру; вся ее маленькая фигура под длинной и грубой солдатской шинелью выдавала оскорбление и какое-то по-детски потешное и трогательное возбуждение. Девчонка, да и только!

Богунович смотрел на овчинную шапку, на шинель, представлял под ней ее худенькое тело, что бывает таким горячим, и обида от ее слов сразу улетучилась, осталось только умиление, осталась любовь, так славно согревающая его в это суровое время, когда на голову взвалили неимоверную ответственность — целый полк. Правда, полк тает, как свеча. Но тем больше ответственность. Тем больше…

2

Штаб полка находился в имении барона Зейфеля — потомка небезызвестного Бенигсена, что писал доносы на Кутузова. Сын барона до Февральской революции был офицером Генерального штаба. В конце шестнадцатого года он инспектировал в районе Нарочи дивизию, в которой воевал Богунович.

Инспектора днем побывали в одном или двух полках, кстати, и в его, Богуновича, роте, им понравился в ней порядок, и командир был отмечен — приглашен в штаб дивизии на ужин; пировали целую ночь, дулись в карты, причем штабисты играли как шулера и обчистили

окопных офицеров; он, Богунович, спустил свои полевые за три месяца вперед, и у него долго было гадко на душе. Переживал не за себя — ему не надо было посылать семье, адвокат Богунович все ж таки что-то зарабатывал, хотя чаще вел дела людей, которым нечем было заплатить, — переживал за друзей: многие из них своим «полевым жалованьем» поддерживали семьи.

Познакомился Богунович и со старым бароном, его семьей прошлым летом, когда полк перебросили на этот участок перед июньским наступлением. В своем дворце барон дал бал в честь офицеров. Странно, старик и особенно его младший сын, хромой богослов-лютеранин, высказывали довольно революционные по тому времени взгляды — в поддержку республики. После большевистской революции местный ревком арестовал старого барона. Но дней через десять его выпустили, проявив гуманность, — человеку за семьдесят. А еще через неделю в темную ноябрьскую ночь семья бесследно исчезла, вместе с ними и бывший командир полка — подполковник Фриш, сидевший здесь, в имении, под арестом. Никто не сомневался, что немцы сбежали к немцам, перешли линию фронта. Полковой комитет потребовал расследования и покарания тех, кто допустил явную безответственность и утрату бдительности. Арестовали только что выбранного, после смещения Фриша, командира полка — штабс-капитана Егорцева. А местный ревком даже расстрелял одного своего, отвечавшего за охрану баронской семьи.

Между прочим, обстоятельство это — пребывание барона там, у немцев, все время тревожило Богуновича. А сегодня, после посещения немецких позиций, после акции, называемой евангельским словом братание, тревога переросла, пожалуй, в страх. Что стоит, располагая такими силами, оттеснить на три-четыре версты полк? А провокацию всегда можно учинить и во время перемирия, кайзеровцы на это мастаки. Да еще нас же и обвинят. Ну, пойдет нота протеста из Петрограда в Берлин… Что такое нота, когда

государства находятся в состоянии войны? Он, Богунович, еще будучи студентом, не очень верил в ноты того, мирного, времени. Сколько их писали перед войной! Императоры, короли, министры клялись в приверженности миру, а готовили вселенское побоище.

Штаб не в самом дворце — во флигеле, на краю парка и фруктового сада. Там же рядом, в бараке, где раньше жили батраки, расквартированы штабная рота, писари, интендантская служба. Всех этих людей наполовину меньше, чем должно быть по штатам военного времени.

Вокруг дворца — великолепный парк, правда, кое-где попорченный: порядочно деревьев спилено, даже повален дуб, которому, наверное, сотни две лет. Зачем пилить? Вокруг — лес, тоже баронский. По его, Богуновича, требованию полковой комитет принял постановление, запрещающее рубить деревья в парке, портить фонтаны, скульптуры, ограду. Постановление приняли, но Богунович видел, что некоторые члены комитета — солдаты — скептически ухмыляются. Нетрудно было догадаться, о чем они думали: жаль, мол, офицеру господского добра. Он попросил Миру, чтобы вместе с призывами к мировой революции, к уничтожению всего созданного буржуазией она бы говорила о ценностях, полезных народу, революции, — их нельзя уничтожать. Мира не сразу согласилась, доказывала, что нельзя глушить народный гнев, копившийся столетиями. Однако все же в чем-то убедил ее: слышал после, как она беседовала с солдатами о сбережении культурных ценностей, принадлежащих теперь народу.

Кроме полка, в имении был и другой хозяин — батраки, объединившиеся в коммуну и занявшие дворец. «Кто был ничем, тот станет всем». Люди, недавно жившие в нищете, без кроватей, без мебели, в бараке хуже коровника, рождавшиеся и умиравшие на соломе, — эти люди заняли барские апартаменты, кормили чумазых детей на полированных столах, спали на инкрустированных кроватях, на обитых китайским шелком диванах, в грязных, прямо из хлевов сапогах и

лаптях ходили по персидским коврам, по паркету.

«Кто был ничем, тот станет всем».

Людям этим никто из них, армейских, даже имея право, данное военным положением, не отваживался сказать хотя бы те деликатные слова о народном добре, какие говорила Мира солдатам. Все понимали: по законам революции настоящие хозяева здесь батраки, потому что все в имении сделано, посажено, выращено их руками, руками и умением отцов их, дедов.

Безусловно, было бы резонно сразу после Октябрьской революции переместить штаб из флигеля, где он размещался еще при бароне с его доброго согласия и из хитрости — все имение находилось под охраной, — во дворец. Но на это не пошли ни командиры полка, предшественники Богуновича, ни большевистский комитет, взявший власть в свои руки. Кто отважится выселить коммунаров — детей, женщин — посреди зимы? Куда? Назад в барак?

Казалось, первая коммуна, о которой мечтали великие социалисты, должна была бы захватить такую убежденную большевичку, как Мира. Но особенного интереса к коммуне она не проявляла и людей этих — бывших батраков — как бы побаивалась. Удивило это Богуновича. Вообще, она охотнее выступала перед немцами, чем перед своими. Только иногда бросалась в бой с эсерами, считая их контрреволюционерами, за что те сильно обижались на нее.

Да, прекрасный парк. Даже зимой. А какая красота здесь весной, летом!

Под сильным ледяным ветром деревья гудели и трещали. Разные деревья шумят по-разному. Липы — мягко, легко, дубы — ветвями натужливо трутся друг о друга, скрипят, а ветки берез свистят, как те розги, которыми секли солдата в толстовском «После бала».

Странно, что Миру мало интересуют коммунары. А его, Богуновича, чрезвычайно притягивает первая коммуна.

В жизни ведь! Не в книгах. Не у Чернышевского или Сен-Симона. Или кто там еще писал о коммуне?.. Созданная не интеллигентами, не Верой Павловной, а батраками, людьми неграмотными, но реалистами, от земли. Он ежедневно встречает их, пытливо всматривается, что и как делают, чем занимаются, как живут. Не все ему, интеллигенту, офицеру, нравится в этой коммуне, не верится, что батраки смогут так жить всегда, но одно искренне восхищает — их жизнедеятельность, жизнерадостность: все они, старые и малые, как узники, разрушившие тюрьму и вырвавшиеся на свободу. Много стихии и много радости. Да, эти люди, видимо, ощутили, познали полной мерой, что такое свобода и равенство. Он, Богунович, к сожалению, не вкусил счастья этого неповторимого чувства. Появилось было что-то такое год назад, после Февральской революции, но жило очень недолго, быстро наступило разочарование той, февральской, свободой. Октябрь он принял без колебаний. Но задевает самолюбие солдатский комитет, ограничивающий его командирские права.

Руководит коммуной Антон Рудковский, бывший балтийский матрос, раненный прошлым летом при Моонзунде. Осколок, как бритвой, срезал ему мякоть щеки, уха, повредил глаз. «Попортил фотокарточку», — грустно шутит Рудковский. А был, по всему видно, красавец на всю волость — высокий, сильный, с густыми, кудрявыми от природы, каштановыми волосами, карими глазами. Рудковский объединил батраков в коммуну, возглавил ее, будучи сам из крепкой середняцкой семьи. Из-за этого у него конфликт с родителями, и он, как все коммунары, живет в имении. Вообще, как убедился Богунович, не только родители Рудковского, а все хозяева из села не очень-то довольны коммуной, называют бывших батраков голодранцами, нищими, считают, что им досталось слишком много баронского добра и они не смогут им распорядиться. Сами же крестьяне ведут себя осторожно: до сих пор не поделили ту часть баронской земли, какую ревком и Совет отрезали селу. Богунович понимал эту крестьянскую осторожность: в

трех километрах фронт, и туда, к немцам, подался барон. Командир полка и тот не может не учитывать этого обстоятельства.

Антон Рудковский — одновременно председатель ревкома. А председатель волостного Совета — старый Калачик, с хитрыми, всегда блестящими глазками. Веселый разговорчивый человек, в лаптях, в латаном кожушке, он всегда как ординарец сопровождает Рудковского. Но, видимо, не всегда соглашается с ним: не однажды Богунович слышал, как Рудковский злился и угрожал человеку, который был втрое его старше, расстрелом за саботаж Советской власти. Филипп Калачик весело смеялся над угрозами: «Чем ты меня пугаешь? Ты знаешь, сколько раз я заглядывал в нее, в могилу? Меня в пятом году на расстрел водили, да от меня пуля отскочила. Жена, братишка, меня заколдовала. Поставь магарыч — тебя заговорит». — «Болтун ты старый», — беззлобно упрекал Калачика матрос. «Вот это ты в самое яблочко попал, — снова смеялся дедок. — Что старый — это правда. Ого, был бы я помоложе! Не такое б ты услышал!»

Богунович с интересом слушал шутливые ссоры этих двух крестьянских революционных вожаков. Видел, что им тоже нравится такой его интерес к их делам.

Рудковский привлекал своей энергией и какой-то особенной, какой Богунович до революции у людей не встречал, верой в светлое будущее, несмотря на собственное увечье, которое вряд ли поможет ему построить личное счастье. Стянутые красно-фиолетовые рубцы придавали его лицу зловеще-пиратский вид, женщине надо познать душу этого человека, чтобы полюбить его, думал Богунович.

Великую веру в счастье он видел еще у одного человека — у Миры. Но там все просто, ибо есть само счастливое сочетание: той же идейной убежденности с женской красотой, образованностью, почти детской непосредственностью.

Матрос относился к нему, офицеру, как бы с иронией;

это немного обижало. Отношения были непростые.

Как-то полковник Пастушенко, начальник штаба полка, с заметной взволнованностью показал Богуновичу небольшой этюд: зима, горы, русский солдат, закутанный в тулуп. Этюд был заляпан грязью, но Богунович сразу узнал:

— Шипка? Верещагин?

— Верещагин. И знаете, голубчик, где я это нашел? На помойке. А если там, — показал старый офицер через окно на дворец, занятый батраками, — остались другие шедевры? А они их — на помойку или совсем в печь... Я не большой знаток искусства, но цену подобным вещам знаю. Нельзя такое выбрасывать на свалку, дорогой Сергей Валентинович! Ни при какой власти! Поговорите с этим, — он провел рукой по щеке. — Я почему-то боюсь его.

Это действительно было так, и это удивляло Богуновича: мужественный и честный человек, искренне служивший революции, полковник боялся таких, как Рудковский, как председатель полкового комитета тульский рабочий Степанов, даже перед Мирой терялся, особенно перед ее «кавалерийскими наскоками» на буржуазную культуру. По мнению Богуновича, она в своей неприязни ко всему «созданному проклятыми эксплуататорами» заходила слишком далеко, но в споре со старым полковником всегда побеждала: тот хитро отступал на «запасные позиции» — так Богунович называл его маневр, дающий старому служаке возможность потешить Миру ее победой, однако самому не капитулировать перед ее убеждениями. Богуновича забавляли эти споры, казались какой-то новой игрой.

Нельзя сказать, что Богуновича измаранный верещагинский этюд взволновал так же, как Пастушенко, — гибнут не этюды! — но он уважал порядок и любил своего начальника штаба, поэтому сразу пошел к Рудковскому.

Матрос слушал его с мрачной серьезностью. Калачик рассыпал мелкий смешок, как горох по паркету, и, несмотря на возраст, ни минуты не мог усидеть на месте, как мальчишка, пересаживался из одного кресла в другое, будто примерял, какое удобнее. Разговор шел в бальном зале дворца, пустом и холодном, но, к удивлению Богуновича, с чистым паркетом, почти не тронутыми обоями — только в одном месте был отодран порядочный кусок желтого шелка: отхватила какая-то батрачка на кофточку. Штук двадцать довольно еще чистых кресел с гнутыми ножками, с баронскими гербами на спинках — щит, меч и голова зубра или тура (не разобрать на полинявшем гобелене) на воротах дворца тевтонской архитектуры — стояли в ровной шеренге вдоль стены. Эти кресла и примерял Калачик.

— Миллион за одну картину? Что ты говоришь? Вот, Антошка, нам бы отхватить одну такую! Вот устроили бы коммуну! — «сыпал горох» Калачик.

Рудковский не улыбался — скривился раненым глазом на шутовство старика.

— Кому бы ты ее продал? Мальвине Гривке? Или Залману-каравашнику?

С кем-то из этих людей или с обоими было, видимо, связано что-то смешное, потому что Калачик громко хохотнул — даже отголоски ударили в пустые стены, на которых отчетливо выделялись прямоугольные пятна от снятых картин. Что это были за картины? Где они?

Богунович был здесь при бароне, но в памяти не осталось ни одного полотна. Где-то висели портреты предков барона. Наверное, здесь. Портретов не жаль. Хотя, конечно, ценность любой картины в том, кем она написана, каким художником — Брюлловым или каким-то безвестным шульцем, исполнителем семейных портретов.

Рудковский, не проявив никакого интереса к рассказу о художественных шедеврах, о Рафаэле и Репине, ответил с грубой иронией:

— Что, полковник, баронского добра стало жаль? Так знай: народное это добро теперь.

Обидела Богуновича ирония — особенно «полковник». Но потом пришлось у Рудковского и Калачика просить сена для батарейных лошадей. Почесали затылки, однако дали. Теперь нужно просить снова — и сена для коней, и хлеба для людей. Если солдат не накормить сегодня, завтра — через неделю от полка останется пустое место, а без людей и одного вражеского взвода не удержать.

Во дворец не ходили через парадное крыльцо, на нем лежал сугроб снега. Ветер бился в стену и поднимал снежные вихри: единственную тропку, что вела к черному ходу, к кухне, замело, нигде не было видно ни души, как и на передовой, — ни гражданских, ни солдат. Это безлюдье снова-таки почти испугало Богуновича: в местечке, в каких-то четырех верстах отсюда, у немцев, было довольно людно, открыты корчмы, лавочки, на улицах не только военные, но и гражданские. Правда, тогда, в первой половине дня, стояла тихая оттепель.

Но когда Богунович вошел в коридор хозяйственной части дворца, на него дохнуло жильем, да таким, что даже закружилась голова: из кухни тянуло почти забытыми запахами жареного мяса, свежего хлеба или блинцов. Он рано завтракал, по-солдатски; поели с Мирой пустой пшенной каши, выпили по кружке ароматного кипятка: чай заменяли травы, и самая пахучая из них — багульник. (Мира по-детски смеялась, услышав, что трава эта называется по-белорусски багуном: «Богунович пьет багун. Теперь я знаю, почему полюбила тебя. Ты так вкусно пахнешь».)

Запахи из кухни вызвали почти болезненный приступ голода: сжало желудок от спазм, погнало слюну, даже зазвенело в голове. Богунович разозлился: у солдат, несущих охрану первой линии, не было завтрака, а у них, новых владельцев имения, такая роскошь! Что это — пир во время чумы? Хозяева, черт бы их побрал! Съедят скотину из баронских хлевов — а потом что?

Нет, этого нельзя так оставлять! Пусть его осудят комитет, ревком, но следует восстановить порядок, существовавший во время войны: в прифронтовой полосе власть должна принадлежать командиру части, занимающей данный участок! Он тут же грустно улыбнулся своей мысли: а какая у него власть над собственным полком? Однако… неужели коммунары ежедневно готовят такой обед? Это так возмутило его, что он с воинственной решительностью направился на кухню: увидеть все своими глазами! Резко распахнул дверь и… смутился. На кухне у длинного стола, у плиты, пышущей жаром, суетились одни женщины, человек шесть; некоторые из молодых были без кофточек — душно! Они тоже ахнули, увидев неожиданного гостя, бросились прятаться за печь. Но одна не смутилась, хотя тоже была без кофточки.

— А-а, товарищ командир! Заходи, заходи, не бойся, посмотришь бабскую коммуну, — с гостеприимной улыбкой ласковой хозяйки пошла она навстречу, остановилась в двух шагах, дебелая, раскрасневшаяся; от нее, как от печки, дышало жаром; в прорезе полотняной сорочки, неплотно стянутой на шее оборочкой, выразительно светились белые полные груди.

Богунович не знал, куда спрятать глаза. Уставился на старуху у плиты, что пекла на трех сковородках пышные блины, намазывая горячую сковородку куском сала, которое и давало запах жаркого. На краю плиты стояла большая кастрюля, откуда она черпала деревянным половником жидкое тесто, наливала на сковороду. Несколько горок готовых блинов лежали на столе. Женщина средних лет, раскатывавшая на длинном столе кусок густого белого теста, наверное, на пироги, спокойно, не поднимая головы, сказала:

— Стася! Прикройся, бесстыжая.

Стася захохотала.

— Ты думаешь, тетка Аделя, офицер не видел цицек? Ого! Ты не знаешь их! Паны такие! Их же матери не

кормят. Кормилицы. Так они с детства как привыкнут к чужим…

Стасю эту Богунович хорошо знал. Она чуть ли не ежедневно попадалась ему на глаза. Словно подкарауливала. И вот так же заигрывала, особенно старалась при Мире. Мира перед нею терялась и потом мрачнела — ревновала. Это ему нравилось. Но, щадя Мирины чувства, он не напоминал ей о теории «свободной любви». Правда, Стася была такой игривой не только с ним, но и с другими командирами, с солдатами, даже старого Пастушенко не стеснялась, заставляла краснеть. Но вряд ли кто, если был не хвастун, не болтун, не клеветник, мог сказать, что спал с вдовой: муж Стасин, батрак, солдат, погиб еще в пятнадцатом году где-то в Карпатах.

Богунович знал: деревенские Стасю осуждали за ее вольности, особенно бабы, а свои, коммунары, смотрели на ее заигрывания с военными снисходительно, как на веселую игру.

Бабка, что пекла блины, сказала:

— Не старайся, Стася, у него своя есть. Ладненькая барышня! Только не надевал бы ты на нее шинельку, пан офицер.

Стася сверкнула большими серыми глазами из-под подрисованных углем или, может, баронессиными красками бровей.

— Эта черняьвенькая агитаторка? Да отобью я его — как пить дать, — и снова захохотала.

— Ты так легко отбиваешь мужиков? Смотри, выдерут тебе бабы косы, — сказал Богунович без улыбки.

Женщины, успевшие надеть кофточки, выходили из-за печки, смеялись. Стася не смутилась.

— Не выдерут. Я как волчица: овечек близко от своего логова не трогаю, дальних хватаю… Да тех, что пожирней. А свои… какой с них наедок! Командир

полка — вот это да! Хоть бы ночку побыть подполковником.

Вот чертова баба: ей слово — она тебе десять. Старая кухарка, снисходительно посмеиваясь, покачала головой:

— Ну, балаболка! Угости лучше пана офицера блинцами.

Стася обрадовалась такому предложению и скомандовала, словно была тут за старшую:

— Правда! А ну, бабы, подать командиру блинцов на золотом блюдце!

Богунович не успел отказаться, как одна из молодух, наверное, бывшая баронская горничная, церемонно, с поклоном, поднесла ему на большой тарелке из саксонского фарфора целую горку блинов.

Ну как тут было отказаться от угощения? Это, пожалуй, обидело бы женщин. Все они смотрели на него, даже Стася смолкла и следила внимательно и серьезно, не стреляя глазами. Да и желудок разве что не кричал: «Дай!»

— Отведайте, пан офицер, — не поднимая глаз, сказала та, что поднесла тарелку. — Гречневые. С салом.

Богунович взял блин, свернул его в трубку, откусил и даже испугался, что выдаст себя, даст женщинам понять, насколько он голоден. Это было что-то необыкновенное. Показалось, ничего вкуснее он никогда не ел. Из гречневой муки, пропитанный жиром, с запеченными маленькими кусочками сала, блин просто таял во рту и вливался животворящим соком не в желудок, нет, — сразу во все тело, в каждую клетку его, даруя наслаждение, радость, силу.

Но тут же подумал о Мире: накормить бы ее блинами! Как она нехорошо кашляла! А теперь, конечно, переживает, что обидела его… Каледина приплела. Не впервые она бросала ему оскорбления, а потом, видел,

сама переживала. У него тоже кипела обида, пока шел сюда. А тут, в душной кухне, обида враз исчезла, и при мысли о Мире охватило еще большее умиление; ее мальчишеские наскоки казались теперь просто смешными; жалость к ней, голодной и, наверное, больной, овладела им. Жалко, что его положение, его достоинство не позволяют попросить у женщин блинов с собой. И вновь появилось раздражение против коммунаров вообще и против этих сытых баб, игриво, театрально угощавших его. Солдаты голодают, а тут блины с салом пекут! Но через минуту устыдился своего недоброго чувства. Как можно! Он, сынок адвоката, с детства жил в чистоте, в достатке, хорошо одевался, учился в гимназии, в университете, ел не только блины с салом, вряд ли в детстве эти блины показались бы такими вкусными… Так какое же имеет он право попрекать этих людей?! Ради того, чтобы эти неграмотные женщины почувствовали себя равными с ним, офицером, командиром полка, стали хозяйками на баронской кухне и по-человечески накормили своих детей, — ради этого прадеды и деды их, отцы и мужья пролили реки пота, а потом еще и море крови — на полях этой страшной войны. За что лег в землю Стасин муж? За что полегли сотни солдат его роты на Нарочи, под Двинском? Нет, эти люди, как никто, имеют право полной грудью вдохнуть ветер свободы. Как и солдаты полка, всей армии. Его, командира, нередко возмущало дезертирство, отсутствие дисциплины, но, рассудив, он всегда приходил к выводу: люди завоевали свободу кровью, так как же можно ее ограничивать? Да если б и захотел, не дали бы ограничить. Пугало одно: надолго ли она, свобода? Как удержать ее, какими средствами?

Задумавшись, не заметил, как съел один блин, потянулся за вторым. Но спохватился: прилично ли?

— Угощайтесь, пан офицер. Угощайтесь.

— Не нужно — пан, пожалуйста… Мы все товарищи…

— Командир — большевик, как наш Антон, — сказала Стася.

— По какому случаю у вас такой пир?

— Эх, так завтра же Новый год! — удивились женщины.

Да-да, Новый год! Восемнадцатый! Он и забыл совсем. Мира — против старых праздников. Да и газеты начали выходить по европейскому календарю. У немцев, в местечке, новогодний фейерверк был две недели назад. Дежурный в ту ночь разбудил его по тревоге, не разобравшись, что за огни на вражеской стороне.

Ударила в сердце горячая волна воспоминаний. Все время ему казалось, что война отдалила безоблачное детство, юность на целое столетие, часто было просто страшно думать о счастье, что царило в семье адвоката Богуновича, где родители, особенно мать, жили ради детей, делали все, чтобы они сытно поели, тепло и красиво оделись, любили музыку, росли честными людьми…

А в этот миг оно, прошлое, мирное, доброе, как-то странно приблизилось. Он словно увидел мать, хлопочущую на кухне вместе с кухаркой теткой Василиной, красивую елку в зале, которую он украшал с сестрой игрушками и конфетами; в нем воскресло трепетное ожидание подарков — их непременно оставит под елкой Дед Мороз в новогоднюю ночь.

До спазма в горле захотелось поставить хотя бы маленькую елочку для Миры и положить подарок, который мог бы ее порадовать.

Но какой подарок придумаешь? Истово, до аскетизма честный, он не мог даже позволить себе выписать с полкового склада фунт-другой муки и испечь хоть бы такие вот блины, как пекут эти почувствовавшие себя хозяйками батрачки.

Разве что попросить у Рудковского? Нет! У Рудковского он попросит муки, но не для себя — для полка.

— Где ваш Рудковский? — отказавшись от третьего блина, поблагодарив, спросил Богунович у женщин.

— Митингует, — засмеялась Стася. — Вот неправду говорили, будто мы, бабы, балаболки, будто нас никто не переговорит. Дали волю мужикам — так они только и знают, что говорят. Старого Калачика сорок баб не перебрешет.

— Заседают мужчины наверху, — просто, без лишних слов, разъяснила женщина, поднесшая блины.

Стася снова засмеялась:

— Живем как в раю: мужики языки точат, бабы конюшни чистят…

— Так, как ты навострила свой язык, никому не наточить, — словно обиженная за мужчин, сказала полногрудая молодица, одна из тех, что прятались за печью.

— А то как же! Я, может, комиссаром вашим хочу стать. Хотя… на лихо вы мне сдались! Какой с вас наедок? Взять бы мне власть над вашими мужиками! Какого захотела, того и выбрала, как царица Катерина.

— Тьфу-тьфу, бесстыдница! Бога у тебя нет! — возмутилась старая кухарка.

— Чего захотела, ишь ты ее! Я за своего глаза тебе выдеру! — серьезно предупредила молодица.

Но Стасю угомонить было непросто, она явно играла на него, на Богуновича (своеобразный способ обратить на себя внимание). И это ей, конечно, удавалось; женщины поопытнее понимали вдову и снисходительно усмехались.

— Ты — мироедка! — отбрила Стася молодицу. — А еще в коммуну лезешь. В коммуне все надо делить поровну…

— А ты кто! Брехло! Балаболка! Распустила язык. Рудковский тебе подрежет его…

— Боюсь я твоего комиссара! Скоро он под мою дудку

запляшет.

— Постыдитесь пана офицера, бабы!

Стася шутила, а полногрудая молодица уже кипела. Запахло ссорой. Чтобы не быть свидетелем женской свары, Богунович деликатно попрощался; знал: присутствие постороннего только раззадоривает людей, поссорившихся без причины, просто так, слово за слово. Бывало не только среди неграмотных женщин, но и среди образованных офицеров, что после разговора, начатого шуткой, хватались за револьверы.

3

Он шел по темному в зимний день длинному коридору первого этажа, по запутанным ходам и переходам и думал о жизни людей, которых революция сделала хозяевами этого старого дома, окрестной земли, добра в хлевах, гумнах.

Воспитанного в демократической семье, на демократической литературе, познавшего вместе с народом, с крестьянами, батраками, одетыми в солдатские шинели, все ужасы войны Богуновича радовало, что люди — и его солдаты, и эти бывшие батрачки — стали вот такими — действительно свободными, независимыми, не гнут спину ни перед баронами, ни перед полковниками (в конце концов, он для этих женщин — полковник). Но готовы ли они жить коммуной? В шутливой ссоре женщин он уловил тот микроб, который может размножиться и заразить здоровый организм, разрушить его. Нужен умный, умелый санитар, чтобы не дать вспыхнуть болезни индивидуализма, собственничества: «Это твое, а это мое, и моего не трожь!» Философии такой тысячи лет, не так просто выкорчевать ее из человеческого сознания, из душ людских! Он не верил, что это можно сделать за месяцы или даже за годы, спорил с Мирой, восхищался ее уверенностью или злился на ее наивность и мучился от того, что у него нет такой веры, как у нее, что его, словно ржавчина, разъедают

сомнения.

До Октября, до встречи с Мирой, все казалось проще, сомнений у него почти не было: он шел с солдатами и на немцев, и на своих генералов, пошел против Корнилова и против Керенского. Но даже не это его встревожило и взволновало — не «микроб», возвращающий тысячелетнюю болезнь. Как и на своей передней линии, где на участке роты остался один унтер Буров, так и тут, на кухне, где пекли вкусные блины и игривая вдова весело шутила, его не просто встревожила — испугала беззаботность свободных людей перед врагом — страшным врагом, вооруженным до зубов, в чем он сегодня убедился сам. Он принял братание. Боялся иногда за Миру, но приветствовал — мудрость большевиков — посылать к немцам своих агитаторов. Понимал, что немецкий солдат — тот же рабочий и крестьянин. Однако прусского лейтенанта продолжал ненавидеть так же, как кайзера.

Увидев, как солдаты тянулись не только перед лейтенантом, но и перед унтером, почувствовал недоброе и к солдатам, и боялся их так же, как осенью четырнадцатого, когда пришел на фронт; тогда, после разгрома армии Самсонова, они боялись «опьяневших тевтонцев», их ненависти к славянам, их выучки, тактики, огневых шквалов крупповской артиллерии.

Поднимаясь по парадной лестнице с приметно попорченными мраморными поручнями, Богунович думал: можно ли при такой свободе, когда любой солдат может самодемобилизоваться, оборониться от врага внешнего?

В бывшей баронской столовой играли дети, звонкие голоса наполняли весь дворец; Богунович их слышал еще внизу, в коридоре. Стулья были перевернуты вверх ногами, навалены кучей, изображая баррикаду. Дети, наверное, играли в войну, группа с группой сталкивались на длинном столе — кто кого сбросит.

Роскошный стол, инкрустированный. Правда, дети были босые или в лаптях. Однако все равно при таком

использовании инкрустациям несдобровать. Да стола не было жаль. Поискал глазами, нет ли в «баррикаде» картин. Нет, картин не было ни на полу, ни на стенах — только пятна от них.

Богунович несколько минут стоял в дверях, смотрел на детей. Смутил их. Застеснялись чужого человека, военного; младшие начали прятаться за стулья, под стол.

Только один мальчик лет восьми вышел вперед, смело спросил:

— Ты командир?

— Командир.

— Я знаю тебя. Ты на коне ехал с саблей. А где твоя сабля?

— А ты немцев не боишься? — неожиданно для себя спросил Богунович.

— А чего их бояться? Они же люди.

Ответ малыша ошеломил командира полка. «Мальчик! Ты веришь, что они люди! Как это хорошо. А я, опаленный войной, выходит, не очень верю в это? В кого же превратила меня война?» Впервые ему стало страшно за себя.

Комитет или правление (Богунович не знал, как это называется в коммуне) заседал в баронском кабинете. Он распахнул дверь неожиданно, ориентируясь по голосам. Голоса были глухие, поэтому показалось, что люди еще далеко, за двумя или тремя дверьми. Он почти растерялся, увидев человек шесть коммунаров, сидевших вокруг большого письменного стола. Сказал:

— Простите.

— А-а, товарищ полковник! — воскликнул Рудковский. — Заходи, заходи. Послушай про наши мужицкие дела.

Как часто и раньше, Рудковский обратился к нему иронически. Но теперь ирония в словах «товарищ полковник» не задела Богуновича, обращение не показалось обидным. Подумал, что совсем неплохо стать полковником, советским, иметь полную власть в полку, тогда его полк был бы не хуже немецкого, удар которого надо отразить, и он не ощущал бы страха. Усмехнулся над своим желанием, вспомнив Миру: какие слова услышал бы от нее, признайся он, что хочет стать полковником! Одним саркастическим вопросом, не хочет ли он к Каледину, вряд ли бы обошлось. Взорвалась бы гневом, полыхнуло бы как при пожаре артсклада.

Порадовался, что судьба свела его с такой детской чистотой и непримиримостью. От нее сам становишься чище.

Как-то вышло, что раньше он в этой комнате не бывал, ни тогда, когда офицеров приглашал барон, ни когда полковой комитет занял имение, арестовал барона, ни после, когда по настоянию Рудковского перед армейским комитетом и Советом (Рудковский ездил даже в Минск) дворец отдали батракам для организации первой коммуны.

Первые минуты он рассматривал кабинет, присев на кожаный диван, о котором думал, что такой, наверное, стоял у старого князя Болконского. Воспоминание о Толстом снова вернуло на миг в детство — горькая капля грусти упала на сердце. Но было не до воспоминаний. Обратил внимание, что кабинет загроможден картинами — стоят на полу вдоль стены, на том же диване, где он присел, на книжном шкафу. На подоконнике — бронзовые скульптуры. Собрал Рудковский ценности и охраняет: сюда, видно по всему, не заходят ни женщины, ни дети. С теплым чувством к матросу Богунович вслушался, о чем коммунары говорят. Говорили о подготовке плугов, борон к севу, толковали по-крестьянски спокойно, рассудительно, уверенно, будто и нет войны, линия фронта не проходит по их землям и в поле нужно выезжать через неделю-

другую. Удивило это, тронуло и взволновало. Только на войне и особенно теперь, когда революция вручила ему целый полк, познал он цену хлеба. Есть хлеб — есть жизнь, радость, есть армия. Не накормили сегодня солдат — и из окопов исчезло боевое охранение. Не накормят завтра — и полка не станет, участок фронта будет обнажен. И вот эти люди говорят о том, как вырастить хлеб. Говорят как настоящие хозяева. Может, именно в ту минуту военный человек понял весь смысл, всю силу Декрета о земле и впервые подумал, как они органически связаны — Декрет о мире, который он перечитал десятки раз, которым жил, и Декрет о земле, интересовавший его, горожанина, меньше. Отношение его не только к Рудковскому, но ко всем этим людям в кожухах и лаптях потеплело до братской, сыновней любви к ним.

А между тем Рудковский и его товарищи говорили об очень прозаических вещах: спорили, какого кузнеца нанять — Марьяна Кулагу или Еську Буселя. Одни были за Марьяна: свой, деревенский, инструмент у него под рукой, это важно, потому что в баронской кузнице все растащили, кожаные мехи и те порезали на сапоги, железо украли, одна наковальня уцелела.

— Тот же Кулага и вывез все, — горячился старый Калачик. Ему одному не сиделось на месте, он то и дело вскакивал, пробегал до двери и обратно.

— Не пойман — не вор. Зато с Марьяном забот не будет. А Еську кормить нужно. Попробуй такого кузнеца накормить! Сала он не ест…

— Бусель кузню наладит, кузня нам всегда нужна. А Марьяну наша кузня — как скула в бок. Конкуренция! — Довод Рудковского пошатнул позиции сторонников своего, деревенского, кузнеца.

Богунович слушал с интересом, с таким же, как и на первом военном совете армии, когда был выбран командиром полка и когда перемирие еще не было подписано, полки, дивизии вели боевые действия.

Более горячо спорили по другому вопросу — о лесе. Все соглашались, что лес нужно охранять, нужно нанять своих лесников, крестьянских, вместо баронских, которых турнули. Бесхозяйственность приведет к тому, что лучший строевой лес вырубят кулаки, которым есть на чем вывозить, у них добрые кони. Да и вообще нельзя, чтобы лес рубили кто хочет и где хочет, должен быть порядок. Заспорили о другом. Рудковский предложил поделить лес, как и землю, между коммуной и селом, тогда каждый хозяин будет наводить свой порядок. Председатель крестьянского Совета Калачик, которого Богунович раньше не очень-то принимал всерьез — деревенский шут, скоморох, — вдруг проявил настойчивость и — подумал Богунович — мудрость. Он решительно запротестовал против раздела леса. Лес — не только бревна, без шуток, серьезно доказывал старик, лес — это лес, выпасы для скотины, сенокосные угодья, грибы, ягоды, радость для детей, красота для всех, теперь лес — народное добро, и поэтому делить его нельзя, это князья и бароны делили, каждый свое отгораживал; вон монахи — боговы служки — в своем лесу гриба не позволяли поднять, ягоду сорвать. Что ж, и коммуна в свой лес не будет пускать деревенских? А если из местечка люди придут? У них леса нет. Их тоже не пустим? Наше! Не трожь! Нет, матрос, не бывать этому. Занесло тебя. Поедем в волостной Совет — пусть рассудят. Вот командир. Пусть он скажет.

Богунович поддержал старика.

Рудковский сначала горячился, но Калачик твердо отстаивал свою позицию, и большинство комитетчиков не сразу, постепенно, с рассуждениями, со своими соображениями начало склоняться на его сторону. Рудковский вынужден был отступать и делал это, как отметил Богунович, достаточно дипломатично. Пряча улыбку, спросил:

— Ты, дед, у Киловатого колбасы на коляды не ел?

Киловатый — кулак. Рудковский еще раньше говорил Богуновичу, что сыновья его переходят линию фронта, возможно даже, ходят к барону, занимаются

контрабандой — появляются в соседнем местечке спички немецкие, иголки, нитки; дураками нужно считать немецкое командование, если оно не сделало их своими шпионами. С этим нельзя было не согласиться.

Богунович ожидал, что старик оскорбится. Любой прапорщик из-за подобного намека полез бы в бутылку.

Нет, тот засмеялся.

— Как не ел? Ел, браточка мой. Угощался. Кто от таких колбас откажется, когда угощают? На все село пахли.

— То-то, вижу, ты хочешь дать мироедам свободу лес вывозить. Ты же знаешь: пока бедняк запряжет свою дохлятину…

— Э-э, браток! Не гни — поломаешь. За колбасы меня никто не купит. А будет лес наш, народный, поставим лесников — и никто сухостоины без надобности и разрешения не вырубит. Вот как сделаем!

Пришли к выводу: вопрос о лесе решать на общем собрании всех крестьян — коммунаров, деревенских, местечковых.

Время летело незаметно. За широким окном на дворе гуляла метель. Ветер швырял снег в рамы, сухой, он сыпался по стеклу, шуршал по кирпичной стене. Хотя в комнате было не очень тепло, но в шинели Богунович согрелся, и ему стало уютно и хорошо среди книг, картин, рядом с людьми, решавшими очень важные дела — как наладить новую жизнь, совсем новую, такую, какой еще нигде никогда не было, разве только в книгах.

Но у него тоже не менее важные и неотложные дела — сохранение полка, его боеспособность.

Богунович глянул на часы. Наверное, это послужило Рудковскому сигналом, мужицкая грубость и матросское ухарство составляли в нем скорее дань времени и положению, а по сути своей Рудковский был

человек деликатный. Закрывая собрание, он сказал:

— На сегодня хватит, товарищи. Наговорились от пуза. Вон командир ждет. Нужно еще над военной стратегией подумать.

Невозможно было понять: серьезно он сказал или с иронией? В конце концов, не стоит обращать внимания. Пусть называет его командирские заботы как хочет.

Когда коммунары вышли и они остались втроем (председатель Совета не отступал от матроса), Богунович подошел к окну, всмотрелся в белую муть.

— В ясную погоду костел хорошо виден? — спросил, понимая нелепость вопроса, ибо костел был виден и из одноэтажного флигеля, где размещался штаб.

— Как на ладони.

— Правее костела, за кладбищем, стоит батарея. Раньше ее не было.

Рудковский и Калачик переглянулись. Богунович заметил их улыбки и подумал, что не с того начал, получается, что он хочет испугать этих людей. Объяснил:

— Я только что оттуда. Ходил с солдатами, братались…

— А я ломаю голову, почему полковник в солдатской шинели.

— Не иронизируйте, Рудковский. Кто-кто, а вы должны знать: на войне не до шуток. Перед нами новая немецкая дивизия, хотя по условиям перемирия…

— Дайте телеграмму главковерху. Или в Совнарком, Ленину.

Богунович посмотрел на Рудковского. Нет, кажется, не иронизирует, советует серьезно. Удивило, пожалуй, другое: уверенность Рудковского, что телеграмму можно дать главнокомандующему и даже

правительству, Ленину.

Богунович подумал, что нужно найти более доверительную форму разговора.

— Вы не думаете, что из костела на вас смотрит барон Зейфель?

— Пусть посмотрит. Пусть облизнется, — весело сказал Калачик. — Мы ему фигу покажем, — и, сложив фигу, выставил в окно.

— Все серьезнее, товарищи. Мы проявляем беззаботность.

— Мы?

— Наверное, в первую очередь мы, военные. Я знаю немцев. Они способны на любую провокацию…

— Ты что — боишься, командир? И нас пугаешь? — сурово спросил Рудковский.

— Рудковский, вы знаете, что осталось от полка.

— Мы поднимем народ! — выкрикнул Калачик.

— С вилами, с топорами? — ехидно спросил Богунович; его начало раздражать легкомыслие старого человека, мудростью которого он восхищался, когда разговор шел о лесе, земле, ремонте плугов.

— Ты, сынок, не веришь в силу народа, — сказал Калачик и с грустью заключил: — Молодо-зелено. Того, что завоевано кровью, народ не отдаст. Кости сложит.

— Филипп Мартынович, это высокие слова, а я оцениваю военную обстановку.

— У нас отряд в сорок штыков. Дайте нам винтовки — и завтра мы выставим сто. Немцы, конечно, могут занять имение. Но какой ценой!

Это сказал не Калачик — Рудковский, в рассудительность которого, умение судить реалистично

Богунович верил больше. Слова его произвели впечатление. Да, за свою землю, за свободу люди здешние будут стоять до последнего. О винтовках у них был разговор и раньше. Он запросил штаб армии. Не позволили передать, хотя винтовок хватает: большинство бывших солдат тоже где-то готовятся пахать землю.

Богунович отступил от окна, обошел вокруг стола и сел в кресло, в котором недавно сидел Рудковский; этим не совсем осознанным жестом он как бы взял на себя руководство переговорами. Подождав, пока оба крестьянских вожака сели напротив, сказал, глядя в глаза Калачику, — нужно убедить его, ибо он совсем не так прост, как казалось раньше:

— Ваших людей нужно учить. А у меня обстрелянный полк. Помогите мне сохранить полк. — Помолчал, ожидая ответа, но они молчали, тогда он назвал главную причину, впрочем, хорошо известную им: — Люди голодают.

— Снова хлеб? — удивленно взметнул рыжие брови Калачик.

— Снова хлеб!

— А где взять? — Дед почмокал губами, покачал головой. Чмоканье это почему-то разозлило Богуновича.

— У вас пекут блины с салом. А у меня сегодня рота боевого охранения осталась без завтрака.

— Ты нас не попрекай, офицер! Блинцы наши унюхал! Ишь ты его! Мы, может, сто лет этих блинцов ждали. А роту твою… мать ее… соломой нужно кормить. Сынки Киловатого двух лучших жеребцов на немецкую сторону угнали… сегодня, ночью… Мы эту сволочь сами поймаем. Но твои куда смотрят? Вот вопрос! Какая же ты защита революции?! Из-под носа штаба коней увели!

— Не кипи, дядька Филипп, — остановил старика

Рудковский и повернулся к Богуновичу. — Мы соберем хлеб для армии. Но ты дашь нам оружие! — Прозвучало это не как просьба, условие на переговорах — как ультиматум.

Такой тон сначала неприятно задел. Возник логичный ответ: «Я не торгую оружием! Я командир полка регулярной армии. Мне никто не позволит…»

Но Богунович не сказал этого. Помолчал, подумал и ответил:

— Хорошо. Я дам вам винтовки.

Потом уже, после многих других слов, подводивших итог переговорам, почувствовал холодок от мысли: «А что скажет полковой комитет?»

Все равно настроение странным образом переменилось.

Вышел из дворца в пургу, услышал, как шумят деревья в парке, и захотелось радостно, по-мальчишески крикнуть и засмеяться. Главное, исчезло ощущение страха, появившееся после встречи с немцами, встречи, так порадовавшей Миру. Чудно, как по-разному люди смотрят на мир! Не только разные люди — один и тот же человек на протяжении дня. Как он сегодня. Все же хорошо! В Бресте начались мирные переговоры. Приближается Новый год. Действительно — Новый, с большой буквы, потому что все в нем будет новым на этой многострадальной земле.

Сергей с нежностью подумал о Мире, с благодарностью и теплотой — о людях, с которыми только что говорил.

Рудковский предложил ему пообедать. Богунович признался, что женщины угостили его блинами. Старый Калачик весело засмеялся:

— Во солдатский нюх у человека! Хват! Пока мы с тобой, Антон, агитировали друг друга, он наших баб на кухне агитировал. А я думаю: откуль про блины знает?

В штабе, если не считать часового, один только человек работал — занимался делами полка. Как в любой другой день. Начальник штаба полковник Пастушенко. Подсчитывал, планировал, вычерчивал графики, схемы. Неутомимый труженик. Человек этот давно удивлял Сергея. Полковнику под шестьдесят, он старше адвоката Богуновича. В шестнадцатом прислан из Ставки, назначен командиром полка. Ходили слухи, что за какую-то провинность попал в опалу, будто бы с самим императором не согласился в чем-то. Дворянин, не из бедных. Но с высшим командным составом не очень дружил, не любили там Пастушенко. Держался компании своих офицеров, большинство которых в пехотных частях были из разночинцев — из учителей, чиновников, средней буржуазии. Эта часть офицерства считалась до февральского переворота наиболее революционной и горячо приветствовала свержение Николая Кровавого, установление республики. Пастушенко не возглавлял их, но шел с ними как равный, принимая все революционные перемены в армии и в стране. А потом полковник пошел дальше многих молодых офицеров — пошел за солдатами.

В июне полк отказался наступать. Полковник защищал солдат, не выдал агитаторов-большевиков и, держась как будто в тени, сумел сделать так, что казачьей сотне, присланной штабом фронта разоружить полк и расформировать, это не удалось.

Полк какое-то время не трогали — горячие июльские дни в Петрограде, Временному правительству было не до того. А потом, когда контрреволюция организовалась и укрепилась, военный министр Керенский, став премьером, собственным приказом снял Пастушенко с командования полком и разжаловал в капитаны.

Любой другой в возрасте Пастушенко после такого унижения подал бы в отставку или еще каким-нибудь образом оставил полк.

Пастушенко остался в полку, командиром батальона.

После Октябрьской революции большевистский

комитет в числе других обсуждал и его кандидатуру на командира. Но Пастушенко сам предложил себя начальником штаба.

«Я штабист, товарищи, я штабист», — часто повторял он.

Штабистом он действительно был замечательным.

Пастушенко, накинув чекмень на плечи, сидел за столом и внимательно изучал интендантские сведения о наличии довольствия. У него возникло подозрение, что на складах не все ладно, во всяком случае, учет довольно запутан. Неудивительно — много новых людей, малограмотных. Но хотелось проверить солдатские разговоры: мол, кто-то из интендантов «спускает» муку и консервы на сторону — продает крестьянам, местечковым. Мошенники пролезают и в революцию, они есть в каждом классе и отличаются разве что масштабами. При царизме промышленники, поставщики, интенданты воровали на миллионы рублей, крали у солдат, проливающих кровь «за царя, за отечество». «Какая мерзость!» — думал тогда старый правдолюб, толстовец.

Теперь какой-то мужик в шинели крадет у своих товарищей. Ему тоже нет оправдания. Неграмотный? Несознательный? Но всем — господам и мужикам — с детства внушают евангельские заповеди: «Не укради!», «Не убий!» Те, кто, по их убеждениям, получил власть от бога и чаще, чем простой люд, повторял в молитвах и проповедях эти заповеди, не просто крали — грабили целые народы и убили миллионы людей.

Грустно становилось полковнику от таких мыслей. А еще было грустно от сознания своей старости, от того, что подводит сердце, от неуверенности, сможет ли он дожить до осуществления идеалов свободы, равенства и братства. Он верил в человеческий разум, в доброту, в новую жизнь на новых основах. Он пошел к большевикам потому, что поверил: их учение, теория не расходятся с практикой. Большевики не остановились, как остановились эсеры. Не только остановились —

поползли назад. Сволочь Керенский, столько кричал об идеалах добра, а добравшись до власти, приказывал расстреливать солдат. Расстреливать роты, батальоны. Без суда.

Петру Петровичу было холодно и неуютно. Поднялась метель, ветер бил в окна, выдувал тепло от протопленной утром печки.

Богунович явился в штаб в хорошем настроении. Захотелось ему поприветствовать Пастушенко так же, как Рудковский приветствовал его. Но если по отношению к нему сквозила ирония, то он сказал совершенно серьезно:

— Здравия желаю, товарищ полковник.

Старый офицер поднялся со стула, как солдат перед начальником, вид у него сделался растерянный и испуганный. Жалостливо попросил:

— Не нужно так шутить, Сергей Валентинович. Во-первых, я не полковник...

— Во-первых, вы полковник, Петр Петрович. Пусть Керенский своими приказами подотрет одно место... Никто вас не лишал звания. А во-вторых, во-вторых... знаете, о чем я думаю? Когда большевики создадут свою армию... революционную... они вынуждены будут возвратиться к званиям... Может, это будут другие звания, но будут! Не может быть армии без командиров, а их как-то нужно называть. — Богунович весело оглянулся. — Не выдавайте меня Степанову. И Мире. Но вам я признаюсь: сегодня мне вдруг захотелось стать советским полковником... Хотя военная карьера, как вы знаете, меня не привлекает.

Пастушенко расчувствовался.

— Дорогой мой! Завидую я вам... Оптимизму вашему. Дай бог, дай бог стать вам и полковником... И генералом... А я за вас волновался, знаете... Все-таки это...

— Авантюра?

— Я иначе хотел сказать: рискованно… Под видом солдата…

— Риск был, конечно. Один из их офицеров сказал по-французски: «Этот тип — большевистский шпион».

— Что я вам говорил! Ах, голубчик!

— Но на них нужно было глянуть не солдатским глазом. Перед нами новая дивизия. Это мог увидеть только я. Так немцы выполняют условия перемирия.

— Сергей Валентинович! Вы верили, что они будут их выполнять? Враг наш без чести и совести.

— В Берлине действительно восстали рабочие. Но революционность этих солдат увидела только наша большевичка… Мира. Я не увидел. Мы смотрели разными глазами… И признаюсь только вам: мне стало страшно. Я не трус, но…

— Я понимаю вас.

— Если мы не заключим мир, разразится катастрофа. Мы потеряем остатки нашей армии. Пополним армию пленных. От этого мне стало страшно. Но, слава богу, мы с вами никогда не паниковали. Будем действовать! Первое: телеграмма штабу фронта о том, что перед нашими позициями — новая часть.

Пастушенко сел к столу и стал писать.

— Второе… разведка! Организуем разведку. Не будем святыми, когда противник плюет на условия перемирия. Глубокая разведка, Петр Петрович! Мне только что сказал Рудковский… сынки одного кулака переходят линию фронта… сегодня перегнали туда лошадей… Поймать! Вызнать все, что можно. Под страхом расстрела за шпионаж. Наконец, почему на ту сторону не могут сходить наши люди? У кого-то, наверное, есть родственники в местечке или еще дальше в селах, в немецком тылу. Рудковский поможет

найти такого человека. Одним словом, разведка по всем военным правилам! Нам ведь легче, мы на своей земле. Укомплектовать взвод разведки лучшими солдатами и подчинить начальнику штаба полка. Вам, Петр Петрович.

Богунович ходил по просторной комнате от окна к двери, обходя длинный стол, за которым сидел начштаба, и говорил громко, ясно, короткими фразами — словно диктовал приказ. Старый полковник поглядывал на него влюбленно, почти восторженно, и сыпал на бумагу не буквы — иероглифы, стенографические знаки. Чекменек его сполз с плеч на стул. На плечах полинявшего френча отчетливо выделялись прямоугольники от бывших погон. Богуновичу эти пятна бросились в глаза, он остановился за спиной у Пастушенко и с потаенной улыбкой подумал: какой скандал подняли б комитет и Мира, признайся он, что подумал о полковничьих погонах.

Обошел стол, сел с другой стороны, обмакнул перо в чернильницу, начал писать. Писал медленно, почерк у него был каллиграфический, поповский, как шутил когда-то старый Богунович. Протянул листок Пастушенко. Тот прочитал вслух:

«Петроград. Смольный. Ленину. Армия голодает. Распадается. Самодемобилизуется. Отдельные участки фронта обнажены, никем не охраняются. Сдержать наступление немцев, если оно начнется, невозможно. Солдаты 136-го Костромского полка ждут мира. Солдаты требуют мира. Командир полка Богунович».

Пастушенко удивленно посмотрел на него.

— Это можно?

— У революции все можно, дорогой Петр Петрович.

— Вы думаете, Ленин не знает о положении на фронте?

— Не сомневаюсь, что знает. Об этом уже полмесяца

говорят на съезде по демобилизации армии. Но лишняя телеграмма с фронта не помешает…

— Вы решительный человек, Сергей Валентинович.

— Нет, я не был решительным. А нужно быть. Нужно, Петр Петрович. Нам доверены жизни людей. Сейчас мы с вами издадим еще один приказ. Но тут не обойтись без комитета. Где Степанов?

— Ему нездоровится. Прилег. Знаете, такие больные при атмосферном переломе… Вон как разгулялась непогода!

Пастушенко оправдывал председателя полкового комитета: тот лежал посреди дня. Тронул Богуновича такой заботой. Вообще Сергею нравилось взаимное уважение этих двух совсем разных людей — дворянина и рабочего. Демократ, либерал, Богунович когда-то, как и отец его, увлекался идеей примирения классов путем просвещения и усовершенствования человеческой природы. Во время войны понял, что это красивая утопия, но идеалы молодости оставили свой след: он старался увидеть в каждом человеке доброе и радовался человеческой доброте.

Выгораживать Степанова не нужно, все знают, что он болен туберкулезом. Но любой другой давно уже был бы в тыловом госпитале, а этот фанатичный большевик не покидает фронта.

Для Богуновича Степанов такая же легенда, как и Пастушенко, только с той разницей, что с Петром Петровичем, несмотря на его звание и возраст, он давно уже чувствует себя на равных и ведет себя по-свойски, а Степанова словно боится, чувствует в чем-то, возможно, в самом главном, преимущество рабочего над собой. Боится он, например, степановской молчаливости, мрачности, хотя ее нетрудно объяснить — больной человек. Необъяснимой, загадочной бывает его редкая, неожиданная, иногда беспричинная возбужденность — веселость или гневная раздражительность.

Филат Прохорович Степанов в шестом году был осужден на десять лет каторги. В шестнадцатом освободился и сам, добровольно попросился на фронт. На третьем году войны царизм подскребал остатки резерва, и людей часто «брили в солдаты» даже без медицинских комиссий, добровольцы же при наличии многих тысяч дезертиров были чудом, за них хватались обеими руками. Царские служаки, видимо, думали, что бывший политзаключенный прозрел и готов пролить кровь за царя и отечество. Никто, конечно, не подозревал, что на фронт Степанов пошел с согласия партийного центра, проводившего ленинскую тактику проникновения в солдатские массы.

Степанов, как и Пастушенко, квартировал тут же, при штабе. Спал на кухне, на лежанке, где всегда было тепло. Богунович хотел было позвать его, но у порога передумал. Вернулся к столу, снова начал писать. Сочинил обещанный приказ о передаче оружия крестьянскому отряду. Дал прочитать Пастушенко. Тот не удивился, но почесал затылок, вздохнул:

— Засудят нас за казенное добро.

— За что? Если мы говорим о революционной войне, народ должен быть вооружен. Не бойтесь. Лишь бы нас поддержал комитет. Пойду к Степанову.

Солдат-дневальный растапливал печь. Печь дымила. Степанов натужливо кашлял и незло поругивал солдата. Он лежал, накрывшись шинелью, его лихорадило. Появлению Богуновича не удивился. Командир полка не впервые находил его здесь. Выказывал недовольство, что приходится решать партийные и военные дела на кухне, где солдаты варили добытую у крестьян картошку и сушили портянки, однако это Степанова не смущало, наоборот, считал, что офицера так и нужно сближать с солдатами. К тому же командир лет на восемнадцать моложе, считай, сын ему, пусть и это чувствует, не в царской армии, где перед ним, безусым, вытягивались бородатые рабочие и крестьяне. Однако когда вслед за Богуновичем на кухню вошел начальник штаба,

Степанов быстро поднялся, сел на лежанке. Но выше было больше дыма, и он снова тяжело закашлялся. Выплюнул в грязный носовой платок коричневую слизь. Наклонился.

— Голубчик мой, — сказал Пастушенко. — Нельзя вам в дыму.

— Тянет меня сегодня на лежанку… как старого деда, — виновато признался Степанов.

— Легли бы на моей кровати.

— Что вы, Петр Петрович, — смутился председатель комитета и мрачно понурился, видимо, недовольный, что разговор начали с его болезни, не любил, когда о ней напоминали.

Между тем снова начался приступ кашля. Раздраженный, Степанов поднялся, надел в рукава шинель и пошел из кухни, бросив солдату:

— Тверской… ямской… такую твою… печку не умеешь растопить!

Случалось, он внезапно выходил, когда с чем-то не соглашался, но бывало это после спора с командиром или членами комитета. Теперь же его разозлила офицерская доброта. Не позвали. Пришли к нему, как к умирающему, согласовывать что-то, может, и не очень срочное.

Богунович понял это и переживал свою ошибку.

Нет, Степанов не пошел на улицу, на ветер, в пургу. Пришел в общую комнату штаба. Сел на диван у печки и без единого слова ожидал: из-за чего вдруг подняли его?

Богунович подумал, что его поспешность может показаться этому суровому большевику неуместной, более того — подозрительной. Однако нужно объяснять, раз потревожил человека.

— Голодных солдат нам не удержать. Дезертирство.

Степанов поднял голову и перебил:

— Самодемобилизация.

Он не любил слово «дезертирство» по отношению к армии, ставшей на сторону революции. И вообще удивился: о питании говорили ежедневно на всех уровнях — в ротах, комитетах, в штабе полка. Что же новое случилось? Богунович почувствовал его удивление. Сказал новое, во что вдруг поверил сам во время разговора с Рудковским и Калачиком:

— Старая армия разваливается. Что ее заменит? Красногвардейцы были ударной силой революции… Из их отрядов, думаю, должна вырасти новая армия. Оружие старой армии — в руки новой. Этого требует история!

Степанов слушал с интересом, но настороженно. В устах командира это было действительно ново. До сего дня Богуновича, казалось, волновало только одно — боеспособность полка. Степанову нравилась такая забота о полке, но иногда казалась и подозрительной: он, как и все солдаты, не доверял офицерам или доверял с оглядкой — куда кто из них повернет? Куда же неожиданно повернуло выбранного ими командира полка?

Богуновичу самому не нравилось, как он говорил. Мирины слова! А про историю — вообще школярство, гимназистский выкрик. Кого он вздумал агитировать таким образом? Степанова?

Показалось нелепым даже то, что он стоял посреди комнаты, как агитатор. Сел к столу и сказал просто, со спокойной деловитостью:

— Прошу согласия на следующий приказ. — Поднял бумагу, но говорил, не заглядывая в нее: — Передать местному отряду Красной гвардии… винтовок семьдесят, пулеметов — два, ручных гранат — двести…

Патронов... патронов немного...

— Отдадим трофейные винтовки и патроны, — сказал Пастушенко.

— Правильно, отдадим трофейные, — обрадовался Богунович поддержке начштаба.

А Степанов молчал. Странно молчал. Закрыл глаза, согнулся крюком, уперся ладонями в колени, будто у него схватило живот.

Богуновичу не нравилась его понурая молчаливость, он дополнил:

— Крестьянский комитет даст хлеб и фураж. Степанов молчал. Он знал об отказе штаба фронта на запрос Богуновича. Почему же вдруг этот офицер, приученный к строгой дисциплине делает такой смелый шаг? Старый подпольщик, видевший в тюрьме и на каторге проявления и человеческого благородства, и человеческой низости, Степанов умел быть осторожным даже тогда, когда кто-то проявлял самую высокую революционность.

— Мы не поднимем весь наш арсенал. У нас мало людей... и мало коней, — сказал Пастушенко.

Степанов усмехнулся в колени, усмехнулся над собой: он давно удивлялся, почему больше верит полковнику, дворянину, чем поручику из адвокатской семьи. Однако оба они рассуждают правильно, практично. И по-большевистски. Крестьянские отряды не сдержат кайзеровских войск. Но они начнут крестьянскую войну и покажут империалистам, насколько: крестьянам дорога власть Советов, тем самым будут революционизировать немецких солдат, таких же крестьян и рабочих.

Степанов чувствовал, что командира нервирует его молчание. Богунович в меньшей степени, чем даже полковник, свыкся с солдатским контролем над деятельностью офицеров и нервничал так не впервые.

Степанов поднялся с дивана, шагнул к столу, весело засмеялся.

— Давай твой приказ.

Богунович сжался: однажды Степанов вот так взял приказ и порвал, чем сильно оскорбил его. Нет, этот приказ Степанов подписал.

5

Пурга разгулялась вовсю. Вершины старых сосен раскачивались так, что делалось страшно: настывшие, они могли сломаться и упасть на головы.

Деревья натужно скрипели и трещали под напором ветра. А весь бор гудел, как море при многобалльном шторме, когда волны бьют в берег с разрушительной силой.

Но внизу под соснами было уютно, тихо. Давно наезженная колея только припорошена снегом, не то что в поле, где дорогу перемели сугробы и кони проваливались по колено.

В лесу конь шел легко. Изредка весело фыркал. Тут же отзывался позади конь вестового. Сопровождающего солдата заставил взять Пастушенко, заставил с настойчивостью командирской и отцовской. Вообще старику было непонятно неожиданное желание Богуновича в такую непогоду посетить свой третий батальон и соседний полк. Пастушенко не любил командира этого полка эсера Бульбу-Любецкого.

Богунович постеснялся сказать действительную причину, почему ему обязательно нужно съездить к Бульбе. Удивил он Пастушенко, а особенно Степанова, и приглашением на встречу Нового года.

Степанов усомнился даже:

— Вы серьезно?

— Неужели я какой-нибудь паяц — позволю себе шутить с уважаемыми людьми?

Умерил бег коня. Ослабил ноги в стременах, опустился в седле, как в кресле, не по-кавалерийски. Знал: солдат-казак из приданной полку сотни, от которой теперь осталось человек пять, остальные дезертировали, или, по терминологии Степанова, самодемобилизовались, осудит такую его «пехотную посадку». Но было не до офицерского гонора.

Приятно, как в люльке, качаться на спине резвого иноходца.

Богунович вслушивался в поскрипывание седла, вдыхал запах конского пота, хвои, своего полушубка и папахи (сбросил шинель и шапку, в которых ходил к немцам) и думал... Думал о Мире, о родителях, о Новом годе. Но мысли не витали в бесконечности прошлого или будущего, не терялись в пространстве, они кружили, делали большой или малый круг, не отрываясь от главного, чем была тяжелая, как земное ядро, мысль о мире.

Богунович только что побывал в третьем батальоне, которым командовал его бывший ротный фельдфебель Берестень, большевик со стажем — руководитель выступления гомельских железнодорожников в пятом году. Но об этом он, Богунович, узнал только после Февральской революции и был немного обижен и разочарован своей близорукостью — более года не мог рассмотреть, что за человек его помощник: под видом проворного по хозяйственной части и строгого с солдатами фельдфебеля скрывался опытный конспиратор, пропагандист. Теперь Берестень — лучший командир батальона, у него больше всего людей, и он, не надоедая начальству, каким-то непостижимым образом умудряется кормить их.

Батальон его занимает позиции между деревнями Старый Бор и Катичи, в голом поле. Там свету белого не было видно. Снег слепил и коней, и их с казаком. Но Богунович не поехал в деревню, в штаб, а свернул по

насту к передней линии окопов.

Ехал с холодком в душе: если с нашей стороны боевого охранения нет и окопы забило снегом, он, заблудившись, легко может очутиться у немцев. Второй за день визит к врагу в разных личинах может плохо кончиться: загонят в лагерь пленных, а то и совсем засудят как шпиона.

Нет, часовые остановили. В ротном блиндаже, где горела чугунная печка, было немало солдат. Люди понимали, что и в дни перемирия, и в метель позиции оставлять нельзя. Не то что утром во втором батальоне. Скоро появился и сам Берестень. Началась беседа. Первый вопрос солдат: будет ли подписан мир? когда?

Богунович рассказал, как они несколько дней назад встречали наркома по иностранным делам Советской Республики Троцкого, проехавшего с делегацией через станцию в Брест-Литовск для ведения мирных переговоров.

— Нарком сказал всем, кто был на станции: мы привезем вам, товарищи, мир.

Солдаты радостно зашумели.

Теперь, едучи по лесу, слушая гул сосен и скрип седла, Богунович с нехорошим осадком в душе думал, что сказал он солдатам неправду: не говорил таких слов нарком. Это ему, командиру полка, хотелось, чтобы нарком сказал их. И солдатам, глядевшим на него жадными глазами, ловившим каждое слово, хотелось их услышать.

А вообще-то от встречи с Троцким у него осталось противоречивое чувство.

Телеграмма о том, что делегация проедет через их станцию, взволновала всех, но особенно двух человек — Миру и начальника станции литовца Баранскаса. Загадочно молчаливый старый железнодорожник, кажется, все переживший и ко всему привыкший — к

войне, к офицерским посулам расстрелять за задержку эшелонов, к революциям, к солдатским погромам пакгауза, — вдруг стал говорлив, суетлив, как ребенок, ходил по пятам за ним, — Богуновичем, будто хотел в случае чего спрятаться за командира полка. А Мира… Миру буквально лихорадило, когда она начинала говорить о Троцком. Нашла газеты с его речами, статьями, перечитывала их с карандашом, делая выписки. Когда Богунович попытался пошутить на этот счет, девушка готова была броситься на него с кулаками; во всяком случае, не постеснялась обвинить в буржуазном нигилизме, эсеровском анархизме и других смертных грехах. Слава богу, у него хватило мудрости принять все это с юмором.

Сам он тоже радовался, только втайне: коль едет сам нарком, значит, переговоры идут успешно и можно ожидать подписания мира.

У него и Пастушенко было немало хлопот: связь с немецким командованием, ритуал встречи наркома и многое другое. Если по связи были определенные инструкции, то по процедуре встречи — никаких указаний. Может, ничего и не нужно? К такой мысли склонялся Степанов: не царский министр, народному комиссару все эти чествования ни к чему, он такой же человек, как все. Но Пастушенко рассудил иначе: на станции необходим какой-то караул, для порядка, в конце концов, и командир полка должен представиться наркому.

Богуновичу понравилась эта идея: он скажет наркому, едущему подписывать мир, в каком состоянии полк, насколько оголен фронт. На станционном перроне построили взвод солдат. Это было кстати, потому что, хотя прибытие специального поезда держалось в секрете, на станции за какой-то час стоянки — пока шли телеграфные переговоры с немецкими властями соседней станции — собрались сотни солдат, крестьяне из имения, из села. Люди бежали запыхавшиеся, возбужденные. На что они хотели посмотреть — на поезд или на Троцкого?

Вечерело. Подмораживало. На западе небо горело зловещей краснотой.

Пока ожидали поезда на перроне, настылые доски которого трещали и звенели от каждого шага (Баранскас все время бегал), Богунович наблюдал за Мирой. Ее лихорадило самым натуральным образом. Щеки пылали, как заря в небе, а глаза излучали солнечную радость.

Состав был из двух классных и одного почтового вагонов. С паровоза спустились два матроса в легких для января бушлатах, с маузерами, деревянные кобуры которых били их по коленям.

Богунович и Пастушенко представились матросам и спросили, выйдет ли нарком. Те пожали плечами и пошли в телеграфную. Наконец из заднего вагона вышел полный человек в генеральской шинели. Пастушенко узнал его: генерал Самойло. Когда-то они встречались. Богунович представился ему и, немного раздраженный невниманием тех, кто находится в вагонах, к ним, стынувшим на перроне, требовательно заявил, что им необходимо видеть наркома.

Генерал поднялся в первый вагон и через некоторое время пригласил их войти. Вошли в вагон пятеро: Богунович, Пастушенко, Степанов, Мира и уполномоченный фронтового комитета Каминский.

Их встретил человек в золотом пенсне, с шапкой густых черных взлохмаченных волос, будто забыл причесаться, с такой же вскудлаченной бородкой, которую он время от времени гладил — ласкал, как котенка. Одет он был по-домашнему: поверх простой черной рубашки куртка, подбитая заячьим мехом. Движения его были стремительны, с характерным жестом правой руки — жестом профессионального оратора.

Встретил Троцкий их как хороших знакомых. Протянул руку все тем же ораторским жестом. Здороваясь с Мирой, весело засмеялся, смутив девушку.

«Прошу вас, товарищи. Садитесь».

Но они, люди военные, не могли сразу принять такое демократичное приглашение. Богунович представился сам и представил своих коллег. Салон был роскошный. Полвагона. Длинный стол посередине, диваны, кресла, обитые бордовым бархатом, только со спинок спороты вензеля, но ткань, не выцветшая под вензелями, выдавала их рисунок. Это был специально оборудованный вагон бывшего министра иностранных дел Сазонова.

Богунович намеревался докладывать о положении на их участке фронта. Но его неожиданно перебила Мира. Заикаясь от волнения, она попросила:

«Лев Давидович… выступите перед людьми. Смотрите, сколько их собралось на станции».

Троцкий, не взглянув на окна, куда кивком головы показала Мира, приблизился к ней, видимо, желая лучше рассмотреть, глянул через пенсне, снял его и снова так же неуместно весело рассмеялся.

«Вы кто?»

«Агитатор комитета армии. Для работы с немецкими солдатами».

«С такими агитаторами мы разожжем пожар мировой революции», — и вдруг похлопал Миру по щеке. Ласково. Но Богунович увидел, что Миру это оскорбило, она даже побледнела и отступила назад. Его тоже неприятно поразил покровительственный жест. Расхотелось докладывать этому весело-самоуверенному человеку, согретому заячьим мехом, в хорошо натопленном шикарном салоне, о том, как голодает и замерзает армия.

Троцкий объяснял Мире уже серьезно, видимо, поняв неуместность своего жеста:

«Дитя мое, у меня неважно с горлом. А мне завтра одному нужно переговорить четырех

империалистических шакалов: Кюльмана, Чернина, Попова и Талаат-пашу. У этих господ большой опыт дипломатической демагогии. Переговоры будут тяжелые. Вы должны понять это… Нашей делегации…»

Тогда так же неожиданно, как Мира, начал говорить Пастушенко. Сказал, что армия, по существу, развалилась и не способна держать фронт, а тем более остановить немецкое наступление. Но старый служака тоже волновался и сказал в одном месте не «товарищ нарком», а «господин нарком». Богуновича ошибка полковника развеселила. А Миру передернуло. Снова разгорелись ее щеки. Но только ли от наркомовского похлопывания или ошибки Пастушенко? Богунович уловил, как осматривает она салон, как задержала взгляд на бокалах, на вазах с печеньем и фруктами, стоящими на столе.

Видимо, этот ее взгляд перехватил Троцкий и жалобу Пастушенко на то, что солдаты голодают, понял по-своему. При прощании он задержал Миру и дал ей плитку шоколада.

«Моему юному агитатору! Успехов вам в разжигании пожара мировой революции!»

Кровь ударила Богуновичу в голову, зазвенело в ушах. Если до этого он на все смотрел с юмором, в том числе и на Мирино волнение, то теперь его охватила злость на Троцкого. Как можно не понимать? Как далеко нужно отойти от этой романтичной девушки, чтобы не видеть ее высокого порыва и так унизить дурацким шоколадом? А она действительно-таки растерялась: вышла из вагона, держа шоколад в руке. Пришлось шептать ей: «Спрячь в карман».

Мира незаметно исчезла — пошла на квартиру, не дождавшись отхода спецпоезда.

Понуро молчал Степанов, когда они шли со станции в имение, в штаб. Вздохнул тяжко. Богунович догадывался о мыслях рабочего, бывшего каторжанина. Понял, конечно, это и полковник, вдруг сказал

убежденно, горячо:

«Все правильно! Все правильно, господа! — снова оговорился старик. — Едет делегация великой страны. На уровне министра. Не казните меня, не имеет значения, как эта государственная должность называется теперь. Едет вести переговоры о мире. С министрами Четверного союза. Чего же вы хотите? Чтобы они ехали в теплушке? С солдатскими сухарями? Не нужно ронять честь Российской державы! Мы великая держава, товарищи! Великая Русь! Богатейшая страна в мире! Пусть разорена... Но для своих дипломатов мы не пожалеем... Чтобы высоко несли честь! Честь русского народа!»

Степанов вдруг засмеялся:

«Удивительный вы человек, Петр Петрович!»

Хорошо успокоили и тронули тогда Богуновича и слова дворянина, и слова рабочего, и он подумал, что эти же слова полковника он, когда вернется на квартиру, передаст Мире, потому что ее мысли пошли, скорее всего, в том же направлении, что и у Степанова.

Но Мира в тот вечер была ласковая, добрая, прощала ему все «барские выкрутасы», много говорила, но на такие темы, что Богунович догадался: не хочется ей, чтобы он начинал разговор о встрече с наркомом, боится она этого разговора — самой себя боится. И он, хорошо понимая ее, ни разу после не упомянул при ней Троцкого, хотя газеты пестрели его именем. Ему же поза Троцкого — эпизод с похлопыванием по щеке, с шоколадом, тогда возмутившие, — потом представлялась смешной игрой человека, уверенного в своем величии. Видел он таких «наполеонов» и дома, в Минске (Курлова, например), и в Петербургском университете, и особенно на фронте. Все они выглядели смешными. Эти люди почти полностью размыли его преклонение перед авторитетами — политическими, военными, даже литературными (к учению Толстого давно относился скептически), зато Чехова признавал, потому что Антон Павлович ни разу не стал в позу

праведника, ни в одном произведении. Богуновичу хотелось быть таким, как Чехов: просто любить людей. Просто любить...

Троцкий вспомнился не только потому, что солдаты настойчиво спрашивали о мире. Вспомнился по другому поводу. Поймет ли Мира его сегодняшнюю затею с Новым годом? Не посчитает ли барским выбрыком? Но ему хотелось устроить ей хотя бы маленький праздник — встретить Новый год с шампанским, с подарками.

Как-то в разговоре она призналась, что никогда не пробовала шампанского. Он удивился: окончила гимназию и не попробовала шампанского? Семейный закон? Но смогла же она разорвать все другие каноны. Рассказывала с гордостью, что отец ее и брат — передовые люди, брат — рабочий-железнодорожник, большевик. Выходит, и большевики пуритане? Она, между прочим, проявила почти детскую наивность — спросила удивленно:

«А ты пил?»

Он засмеялся.

«Ты спроси: чего я не пил? От лучших заморских вин до самой мерзкой самогонки, пахнущей дегтем. Даже английскую жидкость для радиаторов автомобилей однажды выпили. Неделю животами мучились».

Мира смотрела на него испуганными глазами:

«Какие вы... господа!»

«Какие?»

«Гадкие. Развращенные. Как я полюбила тебя такого?»

Шампанское можно было бы достать и в местечке — у торговцев-евреев, там же купить и подарок. Но торговцы не признают никаких бумажных денег. Давай им золото! А откуда у него золото? Один крестик — материнский подарок, который он всю войну носил на шее. Мира его высмеяла, заставила снять, и ему какое-

то время было не по себе, не потому что изменил богу, в бога давно не верил; казалось — обидел мать, уступив любимой. Нет, крестик и в кармане ему очень дорог, и лишиться его он не может!

Вот почему он вспомнил о своем соседе Бульбе-Любецком. У этого эсера всегда имелись самые отменные напитки, закуски, одежда, красивые вещи. Где он их брал — было загадкой для всех армейских служб, как загадкой был и сам Бульба, долго выдававший себя за потомка Тараса Бульбы; не только солдаты, но и некоторые офицеры верили в это. Сомневающихся Бульба вызывал на дуэль. Его боялись. Человек этот был легендой всего фронта.

В пятнадцатом году в штаб второй армии явился элегантный капитан с назначением, подписанным великим князем. С такими бумагами ему бы дали любую безопасную должность, но он попросился на самую опасную — командиром разведки дивизии. Правда, кто-нибудь другой и здесь умудрился бы отсидеться за солдатскими спинами. Бульба был не из таких. Он сам ходил в немецкий тыл и почти всегда с успехом — приводил «языков», приносил важные документы. Тогда они и познакомились: прапорщик Богунович раза два попросился с легендарным Бульбой в разведку.

А в конце шестнадцатого года грянул гром: военная жандармерия раскопала, что Бульба никакой не Бульба, никогда военной академии не кончал, сам присвоил себе звание, что он государственный преступник, которого охранка ищет десять лет, — известный эсер-террорист Назар Любецкий. За убийство черниговского полицмейстера был приговорен к смертной казни, но по дороге из суда в тюрьму сумел, будучи в наручниках, сбить с саней двух жандармов, кучера, вырваться на этих лошадях с центральной улицы в переулки и там бесследно исчезнуть.

В армии был дикий конфуз: назначение действительно подписал Николай Николаевич. В довершение всего за свои подвиги на фронте Бульба имел уже два ордена —

офицерского «георгин» и «Владимира». О нем писали газеты. За него заступился всероссийский авантюрист Распутин.

Учитывая давность истории с полицмейстером и фронтовой героизм, император смилостивился: лишил Любецкого наград, сорвал офицерские погоны и отослал в штрафной батальон — в «батальон смертников». Командиру батальона были даны специальные указания: быстрее подставить Любецкого под немецкие пули.

В первой же штыковой атаке Бульба исчез, тела его не нашли. Считали, что он перешел к немцам, так и в официальном рапорте вынуждены были сообщить.

Но после Февральской революции Бульба-Любецкий (теперь уже и в официальных документах его фамилия писалась так — сдвоенно) появился в своей дивизии в том же звании капитана и с приказом Керенского в кармане. Ходили слухи, что по дороге, где-то в Витебске, он свел счеты с жандармским полковником, раскопавшим, кто же такой Бульба. А бывшего командира штрафного батальона в присутствии офицеров отстегал нагайкой, объяснив, за что: тот когда-то кнутом ударил его.

«Я тебе не быдло, сукин сын, царский холуй. За один удар — получай семь!»

Потом его боялись даже генералы, особенно когда услышали, как он объяснялся с Керенским, прибывшим на фронт: «Саша, хреновину говоришь! Так командуют только дураки!»

В политическом плане Бульба-Любецкий — абсолютный путаник, в голове его перемешались все теории — эсеровские, анархистские, большевистские. Он считался ставленником главковерха, но соглашался с солдатами-большевиками, вскрывавшими предательскую сущность эсера Керенского, зло высмеивал Директорию.

«Римскими цезарями себя мнят. Пигмеи. Кретины. Большего балагана во всей истории не было!»

После Октябрьской революции комитет арестовал большинство офицеров штаба армии, а Бульбу-Любецкого рекомендовал командиром полка. Солдаты любили его за демократичность и отчаянную смелость. За это же, за смелость, — сам напросился когда-то с ним в разведку — Бульба уважал Богуновича. И за образованность. Любил с ним поспорить. Приезжал в гости.

Мире он не понравился. Как ни скрывала она свои отношения с Сергеем, Бульба догадался о них сразу и довольно солено пошутил. Да и о политике рассуждал так, что Мира заключила: «Анархист».

Штаб Бульбы размещался в лесничестве. Да было это непростое лесничество — охотничья усадьба магната Ходкевича, скорее кордон на границе с землями барона Зейфеля; говорят, два властелина, белорус и немец, с давних времен вели тайную войну, хотя иногда встречались здесь и вместе охотились то в лесах одного, то другого.

Кроме строений лесничества, здесь стоял деревянный двухэтажный особняк в швейцарском стиле — для хозяина и гостей. Особняк этот еще летом, когда немцы после неудавшегося русского наступления выровняли линию фронта, заняли под штаб полка.

Лесничество стояло на опушке бора. Неширокая гряда могучих сосен и аллея лип отделяли усадьбу от реки, красиво извивавшейся глубоко внизу, под обрывом. За рекой расстилался широкий луг, там проходила линия окопов. Бульба похвалялся, что ни один полковой штаб не размещается так близко от переднего края.

Давно занятый военными, охотничий дом сохранил внешний блеск, магнатское богатство. Стены были украшены рогами оленей и лосей, на них висели старинные и современные ружья, на полу в гостиной лежали медвежьи шкуры, правда, заметно попорченные

солдатскими сапогами.

Бульба, как хан, лежал на кожаных подушках перед камином, в котором жарко пылали березовые поленья, и читал толстую книгу. Увидел Богуновича — радушно поднялся навстречу, но спросил с тревогой:

— Что тебя занесло в такую непогоду?

— Проверял третий батальон. Оттуда — к тебе. В лесу тихо.

— У тебя еще есть батальоны? Счастливчик! У меня ни хрена не осталось, со всего полка наскребу ли роту-другую. Ну, спасибо, что заглянул. Мне было скучно. Сегодня мы с тобой нарежемся до зеленых чертиков. Раздевайся.

Богунович сбросил короткий полушубок и, только приблизившись к камину, понял, как сильно озяб. Наверное, даже кровь застыла, а разогретая пламенем камина, она запульсировала так, что закололо в пальцах рук и ног, в груди, застучало в висках.

— Нарезаться я не стану, но рюмку-другую выпью. Одубел. В поле — бешеный ветер.

Бульба пошел к буфету. Был он по-мужицки кряжист, косолап, во всем его облике чувствовалась большая физическая сила, хотя со спины ему можно было дать больше тридцати шести лег — пережитое не прошло бесследно.

Богунович подумал, что в этой осанке есть что-то до трагичности слабое, хотя раньше всегда восхищался силой Бульбы, физической и духовной.

Вернулся Бульба с початой бутылкой «Наполеона», с серебряными чарками. Упал на подушки.

— Отогрел задницу? Садись. Грей душу.

— Слушай. Как полковой комитет терпит такую жизнь твою? Меня наверняка расстреляли бы, начни я так

жить... когда люди голодают.

— Комитетчиков я потихоньку спаиваю. Ругаются. Угрожают. Но пьют, гады. Человек, Сережа, слаб.

— Я этого не сказал бы.

— Ты — идеалист. А большинство людей — реалисты. Знаешь, в чем моя сила? Я — реалист. Может, единственный из всей эсеровской верхушки. Даже Борька Савинков меньший реалист, чем я.

Богунович вспомнил утверждения Миры, что все эсеры — авантюристы в политике. Подумал: «Сказать бы это Назару!» — и засмеялся.

— Но Савинков — свинья, ради карьеры он зарежет отца родного. Я однажды дал ему по морде. Ты чего смеешься? Не веришь, что я реалист? Правильно. Не верь. Я такой же реалист, как и большинство людей. Жрать хочешь? В буфете хлеб и свеженина. Возьми. Я забыл... Становлюсь алкоголиком: пью и не закусываю.

За закуской Богунович не пошел. Забулькал коньяк, и он почувствовал тот удивительный аромат, в котором, казалось, таились все искушения мира. Протянув руку за рюмкой, снова весело подумал:

«Увидела б это Мира. Ох, как бы клеймила наши барские замашки».

Грея рюмку в ладонях, долго вдыхал целительный запах. Потом опрокинул одним махом и через минуту-другую почувствовал, как коньяк разлился по жилам.

Но — о, парадокс! — наслаждение словно спугнуло веселость, появилась мысль: Мира права в своих обвинениях — он действительно пропитан буржуазным духом, буржуазным бытом, пережитками мира, который гнил и своей гнилью, своими микробами заражал все вокруг. Взял книгу, оказавшуюся у его ног. Что читает Бульба-Любецкий? Историю французской революции?

— Хочу проследить аналогии. И понять: сколько

времени продержатся большевики?

— Если они заключат мир и осуществят Декрет о земле… дадут землю и волю — такая власть будет вечной.

Бульба удивился и спросил, казалось, с угрозой:

— Ты что? Вступил в их партию?

— Нет. Пока что не вступил.

— Черт с тобой. Вступай. Разрешаю. В свою партию не буду агитировать, пока не встану во главе ее. Дерьмовые у нас лидеры. Кретину Керенскому большевики гениально саданули солдатским сапогом под зад.

Вылетел как пробка. Так ему, идиоту, и надо. Я что ему говорил? Делай меня министром внутренних дел — я тебе наведу порядок. Так он даже полковника пожалел. А потом ждал от меня поддержки. А вот тебе, — Бульба сложил кукиш. — Свистун! Институтка! Педераст!

Богунович слышал раньше о его беседах с бывшим премьером и не очень верил в эти байки. А тут поверил. Если они с Керенским действительно старые знакомые, то Назар Любецкий, бесстрашный террорист, мог сказать что угодно, мог потребовать у лидера своей партии любой пост.

— И как бы ты наводил его, порядок? Вешал бы?

Бульба ответил с шутливым укором:

— Свинья ты, Сергей. Пьешь мой коньяк и думаешь обо мне как о Муравьеве. Никак бы я его не наводил — и был бы порядок. Порядок там, где его никто не наводит.

— Значит, анархия — мать порядка?

— Не повторяй чужие слова. Анархистом меня назвала твоя мадонна в шинели. Легко отдалась?

Больше всего Богунович не любил пошлости в мужских разговорах о женщинах, даже окопная жизнь не испортила его; пошлость по отношению к Мире особенно задела. Опасаясь, как бы Бульба не сказал чего-нибудь похуже, деликатно попросил:

— Не нужно, Назар. Я люблю эту женщину. Она — моя жена.

Бульба-Любецкий удивился:

— Нет, ты это серьезно? Женился? В наше время! Идиот!

— Чем худо наше время? Кончаем войну. Начинаем новую жизнь.

— Легко ты ее кончаешь, войну-то. И что думаешь делать в этой новой жизни?

— Поедем куда-нибудь в наше белорусское село и будем учить детей. Крестьянских детей. Сеять разумное, доброе, вечное.

Бульба всмотрелся в него, недоверчиво спросил:

— Ты издеваешься надо мной?

— Абсолютно серьезно.

Хозяин налил коньяку и, не предлагая, за что выпить, минуту молчал, всматриваясь в камин, потом поднялся, не торопясь, бросил в огонь одно, другое березовые поленья, оттуда, от камина, сказал;

— Завидую я тебе, Богунович. Цельный ты человек. А я… я сломан. Душевно. Я когда-то тоже любил. Ее замучили, сволочи. В тюрьме. Умерла от чахотки. Нет! — сказал решительно, упав на турецкий пуфик. — Я не готов учить детей. Мне хочется еще почистить мир от дерьма маузером и пулеметом. Нет. Я не убийца! Я ассенизатор. Выпьем. За тебя. И за нее. Она колючая, как ерш, но… В конце концов, каждый защищается как умеет.

Выпили.

Богунович спросил:

— Назар, у тебя есть шампанское?

— Тебе захотелось шампанского?

— Нет.

— Подожди. Ты хочешь справлять свадьбу?

— Нет, встретить Новый год. Она никогда не пила шампанского.

— Боже, какая святая чистота и наивность! Но это же буржуазные штучки, Сергей, — шампанское. Проклятая буржуазия! Как она нас разложила! Не приживемся мы у пролетариата. Выплюнет он нас.

— Не юродствуй. И помоги мне в одном: одеть ее потеплее. Тепло не помешает и пролетарию.

— Что хочешь? Шубу? Пальто?

— Нет. Шубу она не наденет. Кожушок какой-либо… казацкий.

— Будет тебе кожушок. Хочешь, женское белье дам? Французское. Крик моды тринадцатого года. Крик перед потопом.

— Где ты все это берешь? Бульба засмеялся.

— Ты не читаешь Маркса. Есть у него понятие: экспроприация экспроприаторов. Только большевики замахнулись на мировую экспроприацию, а я это делаю локально. И бескровно. Собираю дань со здешних торговцев. Почистил немецкие склады. — Бульба хохотнул, но тут же помрачнел. — А вообще все дерьмо, Сережа. Я никогда ничего не боялся. А тут сижу и со страхом думаю… Подпишут мир. Разойдутся последние солдаты. А я куда? Губернаторов и полицмейстеров не стало. Кого стрелять? Пойти на службу к Маше

Спиридоновой? Можешь ты представить меня Машиным адъютантом? Смех. Хотя она единственная эсерка, которую я уважал. Когда-то мы с ней заключили пари: кто больше отстреляет сановников. Добраться разве до монархиста Каледина? Шлепнуть его? Или с Савинковым свести старые счеты? Но… устал я. Или обуржуазился… от такой жизни. Может, в это… как его большевики назвали? — Чека податься? Говорят, они вылавливают бывших жандармов и министров, как бездомных собак. Но ловить типов, лишенных власти… Бр-р. Не по мне такая работа. Мертвечина. А я люблю живое дело. У меня казацкая кровь. Мне вольным атаманом нужно быть. Только где разгуляться?

6

Начальник станции Пятрас Баранскас скучал без дела. Станция была в двух километрах от переднего края, и через нее давно не шли поезда. А когда-то, до лета семнадцатого, когда фронт проходил под Лидой, эта маленькая станция казалась ему не менее значительной, чем узел Молодечно. Проследование спецпоезда с мирной делегацией, который не только дошел до станции, но пошел и дальше, на немецкую сторону, к Брест-Литовску, было для старого служаки событием, всколыхнувшим настолько, что он как бы пробудился ото сна. Раньше ходил небритый, не по форме одетый. А тут побрился, почистил мундир, фуражку, фонари, стрелки, стяжки, жезлы. Каждый день сам расчищал снег, других служащих на станции осталось человека три, не больше; телеграфистами были военные. Баранскас словно готовился к празднику или к большой ревизии. У него начались даже ссоры с женой, возможно, потому что жену и дочь он начал заставлять работать — чистить, мыть.

Раньше Богунович никогда не слышал в доме голоса хозяина, да и хозяйка говорила приглушенным шепотом. Только их шестнадцатилетняя дочь Юстина иногда повышала голос на мать или пела.

Пани Альжбета была полька со всеми отличительными

качествами правоверной католички и шляхтинки. Не в пример своему мужу, выбившемуся из мужиков, она ненавидела хамов. Кроме всего прочего, таила обиду на русских. При приближении фронта ей с дочерью пришлось уехать в глубь страны вместе с миллионной армией таких же беженцев. Там, в голодной России, хватила пани начальница лиха и, видимо, не смогла разобраться, где обида исходила от людей, а где от чиновных разбойников, раскрадывавших те мизерные крохи, что отпускались для несчастных беглецов по царской милости или из филантропии вельможных патронесс, демонстрировавших свой патриотизм пожертвованиями на госпитали, на беженцев. Пани Альжбета добилась возвращения назад, к мужу, хотя фронт стоял у самой станции и во время военных действий им с дочерью приходилось подолгу сидеть в холодном блиндаже за пакгаузом. Но она объявила с решительностью прирожденной польки: лучше умрет от немецкого снаряда, чем еще раз бежать.

На ее беду, красивому поручику вздумалось поселиться не в фольварке, а в доме начальника станции. В свои неполные сорок лет она сама еще втайне засматривалась на молодого командира полка. А потом заметила, что в него просто-таки влюблена эта дурочка Юстина. Альжбета испугалась за дочь и не спускала с нее глаз. Далеко ли до беды? У фронтовых офицеров не осталось ни чести, ни совести.

Но вдруг появилась маленькая, ладно скроенная агитаторша, и пан поручик сошелся с ней. Сначала Альжбета порадовалась: как бы отдалилась угроза от ее Юстины. А потом оскорбилась в своих чувствах правоверной католички: такой деликатный, культурный, образованный офицер привел в ее дом эту иудейку, с которой не венчался, не мог обвенчаться. Кто она ему? Пусть бы хоть объявил женой перед людьми! Будь ее дом не казенный, Альжбета показала бы им на дверь. Но как покажешь, когда в военное время хозяин всего казенного — станции, дома начальника — он, командир полка, что держит оборону. Плюнуть бы на все, да ее Пятрас никуда не поедет. Да и

куда ехать? Двадцать лет проработал на этой станции.

А потом Альжбета снова испугалась за дочь, увидев, с какой враждебностью та начала относиться к Богуновичу и к агитаторше. Можно было бы, пожалуй, радоваться что у Юстинки, как и у нее, матери, столь велика верность богу и своему чувству. Но она же глупая совсем, дитя, как бы не натворила беды — не сделала что над собой или не подстроила им, квартирантам.

Богунович тоже сразу почувствовал перемену в отношениях к себе матери и дочки. Но если спесивая неприязнь пани Альжбеты немного забавляла, то злой, как у обиженного зверька, огонь в глазах Юстины, вечно старавшейся прошмыгнуть мимо, не ответив на «здравствуйте», отравлял его счастье с Мирой. Женщин невозможно понять. Сначала и Мира не соглашалась идти на квартиру к начальнику станции. А теперь враждебность хозяйки и ее дочери начала словно бы и нравиться ей. На их враждебность она отвечала подчеркнутой вежливостью.

«Юстинка влюблена в тебя, Сережа! А может, и сама Альжбета. Какой ужас! Мне страшно делается от твоего успеха у женщин. Найдется такая, что уведет тебя от меня на поводке, как собачку. Но я не собственница. Я без буржуазных предрассудков. В новом обществе не будет ни моего, ни твоего. Все наше».

Он злился:

«Не мели чепухи. Неприятно слушать твои глупости. Я воспитан на Тургеневе и Чехове»,

Мира хохотала:

«Какой феодал! Какой феодал!»

Подогретый коньяком, разговором с соседом, парадоксальными анархистскими рассуждениями Бульбы-Любецкого, всегда его почему-то веселившими, Богунович возвращался в великолепном настроении,

давно такого не было: словно исполнились все желания. Слева, у колена, висела тяжелая сумка с бутылками, справа — легкий сверток с казакином для Миры. Ветер утих. На небе высыпали звезды. Крепчал мороз. Снег звенел под подковами у коней. Настоящая новогодняя ночь. Когда-то она приносила много радости. Пусть же принесет и сегодня! Пусть.

Подъехали к станции.

Богунович соскочил с седла, отвязал сумку и сверток, передал коня казаку, взял у него маленькую елочку, срубленную саблей в лесу. Поздравил казака с Новым годом, пожелал счастья.

Тот вздохнул. Понятно — отчего.

— Мне, брат Можаев, тоже домой хочется. Не грусти. Скоро уже. Скоро. Подпишут мир…

— Дай бог.

— Выпей за мое здоровье. — Он прихватил у Бульбы фляжку спирта для казака и его друзей.

— Рады стараться, ваше благородие.

— Отвыкай от благородия. Теперь все равны.

— Так точно!

Распрощавшись с казаком, на миг с тревогой подумал: куда подастся этот удивительно дисциплинированный солдат, когда демобилизуется и приедет к себе на Дон? На митинги не стремится. К Каледину его не потянет? Да мысли эти промелькнули в одно мгновение. Увидел освещенное окно своей комнаты — обрадовался. Но мелькнули за заледеневшими стеклами две тени — кто там у Миры? Бегом бросился в дом.

В передней его встретила Юстина. Из глаз ее сыпались молнии, как с грозового неба. Кинулась к нему со сжатыми кулачками.

— Вы бардзо недобры чловек! У вас нема сэрца. Вы — гадкий! Вы — паганы! — Она путала польские, русские, белорусские слова, чего раньше за нею не водилось — говорила по-русски лучше матери.

Богунович был ошеломлен неожиданным наскоком и не мог понять, что случилось. Наконец Юстина объяснила:

— Она плакала… Как она плакала. Ругала себя. А ругать нужно вас. У вас нет сердца! Она больна. У нее такой жар, такой жар…

— Юстиночка! Мое доброе, славное дитя!

Богунович поймал ее руку и поцеловал. Смутившись, девушка вспыхнула и убежала на кухню.

Встревоженный, он сбросил полушубок, папаху, похукал на руки, чтобы согреть их, и с робостью, постояв немного перед дверью, ступил в свою комнату.

Горела лампа. Не их маленькая, настольная. Хозяйская, двенадцатилинейная. В комнате была пани Альжбета. Мира лежала на кровати, черные волосы ее были широко рассыпаны по подушке.

Богунович бросился к кровати.

Хозяйка сказала укоризненно:

— Ах, пан поручик! Пан поручик!

Мира увидела его, быстро приподнялась, но Альжбета решительно, как непослушного ребенка, уложила ее обратно на подушку.

— Нет-нет, милая моя! Лежать! Лежать! Я только что поставила ей банки, напоила липовым чаем. У нее был такой жар, такой жар, — сказала женщина теми же словами, что и ее дочь, но более спокойно.

Богунович склонился над кроватью, осторожно взял Мирину горячую руку в свои холодные ладони. Мира другой рукой погладила его волосы, щеку.

— Где ты был?

— Я ездил в… третий батальон. — Зная, что она не любит Бульбу, не хотел сразу признаться, где был.

— Тут недалеко стреляли. Почему стреляли? Кого убили? Я так боялась. За тебя. Какой это жуткий страх! Прости меня, прости, что обидела тебя. Я больше не буду. Никогда. Если бы ты знал, как я люблю тебя!

Она стеснялась сказать это ему одному. Предпочитала говорить при женщине, еще утром не отвечавшей на приветствие.

У Богуновича стало солоно в горле; он припал губами к Мириной руке.

Альжбета, вытерев слезы умиления, сказала укоризненно:

— Мужчины, дитя мое, никогда не ценят нашей любви, у них нет сердца, — и уже совсем строго: — Пан офицер, от вас тянет холодом. Держитесь подальше от больной.

Богунович послушно поднялся, поклонился хозяйке.

— Спасибо вам, пани Альжбета.

— Ах, что вы! Не за что. Я — мать, пане поручик, — и, смущенная и обрадованная, вышла из комнаты.

Мира сказала:

— Сережа, как я боялась за тебя! Я никогда не думала, что могу так… бояться. Но я пережила и счастье. Ты знаешь, я много говорила о братстве людей, но, может, только сегодня по-настоящему поняла, что это такое, когда все мы — братья и сестры.

Потом пришли Пастушенко и Степанов. Объяснили причину вечерней стрельбы. Отряд Рудковского поймал контрабандистов, перешедших с немецкой стороны. Одного убили, двоих арестовали. Немцы не вмешались:

бой был на нашей стороне, в целой версте от передовой.

Встречали Новый год все вместе. Хотя Баранскасы по католическому календарю встретили свой Новый год несколькими днями раньше, они тоже были по-праздничному возбуждены — и сам начальник станции, и его гонористая жена, и Юстина. Накрыли стол в зале. К тому, что принесли военные, привез Богунович, прибавили кое-что из своих небогатых припасов. Украсили елочку. Зажгли свечи. Подогретое — для Миры — шампанское пили у ее кровати.

Она сидела, закутанная в хозяйский плед, обложенная подушками. Юстина причесала ее, вплела в подстриженные черные волосы белый бант; с бантом этим, раскрасневшаяся, она выглядела гимназисткой младшего класса, глаза ее, как влажные сливы, странно блестели.

Они — четыре мужчины и две женщины — стояли в тесной комнатке и все поздравляли ее, почему-то одну ее. Мира благодарила, повторяя:

— Вы добрые. Вы такие добрые. Я люблю вас.

Шампанское она пила маленькими глотками, по нескольку капель, как бы дегустируя. Признала:

— А это вкусно.

Все засмеялись. Всем было весело и радостно.

Потом с ней осталась Юстина. А они сидели в зале за праздничным столом. Только Богунович несколько раз заходил проведать больную. Но Мира тут же отсылала его назад.

— Мне так хорошо. Мне так хорошо с Юстиной. Ступай.

Пришла в зал Юстина, шепотом сообщила:

— Уснула.

Мужчины на минуту смолкли, потом говорили

вполголоса; так говорят деликатные люди, когда рядом засыпает ребенок.

Богуновичу было необычно радостно от этой чуткости, теплоты людской, доброты. Вспомнились Мирины слова о братстве. Он чувствовал себя в первую ночь Нового года совсем счастливым. Он верил в счастье.

Глава вторая

Генеральный штаб

1

Конь, весело фыркая, бежал легкой трусцой. Кучер подгонял его так же весело — не русскими понуканьями, а свистом и своеобразным чмоканьем. Подковы дробили укатанный снег, на кучера и ездоков летели мелкие льдинки.

На елях, обступивших дорогу, лежали толстые шапки снега, пригнув нижние ветви к самой земле, утопив их в сугробах.

День был пасмурный, но на удивление тихий, какой бывает только здесь, на Карельском перешейке.

Владимир Ильич с детским жадным интересом любовался зимней природой. Он ощущал красоту зимы не умом — сердцем, всем существом. Недалеко отсюда, в Разливе, он жил прошлым летом и полюбил карельские пейзажи, сроднился с ними так же, как когда-то в детстве с волжскими. С сентября не удавалось вырваться за город. Три месяца напряженнейшего труда.

Начала болеть голова. Владимир Ильич имел неосторожность признаться сестре. Маняша тут же, конечно, выдала его Надежде Константиновне. А потом кто-то из них посвятил в «тайну» и Александру

Михайловну Коллонтай, и женщины, все вместе, настояли, чтобы он попросил у Совнаркома короткий отдых и поехал в санаторий «Халила». Вырваться было нелегко. В истории человечества еще не было опыта строительства социализма, писались только проекты, до Маркса все утопические. Практика подбрасывает проблемы, каких никто из теоретиков не мог предусмотреть. Нужно решать их ежеминутно. А людей мало. Нет, людей немало. Революционеров — рабочих, солдат. Мало образованных большевиков. Многие из бывших социал-демократов запятнали себя соглашением с буржуазией и продолжают выступать против революции, против диктатуры пролетариата. А некоторые из большевиков безбожно путают и в теории, и в практической работе. Наисрочнейший вопрос социалистического строительства, укрепления Советской Республики — подписание мирного договора с Германией.

Еще в вагоне у Ленина перестала болеть голова. Владимир Ильич почувствовал себя бодро, настроение поднялось, он по-детски радовался снегу, елкам, быстрой езде и испытывал благодарность к жене и сестре за их инициативу. Искал возможности как-нибудь высказать это. Правда, когда выезжали со станции Усикиркка, он еще недовольно похмыкал и раза два оглянулся, услыхав позади второго коня и увидев в санях, ехавших следом, кроме комиссара Финляндской железной дороги, незнакомого человека. Понял, что осторожный финн Рахья прихватил охрану.

Хмыканье насторожило Надежду Константиновну, не сразу сообразившую, чем Владимир Ильич недоволен.

Они посадили его посередине, хотя он и сопротивлялся, говорил, что, если занесет на ухабе и выпадет из саней женщина, он себе этого никогда не простит. «Какой я после этого джентльмен? Позор!»

Женщины думали не об ухабах, а о том, что между ними Ильичу будет теплее. Кожушок из тех, что принесла Коллонтай, он себе взял самый короткий, старенький, им достались настоящие шубы. Правда, Рахья дал на

станции еще тулуп, но Владимир Ильич отказался надеть его, накрыл только ноги всем троим. Возможно, из-за тулупа женщины так настойчиво усаживали его в середину, зная, что, сев с краю, он накроет ноги только им. А так куда денешься, если нужно думать и о Надежде Константиновне, сидевшей слева, и о Марии Ильиничне. Сколько раз он инстинктивно потягивал кожух то к Наде, то к Маняше, но, замечая, что своей заботой стягивает его с другого близкого человека, недовольно хмыкал. Хотя тут же весело приводил в мыслях политические аналогии. «При таком положении с кого ни стяни — накроешь себя. Позиция, как у Троцкого». Вдруг засмеялся вслух.

— Ты чего, Володя? — спросила Мария Ильинична.

— Как сказала женщина? Теперь не надо бояться человека с ружьем? Прекрасно сказала! В этом вся суть революции. Человек с ружьем — это тот же рабочий, тот же крестьянин. Не стражник. Не жандарм.

В вагоне, кроме Ленина и его спутников, ехали и другие пассажиры. Рахья перевел Владимиру Ильичу разговор двух женщин-финок. На вопрос одной из них, как та не побоялась пойти в лес нарубить дров, другая ответила: «Раньше бедняк жестоко расплачивался за каждое взятое без спроса полено, а теперь, если встретишь в лесу солдата, то он еще поможет нести вязанку дров. Теперь не надо бояться больше человека с ружьем».

Ленин несколько минут говорил о принципах новой, вырастающей из Красной гвардии социалистической армии, которая будет создана, несмотря ни на какие левацкие фразы и ни на какие условия немецких империалистов.

— Какой бы договор ни подписали — а мы подпишем его! — мы создадим рабоче-крестьянскую армию. Без армии революцию задушат.

Надежда Константиновна понимала, что это не просто дорожный разговор, так Владимир Ильич работает — в беседе с близкими людьми, с товарищами по партии

проверяет тезисы будущей статьи или, может, целой книги. Любит, чтобы спорили с ним, в споре хорошо шлифуются мысли.

Женщины слушали молча. Во-первых, они были согласны со всем, что он говорил, а во-вторых, еще в Петрограде условились между собой: в санатории создать такую жизнь, чтобы Владимир Ильич как можно меньше работал и как можно больше отдыхал. В то, что он совсем может не работать, не верили. Человек этот и во сне работает. В эмиграции, помнила Надежда Константиновна, он много раз рассказывал по утрам, что видел во сне политические комбинации. Но во сне они были неправильные, соглашательские, и Ленин смеялся над своими снами.

«Подумай, Надюша, я согласился с Мартовым. Нет, ты можешь представить такое?» — и весело заливался смехом.

Мария Ильинична нашла выход, чтобы отвлечь брата:

— Володя! Снегири!

Владимир Ильич сразу же переключил внимание с политических рассуждений на птиц, вспорхнувших с елки, воскликнул с детской непосредственностью:

— Где? Где?

Увидел снегирей на другой ели, они купались в снегу — красные комочки в белом снегу.

— Ах, снегири! Краса нашей русской зимы. Мы с тобой, Надюша, не видели их сто лет. Когда я видел снегирей последний раз? Ты помнишь, были они в Шушенском? Нет, не было. Иначе я помнил бы. Я так хорошо помню снегирей в Симбирске. Мы кормили их… с Сашей…

Вспомнив брата, Владимир Ильич умолк. Мария Ильинична положила свою руку в старенькой перчатке, связанной еще матерью, на руку брата, перчаток ему так и не приобрели, просили, чтобы он держал руки в карманах или под кожухом. Но, привыкший к

энергичной жестикуляции, Ленин не переносил неподвижности, он и так был зажат в возке, и вначале, когда спорили о местах, недовольно пошутил: «Вы сели как конвоиры».

Минуту помолчали. Так было всегда, когда вспоминали Александра или мать.

Потом Надежда Константиновна спросила:

— Тебе не холодно, Володя?

Ленин ответил шутливо:

— Нет, вы меня принудите пересесть в сани к товарищу Рахье. Вы знаете, как Рахья охранял нас в Разливе? О, это великий конспиратор! И удивительная деликатность. Финская. Он не задал ни одного вопроса не по существу, хотя не скажешь, что ему свойственна финская молчаливость, о которой рассказывают анекдоты. Нет, он веселый человек, — на мгновение задумался и снова о том, что вдруг взволновало: — Так были в Шушенском снегири, Надя?

— Кажется, были.

— Кажется? Или ты уверена?

— Ей-богу, не помню, Володя.

— Ах, какая у нас память стала! Думаю, они там были летом. А летом, когда столько птиц и снегирь меняет окраску, на него не обращаешь внимания. Для этого нужно быть орнитологом. Спрошу у Сталина или у Свердлова: видели они в Сибири снегирей? — и засмеялся какой-то своей мысли: — Сталин мог не видеть. Но Яков Михайлович должен был увидеть. У него острый глаз.

— Я спрошу у Ольминского, — сказала Мария Ильинична. — Михаил Степанович все знает.

Ленин потер руки — знакомый жест: так он делает, когда вспоминают при нем любимых им товарищей.

— Ольминский историк, экономист, финансист. Но не натуралист. Нет, не натуралист.

— Он эрудит. Правда, иногда сомневается. Недавно я дала ему статью «Социальная революция и Максим Горький». Он посоветовал показать тебе.

— «Социальная революция и Горький»? Чертовски интересно! Это то, что нужно для строительства новой культуры. Надеюсь, ты захватила статью с собой?

Мария Ильинична растерялась — сказать, что статья с ней, — значит, нарушить их с Надей сговор; Надежда Константиновна наклонилась и выразительно посмотрела на золовку.

— Нет, не взяла.

Владимир Ильич зажмурился, как бы сдерживая смех.

— А чего вы моргаете одна другой? Нет, вы плохие конспираторы. Вот что я должен вам сказать. Статью ты мне покажешь. «Правда» должна дать такой материал.

Женщинам было весело. Им было радостно оттого, что очень дорогой человек так бодр, радостно возбужден. Значит, морозный воздух снял боль. А это главное. Самое главное.

Весело фыркал конь. Мелкие льдинки летели из-под копыт в лицо, но это тоже было приятно.

Тихонько посвистывал кучер, чтобы не мешать беседе седоков.

С дороги напились вкусного чая (в Смольном такого не было) с еще более вкусными булочками санаторной выпечки (таких во всем Петрограде не было). Утомленным работникам организовывали поездку в «Халилу» на короткое время, на неделю, не больше, и просили финских товарищей в первую очередь подкормить их: в Финляндии было не так голодно, как в Петрограде.

В теплой столовой за горячим чаем хорошо отогрелись. Там же поспорили из-за комнат — где кому жить. По просьбе Коллонтай директор санатория выделил Ленину отдельный домик на две комнаты: одна большая, светлая, с окнами на березовую рощу, другая маленькая, типичная финская спаленка. Ленин посмотрел домик и категорически заявил, что в большой комнате будут жить женщины, ему комната эта не нравится, но очень приглянулась та, маленькая.

Сестра и жена хорошо знали его хитрость — остаться одному, чтобы работать. Поэтому они запротестовали не менее решительно. Надежда Константиновна шутливо пожаловалась:

— Подумай, Маша, как можно жить с таким упрямым человеком.

Но доводы Ильича не помогли, женщины на компромисс не шли. Пришлось ему подчиниться, по-своему выказав неудовольствие:

— Для пользы дела я умел договориться с самыми заядлыми оппортунистами. А вот с вами, выходит, договориться невозможно.

— Считай, что мы договорились. Для пользы дела, — не без юмора успокоила его сестра.

Пошли гулять.

В санатории отдыхало человек пять большевиков из Петрограда. Они сразу окружили Ленина. Среди них был Муранов, член редколлегии «Правды». Мария Ильинична попросила его:

— Матвей Константинович, не занимайте Ильича делами. Ему крайне необходимо отдохнуть.

Они, женщины, пошли вперед, мужчины остались сзади.

Слышали, как громко смеялся Владимир Ильич над каким-то веселым рассказом; веселил, видимо,

Лашевич, умевший посмешить историями о своих земляках-одесситах. Хорошо, что собеседники не втягивают Ильича в серьезные политические разговоры, на которые он тратит столько энергии, а заряжают веселостью; веселье — лучший лекарь.

Но скоро смех затих.

Когда Надежда Константиновна и Мария Ильинична, сделав круг по расчищенной дорожке, вышли из боковой аллеи, то увидели мужскую группу поредевшей: Ленина в ней не было.

Они посмотрели друг на дружку, невесело улыбнулись, поняв, что их благие намерения тщетны.

Мария Ильинична еще попыталась как бы утешить себя и невестку:

— Гуляет один?

— Нет, Маша. Работает. В его несессере неоконченные статьи, которые я не посмела выложить.

Ленин сидел за столом и писал с невероятной быстротой, удивлявшей всех, кто впервые видел, как он пишет.

Надежда Константиновна остановилась у двери с молчаливым укором.

Владимир Ильич глянул на нее и весело сказал:

— Ты знаешь, Муранов говорит: снегирей в Сибири целые стаи. Полно снегирей!

«Можно подумать, он пишет о снегирях». Надежда Константиновна хорошо знала эту давнюю хитрость Ильича: разговором о постороннем отвлечь внимание от своей работы. Лучше ему не мешать, мысли его в такой момент стремительно наплывают одна на другую. Вон как спешит записывать их! А сам говорит:

— Есть снегири! Странно, почему я не помню… Когда

он снова склонился над бумагой, Надежда Константиновна, ничего не сказав, тихонько вышла из комнаты.

Владимир Ильич, заметив ее уход, сказал про себя с укором: «Ай-ай. Как нехорошо», — и еще ниже склонился над столом.

Ленин писал:

«Социализм не только не угашает соревнования, а, напротив, впервые создает возможность применить его действительно широко, действительно в массовом размере, втянуть действительно большинство трудящихся на арену такой работы, где они могут проявить себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты, которых в народе — непочатый родник и которые капитализм мял, давил, душил тысячами и миллионами.

Наша задача теперь, когда социалистическое правительство у власти, — организовать соревнование».

Через два месяца после победы революции Ленин призывал к соревнованию по выявлению талантов рабочих и крестьян, к соревнованию экономической инициативы трудящихся. «Учет и контроль — вот главная экономическая задача каждого Совета...» В учете и контроле, повсеместном, всеобщем, универсальном, за количеством труда и за распределением продуктов — в этом сущность социалистических преобразований.

Ленин доказывал, что нужно время, чтобы сломить сопротивление буржуазии, и направлял гневный саркастический огонь критики против интеллигентов, которых испугала революция, которым хочется остаться организаторами и начальниками, хочется по-прежнему командовать. Нужно сломить их сопротивление!

Интеллигенты дают великолепные советы и руководящие указания, но оказываются до смешного, до нелепого, до позорного «безрукими», неспособными

провести в жизнь эти советы и указания, провести практический контроль за тем, чтобы слова превратились в дела. Вот где без помощи, без руководящей роли практиков — организаторов из народа — не обойтись.

Ленин высказывает огромную веру в организаторские таланты рабочих и крестьян. И тут же предупреждает, что нужно бороться против всякого шаблона и попыток установления единообразия сверху, к чему так склонны интеллигенты. Полный простор инициативе масс, соревнованию масс!

«Большевики только два месяца у власти… а шаг вперед к социализму сделан уже громадный», — делает вывод Владимир Ильич в другой, там же, в «Халиле», написанной статье. Но тут же предупреждает против сентиментального, нелепого, интеллигентски-пошлого представления о «введении социализма»: «Мы всегда знали, говорили, повторяли, что социализм нельзя «ввести», что он вырастает в ходе самой напряженной, самой острой, до бешенства, до отчаянья острой классовой борьбы и гражданской войны…»

Нет, Владимир Ильич не писал в «Халиле» все время. Он умел и отдыхать. В первый же день под вечер пошел по лесу на лыжах и не возвращался до сумерек. Встревоженные Рахья и Муранов вынуждены были идти по следу искать его. После ужина играл с Лашевичем в шахматы, выиграл три партии и весело смеялся, когда партнер высказывал свое огорчение на одесском жаргоне. Но и во время отдыха его не оставляли мысли о революции и мире, об организации власти в центре и на местах. Родилась новая держава — социалистическая, история не знала подобных примеров, кроме разве что Парижской коммуны, но нельзя в огромной бывшей Российской империи повторить ее ошибки, — поэтому Ленин взвалил на себя непомерный груз, взявшись в качестве философа-марксиста объяснить все внутренние российские и международные социальные явления и одновременно в качестве организатора-практика подсказать, как

уничтожать старые буржуазные институты и создавать новые, советские. И все это нужно делать сразу, разделять задачи нельзя. Революция не может ждать.

Пока другие товарищи играли в шахматы, Владимир Ильич постоял около них, похмыкал, отмечая про себя неправильные ходы, но никому хода не подсказал: нельзя нарушать правила игры! Знал: только плохие шахматисты считают, что они сбоку все видят, и непрошеные лезут с поучениями. Как Бухарин в политике.

Потом Ильич отошел в другой конец комнаты для отдыха, где горела более яркая лампа (финны тоже экономили керосин), сел в кресло, достал из кармана блокнот. И первая же строка была:

«Теперь не надо бояться человека с ружьем». Так начинались тезисы «Из дневника публициста (темы для разработки)».

Сорок четыре темы, каждая из которых, по современным представлениям, могла бы стать основой диссертации. И все эти темы в скором времени были разработаны.

Ничто не осталось без внимания Ильича.

«Ibis: Квартиры бедноты и ее продовольствие». А рядом — «Iter. Слабые стороны неразвернувшейся Советской власти».

«11. Как «завоевывать» на сторону Российской социалистической республики Советов другие нации вообще и нации, угнетавшиеся доселе великороссами, в особенности?»

А немного ниже:

«17. В чем родство между босяками и интеллигентами?»

А потом целых десять пунктов о войне и мире.

«22. Провокация империалистов: дай нам удобный повод скорее задушить тебя, республика Советов!»

«25. Революционная фраза и революционный долг в вопросе о революционной войне».

«26. Как надо «подготовить» революционную войну?»

«29. Трудности революции в западноевропейских «паразитических» странах».

«31. Революции — локомотивы истории.

Разогнать локомотив и удержать его на рельсах».

В одном Ильич подчинился Надежде Константиновне и Марии Ильиничне: ложился спать не как в Смольном — в четыре-пять часов утра, а по-санаторному рано. Однако и просыпался рано. В одно утро Надежда Константиновна, притворившись спящей, с ироническим умилением наблюдала, как Ильич, тихонько одевшись, на цыпочках городил из стульев и своего одеяла ширму, чтобы заслонить ее кровать от рабочего стола.

А потом, при свече, вдохновенно писал.

Не выдавая себя ни одним движением, она лежала и думала: все ли поэты пишут стихи с таким вдохновением, с каким Ильич статьи по теории и практике революции? Ленин создавал «Проект декрета о потребительских коммунах». В этой прозе была поэзия революции.

Не мог Председатель Совнаркома даже на такое короткое время — несколько дней — оторваться от практической работы Советского правительства. В санатории не было телефонной связи с Петроградом, и Ленин требовал, чтобы товарищи из Совнаркома приезжали ежедневно и докладывали о положении в стране и особенно о первых шагах мирных переговоров в Бресте.

Переговоры тревожили более всего другого. Какие бы

проблемы Ленин ни решал, о чем бы ни думал, в подтексте всего написанного и в мыслях — во время работы и отдыха — было одно: мир, передышка.

Владимир Ильич попросил, чтобы к нему приехали большевики-депутаты Учредительного собрания. Товарищи, конечно, с радостью поехали к Ленину. Он беседовал с делегацией и с каждым из товарищей. Речь шла о тактике большевистской фракции в Учредительном собрании, которое скоро нужно открывать и в котором, по последним подсчетам, партия не будет иметь большинства мест. Кроме того, Ленину очень важно было узнать, как на местах, в партийных организациях, на заводах, в полках, относятся к дискуссии, начавшейся стихийно в связи с переговорами о мире.

Ленина тревожило возникновение оппозиции. Нельзя в такое время, через два месяца после победы революции, допустить раскола в руководстве взявшей власть партии по самому главному вопросу стратегии — вопросу войны и мира.

«Революционная война!» Ленин понимал, что такой «яркий» лозунг может захватить, поднять многих честных работников. Не всем была видна чрезвычайно напряженная работа партии, чтобы в августе — сентябре завоевать Советы, сделать их большевистскими. Но все видели, знают, как легко и бескровно была взята власть в октябре. И всех радует и восхищает победное шествие революции по огромной стране. Рабочие, крестьяне самых дальних окраин пошли за большевиками. Всюду власть переходит к Советам, и поэтому товарищам кажется: достаточно начать «революционную войну» против немецкого империализма, как там, на Западе, незамедлительно начнется революция, немецкие и австрийские солдаты сразу же повернут штыки против кайзера, генералов, буржуазии, а потом революционный пожар перекинется во Францию, Англию, охватит всю Европу.

Наивно. Ах, как наивно!

Лидер «левых» Бухарин — человек эмоций. Он неплохой литератор, но слабый теоретик, путаник. Ему бы писать романы, а не заниматься серьезной политикой. Революционную войну придется вести против внутренней контрреволюции, против мирового империализма, если он попытается задушить молодую Республику Советов. А он наверняка попытается. Но для такой войны нужно иметь совершенно-новую — революционную — армию. А чтобы создать ее — необходима передышка. Хотя бы несколько месяцев! «Левые» бросаются революционными фразами, не очень вникая в факты, не анализируя обстановку, не учитывая настроение масс — солдатских, крестьянских.

Ленин глубоко изучал это настроение. Выступить на съезде по демобилизации армии он не смог. Но неделю назад в Наркомате по военным делам собрали совещание делегатов съезда — большевиков. Ленин поехал на это совещание, выступил и там же составил анкету из десяти вопросов, на которые попросил делегатов ответить письменно. Очень важно было знать мнение фронтовиков по таким, например, вопросам: возможно ли немецкое наступление зимой? Может ли настроение немецких солдат помешать наступлению или хотя бы задержать его? Смогут ли немцы взять Петроград? Может ли русская армия противостоять немецкому наступлению, удержать фронт? Может ли она отступать в порядке, сохраняя артиллерию? Если бы армия могла голосовать, за что она высказалась бы: за мир на аннексионистских тяжелых условиях или за революционную войну при крайнем напряжении сил?

Военные почти единодушно подтвердили: воевать нельзя.

На следующий день Ленин дополняет порядок дня заседания Совнаркома пунктом: «Опрос армии (в связи с вопросом о революционной войне)». Совнарком постановил признать результаты анкеты исчерпывающими в вопросе о состоянии армии и принял резолюцию, предложенную В. И. Лениным. А резолюция утверждала: воевать нельзя!

Вместе с тем Ленин не отменяет и не снимает постановление Совнаркома, принятое накануне по докладу о ходе мирных переговоров: постановление это по предложению Владимира Ильича тогда не было опубликовано, чтобы не помешать переговорам. В постановлении указывалось на необходимость вести пропаганду революционной войны и одновременно оттягивать переговоры — чтобы иметь выигрыш во времени: в те дни в Германии нарастали революционные события. Троцкий позднее в этом и некоторых других тактических ходах хотел увидеть непоследовательность и противоречивость общей ленинской стратегии.

Нет, Ленин просто все предвидел и все взвесил на точных весах теоретической мудрости и революционной интуиции.

Анкета обезоружила сторонников «революционной войны», сталкивала их с суровыми фактами, хотя в большинстве эти люди не считались ни с какими фактами и, как тетерева, бубнили свое.

Пропаганда революционной войны совсем не означала ведения ее. Пропаганда давала возможность морально и физически готовиться к такой войне. Она поднимала рабочих, крестьян на защиту социалистической Отчизны. Она ясно указывала большевикам на местах на необходимость создания красногвардейских отрядов — основы новой армии, в то время как, чтобы не дразнить немцев во время переговоров о мире, печатать декрет о создании Красной Армии было нельзя.

Бухарин, Ломов, Урицкий произносили громкие фразы о революционной войне. Ленин работал. Ленин готовил страну, армию к такой войне на случай, если империалисты вынудят Советскую Республику вести ее.

Владимир Ильич понимал логику «левых». Поистине триумфальное шествие революции вскружило молодым головы. Они никак не хотели понять, что остались гигантской трудности задачи, решение которых не может быть триумфальным шествием с развернутыми

знаменами. Первая из этих задач — организация власти, производства. Только чрезвычайно тяжелым, напряженным, длительным трудом, высокой самодисциплиной можно победить развал экономики, общества, вызванный войной. Для этого нужно работать и работать.

Вторая задача — международная. Наивно думать, что мы одолеем международный империализм так же легко, как Керенского. Два хищника сцепились между собой, и это обстоятельство дало нам возможность легко победить; очень счастливо сложившиеся условия прикрыли Советскую Республику от международного империализма. Но нужно помнить — это ненадолго, и использовать любую передышку, чтобы организоваться, вооружиться.

Да, политические и социальные корни фразы о революционной войне нетрудно объяснить. Однако Владимира Ильича огорчило появление оппозиции в партии. Не туда направлена энергия людей. Каждый из «левых» ведет немалую организационную работу. Это пока что сдерживало Ленина от удара по оппозиции с той же силой, с какой он бил по любой оппозиции до революции, в эмиграции, — по Мартову, Плеханову, Троцкому...

Троцкий... С Троцким труднее. Нарком по иностранным делам до поездки в Брест высказал на одном заседании свой лозунг: «Ни мира, ни войны».

Любой отсталый солдат, крестьянин скажет: ни мира, ни войны — это абсурд, такого состояния быть не может. Но Ленина краткий лозунг Троцкого встревожил больше, чем рассуждения всех сторонников революционной войны. Формула эта при всей внешней простоте — темная, зловещая, фарисейская, двойственная — и нашим и вашим, она способна сбить с толку не только неграмотных солдат, крестьян, но, возможно, и некоторых пролетариев, а в головах интеллигентов наверняка создаст кашу. Просто и дьявольски хитро. Как всегда умел Троцкий — простые истины запутать настолько, что даже светлые головы не

могли разобраться, где начало, где конец.

Троцкий пока что не высказался до конца. Что он имеет в виду? Демобилизовать старую армию? Разоружиться перед немцами? Продемонстрируем миру: вот как мы осуществляем декрет революции о мире! И… откроем немцам фронт? Берите Петроград, Москву, Украину.

Нет, Лев Давидович, так разоружаться, так демобилизовать армию мы не будем!

Несколько дней назад Главковерх Николай Васильевич Крыленко, один из тех большевиков, которые ближе других к армии и лучше знают, насколько это больной организм, предложил отвести части с Румынского фронта. Ленин тут же созвал в Наркомвоене совещание с представителями Генштаба и категорически высказался против отвода войск Румынского фронта. Более того, Владимир Ильич предложил срочно послать на фронт красногвардейские отряды Петроградского и Московского военных округов — пролетарскую гвардию и незамедлительно приступить к формированию десяти корпусов новой, социалистической армии. Там же говорил он о необходимости наладить работу железных дорог, особенно тех, что идут к фронту, и послать фронтовым частям хлеб и лошадей: Ленин знал, что остановить немецкое наступление развалленная русская армия не в состоянии, но задержать, обескровить немцев, тоже не менее утомленных войной, может и тем самым принудит Вильгельма, Гертлинга и Кюльмана подписать мирный договор. Нужно сделать все, чтобы отступление не было бегством, чтобы отступающая армия вывезла оружие, имущество. Нет, Лев Давидович, не может быть «ни мира, ни войны». Либо мир, либо война. Но нам нужен мир!

— Мы заключим мир, не обращая внимания ни на левых, ни на правых! — уверенно и почти весело сказал Владимир Ильич.

Его собеседником был Горбунов. Он приехал в санаторий с кипой газет, в том числе немецких, правда, недельной давности, их выменивали на линии

перемирия: через Швецию они поступали еще позже. Ленин просматривал сначала немецкие газеты, потом петроградские — большевистские, эсеровские. Отмечал большими восклицательными и своими характерными знаками статьи, которые обязательно нужно прочитать более внимательно. Все это были статьи о войне и мире. Просматривая их, он думал о складывающейся ситуации.

Выругал левых эсеров, входивших в правительство. Еще совсем недавно они были за мир, а теперь газетенка их затрубила в другой рог.

Секретарь Совнаркома привез немало фактов и документов, о которых нужно было доложить Председателю.

Ленин в первую очередь спросил:

— Что, Николай Петрович, слышно из Бреста?

— Есть несколько телеграмм Троцкого. Предложение о переносе переговоров в Стокгольм немцы отклонили, как вы, Владимир Ильич, и предсказывали.

— Но пусть международный пролетариат знает, что мы ведем переговоры под немецкими штыками. Корреспондентов нейтральных стран тоже не допустили?

— Не допустили.

— М-да… немцы хотят взять нас за горло.

— Немцы отнесли начало переговоров с восьмого на десятое января. Есть подозрение, что они ведут тайные переговоры с Центральной Радой. Ожидается приезд Голубовича. От конкретных наших предложений радовцы уклоняются. Троцкий просит директиву: какую политику вести в отношении Рады?

— Троцкому понадобились директивы? — удивился Владимир Ильич. — У Троцкого короткая память. Директивы ему даны твердые и ясные. На Совнаркоме.

Николай Петрович, телеграфируйте украинским товарищам в Харьков, чтобы они ускорили посылку в Брест делегации ЦИК Советов Украины. А Троцкому дайте телеграмму… Так, чтобы ее прочитали и немцы, хотя, думаю, они читают все наши шифровки. Кайзеровские бандиты никогда не гнушались никакими методами шпионажа. А мы вынуждены пользоваться кодами царского генштаба. Напомните Троцкому и немцам: Донбасс в руках ЦИК, Черноморский флот у ЦИК. Революционные части наступают на Киев. Все это дает большее право ЦИК Советов Украины иметь своего представителя в мирной делегации, чем трем радам, вместе взятым.

Так прошли пять дней ленинского отдыха.

Отдыха? На пятый день, десятого января, Ленин уже работал в своем кабинете в Смольном.

Первоочередная почта — из Бреста.

Старый друг Фриц Платтен, в апреле помогавший Владимиру Ильичу вернуться в Россию, провез через Германию группу политэмигрантов.

Телеграмма порадовала Ленина. Едут марксистски образованные люди, которых так не хватает. Правда, все ли они смогут в новых условиях включиться в практическую работу? Многие годы эмиграции оторвали людей от русской почвы. Некоторые сделались слишком интеллигентами. А это опасно. Интеллигент склонен заменять дело дискуссией, работу — разговором, склонен «за все на свете браться и ничего не доводить до конца». Однако то, что люди возвращаются, — это хорошо. Да и социалисту Платтену полезно глянуть на русскую революцию своими глазами, а не только читать о ней в швейцарских, французских и немецких буржуазных газетах. Сколько нагородили там злобного обывательского, глупого вранья!

Троцкий сообщал: на основе анализа немецких газет он сделал вывод, что в Германии побеждает партия

сторонников войны.

Да, эту информацию не назовешь приятной. Ленин наморщил лоб, делая свои пометки на телеграмме. Несвойственна ему была подозрительность к товарищам по партии. Но, учитывая позицию Троцкого и зная хорошо самого Троцкого, умевшего виртуозно подбирать факты для защиты собственного мнения, сообщение его выглядело подозрительно объективным. Очень похоже на правду. Однако стоит проверить. Факт серьезный. Победа партии войны подтвердит ленинский тезис о трудностях революции на Западе, в Германии в том числе. Но в то же время подобные сообщения, наверное, вдохновят Бухарина и Ломова в их пропаганде революционной войны: разве не видите, что мириться с империалистами нельзя? У «левых» своя логика.

Ленин оторвался от телеграммы и посмотрел на Бонч-Бруевича, который пришел первым с неотложными бумагами, как только Владимир Ильич появился в кабинете, и теперь сидел напротив, наблюдал, какое впечатление производит на Ильича тот или иной документ.

— Читали, Владимир Дмитриевич? Они хотят схватить нас за горло. Волчьей хваткой. Чтобы сразу задушить. Не дать им повода схватить нас за горло — вот сущность нашей тактики.

— Приезжал из Ставки брат. Поверьте, Владимир Ильич, Михаил не пессимист. Генерал Бонч-Бруевич всегда очень трезво оценивал военную обстановку. Но то, что он рассказал про наш фронт, признаюсь, меня испугало. Многие участки фронта совсем брошены войсками и никем не охраняются… Фронт открыт…

— Попросите у Михаила Дмитриевича докладную. Мнение начальника штаба много значит. «Левых» фразеров нужно бить фактами. Оценкой положения военспецами. Бухарин и Радек считают себя военными стратегами. — Владимир Ильич иронически усмехнулся и тут же углубился в чтение других бумаг. Садуль

просится на прием? Садуля нужно принять. У капитана светлая голова, хотя он из компании социал-шовинистов.

— Владимир Дмитриевич! Знаете что, батенька? Поезжайте вы на отдых в Финляндию. Я прекрасно отдохнул. Даже потолстел. Булочки. Молоко. И снегири. Когда вы видели снегирей?..

2

Англия, Франция, Америка не признавали большевистское правительство, но посольств из Петрограда не отзывали. По подсказке «лидеров» не отзывали своих посольств и все другие державы, большие и малые, — Китай, Япония, Румыния, Бельгия. Ожидали падения большевиков. Посольства помогали контрреволюции.

Совнарком знал об этом, и некоторые из «левых» требовали высылки посольств. Ленин был против высылки. Это дало бы буржуазии лишний козырь против Советского правительства и целиком изолировало бы республику от внешнего мира.

Послы ожидали созыва Учредительного собрания, надеялись, что собрание изменит характер власти, вернет эсеров и меньшевиков.

Между тем время шло, революция ширилась и углублялась.

Наиболее умные дипломаты из буржуазных посольств и миссий понимали, что они сами поставили себя в нелепое положение: илом, грязью лжи и дезинформации затягиваются каналы связи с бывшим союзником по войне. В конце концов, главная задача дипломатических представительств Антанты — не дать России выйти из войны, любыми средствами помешать подписанию мира с немцами.

У посольств было сложное и противоречивое положение: не делая ни одного шага, который могли бы

истолковать как признание правительства Ленина, все же найти возможности контактов с этим правительством. За это взялись частным образом, вроде бы по собственной инициативе, член французской военной миссии Жак Садуль и представитель американской миссии Красного Креста полковник Раймонд Робинс. Немного позже спохватились англичане и тоже прислали неофициального агента — Локкарта. Но если Локкарт, шпион, провокатор, организатор контрреволюционных заговоров, вел двойную игру, то Робинс был честным и объективным капиталистом, много ездившим по России и понимавшим настроения масс. Он старался убедить Вильсона и государственный департамент в выгодности для Америки признания большевистского правительства, установления с ним дипломатических отношений, доказывал, что только таким признанием можно помешать русским заключить сепаратный мир.

Еще более прозорливым и объективным был Жак Садуль. Он, пожалуй, первым из официальных лиц посольств и миссий установил контакты с Лениным. Садуль был социалистом. Однако в разгар мировой войны, как и многие западные социалисты, он стал «национальным оборонцем», патриотом Франции, поэтому считал своим долгом сделать все возможное, что в его силах, чтобы помешать подписанию мира между Россией и Германией.

Ленин не первый раз принимал Садуля.

За день до этого Ленин отказался принять французского социалиста Шарля Дюма. На его просьбу Владимир Ильич ответил письмом, в котором писал:

«Мы с женой с большим удовольствием вспоминаем о том времени, когда мы познакомились с Вами в Париже, на улице Банье…

Я очень сожалею, что личные отношения между нами стали невозможными, после того как нас разделили столь глубокие политические разногласия. Я в течение всей войны боролся против тенденции «национальной

обороны», я всегда выступал за раскол, будучи убежден, что эта тенденция совершенно разрушает социализм».

К этому социалисту Ленин обратился: «Дорогой гражданин Шарль Дюма».

Жак Садуль при первой встрече начал разговор именно с формы обращения.

Холеный, с напомаженными усиками, в шикарном мундире офицера французской кавалерии, не присаживаясь, в почтительной позе младшего перед старшим, какая дается светским воспитанием, Садуль объявил не без гордости:

— Хочу, чтобы вы знали: я социалист.

— Я это знаю, — с улыбкой ответил Владимир Ильич.

— Вам не кажется, что это создает проблему обращения офицера союзной миссии к премьеру-социалисту?

— Уточним: к социал-демократу-большевику. А более точно: к коммунисту-большевику.

— Зная о вашей непримиримости к социалистам-оборонцам и прочитав документы русской революции, я понимаю разницу между нами. Однако это не решает моей проблемы.

Ленин на минуту задумался.

— Давайте в наших отношениях примем обращение, которое ввела Великая французская революция.

— Гражданин?

— Да.

Садуль засмеялся:

— Вы мудрый человек, гражданин Ульянов.

— Вы меня поставили в затруднительное положение. Я

не знаю: нужно ли премьеру рабоче-крестьянского правительства благодарить за подобный комплимент.

Они одновременно засмеялись, как люди, быстро понявшие друг друга.

На этот раз Жак Садуль не был так параден, напомажен, как при первой встрече, он пришел в полевой форме, смекнув, что в Смольном, где все просто, в том числе и кабинет Ленина, где и люди все простые, энергичные, в шинелях, рабочих тужурках, вежливые, но без дипломатических хитростей, — что появляться здесь в парадном мундире или смокинге нелепо, выглядишь белой вороной.

Владимир Ильич предложил гостю единственное мягкое кресло, в котором на заседаниях Совнаркома неизменно сидел Троцкий — любил комфорт.

Капитан Садуль в этом кресле, закинувший ногу на ногу, выглядел совсем по-граждански, исчезло все военное, и Ленин шутливо отметил это.

Владимир Ильич сидел напротив за небольшим круглым столом — для секретарей — на венском стуле, боком, так, что левой рукой опирался на спинку.

— Вы не боитесь, товарищ Ленин, — Садуль временами, будто забываясь, все же обращался со словом «товарищ», видимо желая сблизиться или завоевать симпатию, — что можете остаться в меньшинстве в своей партии? Я читаю русские газеты, имею разную информацию… Словом, не является секретом, что многие ваши коллеги занимают иную позицию. — Садуль деликатно не уточнил какую.

Уточнил Ленин:

— Да. Группа левых коммунистов выступает за революционную войну. Мы не делаем секретов из нашей политики, из наших споров по стратегии и тактике революции.

Садуля уже не удивляла ленинская искренность,

удивляли неожиданные повороты его полемического мышления и исчерпывающие ответы на любой вопрос.

Но все же: боится Ленин или не боится остаться в меньшинстве?

Владимир Ильич склонился к собеседнику, как бы собираясь открыть тайну, прищурил глаза.

— Скажите, гражданин Садуль, как вы думаете, какую позицию занимает господин Клемансо в наших спорах, за кого он — за Ленина? За Бухарина?

Садуль удивился.

— Я не располагаю такой информацией. Я знаю одно: правительство и народ Франции хотят, чтобы Россия осталась верна союзническому договору.

— Империалистическому договору? Вы хорошо знаете, что революция выбросила все подобные договоры на свалку истории. И вы хорошо знаете — не хитрите, гражданин социалист! — что Клемансо хлопал бы в ладоши, начни мы войну, о которой говорят мои молодые коллеги. Радовались бы Ллойд Джордж и Вильсон. Англичане прямо предлагали нашему Главковерху Крыленко по сто рублей в месяц за каждого солдата, который останется на фронте и будет вести хотя бы окопную войну. Какой цинизм! Торговля кровью. Мы не торгуем кровью рабочих и крестьян! Но революционная война с нашей стороны нужна империалистам не только потому, что русский фронт помог бы англо-американо-французским хищникам загрызть немецкого тигра. Нет! Они приветствуют такую войну как великолепный повод задушить русскую революцию. А если это будет сделано руками Вильгельма, Гинденбурга, — ах, как хорошо для респектабельного господина Клемансо! Он не запачкает свои белые перчатки кровью русских рабочих и не накличет на себя гнев французского пролетариата.

— Вы не верите в революцию на Западе?

Ленин поднялся со стула, обошел столик и стал в двух шагах от гостя, взявшись руками за лацканы своего изрядно поношенного уже пиджака.

— А вы можете дать гарантию, что на второй день после объявления революционной войны французский пролетариат выйдет на баррикады и французские солдаты повернут штыки против своей буржуазии, как сделали это русские солдаты?

Садуль молчал.

— Я спрашиваю относительно Франции. Не Германии. Вы молчите. И они молчат, наши «левые». Нет, гражданин Садуль, — Ленин прошелся по кабинету, — я верю в революцию. Но Запад еще только беременей революцией. А на просторах России родился здоровый ребенок — социалистическая республика Советов. Нам говорят: заключая мир, мы помогаем немецкому империализму. А если мы будем воевать против него? Кем мы станем? Агентами англо-французского империализма. Может, вы докажете мне, что ваш, французский империализм лучше немецкого? — Ленин остановился перед капитаном, иронически прищурившись.

— Я не стану этого делать, товарищ Ленин.

— Нет, вы, оборонцы, делали это в начале войны и на протяжении войны, когда лилась кровь русских, немецких, французских рабочих. Вы доказывали, что ваш империализм — ах, какая цаца!

— Мы протрезвели, товарищ Ленин.

— Кто — мы? Вы лично? Однако который раз вы доказываете, что мы не должны изменять господину Клемансо. — Ленин иронически усмехнулся.

— Я это делаю по тем же мотивам, что и ваши коллеги. Я надеюсь на революцию…

— Вы надеетесь, но вы не можете дать гарантии. Никто не может. А поэтому было бы непростительной,

подчеркиваю, непростительной ошибкой строить тактику социалистического правительства России на гаданье: наступит или не наступит европейская революция, особенно немецкая, в ближайшие месяцы. Нет, марксистски правильный единственный вывод: со времени победы социалистического правительства в одной из стран нужно решать вопрос исходя не из принципа, какому из двух империализмов выгоднее помочь теперь, а исключительно, я подчеркиваю, исключительно с точки зрения наилучших условий для развития и укрепления социалистической революции, начавшейся уже. Нам нужно окончательно сломить сопротивление своей буржуазии. А оно вылилось в гражданскую войну и в невоенные формы — в саботаж, в подкуп агентов буржуазии, втирающихся в ряды социалистов. Нам нужно решить гигантские задачи социалистических преобразований в разоренной войной стране. А это задача не одного дня и не одного месяца. Для этого нужно время. Нужна передышка! Есть и другая сторона вопроса. Армия и народ устали от войны. Революция дала народу землю и мир. Солдат хочет пахать и засевать полученную землю. Солдат не пойдет на войну, какими бы ультрареволюционными лозунгами мы ни призывали его. При полной демократизации армии вести войну против воли большинства солдат — авантюра. На такую авантюру идут только империалисты. Мы не пойдем!

— Признаюсь, гражданин Ленин, ваши доводы заставляют задуматься. Логика ваша, как говорят, железная. Но вы не ответили на мой вопрос.

— Не боюсь ли я остаться в меньшинстве? — Ленин на мгновение как бы задумался, но тут же уверенно сказал: — Нет, я не боюсь! Я не могу остаться в меньшинстве. За мной — миллионы солдат, рабочих, крестьян.

— Я имею в виду ЦК вашей партии.

— Вы действительно хорошо информированы. Кем? Троцким? В ЦК я оставался в меньшинстве. В 1907 году, например. Тогда большинство большевиков было за

бойкот третьей Думы. Я защищал участие в ней, я доказывал, что новые условия требуют новых форм борьбы. Мы должны были пройти через хлев столыпинской Думы. Мы пройдем и через хлев пусть себе и позорного мира с немцами. Марксизм требует учета объективных условий. В чем коренное изменение этих условий? Есть, живет, укрепляется первая социалистическая республика. И потому теперь важнее всего и для нас, и с международной точки зрения сохранение этой республики. И мы никому не дадим втянуть нас в ловушку, в продолжение империалистической войны.

Жак Садуль заглянул в записную книжку. Видимо, некоторые вопросы были подготовлены им заранее.

— Но есть еще одна сила, которая, безусловно, скажет свое слово о войне и мире. Я имею в виду Учредительное собрание, созываемое на днях.

Ленин как бы про себя усмехнулся и, обойдя стол, сел в свое рабочее кресло.

Садуль насторожился: не дает ли этим премьер понять, что аудиенция окончена?

Нет, Владимир Ильич выбрал из стопки аккуратно сложенных газет номер «Правды», заметно зачитанный: грубая желтая бумага вытерлась на сгибах.

— Газеты наши вы читаете не совсем аккуратно. Неделю назад в одной статье я цитировал очень известного социалиста. Плеханов для вас авторитет?

— О, конечно!

— Так вот что говорил Плеханов еще в тысяча девятьсот третьем году. Послушайте, пожалуйста. Вот тут.

Точные слова Плеханова: «Если бы в порыве революционного энтузиазма народ выбрал очень хороший парламент — своего рода chambre introuvable (бесподобная палата), то нам следовало бы стараться

сделать его долгим парламентом; а если бы выборы оказались неудачные, то нам нужно было бы, — Ленин интонацией подчеркнул эти и следующие слова, — стараться разогнать его не через два года, а если можно, то через две недели».

— Вы можете разогнать Учредительное собрание? — почти ужаснулся Садуль.

— Это будет зависеть от Учредительного собрания.

— Но это же террор!

— Жаль, гражданин социалист, что вы повторяете наших меньшевиков и эсеров. Когда-то они были согласны с Плехановым, а теперь кричат про «большевистский террор». А какой террор чинили они сами при Керенском! В одну только минскую тюрьму Керенский и Авксентьев засадили три тысячи солдат за «вредную агитацию». Это не террор? А расстрел руками Корнилова целых полков за недостаточное воодушевление в войне? Это что? Разница только в том, что керенские и либерданы вкупе и влюбе с Корниловым чинили террор против рабочих, солдат, крестьян, а Советская власть принимает решительные меры против буржуазии, помещиков и их прислужников. Я вам советую присмотреться к российской революции более внимательно. Вы, мне кажется, могли бы понять, что она давно покончила с парламентаризмом, который еще нигде не разжигал огонь революции, а всегда был средством обмана трудящихся классов. Российская революция в самом начале своем, в пятом году, создала небывалые еще в истории развития мировой революции народные организации. Это — Советы. Они — органы власти рабочих, солдат, крестьян. Они покрыли густой сетью всю страну. Не случайно буржуазия, помещики ведут смертельную борьбу против Советов. Да, мы были за Учредительное собрание. До Октябрьской революции. Тогда Учредительное собрание было бы лучше любых органов власти Керенского. Но теперь Советы, как всенародные революционные организации, стали на тысячу голов выше любых парламентов всего мира.

Чего же вы хотите? Чтобы мы вернулись от Советов к соглашательскому парламенту?! Вся власть Советам! — сказали мы и боролись за это. А теперь мы выполняем волю народа, который повсеместно говорит: вся власть Советам! Любое отступление — измена революции.

Садуль ни на одной из встреч ничего не записывал, считал неприличным репортерство при встрече на таком уровне, хотя до войны был журналистом. А тут, извинившись, записал что-то. Потом сказал:

— Вы непоколебимый человек, гражданин Ленин. Меня восхищает ваша убежденность. После встречи с вами я чувствую себя большевиком.

— Французские социалисты не заявят мне протест, если я обращу вас в большевизм?

Садуль засмеялся.

На прощание Владимир Ильич спросил:

— Вы будете информировать о нашей беседе посла?

Капитан смутился. По своему положению он обязан это сделать. Но еще во время разговора он думал, что многое из того, о чем говорил Ленин, передать Нулансу невозможно: не поймет посол, истолкует превратно его, Садуля, миссию, да и все равно ничего не передаст правительству. Однажды Нуланс уже сказал: «Мои депеши должны удовлетворять Клемансо». Таков стиль союзных дипломатов — лгать, искажать факты, чтобы угодить антибольшевистским настроениям своих руководителей. Легче, проще и выгоднее льстить великим, чем просвещать их. Депеши посла не однажды раздражали Садуля. Нет, не будет он передавать Нулансу содержание всей беседы. Зачем? Да, видимо, и Ленин не хочет этого.

— Мой визит носит частный характер.

— Прошу вас передать в любой форме… Мы не просим буржуазные правительства признавать нас. Пройдет время — нас признают. Но не отвечать два месяца на

мирные предложения Советского правительства, сделанные от имени великого народа, который пролил море крови в войне, исполняя союзнический долг, — значит презирать этот народ, в любви к которому фарисейски клялись господа Ллойд Джордж и Клемансо. Можете не передавать это правительству. Передайте французскому народу. И наши мирные предложения. Наше обращение к правительствам и народам. Мы были против сепаратного мира. Нас вынуждают пойти на такой мир. Передав это народу Франции, вы окажете большую услугу российской и мировой революции.

— Я обещаю вам, товарищ Ленин, сделать это.

Владимир Ильич — глубокий психолог — верил в искренность Садуля, поэтому и принимал его охотно.

Ленин не ошибся: позже Жак Садуль стал коммунистом, другом Советского Союза и объективным историком Октября.

3

Над Невой кружила метель. Ветер швырял снег в окна. В кабинете было холоднее, чем обычно, хотя и до этого здесь не перегревались — в Смольном экономили топливо.

Владимир Ильич набросил пальто на плечи.

Во вьюжные дни не хватало света: окна-то достаточно широки, но уж слишком толстые стены в бывшем Институте благородных девиц. Хотел включить настольную лампу, но электричества не было. Всего не хватает — хлеба, угля…

Писал почти в полумраке, низко склонившись над столом. Радовался, что выдалась счастливая пауза, когда нет посетителей, никто не входит из своих, совнаркомовских, и можно продолжить начатую на рассвете этажом ниже, в квартире, работу над Декларацией прав трудящегося и эксплуатируемого

народа. Декларация должна быть готова до созыва Учредительного собрания. С его трибуны еще раз будет объявлено народам России и всему миру:

«...Учредительное собрание всецело присоединяется к проводимой Советской властью политике разрыва тайных договоров, организации самого широкого братания с рабочими и крестьянами воюющих ныне между собой армий и достижения, во чтобы то ни стало, революционными мерами, демократического мира между народами, без аннексий и без контрибуций, на основе свободного самоопределения наций».

Ленин не сомневался, что Учредительное собрание, избранное по дооктябрьским спискам, не поддержит политику Советской власти. Поэтому Декларация должна быть опубликована заранее, до созыва собрания, чтобы ее прочитали рабочие, крестьяне и сами убедились: Учредительное собрание тянет назад, к керенским, черновым, либерданам.

Работалось хорошо, с вдохновением. Успокаивали свист ветра, долетавший в кабинет сквозь двойные рамы, легкий шелест снега в мембране заиндевевших стекол. Но вдруг насторожила тишина в самом здании. Не было прежде такой тишины.

Владимир Ильич прислушался. Бывало, когда вот так прислушивался, работая в одиночестве, то и через плотно закрытые двери слышал: Смольный гудит, как улей. Работа кипит. И это тоже радовало.

Удивившись непривычной тишине, Ильич поднялся из-за стола и вышел в комнату Управления делами. За барьером, в половине для посетителей, — ни души. И в рабочей части, за столами, не все сотрудники. Такое непривычное безлюдье даже караульного красногвардейца расслабило: он не стоял, как обычно, у двери, а сидел за ближайшим столом. Увидев Ленина, вскочил, смутился.

— Садитесь, товарищ, — сказал ему Владимир Ильич: Ленину с самого начала не нравилось, что часовые

стоят у дверей — недемократично, но Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, наверное, у брата-генерала научившийся военному порядку, был неумолим, когда дело касалось безопасности Ленина и членов Совнаркома. — Что сегодня так тихо?

Сотрудники как будто смутились, и Ленин насторожился: не случилось ли чего необычного?

— Новый год, Владимир Ильич, — объяснила Мария Николаевна Скрыпник. — Людям хочется встретить Новый год. Традиция.

Ленин на секунду задумался, потом радостно оживился.

— Я живу по новому календарю, поэтому забыл. Что ж, это прекрасно, когда люди готовятся встречать Новый год. Это прекрасно, — и довольно потер руки. — Хорошая традиция. Одна из тех, которые мы возьмем в новую жизнь.

Ленин ходил по комнате от барьера к двери и говорил о традициях вредных и полезных. Выкристаллизовывалась новая тема. Ах, как много нужно написать, объяснить, посоветовать! А времени не хватает. Все время и энергия уходят на главное — от чего зависит судьба революции.

«А что в такой революции, как наша, не главное? — думал Ленин. — Все главное. Но, конечно, в первую очередь земля и мир, учет классовых сил и союзников, финансы и продовольствие».

Но не могут остаться без внимания и культура, традиции, психология. Сколько напластовалось в ней, в людской психологии, паразитического, крепостнического, рабского. Даже некоторые социал-демократы, советские работники, могут, как говорят, «наломать дров» в вопросах, где, казалось бы, обычная здравая логика должна подсказать единственно правильное решение. Еще в «Халиле» Надежда Константиновна рассказала Ильичу, что некоторые работники Наркомата просвещения высказываются

против возвращения польскому народу памятников старины и искусства, вывезенных царизмом за столетие раздела Польши и во время немецкого наступления.

Ленин вспомнил разговор с женой и тут же попросил Скрыпник поставить в повестку дня ближайшего заседания Совнаркома вопрос о возвращении Польше сокровищ национальной культуры. При этом заметил удивление на лицах комиссаров Управления делами. Понимал, почему они удивились: вся Польша оккупирована немцами, неизвестно, когда она будет освобождена, — и вдруг такой вопрос. Да, видимо, это нелегко понять, а между тем решение нужно не только польскому народу, но и нам, россиянам, — «просветителям», возжелавшим положить в свой карман чужое, и всем другим, одурманенным великодержавным чадом.

Все присутствовавшие в комнате были в шинелях, тужурках, бушлатах.

— Холодно? — спросил Ленин.

— Ничего, можно жить, Владимир Ильич, — ответил комиссар из матросов в черном бушлате. — На палубе бывает холодней.

— На палубе! — не выдержал часовой. — Посидели бы вы в окопе…

Сказав это, солдат снова смутился: как он при Ленине ляпнул такое!

Владимир Ильич обратился к постовому:

— Значит, в окопы вам, товарищ, не хочется?

— А кому хочется, товарищ Ленин? Конечно, если надо…

— Вот-вот. Если надо. А теперь нам нужен мир, передышка. Вы, товарищ, спросите у наших «левых»: хочется ли им в окопы? Я посоветовал одному из них съездить на фронт. Так он теперь кричит, что Ленин

хочет выслать его из Петрограда, чтобы не дать вести агитацию за революционную войну.

Все засмеялись.

В большом помещении Управления делами было холоднее, чем в кабинете.

Владимир Ильич плотнее запахнул пальто.

— Холодно все же... Скажите товарищу Бонч-Бруевичу... нет, безотлагательно — коменданту, что... как это ни тяжело... нужно найти возможность топить лучше. Попросим харьковских товарищей послать нам эшелоны с углем. Мы им благодарны за хлеб. Уголь в петроградскую зиму — тот же хлеб. Без угля мы погибнем. — Ленин повернулся к Скрыпник. — В этот холодный последний день старого года я с удовольствием выпил бы стакан горячего чаю... Крепкого, Мария Николаевна!

Но с чаем было непросто. В буфете не нашлось кусочка хлеба. Не было и сахара. Буфетчица, бывшая работница пекарни, со слезами сказала, что не понесет она Ильичу чай без хлеба и сахара — стыдно.

Секретарь Совнаркома понесла чай сама.

Ленин был уже в кабинете. Писал.

Мария Николаевна тихо поставила стакан на стол, грустно вздохнула. Владимир Ильич вопросительно посмотрел на нее.

— А хлеба нет. И сахара.

— Да, хлеба нет, — задумчиво согласился Ленин, имея в виду совсем другие масштабы. Отпил чаю. Похвалил. Но допить весь стакан ему не дали.

Вошел Горбунов с телеграммой от Крыленко. Верховный командующий вооруженными силами республики сообщал, что румынские королевские власти арестовали Военно-революционный комитет 49-й

дивизии, окружили самую дивизию, пытаются разоружить.

Чрезвычайно взволновало Ленина это известие. Прочитав телеграмму, он бросил ее на стол и прошелся по кабинету. Не удержался от крепких слов:

— Нет, вы подумайте, товарищ Горбунов, какая беспардонная наглость проституток Антанты! Румыны думают, что могут безнаказанно чинить насилие над русскими солдатами… Над теми солдатами, которые три с половиной года проливали кровь, защищая Румынию, не давая разорвать ее австро-немецким разбойникам. И вот — благодарность! Нет-нет, господа! Наших солдат мы в обиду не дадим!

Ленин сел к круглому столику, быстро написал: «В Народный комиссариат по военным делам. Предписывается арестовать немедленно всех членов румынского посольства и румынской миссии, а равно всего состава служащих при всех учреждениях посольства, консульства и прочих официальных румынских учреждений».

— Николай Петрович! Подвойскому и Дыбенко. Архисрочно! Пошлите мотоциклиста!

Горбунов глянул в бумагу, и на лице его отразилось удивление. Ленин заметил это и горячо сказал:

— Только так, товарищ Горбунов! На удар — ударом, на акцию — акцией. Пусть никто не думает, что нас можно бить. Мы не позволим разоружить революционные части! Господам империалистам не дадим в обиду ни одного нашего человека. Ультиматум румынскому правительству от Совета Народных Комиссаров! С категорическим требованием немедленного освобождения арестованных солдат и наказания тех, кто творит такое беззаконие. Скажите Сталину… Пусть сообщит Троцкому, нашей делегации в Брест-Литовске о конфликте с Румынией. Без сомнения: румыны отважились на подобные провокации не без поддержки киевской рады. Рада — калединцы, лакеи

империализма. Они пойдут на соглашение с румынами, с французами и с кайзеровцами тоже.

Румынский эпизод заставил снова задуматься над соотношением сил в гражданской войне, начавшейся уже. Каледин, рада, контрреволюционные заговоры… Ожидать нужно и не таких провокаций, с любой стороны, и самых хитрых комбинаций сил контрреволюции, внутренней и внешней. Поэтому чрезвычайно важно как можно быстрее заключить мир с Германией, чтобы получить хотя бы недолгую передышку. Нелепо и обидно тратить так много энергии, чтобы остудить горячие головы «левых». Но жизнь — борьба, только формы ее различны. Разве впервые приходится бороться одновременно и с врагами, и со своими — членами одной партии?

В вопросе мира компромисса быть не может.

Когда Горбунов вышел, чтобы выполнить поручения, Владимир Ильич некоторое время стоял перед окном. Метель хорошо успокоила.

Он был человеком глубоких эмоций, но умел самые тяжелые эмоции подчинять трезвому рассуждению, разуму. Любое событие находится в диалектической взаимозависимости со многими другими событиями. Не была еще дописана Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, не было еще доклада делегации о новых немецких требованиях, но Ленин уже предвидел такой ультиматум, и в голове его складывались тезисы о неотложной необходимости сепаратного аннексионистского мира. Он приводил в стройную систему мысли, высказанные Садулю, коллегам по Совнаркому и Центральному Комитету.

Несколько минут Ленин напряженно работал, хотя со стороны могло показаться, что человек отдыхает, наблюдая причудливый танец снежинок. Однако теперь не время для чистой теории, любая мысль требует практического свершения.

Нужно, чтобы Исполнительный Комитет Советов и

Совнарком без лишних дискуссий, к чему склонны некоторые товарищи, одобрили арест румынского посольства.

Владимир Ильич позвонил Свердлову. С Яковом Михайловичем всегда легко договариваться. У этого человека великолепное большевистское чутье, он умеет понять любую мысль, как говорят, с полуслова. Никто, пожалуй, так горячо не приветствует агитацию, за мир, как Свердлов, и никто так едко, саркастически не разоблачает заскоки «левых» и «замысловатые», как у авантюрного игрока, зигзаги Троцкого.

Нужно было связаться с Могилевом, с Крыленко, чтобы уточнить детали и сообщить текст ультиматума; его необходимо передать румынам по всем каналам, из которых армейская связь, возможно, самая надежная.

Ленин, что делал часто, сам пошел в аппаратную: из коммутатора легче дозвониться до Ставки.

Пока станция вызывала далекий Могилев, Владимир Ильич заметил, что у одной из телефонисток заплаканное лицо. Кто мог обидеть девушку? А вдруг кто-нибудь из комиссаров Смольного? Пришибеевщина — ох, какая она живучая! Прощать чиновничье хамство в советском аппарате недопустимо. Выкорчевывать его нужно с корнем.

— Что с вами? Вас кто-то обидел? — обратился Ленин к телефонистке.

Девушка расплакалась. Объяснила другая телефонистка, женщина постарше:

— У нее мать тяжело заболела. На станции Дно. А она не может выехать. Не дают билета.

Владимир Ильич задумался.

— А если я напишу начальнику вокзала, чтобы вам дали билет? Поможет это?

Девушка просияла и выкрикнула с радостной детской

непосредственностью:

— Поможет, Владимир Ильич! — И тут же застыдилась, испугалась. — Ой! Как мне благодарить вас!

— За что? — удивился Ленин, садясь рядом с телефонисткой к коммутаторному столику и доставая из кармана блокнот.

Дела наплывали одно на другое. Но в четыре часа, с опозданием всего на несколько минут, Владимир Ильич спустился на второй этаж, в свою квартиру.

Обедали на кухне, за небольшим белым столиком. Кстати, там было тепло и можно было отогреться после довольно прохладного кабинета. Владимир Ильич ощутил это приятное тепло, бодрящее после холода, удовлетворенно потер руки, переступал с пяток на носки — разминка ног. Со стороны можно было подумать, что человек только что окончил легкую и приятную работу и теперь отдыхает в ожидании сытного обеда. Он действительно прошел к плите, поднял крышку кастрюли. Аппетитно вдохнул пар от супа. Похвалил:

— Ах, как вкусно пахнет! — и признался искренне и просто: — Проголодался сегодня. Холодно.

— Ты мерз? — заботливо спросила Надежда Константиновна.

— Нет. В кабинете тепло. Сегодня в совнаркомовском буфете не было хлеба.

Надежда Константиновна и Мария Ильинична смолчали, но с грустью подумали, что позавтракал Ильич в половине восьмого, а теперь четыре, и Председатель Совнаркома не смог получить к чаю куска черного хлеба.

Суп был жиденький — две картофелины, пригоршня пшена, но пахнул действительно аппетитно: умелая повариха заправила его поджаренным на каких-то двух ложках растительного масла луком и положила разные

травяные, одной ей известные приправы.

После нескольких минут обеденного отдыха с разговорами о еде Ленин снова переключился на заботы иного масштаба.

Мария Ильинична попыталась вернуть его в отдых:

— Рабочие Выборгского района приглашают тебя, Володя, и нас с Надей на встречу Нового года.

— К рабочим обязательно поедем. Я постараюсь провести Совнарком в темпе. Думаю, товарищи согласятся… перед Новым годом… Правда, повестка дня пополнилась архисрочным и тяжким вопросом. Румыны учинили провокацию против нашей революционной дивизии. Мы арестовали персонал румынского посольства. Маняша, проследи, пожалуйста, чтобы ультиматум Совнаркома румынскому правительству появился в «Правде» завтра и обязательно на первой полосе.

Однако Совнарком в тот вечер не собрался. Ленину позвонил нарком земледелия Андрей Лукич Калягаев и сказал, что члены правительства — левые эсеры — присутствовать не могут, у них свое, эсеровское заседание. По какой причине такая срочность? И какие дела партии эсеров могут быть важнее общегосударственных?

Ленин уважал Калягаева, человека делового, серьезного, знающего крестьянство и землю. Ленин любил людей правдивых, даже если те заблуждались в своих взглядах, таким считал Калягаева. Но на этот раз не поверил левому эсеру. Из узкопартийных соображений Калягаев лгал. У наркома хватило такта и порядочности сообщить Председателю Совнаркома, что он и его коллеги не явятся на заседание. Но у него не хватило духу признать, что это обычный саботаж, нелепая демонстрация. На вчерашнем заседании Совнаркома левые эсеры учинили скандал, вплоть до протеста, в связи с телеграммой Ленина командующему советскими войсками по борьбе с калединщиной

Антонову-Овсеенко.

Штаб Антонова помещался в Харькове. Революция победила. Но фабрики и заводы еще находились в руках буржуазии, рабочий контроль над производством не сразу и не повсюду вступал в силу. В ответ на введение восьмичасового рабочего дня харьковские капиталисты задержали рабочим зарплату.

Рабочие пошли к Антонову-Овсеенко, зная, что он — нарком Советского правительства и что его прислал Ленин.

Харьковский ревком, куда обратился Антонов, проявил нерешительность. Тогда командующий начал действовать по-революционному. Вызвал к себе в поезд пятнадцать крупнейших капиталистов и потребовал от них немедленно найти один миллион рублей и рассчитаться с рабочими. Капиталисты отказались.

Владимир Александрович, осужденный царизмом на смертную казнь и убежавший с самой страшной каторги, на которую загоняли «помилованных» смертников, люто ненавидел эксплуататоров, всех прислужников царизма, но действовал в революции всегда законно и гуманно. Он тут же арестовал харьковских капиталистов, сказав им вежливо, не без юмора:

«Господа, если вы завтра не рассчитаетесь с рабочими, послезавтра я пошлю вас в шахту. Вам будет полезно узнать, как «легко» достается хлеб рабочему».

Деньги были найдены. А Ленин, получив сообщение об этом инциденте, сразу же, до того еще, как капиталисты были освобождены из-под ареста, послал Антонову-Овсеенко телеграмму:

«От всей души приветствую вашу энергичную деятельность и беспощадную борьбу с калединцами. Вполне одобряю неуступчивость к местным соглашателям, сбившим, кажется, с толку часть большевиков. Особенно одобряю и приветствую арест

миллионеров-саботажников в вагоне 1 и 2 классов. Советую отправить их на полгода на принудительные работы в рудники. Еще раз приветствую вас за решительность и осуждаю колеблющихся».

Кто-то из левых эсеров пронюхал про эту телеграмму. Нарком юстиции Штейнберг сделал официальный запрос на Совнаркоме. Мол, Антонов превышает власть, а Ленин его поддерживает, более того, благословляет на незаконные действия.

Эсеры искали зацепки для обструкции. Выглядело смешно: люди, еще недавно признававшие, по существу, единственный метод борьбы — террор, швырянье бомб, вдруг изображают из себя законников. Пожалели капиталистов. А рабочих, дорогие товарищи, вам не жаль?

Ленину очень хотелось вчера дать бой левым эсерам. Но он не стал громить их; зная, что члены правительства — большевики — поддержат его, он тут же, на заседании, пока кто-то выступал, написал и предложил проект постановления о взаимоотношениях Антонова-Овсеенко с Советским правительством Украины и с чрезвычайным комиссаром Совнаркома на Украине Серго Орджоникидзе. Левые эсеры согласились с постановлением. Однако, выходит, не успокоились. Хочется им помутить воду. Возможно, не понравилась им и другая телеграмма, которую Ленин посчитал необходимым послать Антонову сразу после заседания, чтобы сообщить суть решения Совнаркома. Владимир Ильич не мог не подчеркнуть своего удовлетворения действиями командующего: «СНК выражает уверенность, что т. Антонов будет действовать впредь, как и прежде, в полном контакте с той центральной украинской Советской властью, которую СНК приветствовал, и с назначенным Советом Народных Комиссаров чрезвычайным комиссаром».

Разговор с Калягаевым при всей его корректности испортил Ильичу настроение.

Мальчишеские выбрыки! Глупая обструкция! Нельзя

бороться с анархической распущенностью, недисциплинированностью во всех учреждениях, если не будет дисциплины в Совнаркоме! Члены правительства опаздывают на заседания, некоторые без достаточно уважительных причин не появляются совсем. Троцкий, например, может подняться и уйти при обсуждении самого горячего вопроса. Сталин часто выходит курить.

Еще несколько дней назад Владимир Ильич дополнил повестку дня вопросом об открытии заседаний Совнаркома в точно назначенное время. Кажется, все дружно поддержали. И вот — пожалуйста. Не только опоздание, а саботаж заседания, очень нужного: «румынский вопрос» просто невозможно откладывать.

Владимир Ильич, раздраженный и озабоченный, ходил по кабинету. Электростанция давала свет очень неровно: то лампочки горели нормально, то вполнакала — невозможно даже читать. Временами свет гас совсем. Тогда использовали свечи, благо товарищи запаслись ими.

Люстра и настольная лампа горели тускло, в кабинете, по существу, стоял полумрак.

Ленин думал. Он умел сосредоточиться на одном, главном. Но это лучше удавалось, когда садился к столу с лежащей перед ним бумагой. Или на трибуне. А в таком вот полумраке или в кровати, когда ложился спать, думается об очень многом: о самой высокой политике и об очень конкретных людях — о рабочих, солдатах, сотрудниках или своих близких.

«У Маняши старенькие ботинки, а морозы крепчают. Как и где раздобыть ей хорошие теплые ботики?»

«Нужно написать о речи Вильсона в конгрессе. Его четырнадцать пунктов — условия мира — обман с целью усыпить бдительность народов и замаскировать сговор империалистов против республики Советов!»

«Открытие Учредительного собрания активизирует

контрреволюцию. Возможна попытка переворота. Поднять красногвардейские части. Укрепить особый пулеметный батальон».

Вспомнил, как недавно к нему приходил военный врач и жаловался, что от хлеба, выпекаемого в Петрограде, раненые не выздоравливают, а заболевают хуже — от примесей, добавляемых в муку для большего припека. Добавки такие узаконены при Керенском. За пекарнями слабый контроль. «Что там добавляют? Поручить Шлихтеру проверить. Хлеба мало, но хлеб должен быть здоровым!»

Нити лампочек стали совсем тускло-красными. Ленин грустно посмотрел на них. Придется снова работать при свечах.

«Товарищи Антонов и Орджоникидзе! Угля! Угля! И хлеба! Богом прошу, хлеба! Иначе Питер может закоченеть».

«А Надя кашляла в прошлую ночь».

«Хорошо. Постановление по Антонову мы дополним. Создадим революционные трибуналы, и они будут безотлагательно рассматривать каждый случай назначения на принудительные работы, определять срок пребывания на работах или освобождать арестованных».

«Что ж, сегодня будем отдыхать. Новый год. Поедем к рабочим».

Владимир Ильич вышел в помещение Управления делами.

— Мария Николаевна, Совнаркома сегодня не будет. Позвоните наркомам, кому можно… И идите домой. С Новым годом вас. Счастья вам. Только дайте мне протокол. Я распишусь, что точно вовремя явился на заседание, которое не состоялось по вине левых эсеров.

Новый год начался ясным морозным днем. Утреннее небо слепило первородной синевой, таким оно редко бывало над Питером, обычно его туманили дымы тысяч труб — заводских, жилых домов.

В это утро тоже дымили трубы, но не так густо, дымы были прозрачно-белые, не расплывались, поднимались в небо тонкими столбиками и незаметно таяли там — ни сажи, ни копоти; нетрудно догадаться почему — большинство кочегарок перешло на дрова.

Выйдя на прогулку, перед тем как подняться в кабинет, Владимир Ильич полюбовался небом, обратил внимание на особенность дымов и снова подумал про уголь. Дрова могут согреть людей, но на дровах не сваришь металл, не выкуешь плуг и штык. Да и как их заготовить, дрова? На чем привезти? Хотя, пожалуй, стоит подумать, нельзя ли использовать извозчиков. Подсказать Петроградскому Совету, пусть подсчитают, сколько в городе лошадей. Чем их кормят? Нет ли запасов фуража, из которых можно было бы выкроить часть для фронта?

Прекрасное утро, но мороз беспощадный. В таком пальто в январе можно гулять в Женеве, но недолго погуляешь в Петрограде. Надеть бы тулуп, как у того дворника, что лениво расчищает снег.

Дворников нужно заставить чистить улицы. Вчера вечером, после пурги, едва добрались на Выборгскую сторону. Этак город может замести настолько, что не выйдет ни один автомобиль, остановятся трамваи.

Надо проверить готовность автомобилей военного округа и штаба Красной гвардии. Как с бензином? Пусть бы весь бензин был в одних руках. В автомобильном отделе ЦИК. Под контролем Свердлова бензин не потечет направо или налево.

После бесславной кончины Учредительного собрания необходимо принудить Якова Михайловича поехать отдохнуть и подлечиться. Нехорошо кашляет председатель ВЦИК. Так кашляли некоторые товарищи

в эмиграции. Ленин с грустью подумал о тех, кто не вернулся из эмиграции, из Сибири, не дожил до победы революции.

Короткая прогулка взбодрила и зарядила энергией, Ильич весело поздоровался с часовыми у своего кабинета, поздравил с Новым годом. Это обрадовало обоих — солдата и красногвардейца. Какой-то не очень умный агитатор сказал им, что все праздники, в том числе и Новый год, отменяются. Смутил людей. Как же так? Будто бы Новый год только церковный праздник.

Ветер на дворе утих, и в кабинете потеплело. От тепла становится уютнее. От тепла и от ясного неба за окном. Скоро взойдет солнце, и все в кабинете будет залито светом. При таком свете хорошо работается.

День был заполнен, как, пожалуй, все остальные дни двух месяцев жизни республики: телеграммы, письма, телефонные разговоры и люди, люди, люди… Самые разные, с разными делами; абсолютное большинство этих дел требовало неотложного решения.

И Ленин ничего не откладывал, а если поручал дело кому-то из помощников, то всегда давал обстоятельные указания, часто письменные.

Работалось весело. Такой душевный подъем Владимир Ильич любил, ибо видел, как его настроение передавалось другим: наркомам, управляющим делами, секретарям, телефонисткам, посетителям. А это создавало настрой общего вдохновения.

Но можно представить, каких усилий стоило Ильичу с такой энергией заниматься практическими вопросами рождения нового строя, нового государства и одновременно, используя каждую паузу, разрабатывать теорию этого государства, писать теоретические работы! Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа необходимо не позже как послезавтра представить ЦК, ЦИК, фракции большевиков Учредительного собрания. А она еще не совсем готова. Когда дописать? И тут же, как морские

волны, захлестывают мысли про тезисы о мире. Нужно как можно скорее объяснить невозможность «революционной войны», пропаганду которой активно и открыто начали «левые».

А тут еще инциденты, как этот, с румынами. Не все, выходит, понимают и одобряют те решительные меры, которые необходимо было принять и которые вчера были приняты. Даже заместителю наркома иностранных дел Залкинду пришлось долго и терпеливо доказывать, что иного решения быть не могло и не может. Пусть знают румыны, французы — правительства всех стран, куда война занесла русских солдат, что Советское правительство никому не позволит безнаказанно чинить над ними насилие.

Ленин обрадовался приезду украинцев и сразу их принял. По разным каналам — через большевиков, ехавших в Харьков, через Антонова и Орджоникидзе — Ленин настойчиво рекомендовал украинским товарищам быстрее направить делегацию в Брест-Литовск на переговоры о мире.

Он начал беседу с главного:

— Очень прошу: не затягивайте отъезд в Брест-Литовск. Ваше присутствие там очень важно. Совнарком через свою делегацию добился, чтобы немецкие, австрийские хищники выслушали делегацию Советов, осуществляющих контроль над большей частью Украины. Имела значение позиция Турции и Болгарии, которые не могут не считаться с тем, что Черноморский флот у Советов. Это вам серьезный козырь. И вы им бейте. Четверной союз трещит. Для Болгарии и Турции заключение мира с Россией и Украиной — полный выход из войны. Им хочется вырваться из львиных объятий Германии, и мы должны использовать противоречия в самой коалиции. Но самый важный наш и ваш козырь — крах Рады. Если украинским советским войскам удастся в ближайшее время, до подписания мира, взять Киев, власть контрреволюционной Рады станет фикцией. Немцы вынуждены будут подписать мир с Советской Россией, с Советской Украиной.

Возможно, с Советской Эстонией. Вчера в Ревеле собрались члены Эстляндского комитета партии большевиков. Я посоветовал товарищам подумать над тем, чтобы провозгласить Эстонию независимой советской республикой. Это очень важно, мы сможем поставить кайзеровцев перед фактом и сорвать их намерение аннексировать прибалтийские земли. Возможно, к вам присоединится делегация Эстонии. Сожалею, что белорусские товарищи пока что не провозгласили Белорусской Советской Республики. На пути немецкой экспансии встанет союз советских республик, союз освобожденных от эксплуатации народов. В Брест-Литовске ваша первейшая практическая задача — поставить под сомнение полномочия делегации Рады, состоящей в заговоре с Калединым, с Клемансо, с Румынией. Позиция Рады придала румынам смелости, и они пошли на наглую провокацию против наших частей. В случае, если Киев не будет взят и ситуация сложится не в нашу пользу, не дать сговориться с немцами за спиной у советских делегаций. Ошибка Троцкого — признание им полномочий делегации Рады.

Ленин называл факт признания мягко — ошибкой, хотя, зная позицию Троцкого, понимал, что это не ошибка. Однако соотношение сил в ЦК, где будет решаться вопрос мира, не давало возможности назвать определенные действия своих коллег так, как характеризовал выступление некоторых из них в эмиграции. Там была теория, здесь — практика в чрезвычайно сложных условиях.

Все же Ленин высказал свое мнение об «ошибке» Троцкого:

— Боюсь, дорого нам будет стоить эта ошибка, — помолчал, задумался на миг, заключил: — От ошибок никто не застрахован. Но есть ошибки и ошибки. Работники Харьковского Совета, конечно же, ошибались, когда возник конфликт рабочих с капиталистами. Товарищ Антонов очень правильно поправил их.

Ленина, чрезвычайно интересовало положение на Украине. Борьбу за мир нельзя было оторвать от укрепления Советской власти в России, на Украине, в Белоруссии, в Эстонии, в Закавказье.

Как организуются Советы в городах, в селах? Как Харьков? Как Донбасс? В надежных ли руках Одесса и флот? Какие социальные силы стоят за Центральной Радой? Ее военные силы? Как организовывается украинская Красная Армия?

По военному положение украинские товарищи были подготовлены основательно. Отвечали на все вопросы со знанием дела. Владимир Ильич вниманием, с каким слушал делегацию, выказывал удовлетворение. Украинцев удивило детальное знание Лениным района боевых действий против националистических формирований Центральной Рады, его советы не только общие — по стратегии, но и тактические. Затонский даже пошутил:

— Можно подумать, Владимир Ильич, что вы только что из штаба наших войск и прошли с их эскадронами от Харькова до Киева.

Ленин одобрил назначение командующим войсками Украинской Советской Республики Юрия Коцюбинского. Владимир Ильич хорошо помнил двадцатидвухлетнего прапорщика, боевого комиссара Петроградского ВРК, начальника Красной гвардии Московско-Нарвского района, очень энергично действовавшего в решительные моменты Октябрьского восстания — седьмого, восьмого ноября и особенно одиннадцатого, в день юнкерского мятежа. В тот день Коцюбинский лично докладывал Ленину о боях против юнкеров. Владимир Ильич еще раньше знал, что комиссар — сын известного писателя, которого они с Надеждой Константиновной с интересом читали в оригинале, по-украински. Сказал товарищам, что Михайло Коцюбинский мог бы гордиться таким сыном. Теперь он повторил это делегации, добавил:

— Наше счастье, что в революцию идут такие

интеллигенты. Нам нужно бороться за каждого образованного человека, преданного своему народу, понимающего его душу.

Однако Ленина интересовало не только военное положение.

— Сколько в районах, находящихся под контролем Советов, добывается угля?

Данных таких у делегации не было.

Владимир Ильич, сидевший напротив украинцев за маленьким столиком, заметно помрачнел. Потрепал бородку, потер виски, как делал всегда, когда подступала головная боль. Поднялся с кресла, прошелся по кабинету.

Остановился у карты бывшей Российской империи, задумчиво провел взглядом от Петрограда до Владивостока, вернулся назад на запад, остановил взгляд на Украине, как бы окинул ее степные просторы. Повернулся к делегации.

— Нам нужно убедить каждого рабочего, каждого партийца, что учет и контроль — главная, я подчеркнул бы, самая главная экономическая задача каждого Совета, каждого потребительского товарищества, фабрично-заводского комитета. Учет и контроль повсеместно, всеобщий, универсальный: за количеством труда и распределением продуктов. В этом сущность социалистических преобразований. При переходе к социализму учет и контроль могут быть только массовыми. Победить пережитки проклятого капиталистического общества можно участием массы рабочих, крестьян, солдат в учете всего, что производится и потребляется, в контроле за богатыми, за мародерами, за хулиганами. В России, на Украине хватит хлеба, железа, леса, шерсти, если мы установим всенародный контроль, деловой, практический. Победить эксплуататорские классы нужно не только в политике, но и в повседневной экономической жизни. Никакого прощения врагам народа, врагам трудящихся!

Вот почему я поддержал энергичные революционные действия товарища Антонова против харьковских капиталистов, которые, безусловно, все калединцы, саботажники. Как и в борьбе с Калединым, с Центральной Радой, мы должны объединить наши силы и в борьбе с голодом, хватающим костлявой рукой авангард революции — пролетариат Петрограда, Москвы. Мы благодарны украинским Советам за помощь. Но хлеба и угля нам нужно больше. Больше, товарищи! Думаю, было бы правильно, чтобы при Совнаркоме находился постоянный представитель Украины. Советский посол. Мы послали к вам Серго Орджоникидзе. Настоящий большевик! А вы оставьте в Петрограде, — Ленин с доброй улыбкой посмотрел по очереди на членов делегации, — товарища Затонского. Согласны, Владимир Петрович?

Затонский обрадовался и смутился от неожиданного предложения.

— Считаю за честь работать рядом с вами, Владимир Ильич.

— Будем решать вопросы без комплиментов и высоких слов, товарищи, — сказал на это Ленин. — Таким должен быть стиль работы всех советских учреждений.

Шахрай поддержал идею Ильича: конечно, Украина должна иметь представителя при Совнаркоме. Медведев сказал, что нужно посоветоваться с товарищами в Харькове. Ленин согласился:

— Безусловно. Свяжитесь по прямому проводу. Но самое главное — не оттягивайте выезд в Брест. Я передам Троцкому, Крыленко, Залкинду, чтобы они как можно скорее договорились с немцами о вашем приезде.

5

Вошел секретарь Горбунов.

— Владимир Ильич, с вами хочет говорить

американский посол.

На лице Николая Петровича удивление: звонит лично посол государства, не признающего Советского правительства и до сих пор не сделавшего ни одного шага к установлению хотя бы каких-либо отношений, если не считать частной инициативы Робинса. Горбунов не понимал причины неожиданного звонка. Ленин сразу догадался. Усмехнулся над удивлением секретаря и над вынужденным демаршем Френсиса. Представил, как нелегко было спесивому американцу обратиться к премьеру Советского правительства.

Ленину хватило одной минуты, чтобы выработать план разговора. В дипломатии имеют значение не только слова, их смысл, но и форма диалога — тон, паузы и многое другое. Нельзя взять трубку слишком поспешно, но нельзя и испытывать терпение самолюбивого собеседника.

Владимир Ильич снял трубку телефона, сказал по-русски:

— Я слушаю.

В трубке, где было меньше посторонних шумов, чем вчера, — хорошая погода! — пророкотал английский баритон:

— Господин премьер-министр?

Владимир Ильич ответил по-английски:

— Да, Ленин. Я слушаю вас.

— Господин премьер... — Голос Френсиса словно прервался, не по вине телефона, конечно. Ленин почувствовал, что дипломатический лев, съевший зубы и слизавший язык в разговорах с королями, президентами, премьерами, волнуется, снова усмехнулся, повторил:

— Я слушаю вас, господин посол.

— В качестве дуайена дипломатического корпуса я имею честь просить вас, господин премьер-министр, принять послов в шестнадцать часов. Мы считаем своим долгом вручить правительству вашей милости меморандум по случаю беспрецедентной акции — ареста нашего коллеги посланника Диаманди и членов румынского посольства.

Ленин внимательно слушал, отмечая, что волнение в голосе Френсиса исчезает и появляются угрожающие нотки; так говорит человек, привыкший диктовать свою волю или, точнее, волю своей страны.

Ленин сказал спокойно, вежливо:

— Господин посол, я не начинаю наш с вами разговор с протеста и возмущения Советского правительства действиями румынских властей. Я согласен: для того чтобы выслушать мнение обеих сторон, необходима встреча. Ровно через час я дам вам ответ, смогу ли принять послов.

Положив трубку, Ленин весело посмотрел на Горбунова, который, хотя и не понимал по-английски, наконец догадался, что взволновало посла, о чем шла беседа.

— Что ж, — сказал Владимир Ильич, потирая руки — не от удовлетворения — от некоторого возбуждения, — будем, Николай Петрович, готовиться к дипломатическому приему, учиться новому делу. — И, заметив, что Горбунов не все понимает, объяснил: — Просится весь корпус.

— Из-за румын?

— Да.

— Будут протестовать?

— Будут. Но и мы получим возможность высказать протест и защитить наших солдат так, чтобы это стало известно мировой общественности.

— Не поднимут ли шум некоторые из наших?

— Кто? Бухарин? Урицкий? Пусть пошумят. Их нужно приучать к мысли, что мировая революция не произойдет завтра. Нам придется говорить с капиталистами не только языком пушек. Придется садиться с ними за стол переговоров, так, как мы сели с немецкими империалистами. И мы должны научиться вести любые переговоры — о мире, о торговле, — лучше, чем ведет их Троцкий в Бресте. Не скажу, как долго, но сосуществовать нам придется. Поэтому учитесь организовывать дипломатические приемы, дорогой Николай Петрович, — засмеялся Владимир Ильич.

— Что для этого нужно?

— Сегодня? — Ленин на минуту задумался. — На посты в Смольном больше матросов. Матросы производят впечатление. А в комнате секретариата — вешалки для посольских пальто и шуб. Не принимать же их в шубах.

Что принять послов необходимо — Ленин решил сразу, во время разговора с Френсисом. Послы стран Антанты вынуждены пойти на первый контакт с Совнаркомом. А это уже в определенном смысле косвенное признание де-факто власти большевиков — что бы потом ни говорили. Нельзя считать серьезными левацкие крики о том, что, дескать, с буржуазией у пролетарского правительства не может быть никаких контактов. Глупости! Живя на одной планете, мы вынуждены сосуществовать, товарищи «левые»!

Наконец, Ленин не боялся, что пролетарии мира осудят акцию Совнаркома в ответ на румынскую провокацию — арест русских революционных солдат. Наоборот, был уверен, что солдаты воюющих стран будут приветствовать это. А потому нужно придать инциденту наибольший резонанс. Факт приема послов Председателем Совнаркома раструбят все западные газеты. Сенсация. И нам это на пользу.

Владимир Ильич тут же позвонил Сталину,

проинформировал о разговоре с Френсисом и повторно попросил срочно связаться с Брестом и дать знать делегации о конфликте с Румынским королевством, о принятых Совнаркомом мерах. Вчера Сталину не удалось связаться, или, может, он не придал инциденту такого значения, какое придавал Ленин.

— Попросите, чтобы представитель делегации после четырех был у прямого провода. Мы сообщим о результатах переговоров с дипломатическим корпусом.

Ленин связал все в один узел. Срочность информации необходима не только для учета делегацией всех аспектов в переговорах, но и для того, чтобы о решительных мерах в защиту революционной дивизии узнали немцы. Пусть попадет в газеты Четверного союза: вот как Советское правительство заботится о боеспособности фронтовых частей. Такие факты могут принудить Кюльмана быстрее подписать мир.

Послов следует принять — сомнения не было ни на миг. Но Френсису нужно было дать понять, что, во-первых, не ему назначать время, во-вторых, премьер считает необходимым посоветоваться с правительством. Прием не должен оказаться малозначительным фактом. Ленин советовался с членами ЦК, Совнаркома. Почти все поддержали Председателя Совнаркома. Даже Николай Иванович Бухарин, который, как никто, умел запутать самый простой вопрос, создавать проблемы и учинять обструкции, неожиданно согласился, что послов нужно принять.

Рассудительный Свердлов сказал, что время приема не стоит менять. Нет сомнения, что Френсис в своей типично американской самоуверенности сообщил послам, что прием будет в шестнадцать. При нынешней телефонной связи в Петрограде и из-за дезорганизации курьерской службы в самих посольствах ему нелегко будет за каких-то два-три часа оповестить послов о новом времени.

Ленин согласился: поскольку мы заинтересованы в присутствии всего корпуса, создавать трудности не

нужно.

Ровно через час Ленин позвонил в американское посольство. Но связаться с Френсисом не удалось. Тогда Владимир Ильич написал записку на английском языке:

«Дэвиду Р. Френсису, американскому послу

1.1. 1918 г.

Петроград

Сэр, не будучи в состоянии связаться с Вами по телефону в 2 часа, как было условлено, я пишу, чтобы сообщить Вам, что я был бы рад встретиться с Вами в моем кабинете — Смольный институт, комната 81 — сегодня в 4 часа дня.

С уважением Ленин».

Горбунов послал записку с курьером-мотоциклистом. Послы появились почти одновременно, между приездом первого и последнего не прошло и пяти минут.

Такая пунктуальность удивила охрану Смольного, ибо представители стран больших и богатых приехали на автомобилях, а малых — в каретах на полозьях, запряженных парой или тройкой лошадей, — как сто лет тому назад.

В вестибюле их встречал Горбунов. Вестибюль освободили от красногвардейцев и посетителей, которых там всегда было полно. Но все равно из коридоров и классных комнат первого этажа выглядывало немало любопытных. Эти словно прятавшиеся там люди в шинелях (признавался потом посол одной малой державы) нагоняли на некоторых дипломатов страх. Они, считавшие себя знатоками России, по многу лет жившие в Петрограде и бывшие свидетелями самой бескровной революции, верили обывательскому вранью газет своих стран о дикости и зверствах большевиков.

Комендант Смольного выбрал из караула на посты в

вестибюле и на третьем этаже самых рослых и видных матросов.

Один из них, по недосмотру начальника караула, украсил себя патронной лентой через плечо. Матрос, безусловно, сделал это нарочно, с определенным смыслом: острые пули торчали из ленты и были как бы нацелены на буржуев. «Пусть видят нашу силу!» — так, наверное, рассуждал матрос.

Типичный американец Френсис, седой, но похожий на хорошего спортсмена-бегуна, держался уверенно, независимо и даже агрессивно: как артист, настраивал себя на определенный лад, чтобы произвести впечатление; ему надлежало передать меморандум и высказать протест от имени всего корпуса.

Был американец в медвежьей шубе, довольно полинявшей, облезшей, будто снятой с джек-лондоновского героя, золотоискателя. Французский посол Нуланс, располневший, краснолицый, явный любитель выпить и вкусно поесть, свою отяжелевшую фигуру облек в элегантное пальто с собольим воротником. Низенький, как мальчик, посол Китая надел какую-то совсем некитайскую шинель со складками, как на юбке: шинель была длинная, до пят, и китаец, чтобы не запутаться в ней, приподнимал полы совеем по-женски, над чем потом матросы посмеивались.

Горбунов приветствовал гостей по-русски. Френсису его слова перевел посол Греции. Николай Петрович перешел на французский язык. Миссию переводчика тут же услужливо взял на себя Нуланс, хотя знал, как, кстати, знали и в Совнаркоме, что Френсис владеет и русским и французским.

Горбунов повел гостей по широкой лестнице.

Нуланс со свойственным французу юмором спросил:

— Мы пойдем к премьеру в шубах?

— Нет, господин посол. Вас разденут в приемной Председателя Совнаркома.

Ленин стоял посреди кабинета, заложив руки за спину. Не характерный для него жест. Не так он встречал посетителей. Но тут особый случай. Владимир Ильич не знал всех тонкостей дипломатического буржуазного этикета. Подумал, что кое-что из него придется взять руководителям социалистического государства, но многое стоит отбросить, как отбросили все титулы, все обращения, делившие людей на господ и рабов.

Ленин догадывался, что, здороваясь, послы Антанты руку ему не протянут. Идут не с дружественным визитом — с меморандумом, с протестом. Пожатия руки социалистическому премьеру буржуазные правительства не простили бы своим послам. Эти первобытные законы дипломатии Владимир Ильич знал, поэтому и держал руки за спиной: пусть никому из них не покажется, что он рассчитывает на обмен рукопожатиями.

Ленин не ошибся. Как только Горбунов открыл дверь и вежливо пригласил: «Прошу вас, господа», первым вошел Дэвид Френсис и поздоровался кивком головы и обычным «здравствуйте».

Даже без обращения «сэр». Но, как бы почувствовав неловкость, стал поспешно представлять своих коллег, которые входили, придерживаясь определенной очередности — кто за кем. Однако в кабинете установленный неписаным этикетом порядок нарушили. Кабинет небольшой, а послов более десятка, и каждому из них, кроме разве что кичливого и самовлюбленного посланника Англии, хотелось получше рассмотреть человека, поднявшего отсталых, казалось им, российских рабочих, крестьян на такую революцию, мужественно возглавившего первое в истории рабоче-крестьянское правительство. В большинстве своем они, верные слуги своего класса, ненавидели Ленина, но вместе с тем по-человечески не могли не восхищаться им. Почти никто из них тогда не сомневался, что большевики долго не продержатся,

однако они понимали: если даже и найдется какой-нибудь Каледин или Корнилов, который задушит революцию, возглавленную Лениным, самого Ленина никто из истории уже не вычеркнет. Это знамя, под которое в любое время могут встать пролетарии их собственных стран.

Впервые встретиться с Лениным — это было сенсацией, событием в довольно однообразной жизни каждого из них.

Посол Эфиопии растолкал «высоких» коллег и вылез вперед, переступил даже за линию, на которой остановился дуайен. Не отстали от него послы Португалии и Сербии.

Смотрели они на Ленина как на пришельца с другой планеты или из другой, еще не наступившей, эпохи. С таким же интересом рассматривали и кабинет рабочего премьера, по-спартански простой — стол, стулья, портрет Карла Маркса.

Владимир Ильич видел это любопытство, знал его истоки: образованные буржуа коллекционируют не только дорогие игрушки, но и наблюдения, встречи, разговоры — для будущих мемуаров, которые каждый из них начнет писать, уйдя в отставку. Ленин внутренне посмеивался, как смеются взрослые над детскими забавами.

Френсис, на котором, если иметь в виду инструкции государственного секретаря Лансинга: «Никаких официальных контактов с правительством Ленина», — лежала нелегкая ответственность, нервничал при всей своей великодержавной амбиции, бросал на нарушителей этикета гневные взгляды. Он торопился быстрее исполнить свою миссию. Раскрыл папку и, глядя в текст меморандума, но не читая его, заговорил:

— Господин премьер-министр, дипломатический корпус вынужден был просить вас об этом приеме, чтобы выполнить свой союзнический, человеческий гуманный долг. Послы удивлены и возмущены арестом

посланника Диаманди и членов румынского посольства. Господин премьер, я не помню в истории отношений цивилизованных стран аналогичного факта. Это недопустимо. Даже при объявлении войны послам гарантирована безопасность… Пусть господину премьер-министру будет известно, что это закреплено международными конвенциями. Румыния — союзник России. Арест посла союзной державы вообще беспрецедентный случай. Так делают разве что тогда, когда хотят начать войну. У Румынии есть основания объявить войну…

— Да, это повод для войны, — почти с угрозой поддержал дуайена Нуланс, который был автором меморандума и главным инициатором дипломатического демарша: Франции, правительство которой вынашивало планы проникновения на Украину (уже велись переговоры с Центральной Радой) очень нужна была дружба и поддержка королевской Румынии, соседки Украины…

На лице Френсиса промелькнула тень недовольства — его перебили, хотя это была и поддержка; независимость французского посла, его нежелание считаться с лидерством самой богатой страны давно раздражали американца.

Френсис кашлянул, словно подбирая ноту, на которой нужно бы кончить заявление. Действительно, в голосе его появился металлический звон:

— Мне поручено вручить правительству России меморандум дипломатического корпуса. Мы требуем немедленного освобождения посланника Диаманди и всех подданных его величества короля Румынии.

Френсис поднял над красным бархатом папки лист белой бумаги с текстом меморандума. Он ожидал, что Ленин подойдет и возьмет меморандум. Ленин не торопился. Прищурившись, он улыбнулся послу Эфиопии — красивому негру, все еще рассматривавшему его с детским любопытством. Френсису пришлось переступить условную черту —

сделать шаг к Ленину. Тогда и Ленин ступил навстречу, принял меморандум. Пробежал глазами по тексту. Обратился к послам:

— Господин дуайен! Господа! Я не хотел бы напоминать, что было в истории отношений между странами. В истории пролито море крови рабочих и крестьян. И кровь эта льется по сегодняшний день. Она льется по вине правительств, называющих себя цивилизованными...

Это был ответ на намек Френсиса, что, дескать, Советское правительство поступило не как цивилизованное.

Ленин, говоря по-народному, рубил наотмашь, так, что у послов Антанты посыпались искры из глаз; они вскинули головы, переглянулись, зашевелились, сбились в кучку, словно опасаясь за единство своего фронта; в горле «английского льва» что-то булькнуло.

Послы готовы были броситься в бой за свои правительства, доказывать, что не они виноваты в войне, — виноват кайзер Вильгельм, император Иосиф. Но у них была договоренность: ни при каких поворотах разговора не обсуждать обращения Советской России к правительствам и народам воюющих стран. Еще в конце ноября на совещании в американском посольстве договорились на ноты Советского правительства не отвечать, ни в какие контакты не вступать. Начать разговор о войне и мире — значило бы вступить с большевиками в переговоры. Ленин хитро толкает их на это. Какой дипломат! — подумали некоторые из послов. Даже те из них, которые не знали английского языка, почувствовали, что Ленин сказал что-то необычное, и начали переспрашивать соседей.

Ленин нарочно сделал паузу: пусть дуайен возразит.

Френсис смолчал.

— По существу меморандума. Правительство Советской России не считает недопустимым арест

дипломатического представителя страны, без объявления войны открывшей военные действия против русской дивизии. Мы вынуждены были пойти на эту крайнюю меру, ибо не имели другой возможности освободить арестованных солдат. Для нас жизнь солдата дороже, чем спокойствие, комфорт дипломата. Думаю, вы, как цивилизованные люди, с этим согласитесь. Советское правительство будет любыми средствами защищать русских солдат от издевательств и насилия. До нас доходят сведения, что насилие и издевательство чинят китайские власти над нашими солдатами в Маньчжурии. Я заявляю об этом, пользуясь присутствием посла Китая…

Китаец даже глазом не моргнул — сделал вид, что не понимает по-английски.

— Мы подписали перемирие с Германией. Мы подпишем мир. И мы потребуем, чтобы русский корпус во Франции был отведен с фронта и возвращен домой.

— Ваше правительство твердо решило заключить сепаратный мир? — не без хитрости спросил посол Швеции: у него, нейтрала, особое положение, ему не запрещены контакты с Лениным.

— Мы два месяца ожидаем от правительств стран Антанты ответа на наши мирные предложения. Мы не можем больше ждать. Мира требует русский народ, истекший кровью и смертельно уставший от войны. Во имя чего продолжается эта бойня?

Ленин явно вынуждал послов начать разговор о мире. Но послы Антанты всячески уклонялись от него. И Френсис и Нуланс выразительными взглядами в сторону шведа и других нейтралов давали понять, что подобные вопросы неуместны.

Ленин это видел.

Френсис настойчиво повторил:

— Господин премьер-министр, дипломатический корпус

требует освобождения членов румынского посольства.

— А Советское правительство требует освобождения русских солдат. У держав, которые вы представляете, достаточно авторитета и силы, чтобы воздействовать на румынское правительство.

— Мы обещаем принять надлежащие меры с целью воздействия на правительство его величества короля Румынии, — пообещал Нуланс.

— На таких условиях я доложу о вашем меморандуме Совету Народных Комиссаров и обещаю добиться согласия членов правительства на освобождение румын. Не могу не ответить на ваше утверждение, будто арест дипломатических представителей дает право Румынии объявить нам войну. Наступило такое время, господа, когда народы, не желающие войны, в состоянии ее предотвратить, какие бы конфликтные ситуации ни возникали между странами. Судьба мира в руках народов. Первым декретом социалистической революции был Декрет о мире.

Снова Ленин втягивал их в дискуссию, на которую послы не имели полномочий.

Дуайен поспешил поблагодарить Председателя Совнаркома за прием дипломатического корпуса.

Одеваясь, некоторые из них ощупывали карманы своих шуб и пальто. Вера Круглова, телефонистка, девушка любопытная — очень ей захотелось посмотреть на иностранных дипломатов — и чрезвычайно наблюдательная, потом возмущалась чуть ли не до слез от обиды, от оскорбления:

— Это же они проверяли, не украли ли мы у них перчатки или портсигары. А еще — ло-орды!

Горбунов рассказал о возмущении девушки Ленину. Владимир Ильич смеялся до слез. Передал Верины слова Свердлову:

— А еще, говорит, лорды! Как вам нравится, Яков

Михайлович! Насколько Верина этика выше их, лордовской, этики. А знаете, я верю, что такие филистеры могли бояться за свои перчатки. Обывательская логика: мол, раз большевики экспроприируют землю, имения, заводы и банки, то почему бы им не стянуть у послов перчатки? Буржуа только так думает о пролетарии. Не удивлюсь, если в какой-нибудь газетенке появится, что у Френсиса в Смольном украли перчатки или калоши. Ах, как точно Вера выразила их сущность! — И снова смеялся, довольный итогами приема и Вериным возмущением.

6

Этого иностранца Владимир Ильич, радостно возбужденный, вышел встретить в комнату Управления делами, где тот только что разделся и, повесив пальто, причесывал свои каштановые волосы.

При появлении Ленина Фриц Платтен смущенно зажал расческу в левой руке.

Они обменялись крепким рукопожатием, несколько секунд не разнимали рук, рассматривали друг друга и хорошо, по-товарищески улыбались. Выше Ленина ростом, похожий на спортсмена, в элегантной тройке, секретарь социал-демократической партии Швейцарии чувствовал себя неловко от такой встречи и от необходимости на глазах у присутствующих смотреть на Владимира Ильича как бы сверху вниз. Платтен раньше и глубже кого бы то ни было из тогдашних западных социалистов понял гениальность Ленина и величие, интернациональное значение русской революции. Владимир Ильич, в свою очередь, уважал Платтена. Там, в Швейцарии, им приходилось иногда спорить, но Платтен был марксист убежденный и интернационалист твердый, у него не закружилась голова от шовинистического, ура-патриотического угара в годы войны, как закружилась у Шейдемана, Геда, Вандервельде.

— Дорогой Платтен, я рад вас видеть. Это прекрасно,

что вы приехали в Россию в такое время. Увидите нашу революцию собственными глазами. Я благодарю вас от имени всех товарищей за вашу помощь в апреле. Наш приезд домой тогда был очень своевременен… А без вас, без вашей помощи нам пришлось бы ехать очень долго… Троцкий добирался из Нью-Йорка два месяца…

Ленин начал говорить по-французски, но потом спохватился, что не все присутствующие понимают его, а Платтен неплохо владеет русским, и перешел на родной язык:

— Товарища Платтена вы знаете. Я благодарю нашего гостя за помощь, оказанную им русским революционерам в Швейцарии. От имени ЦК большевистской партии и Совнаркома я благодарю его за то, что он провез кратчайшим путем, через Германию, новую группу политэмигрантов. Поездка через Италию, Англию, Швецию товарищам дорого бы стоила. Мы бедные люди. Гость улыбнулся и сказал по-немецки:

— От Берлина немцы везли нас в теплушках, а содрали по тарифу первого класса. Эти колбасники своего не упустят. Пусть товарищи знают, что мои родители немцы. Однако у швейцарских немцев психология иная.

Ленин перевел, и работники Управления делами сочувственно посмеялись над отношением швейцарского социал-демократа к немецкой скупости.

Беседа продолжалась в кабинете. Они расположились друг против друга за маленьким столиком, как добрые старые приятели, только Платтен сидел прямо, следуя этикету, а Ленин положил руку на спинку стула, расслабился после напряженного дня. В разговоре с таким посетителем можно дать себе и своеобразный отдых, такой «отдых» Владимир Ильич позволял себе в беседах со Свердловым, Артемом, Бонч-Бруевичем, с родными, хотя и говорил о вещах не менее серьезных. Да, с людьми близкими не требуется такого душевного напряжения, как, например, в диалоге с Бухариным с его претензиями на теоретическую глубину. Или с

Троцким с его часто непонятной талмудистской парадоксальностью.

— Дорогой Платтен, я благодарил вас официально, как советский премьер. До вас в этом кабинете побывал весь дипломатический корпус, и я вынужден был принимать как должное «господин премьер-министр». Господин! Мы совершили революцию, чтобы покончить с господами, но формы общения в разных социальных слоях и особенно в международных отношениях долго еще будут господствовать прежние. Вы не представляете, какая грандиозная работа проводится нашей партией. А сколько ее, работы, впереди! Постарайтесь увидеть сами и понять. Я буду вашим гидом и… агитатором, — Ленин засмеялся.

— Я не позволю себе, товарищ Ленин, отрывать вас…

— Однако меня занесло в сторону. Как… как на ухабе («ухаб» Владимир Ильич сказал по-русски). Вы не знаете, что такое русская зимняя дорога, сани, ухаб… не нахожу ни французского, ни немецкого слова. Потом вспомню. От фрау Нади, как вы называли ее, особенное спасибо.

— Помощь вам я считал своим интернациональным долгом.

— За это и спасибо. Поймите, какой дорогой клад для революции, для Республики Советов каждый образованный марксист и просто каждый честный образованный человек. Не контрреволюционер. Не саботажник. Вернулся, например, Георгий Васильевич Чичерин. Мы его вырвали из лондонской тюрьмы, куда его засадило правительство Ллойд-Джорджа за его интернационалистскую деятельность. Великий знаток истории международных отношений! Энциклопедист! Тот самый человек, который нужен для организации советской дипломатической службы. Троцкий в этом деле дилетант. Однако я вас заговорил. Рассказывайте вы, дорогой Платтен. Что на Западе? Есть поворот в сознании масс? Какой именно? Что изменила война, русская революция? Мы получаем газеты через

Швецию и Финляндию. Немецкие — через фронт, во время братания солдат. Все газеты месячной давности. К тому же никогда не надо забывать, что это буржуазные газеты, шовинистские. Выдыхается угар шовинизма в социалистическом движении? У меня, дорогой Платтен, столько практической неотложной работы, что почти не остается времени заняться теорией.

— Война серьезно отрезвила многих наших коллег.

— Я об этом говорил еще в Циммервальде. Война отрезвила многих. Плохо, что поздно. Но лучше, чем никогда.

— Однако война родила другое явление: пессимизм.

— У рабочих? — удивился Ленин.

— Нет. У интеллигенции.

— Пессимизм — болезнь русской интеллигенции. Но она была результатом поражения революции пятого года. Микробы пессимизма проникли на Запад? Почему? Куда больше? Во Францию? В Германию?

— Даже в нейтральную Швейцарию. Но я был недавно в Италии...

— Пессимизм от разочарования войной? От незнания выхода? От отсутствия идеалов?

— Возможно, товарищ Ленин. Но я думаю, что причина не одна. На Западе все гораздо сложнее.

— Чем в России, хотите вы сказать?

— Я слабо знаю Россию.

— Нет, Платтен, у нас не менее сложно. У нас архисложно. Вы не забывайте одно обстоятельство: то, что на Западе называют Россией, — это многонациональная страна. Революция прошла по ней триумфальным шествием. Но имейте в виду: власть

легче взять, чем удержать. Империалистические хищники выбирают момент разорвать нас на части. Совнарком признал независимость Финляндии, и финская буржуазия ровно через неделю начала расправу над революционным пролетариатом. У меня к вам конкретный вопрос. Может в ближайшее время выступить пролетариат Германии? И победить. Для нас в связи с борьбой, разгоревшейся вокруг подписания мира, это вопрос номер один.

Платтен задумался.

— Трудно сказать, товарищ Ленин. Революции возникают неожиданно.

— Мы, марксисты, должны уметь предвидеть революционную ситуацию.

— Я знаю Германию, но, видимо, не настолько, чтобы сделать такой ответственный прогноз. После работы в Риге, продолжительного знакомства с вами, с русскими товарищами мне казалось, я знаю Россию. Но, признаюсь, после Февральской революции ваша Октябрьская была для меня неожиданностью.

Ленин легонько побарабанил пальцами по столу и сказал как будто в шутку — с улыбкой.

— Платтен, вы не верили в большевиков. И не поднялись до понимания наших задач. Мы скатились бы на позиции меньшевиков и английских тред-юнионистов, если бы остановились на буржуазно-демократической революции.

Платтен засмеялся.

— Узнаю вашу непримиримость, товарищ Ленин.

— Но вы отходите от моего вопроса.

— Может ли быть революция в Германии?

— Да, да.

— В Швейцарии ее не может быть — это я могу сказать определенно. А промышленность у нас более развитая, чем...

— Не трогайте Швейцарию, Швейцария не истекала кровью. Ваша буржуазия придумала хитрые формы обмана и подкупа рабочих. — Ленин поднялся, в задумчивости прошелся по кабинету, сказал по-русски: — М-да... Революционная ситуация — штука архисложная, — и по-немецки: — Простите, Платтен. Это, как говорят, мысли вслух.

— Я тоже думаю, — сказал Платтен. — Я думаю, что немецкая буржуазия не хуже владеет мастерством обмана и подкупа...

Ленин остановился перед гостем.

— Платтен, не забывайте, что Германия также истекает кровью. Солдаты, они же крестьяне и рабочие, не видят конца войны. Сколько можно лить крови? Для чего?

— А еще я думаю... знаете о чем? — спросил немного таинственно Платтен по-русски.

— Интересно. — Ленин сел в кресло, готовый слушать.

— В Германии нет Ленина.

Владимир Ильич дружески погрозил Платтену пальцем.

— Вы преувеличиваете роль личности в истории.

— Насколько помню, я читал у Маркса и, кажется, у Ленина... Роль личности нельзя преувеличивать, но нельзя и преуменьшать. Разве не так?

— Вы опасный полемист, Платтен. И все же... Скажите без дипломатии: верите вы в близкую революцию в Германии? Во Франции?

— Нет, не верю.

— Вы пессимист, Платтен. Но мне хотелось бы, чтобы

ваше мнение услышали наши «левые». Встретьтесь, пожалуйста, с Бухариным, с Урицким, с Ломовым, с Осинским. И скажите им это. У нас — другая крайность… В результате триумфальных побед революции — слишком много оптимизма. Иногда небольшая доза пессимизма бывает полезной. Как разумно назначенное лекарство.

В кабинет открыл дверь Подвойский: наркомы заходили к Председателю без доклада, такой порядок был заведен Лениным.

— Можно, Владимир Ильич? Не помешаю?

— Пожалуйста, Николай Ильич. Заходите и знакомьтесь. Товарищ Платтен. Ему очень интересно познакомиться с первым советским генералом.

Высокий, по-военному подтянутый, в солдатской гимнастерке, с широким, по-солдатски обветренным лицом, к которому не очень шла узкая, клинышком, «интеллигентская» бородка, Подвойский, находчивый и остроумный в разговоре с солдатами, с рабочими и с буржуями, бесстрашный в любых боях — за пулеметом и с трибуны, — смущался перед Лениным, хотя встречались они ежедневно, а то и два-три раза в день. Для смущения у Подвойского была причина. На четвертый день революции, когда Керенский наступал на Петроград и сложилась нелегкая ситуация, Ленин явился в штаб округа, где разместился ВРК, потребовал поставить ему стол в кабинете Подвойского и начал чрезвычайную работу по мобилизации «всех и всего» для обороны. И хотя в планы военных операций он вмешивался довольно деликатно, молодого командующего нервировал такой контроль главы правительства. Горячий Подвойский дважды «сорвался». В первый день самолюбиво спросил:

«Это что, недоверие к нам?»

Ленин, усмехаясь, сказал:

«Отнюдь нет. Просто правительство рабочих и крестьян

хочет знать, как действуют его военные власти».

На второй день произошел инцидент посложнее. Не согласившись с конкретным указанием Ленина, Подвойский потребовал освободить его от командования. Тогда Ленин крепко рассердился и сказал:

«Я вас предам партийному суду. Приказываю продолжать работу и не мешать работать мне!»

Потом Подвойский понял, что именно присутствие Ленина в штабе, его организаторская работа и его военный талант помогли красногвардейцам и революционным солдатам разгромить контрреволюцию в самом зародыше. И Подвойскому было неловко перед Владимиром Ильичей, потому он и смущался при каждой встрече. А тут еще иностранец! Элегантный, как жених.

Пожимая руку Платтену, Подвойский робко возразил Ленину:

— Что вы, Владимир Ильич. Какой я генерал! С генералов мы сорвали погоны.

— Мы создадим рабоче-крестьянскую армию. И мы должны будем создать свой генералитет. Суть не в том, как мы назовем высших командиров. — И тут же не без гордости: — Вот какие люди совершили революцию! — Охарактеризовал наркома: — Товарищ Подвойский — наш Домбровский. — Тех, кого любил, Владимир Ильич часто сравнивал с героями Парижской коммуны. — Под его командованием был взят штурмом Зимний. Приняв командование Петроградским военным округом в первый же день революции, товарищ Подвойский провел блестящую операцию по ликвидации контрреволюционного мятежа Керенского — Краснова. А теперь… пока наш Главковерх Крыленко делает все, чтобы предотвратить окончательный распад старой армии, и держит фронт перед немцами, Подвойский возглавляет работу по созданию новой армии. Мы назовем ее Красной Армией. Это будет армия нового

типа. В истории революции только Парижская коммуна приближалась к принципам такой армии. Но у коммунаров было очень мало времени, чтобы организоваться. Нам нельзя повторять ошибки Коммуны. Дорогой Платтен, вы не обидитесь, если я скажу, что многие западные социалисты — даже они!.. да и некоторые наши большевики — не понимают… не представляют сущности армии социалистической революции. Мне хочется, чтобы вы, Платтен, это поняли. Вам проще, вы увидите революцию своими глазами. Мы вам поможем. Я расскажу вам один случай. Несколько дней назад я ехал в вагоне Финляндской железной дороги. Разговаривали финны с одной пожилой женщиной. Живая такая вагонная беседа. И вдруг мой товарищ финн говорит мне: «Знаете, какую оригинальную мысль высказала эта старушка? Она сказала: «Теперь не надо бояться человека с ружьем». Это значит, что массы, рабочие, крестьяне, поняли: не надо бояться человека с ружьем, потому что он защищает трудящихся. Но он, человек с ружьем, будет безжалостен… должен быть безжалостным к эксплуататорам, ко всем тем, кто хочет вернуть старый строй, старые порядки. Нам говорили: большевики обречены, они не в состоянии воевать, защищаться, — у них нет офицеров. Но когда буржуазные офицеры увидели, как рабочие били Керенского, бьют Каледина, они сказали: красногвардейцы тактически безграмотны — это верно, но если их обучить, у них будет непобедимая армия. Вот так, дорогой Платтен, — и Владимир Ильич повернулся от гостя к Подвойскому, сказал с шутливым упреком: — А вы, Николай Ильич, говорите, что нам не нужны генералы. Ох как нужны!

— Я никогда не говорил, что нам не нужны военспецы.

— Режет мне ухо это слово. Как мы с вами будем называть людей, окончивших нашу советскую академию Генерального штаба? Военспец! Ах, как звучно! — Ленин иронически прижмурился, увидев, что поставил Подвойского в затруднительное положение. Но тут же вспомнил о госте и сказал по-французски: — Простите,

товарищ Платтен. Тут у нас тонкости, достаточно сложные для понимания. Но я вам позже объясню.

— Пожалуйста, не обращайте на меня внимания. Занимайтесь своими делами. Я понимаю, как много их у вас, неотложных дел! Мне, социалисту, интересно посмотреть, как руководят первым социалистическим государством. Я буду учиться.

— Можете поучиться. Вы знаете русский язык. Трудно учиться без языка. У прекрасного русского писателя Короленко есть рассказ о том, как русский эмигрант, неграмотный, из крестьян-духоборов, отстал от своих и заблудился в Нью-Йорке. Представьте: я читал, и мне было страшно. Это хуже, чем заблудиться в тайге.

Подвойский неплохо когда-то изучил французский, но, давно будучи лишен практики, вступать в разговор стеснялся. А может, считал, что иностранцу, хотя он и социалист, необязательно знать все детали военной организации. Дело другое — принципы, которые объясняет гостю Владимир Ильич. Они должны быть известны всему свету: рабочие, солдаты других стран, когда восстанут, будут учиться у русской революции.

— Создание новой армии идет полным ходом, Владимир Ильич, — сказал Подвойский. — Сегодня мы провожаем на фронт первый сводный отряд Красной Армии. Напоминаю: вы приглашены красноармейцами на проводы отряда.

Ленин достал из кармашка жилета часы.

— Так пора уже ехать.

Платтен поднялся, поняв, что Председатель Совнаркома и нарком торопятся. Владимир Ильич гостеприимно положил ему руку на плечо, принуждая сесть обратно в кресло.

— Да, дорогой Платтен, мы торопимся. Но вы должны поехать с нами. Я и советский генерал Подвойский, — снова пошутил Ленин, — приглашаем вас. Вам

обязательно нужно это увидеть — людей, добровольно идущих на фронт. Первый отряд той армии, о которой я вам только что рассказал. Это необычные люди, Платтен! Встреча с ними лично мне всегда дает огромный заряд энергии.

— Я с радостью поеду, товарищ Ленин. Я действительно хочу увидеть все, чтобы рассказать своим соотечественникам о русской революции.

Ленин обратился к Подвойскому:

— О проводах отряда должны широко дать газеты. Попросите, пожалуйста, товарища Горбунова, чтобы позвонили в «Правду». И подали нам автомобиль.

Подвойский вышел.

Ленин снова сел напротив Платтена и вернулся к его последним словам:

— Вашим соотечественникам, пьющим по утрам кофе со сливками и теплой булочкой, возможно, будет нелегко понять энтузиазм людей, получающих на день полфунта черного, с мякиной хлеба. А вот рабочие Германии, Франции, хлебнувшие горького и соленого, — они поймут. Расскажите им. Обязательно расскажите. Рабочим нужно знать. Буржуазная пресса одурманивает людей несусветной ложью.

Платтен засмеялся, удивив Ленина: почему вдруг смех?

— Простите, товарищ Ленин. Вспомнилось. Даже моя мать боялась моей поездки в Россию. Так ее напугали наши газеты.

— Боялась? — Ленин тоже засмеялся. — В нейтральной Швейцарии, где многие десятилетия, со времен Герцена, жило столько русских эмигрантов! Нужно ли удивляться убеждению саксонского бюргера, что мы — людоеды, поджариваем высокотитулованных вельмож на сковородке и едим без приправы. Без горчицы. Или с горчицей. Какая разница. До этого не дописались господа буржуазные брехуны?

— Почти дописались.

— Вот вам и «демократическая пресса»!

Вернулся Подвойский.

— Автомобиль готов. — И, воспользовавшись паузой, сказал о том, что его волновало и о чем он уже дважды говорил на Совнаркоме: — Владимир Ильич, вы так говорили товарищу Платтену о новой армии, что мне показалось: вы готовы подписать декрет или манифест о создании Красной Армии. Кстати, позавчера постановление о необходимости создать «могучую, крепко спаянную социалистическую армию» принял Петроградский Совет.

— Совет принял правильное постановление. И я готов подписать такой декрет. Но не готова ситуация, Николай Ильич. Во-первых, декрет совсем развалит старую армию, и фронт окажется оголенным. А мир мы еще не подписали. Во-вторых, это явно насторожит немцев на переговорах. В-третьих, создаст иллюзии у наших «левых». Бухарин станет кричать еще громче, что с революционной армией необходимо тут же начинать «революционную войну». А это чепуха. Антимарксистская. Революцию нельзя экспортировать.

Вскоре пришла Мария Ильинична Ульянова. Она, секретарь «Правды», не могла поручить поездку с Лениным кому-либо другому. Она была помощником брату и надежной охраной. Во всяком случае, так они считали — сестра и жена, как, наверное, считают все жены и сестры: их присутствие как бы отводит беду от родного человека.

7

Михайловский манеж был переполнен. Кроме семисот человек, которых провожали на фронт, пришли представители многих красногвардейских отрядов, рабочие заводов, чьи товарищи добровольно шли защищать революцию, семьи красноармейцев и просто

интересующиеся.

Разнесся слух, что на митинг приехал Ленин, и вся двухтысячная масса народа заволновалась, как море, хлынула волнами в сторону трибуны.

Временная трибуна с невысоким барьером, обитым красной тканью, с лозунгом «Привет первому боевому отряду социалистической армии!» находилась почти посередине манежа. Человеческие волны со всех сторон могли бы раздавить шаткое деревянное сооружение, если бы трибуну не оцепили вооруженные красноармейцы. Винтовки у них были на плечах, но они стояли лицом к народу плотной стеной, некоторые даже для крепости цепи держались за руки: второй отряд, без винтовок, наверное, рабочие-партийцы, также взявшись за руки, создал в толпе узкий коридор. По этому коридору прошли к трибуне Ленин, Подвойский, Платтен, Ульянова, Вильяме, Битти, работники Наркомата по военным делам, представители Петроградского Совета, заводских комитетов.

Человеческое море колыхалось, напирало на цепи охраны. Отовсюду слышались возгласы:

— Ленин! Ленин!

— Где?

— Который?

А вслед за вождем революции и его товарищами пробивался к трибуне человек в военном полушубке. Его останавливали, хватали за руки:

— Товарищ, нельзя.

Он вырывался, отвечал с наглой уверенностью:

— Я комиссар Смольного.

Это был страшный человек: ему дали задание убить Ленина. В детально спланированной эсерами акции участвовало несколько контрреволюционных офицеров

и солдат. Этому, что пробивался к трибуне, отводилась главная роль. Под полушубком у него была бомба, в кармане наган. Позднее террорист написал мемуары, которые так и назвал — «Покушение», но не посмел в них назвать свою настоящую фамилию, спрятался под псевдонимом Г. Решетов. А в действительности это был поручик Ушаков.

Ленин с товарищами поднялись на трибуну. Его узнали. Кто-то крикнул:

— Товарищу Ленину — ура!

Покатилось такое могучее, тысячеголосое «ура», что казалось, сорвется высокий купол манежа.

«Он стоит величественно и просто. Он улыбается и терпеливо ждет», — пишет о Ленине Решетов-Ушаков.

Дадим ему слово и дальше, ибо людям нашего времени, даже наделенным богатой фантазией, трудно представить, какой подъем, какое вдохновение рождали у рабочих, красногвардейцев появление Владимира Ильича на митингах, его пламенные речи. И вот слова человека, который видел все сам, — очевидца-врага: «Люди в шеренгах кричат и кричат, и не хотят останавливаться, и тянут «ура», как молитву, и дух величайшего восхищения царит над этой толпой и над этим человеком в незнакомом, наполовину освещенном цирке. И я слышу, что я тоже кричу. Не рот раскрываю, как нужно делать, чтобы видели другие, что кричу; и не думаю плохого, а нутром кричу, потому что кричится, потому что не могу не кричать, потому что забыл обо всем, потому что рвется из нутра что-то несдерживаемое, стихийное, что затуманило ум и рвет душу, и какая-то сила неизвестная подхватывает и несет, и кажется, нет ничего — только ощущение удивительного простора, неоглядной широты и безмерной радости. Я вижу совсем близко от себя доброе и простое лицо, улыбаются мне лицо и глаза, горящие нежностью и любовью».

Подвойский, который вел митинг, объявил:

— Слово имеет Председатель Совета Народных Комиссаров товарищ Ленин.

И снова гремит тысячеголосое «ура», но недолго. Толпа вдруг смолкает — это Ленин поднял руку. Наступает необычайная тишина. Люди сдерживают кашель, затаивают дыхание.

Никаких технических средств, усиливающих голос, не было. Но Ленина слышали в самых дальних углах манежа.

— Товарищи! Я приветствую в вашем лице тех первых героев-добровольцев социалистической армии, которые создадут сильную революционную армию. И эта армия призывается оберегать завоевания революции, нашу народную власть, Советы солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, весь новый, истинно демократический строй от всех врагов народа, которые ныне употребляют все средства, чтобы погубить революцию.

Решетов-Ушаков писал:

«Не помню ни одного слова из того, что он сказал тогда. И в то же время знаю, что каждое из услышанных тогда слов ношу в себе».

В этот момент его командиры и сообщники из «партизанской шайки», как он называл свою организацию, занимали боевые позиции у манежа и на дороге, по которой проедет Ленин назад в Смольный. Капитан, Технолог, Макс, Сёма — Ушаков не отважился выдать их настоящие имена — из классовой ненависти или обманутые эсеровской ложью, они готовили страшнейшее преступление.

Ленин кончил речь:

— Пусть товарищи, отправляющиеся в окопы, поддержат слабых, поднимут дух колеблющихся и вдохновят своим личным примером всех уставших. Уже просыпаются народы, уже слышат горячий призыв

нашей революции, и мы скоро не будем одиноки, в нашу армию вольются пролетарские силы других стран.

В конце митинга слова попросил Альберт Рис Вильяме. За семь месяцев журналистской деятельности в России Вильяме при всем старании не мог хорошо изучить русский язык. Но искреннему интернационалисту, который горячо принял Октябрьскую революцию, был в восторге от деятельности большевиков, Ленина, хотелось на таком митинге приветствовать от имени американских рабочих-социалистов русских рабочих, первых солдат социалистической армии, по-русски. Выходило у него не очень складно, половина слов была английских.

Владимир Ильич начал подсказывать ему русские слова, переводить английские фразы. Слушатели по-хорошему оживились и пришли в еще большее восхищение: все Ильич знает! Все языки.

Когда Вильяме кончил, спрятанный где-то за спинами людей духовой оркестр заиграл «Интернационал». Тысячи голосов подхватили мелодию.

Ленин тоже пел.

У людей блестели слезы на глазах — от слов гимна, от того, что вместе с ними поет Ленин.

Красноармейцам снова пришлось поработать до пота, чтобы раздвинуть толпу и сделать проход.

Выйдя из манежа, Ленин задержался у машины — беседовал с Вильямсом и Битти, давал им советы, как лучше изучать русский язык, рассказывал, как сам он в эмиграции изучал английский, итальянский.

Ушаков в этот момент спохватился: банда не простит невыполнения задания. Террорист, чтобы оправдаться, начинает активно командовать другими. Игрой в благородство является его утверждение, будто он не бросил бомбу около машины потому, что не хотел «убить напрасно многих людей». Ложь! Просто он

прекрасно понимал: будет тут же разорван на части.

«Мы его остановим и убьем на мосту через Мойку».

Возможно, Ушаков был пьян, возможно, ум его действительно был затуманен, поэтому в своих воспоминаниях он путает и место митинга, и мост. Да и себя обелить старается, хотя тут же оправдывается перед организаторами покушения.

Фриц Платтен был потрясен тем, что увидел и услышал на митинге.

Когда они сели — Платтен с Лениным на заднем сиденье, Мария Ильинична впереди них — и автомобиль осторожно выбирался из толпы на свободную от людей заснеженную улицу, Платтен сказал:

— Дорогие товарищи! Кажется, я, социалист, только теперь начинаю понимать, что такое рабочий класс. И что такое революция. Пролетарская. О таком энтузиазме в Швейцарии можно только мечтать.

Довольный митингом, Ленин в темноте про себя усмехнулся:

— Дорогой Платтен, не будьте излишне самокритичным. Пролетариат, он всюду пролетариат. Его нужно политически образовать. И правильно повести.

Шофер Тарас Гороховик, сын белорусского крестьянина, недавний рабочий «Симменс и Гальске», вел автомобиль медленно — не занесло бы на разъезженной извозчиками дороге, везет Ленина, не кого-нибудь. Гороховик гордился своей работой, с интересом слушал разговоры Ленина со спутниками, а в той поездке жалел, что не знает языка, на котором говорят Ильич и его гость.

Машина миновала Симеоновский мост через Фонтанку.

Пишет Ушаков-Решетов:

«Автомобиль идет. Бомбой, только бомбой. Бросаюсь вперед — автомобиль медленно движется. Почти касаюсь крыла. Он в автомобиле. Он смотрит, в темноте я вижу глаза его. Бомбу!.. Но почему автомобиль отходит, а бомба в руках? Вот я вижу и знаю, что бомба в руках и автомобиль отходит и что нужно бомбу взорвать. Словно кто-то связал руки и ноги…

…И тут только понял Капитан, что он проиграл битву. Солдаты его «размякли» — он не мог в этом не убедиться, и он начал одинокую стрельбу».

Тогда и Ушаков, поняв, что его ждет, выхватил пистолет и, стреляя, побежал за автомобилем.

Первая пуля, выпущенная, видимо, Капитаном, попала в кузов. Гороховику и Марии Ильиничне показалось, будто из-под шины вылетела ледышка и ударила в подножку или в крыло.

Ленин и Платтен были заняты разговором.

Более отчетливо ударил второй выстрел, и пуля просвистела над головами. Платтен, спортсмен и охотник, раньше, чем Ильич, понял, что стреляют по ним, и, схватив обеими руками Ленина за голову, за барашковую шапку, резко пригнул к переднему сиденью.

Снова дзинькнула пуля и будто разорвалась впереди — так и брызнули искры.

Платтен почувствовал, как ему словно опалило левую руку.

Гороховик увидел пробоину в ветровом стекле. Чуть притормозив, чтобы на крутом повороте не опрокинуть машину, он свернул в первый же переулок.

Ленин, прижатый Платтеном, нащупал его руку, чтобы освободить свою голову, и ощутил, что перчатка гостя мокрая. Мокрая и теплая. Решительно освободился, встревоженно спросил:

— Платтен, вы ранены?

— Кажется, царапнуло. Думаю, ерунда. Но вы… товарищ Ленин. Как можно! Без охраны… без эскорта…

— Эскорт? — удивился Владимир Ильич. — Платтен, вы мыслите буржуазно-монархическими категориями. Придворной лейб-гвардии у нас никогда не будет!

Петляя по улицам, Гороховик гнал машину с такой скоростью, какой раньше, — если вез Ленина, никогда не позволял себе.

Владимир Ильич, как обычно, вежливо поздоровался с новой сменой часовых и прошел в кабинет.

В Смольном о покушении никто ничего не знал. Через несколько минут, в восемь часов, должно было начаться заседание Совнаркома.

Ленин сел за рабочий стол и принялся набрасывать тезисы своего доклада о провокации румынских властей, о мерах, предпринятых в отношении посольства, и о меморандуме дипломатического корпуса.

Вошла запыхавшаяся Надежда Константиновна.

Владимира Ильича встревожил вид жены, ее одышка. В тот день ей нездоровилось, и он еще до обеда звонил Вере Николаевне Величкиной-Бонч-Бруевич; чтобы та, как врач, посетила Надежду Константиновну, но не говорила, что это его просьба: Крупская не любила врачебных осмотров.

— Что случилось, Надя?

— Ты спрашиваешь у меня?! Володя! Маша сказала: в тебя стреляли!

— Кажется, стреляли.

— Боже мой, ты говоришь об этом так спокойно?

— А ты стала такой набожной? — усмехнулся Владимир Ильич и, подойдя к жене, сказал серьезно: — Надя, каждый из нас, большевиков, должен быть готов к выстрелам. Мы на фронте, и мы не можем уклоняться от опасности. Легко ранило Фрица Платтена. Позаботьтесь с Маняшей, пожалуйста, о нем, он — наш гость.

Вошли Скворцов-Степанов и Луначарский; оба, по-интеллигентски деликатные, смутились, что помешали разговору Ильича с женой.

— Садитесь, товарищи. — Ленин посмотрел на часы. — Через пять минут начнем работать. А ты, Надя, иди к товарищу Платтену. Напоите его самым лучшим чаем.

Ленин все же заставил Бонч-Бруевича поехать отдохнуть в «Халилу», поэтому председателя Чрезвычайной комиссии по охране порядка и по борьбе с погромами в тот день на работе не было. Комиссары знаменитой 75-й комнаты Смольного, выслушав Гороховика, тут же доложили о происшествии Дзержинскому, возглавившему три недели назад Всероссийскую Чрезвычайную Комиссию (ВЧК).

Феликс Эдмундович явился на Совнарком с опозданием, когда Ленин начал уже доклад.

Дзержинский с порога, не присаживаясь, попросил слова для внеочередного заявления.

Ленин догадался, о чем он может сказать, нахмурился, но слово дал.

— Товарищи, полчаса назад было совершено покушение на Владимира Ильича Ленина. Прошу позволить мне не присутствовать на заседании, чтобы заняться расследованием.

Члены Совнаркома поднялись.

— Где?

— Как это было?

— Владимир Ильич! И вы молчите?

Ленин поднял руку.

— Спокойно, товарищи! Отпустим нашего Фукье-Тенвиля ловить террористов. А сами займемся делами. Продолжаю… После приема мною дипломатов и нашего ультиматума Френсис прислал телеграмму с сообщением, что им заявлен протест о недопустимости враждебных действий правительства Румынии в отношении русских войск. Поэтому предлагаю: арестованных освободить. Ваше мнение, товарищи?

После заседания Совнаркома Ленин принимает Жака Садуля. Очень важно, чтобы о посещении Совнаркома дипломатами Антанты информировал французскую прессу не только маркиз Нуланс, но и социалист Садуль.

В полночь вместе со Сталиным Ленин передает решение Совнаркома о событиях последних дней в Брест, советской делегации.

С часа до двух ночи Владимир Ильич беседует с Эгеде-Ниссеном, норвежским социалистом, объясняет представителю рабочего движения «азбуку» революции.

Где-то в половине третьего Ленин пишет предписание комиссару Петропавловской крепости об освобождении посланника Диаманди и членов посольства. При этом подчеркивает, чтобы тем обязательно заявили, что они должны принять все меры для освобождения окруженных и арестованных русских войск на фронте.

Окончился ли на этом рабочий день Председателя Совнаркома? Известно только, что утром, в половине девятого, того, второго дня нового года он был в своем рабочем кабинете. На боевом посту Революции.

Глава третья

Командиры полков

1

Мира заболела всерьез. У нее был жар. Она сильно кашляла. Не требовалось быть врачом, чтобы поставить диагноз: воспаление легких. Первая это поняла пани Альжбета, которая еще три дня назад старалась не разговаривать с иноверкой, без венчания живущей с офицером.

Мирина болезнь, встреча Нового года, возможно, трогательно-отеческое отношение к Мире старого полковника Пастушенко, а может, больше всего неожиданное проявление приязни к квартирантке со стороны ее собственной дочери Юстины перевернули у пани Альжбеты все представления, пошатнули воспитанные определенной средой принципы, в том числе и религиозные.

Сама пани Альжбета об этом не подозревала и возмутилась бы, скажи ей кто-нибудь, что она отступает от своей религии. Нет, веру в пана Езуса и во все то, что она с детства слышала от пана ксендза, не могли в ней поколебать все революции на свете — так она считала. А вот если бы сказали, что сердце ее, вместившее столько мук и унижений эвакуации, оттаяло, что сердце ее наполнилось добротой и сочувствием, материнской лаской к детям — по возрасту Мира ей дочь, да и пан поручик ненамного старше ее сына, который благодаря ее материнским молитвам служит где-то в Сибири (пусть Сибирь, пусть холод, лишь бы не фронт!), — то с этим пани Альжбета, конечно, согласилась бы. Все матери таковы. А дети есть дети. От них только и жди глупостей. Но никогда не поздно направить их на путь истинный. И достигается это успешнее всего добротой и лаской.

У пани не хватило смелости спросить большевистского командира полка, какой он веры, но она убедила себя, что такой воспитанный минчанин может быть только католиком. И уж давала простор своей фантазии —

мечтала, как повенчает их в костеле. Какое счастье для них, думала она, приобщиться к единственной в мире правоверной церкви. Счастье и для нее, если она поможет им в этом! Пан Езус спишет половину грехов.

Когда привезенный из госпиталя из Молодечно врач подтвердил воспаление легких, Богунович, пожалуй, испугался. Вспомнил, как когда-то сам, будучи гимназистом, болел крупозным воспалением, как мучительно долго — казалось ему тогда — тянулась болезнь и как внимательно, терпеливо его лечили: доктор, мать, тетя. Мать не отходила от кровати и на ночь перебралась в его комнату, спала на составленных стульях. Да и спала ли? Когда бы он ни открыл глаза, она тут же склонялась над ним: «Что тебе, Сережа, мальчик мой?»

Кто сможет так дежурить около Миры? Врач, кроме ординарных лекарств, назначил молоко. Горячее молоко. «Хорошо бы туда положить ложечку масла и ложечку меда. Поверьте, самое лучшее лекарство».

Как будто кто-то ему не верил. Ребенку известно, что в такое голодное время молоко с маслом и медом — наилучшее лекарство.

Но Сергей увидел, как у Миры от врачебного назначения испуганно расширились глаза. Понял, о чем она подумала. Где в такое время, в январе, когда коровы еще не начали телиться, взять молока, не говоря уже о масле и меде?

Он тоже на какой-то момент растерялся: в самом деле, где взять? Но тут же устыдился своей растерянности. Как это он не сможет достать стакан молока человеку, ставшему ему таким же дорогим, как мать, сестра? Да, в конце концов, просто стыдно так думать о людях. Вокруг же свой народ, в доброту и честность которого он, народник в душе, всегда верил. Было бы жестоким разочарованием, если б никто не продал, просто не дал стакана молока для больной.

Когда врач уехал, Богунович стал надевать офицерскую

бекешу: на дворе трещал добрый январский мороз.

— Куда вы, товарищ полковник?

Мира, сделав исключение для новогоднего вечера, продолжала разговаривать с ним в шутливо-ироническом, немного покровительственном тоне — так нередко разговаривают женщины, знающие, что любимы. Но у Миры это шло еще и от молодого максимализма, от уверенности, что политически она намного более образованна и должна просвещать всех вокруг. После бурного разговора в поле, когда шли от немцев, и его невольного, но искреннего признания, что он отнюдь не против звания полковника, что только с таким званием он имел бы моральное и военно-юридическое право командовать полком, Мира не впервые так обращалась к нему: «Товарищ полковник».

Сергей принял игру, обращение его совсем не обижало, ведь и сам он позволил себе такую шутку с настоящим полковником Пастушенко, испугав этим старика. Во всяком случае, его радовало, что Мира за дни своей болезни ни разу не разозлилась на него за аполитичность и ни разу, как раньше, не бросила: «господин поручик» — вот это его действительно обижало. Пусть уж лучше будет «товарищ полковник». Тоже горькая ирония, но по другой причине: от полка мало что осталось.

Сергей ответил просто, на удивление буднично, по-домашнему, как когда-то говорила матери кухарка:

— За молоком.

У Миры расширились и без того огромные черные глаза, а покрасневшее от жара лицо еще больше запылало. Кажется, ей хотелось засмеяться, но смех был прерван сухим, натужливым кашлем. Сергей подал ей полотенце. Она вытерла потрескавшиеся губы и сказала:

— Ты ошалел! Командир полка, как баба, будет ходить с крынкой и клянчить кружку молока. Не смей! Не нужно

мне молока!

Сказала серьезно, повелительно. И это было нечто новое. Раньше она иногда издевалась над офицерским гонором Сергея, а тут вдруг впервые испугалась за его командирский авторитет. Это тронуло Сергея. Он опустился перед кроватью на колени и поцеловал ее горячую руку. С самого начала их сближения Мира смущалась, когда он целовал руки. Однажды даже сказала:

«Никак из тебя не выветрятся барские привычки».

Теперь она смутилась, но как-то совсем иначе — будто обрадовалась, вспыхнула от радости и по-детски зажмурила глаза.

Ее прекрасный, как у «Святой Цецилии» Карла Дольчи, облик вызвал мысль, что, кроме разве матери, у него нет более родного, более близкого человека, чем эта девушка, о существовании которой он даже не знал всего полтора месяца назад.

— Не бойся. Я что-нибудь придумаю, чтобы не уронить свое достоинство. Могу послать солдата...

Она вновь удивленно раскрыла глаза, взмахнула ресницами.

— Не бойся. Я не стану приказывать. Я попрошу. Я научился просить. А люди есть люди.

Да, можно попросить солдата. Но все же он, как и Мира, немного боялся, что это недемократично: он как бы хитростью превращает послушного солдата в ординарца, которые отменены специальным приказом. В конце концов, есть и другая опасность: самый надежный солдат, изголодавшись, может использовать просьбу командира для собственной корысти. Крестьяне нередко жалуются на кражи, совершаемые солдатами. А люди здесь, если не считать двух-трех кулаков, живут очень бедно, у некоторых дети голодают, не раз он кормил детей из полкового котла.

Можно попросить пани Альжбету. Теперь она не откажет. Теперь она добрая. Собственно говоря, только благодаря ее варенью, ее блинчикам из пшеничной муки и крахмала Мира хоть немного да ест, как-то поддерживает свои силы. Не кормить же больную солдатскими обедами — хлебом с мякиной да перекисшими щами.

Но именно потому, что он был чрезвычайно благодарен пани Альжбете и Юстине, Богунович не мог обратиться к ним еще с одной просьбой: у них самих он видел молоко очень редко; помнится, когда в его жизнь еще не вошла Мира, семья начальника станции раз-другой угостила его ячменно-желудевым кофе с молоком.

Впрочем, все доводы, в силу которых он, Сергей, не мог сам пойти на поиски молока, были лишены резона. Появилось то, чего когда-то из-за юношеского эгоизма он не понимал у матери своей, — для любимого человека, если он к тому же болен, все хочется сделать самому: из-под земли достать молоко, мед, поставить банки, попарить ноги… Что еще назначил старый врач? Какой у него был утомленный вид!

«Это ваша жена, командир?» — спросил он, выйдя в залу, где Богунович ожидал, пока доктор с помощью пани Альжбеты осматривал больную.

«Жена», — ответил он, чувствуя, что краснеет.

«Голубчик мой, когда спадет температура, отошлите это горькое дитя к маме. Она сказала, что минчанка. Рукой подать. Не будьте эгоистом. Давайте без жен допьем свою фронтовую чашу. Подпишут мир — поедем к женам».

Вот и еще один человек, увидевший войну в операционных и моргах госпиталя, жаждал мира так же, как он, как солдаты.

Не стал объяснять, что это «горькое дитя» прислал ревком армии, чтобы она несла своим и немецким солдатам большевистскую правду — так любит говорить

о своей миссии Мира. Чтобы «агитировала за мировую революцию» — так иногда иронизировал он, Богунович. Никто ее никуда не сможет отослать. Какая там мама! Она числит себя солдатом революции!

Снег визжал под сапогами. Стыли ноги. Узкая деревенская улица выгибалась вдоль речки. Занесенные снегом и поэтому как бы приплюснутые к земле избы выглядели сиротливо, одиноко, словно ничем не связанные между собой никакой жизнью. На улице — ни одного человека. Пусто — как в царстве мертвых. Только там, где в огородах росли яблони — почему-то такие дворы сгруппировались в дальнем от имения конце деревни, — было ощущение человеческого жилья.

За время войны Богунович увидел всю чудовищную нищету польских, белорусских, литовских крестьян, которых к тому же безжалостно грабило сначала царское «святое воинство», умиравшее «за царя и отечество», потом — кайзеровское; в ходе удачных контрнаступлений они убеждались, как методически умели грабить немцы: если царские солдаты были мелкими воришками, то немецкие — разбойниками высшего класса.

Еще до февральских событий Богунович постоянно думал о крестьянах: «За что воюют эти люди, одетые в шинели?» И тем более восхищался героизмом солдат. Ни одного солдата своего не дал в обиду. Об этом знали не только его рота, но и весь полк, поэтому, наверное, единодушно назвали его имя, выбирая революционного командира.

...Бедные избы он обходил — боялся их бедности, боялся вида рахитичных детей, всюду глядевших на него голодными глазами: даст солдат что-нибудь или заберет последнее.

В богатые кулацкие дома — кулаков он знал по рассказам Рудковского и Калачика — не шел из принципа, хотя, без сомнения, молоко было только в этих обнесенных бревенчатыми стенами дворах: в

хлевах, крытых черепицей, слышалось сытое мычание коров.

Тянуло в середняцкие избы, подле которых были хотя бы маленькие сады: верил в доброту людей, растящих деревья. Но ему сразу не повезло. В первой же избе, куда вошел, его как раз и встретили целых пять пар голодных детских глаз. Старшая девочка, лет двенадцати, в лаптях и поневе, сидела за прялкой, четверо совсем маленьких, оборванных, на печи строили из лучинок замысловатые фортификации, им явно нечего было обуть, чтобы спуститься хотя бы на глиняный пол, аккуратно подметенный, видимо, маленькой хозяйкой.

В избе было чисто, но под чистой скатертью на столе не угадывалось и горбушки хлеба. Побоялся спросить, где отец. Спросил, где мать. Девочка услужливо поднялась:

— Она в гумне, веет ячмень. Я позову, паночек. Накинула платок и, как мышка, шмыгнула из хаты — не успел сказать, что не нужно отрывать мать от работы. Он знал, что в прифронтовой полосе крестьяне, чтобы сразу обмолотить собранное зерно и надежно спрятать, молотили его малыми порциями: снопы солдаты крали редко, а зерно выгребали частенько.

Богунович ощупал карман: нет ли сухаря или кусочка сахару? Пастушенко не мог жить без кипятка, а Степанов заваривал этот кипяток подгоревшими корочками хлеба. Так командование полка «чаевничало» в штабе. Зная об этом, Мира иногда клала ему с собой сухарь и сахар.

В кармане нашлась только гильза от нагана. Возможно, мальчик, ему было лет семь-восемь, обрадовался бы гильзе, но дарить такую игрушку Богунович постеснялся. Подарил карандаш, обнаруженный в боковом кармане френча.

У мальчика загорелись глазки.

— Ух ты! — И тут же нарисовал на белой печи смешного

человечка.

— Не пачкай, — строго сказала сестричка, младшая, но по-женски практичная. — Будет тебе от мамки.

— Я принесу тебе бумаги.

— Ух ты! Вот повезло! А я тебя знаю — ты командир!

— Яночка, разве ж можно так! — с мучительной неловкостью упрекнула брата младшая сестра.

У Богуновича застрял в горле соленый комок.

— Что вы строите?

— Крепость! — отвечал мальчик.

— Церкву, — пропищала самая младшая.

— Церкву! — хмыкнул строитель крепости. — Много ты знаешь. Разве церковь так строят? Дедуля Калачик сказал, что церковь разрушать будут. На дрова.

— Надерет тебе уши мама, — с жалостью вздохнула девочка.

От этой взрослости пяти-шестилетнего ребенка хотелось плакать.

— Стройте, дети, лучше дом. Просто хороший дом, в котором вам будет тепло жить.

Это он сказал не столько им, сколько себе. В тот момент ему действительно хотелось одного — строить людям дома. Нет, еще хотелось учить детей или лечить больных.

Мать Янки и девочек вскочила в избу как одержимая: платок сбился, в белокурых волосах мякина, остья ячменя нацеплялись на юбку, сшитую из солдатского одеяла.

Стукнув дверью, тут же прислонилась к косяку, хватала воздух, прижав ладони к груди.

Была она молода, симпатична, но с тенью печали на лице.

— Почему у вас такой испуганный вид? Я вас испугал? Простите.

— Что вы, паночек! Я подумала: вы пришли сказать что-нибудь о моем Грише. Полтора года ни слуху ни духу. Хоть бы весточка, где головку сложил.

Знала, что он командир полка, и по простоте своей и неграмотности считала, наверное, что к такому высокому чину приходят сведения о солдатах всего огромного фронта.

Женщина смотрела на него со страхом и надеждой.

Богуновичу стало неловко.

— К сожалению, я ничего не знаю про вашего Гришу. Дайте его последний адрес. Попытаюсь выяснить.

Хозяйка бросилась в угол к столу, вскочила на лавку и достала из-за иконы завернутые в старый платок бумаги.

Он смотрел, как лихорадочно, стоя на лавке под иконами — ни дать ни взять статуя мадонны, — она зубами развязывала узелок на платочке, как дрожали ее руки, когда она среди солдатских писем искала самое последнее. Богуновичу стало нестерпимо стыдно, что из-за своей деликатности он так жестоко солгал несчастной солдатке. Он, фронтовой офицер, хорошо знал, как отвечали даже в первый год войны на запросы семей о пропавших без вести или попавших в плен. В лучшем случае — отпиской. А теперь, когда все развалилось, все дезорганизовано — штабы, полевые почты, — это абсолютно безнадежное дело. Он может написать. Нет, он обязательно напишет — не посмеет еще раз обмануть! Но это будет письмо «на деревню дедушке».

Женщина соскочила с лавки, дрожащей рукой протянула ему письмо.

Богунович похлопал себя по карману, забыв, что подарил карандаш мальчику. Обратился к Янке:

— Дай, пожалуйста, карандаш. Не бойся, я запишу адрес и верну.

— Уже выцыганил? Ну, погоди у меня!

— Нет-нет, я ему подарил.

Богунович записал номер полевой почты, фамилию, имя: Сухой Григорий Матвеевич.

Вернув женщине письмо, а мальчику карандаш, виновато сказал:

— Простите, я пойду.

— Но… паночек что-то хотел?

Конечно, просто так, без нужды, он не стал бы ходить по домам, это она, практичная крестьянка, хорошо понимала.

Богунович доверчиво посмотрел женщине в глаза.

— У нас заболел товарищ… тяжело. Доктор прописал молоко и мед, — про масло не отважился сказать. — Вы не посоветуете… у кого можно купить?

Лицо ее вдруг расплылось от сочувствия, доброты и глубоко затаенной лукавой улыбки — догадалась, для какого «товарища» командир лично ищет молоко и мед: о его отношениях с Мирой в селе не могли не знать, особенно женщины.

Молодая солдатка по-старушечьи всплеснула ладонями.

— Ой, паночек! Где же вы купите? Разве у нас так рано телятся коровы? А мед… У кого он, мед, теперь? Солдаты диких пчел повыкурили из-за меду, — смутилась, что так говорит про солдат, повернулась к старшей дочери, как бы спрашивая совета у нее: — Разве что у Киловатого? Хотя нет… к нему не ходите. У

него сына под Новый год застрелили ваши. А второго посадили. Старик как зверь. Пьет.

Сыновей кулака выследили не солдаты полка — свои, крестьяне, из отряда Рудковского. Не обошлось без стрельбы. Немцы заявляли протест: дескать, русские нарушают перемирие. Пришлось писать объяснение штабу фронта.

Солдатка вышла вслед за Богуновичем во двор так же легко одетая, только платок накинула. Очень ей хотелось помочь ему. Называла людей, у которых стоит поспрашивать.

— Меду у старого Шкеля спросите… Как назад пойдете — за мостиком слева. Около его хаты две липы. Он богатый, но добрый. Не такой волк, как Киловатый… Только коровы у него не могли отелиться. Ой, паночек! — уже на улице вспомнила женщина. — А вы в коммуне спросите. В имении коровы рано телятся. Голландки. Коров немного осталось, но какая-нибудь могла отелиться.

— Спасибо вам. Не стойте так. Холодно.

— А лихо нас не возьмет, паночек. Баба — что собака.

— Не нужно мне говорить «паночек». Какой я пан?

Женщина тепло улыбнулась.

— Меня Галька в бок толкала, что так теперь не говорят. Дети учат. Так привычка же, товарищ…

Чтобы закрепить это «товарищ» в ее сознании, Богунович протянул ей на прощание руку. Перед тем как подать ему свою, солдатка вытерла ее о фартук.

О коммуне он подумал в самом начале, еще там, в доме начальника станции, у Мириной кровати. Но ему уже трижды пришлось обращаться к Рудковскому, когда совсем пустел полковой склад: ни хлеба, ни картошки, ни капусты. В том, что полк остался боевой единицей, хотя всего с третью штатного состава, была, считал

командир, не его заслуга и даже не полкового комитета, а матроса Рудковского, старого веселого крестьянина Калачика и, возможно, таких вот солдаток, как эта Григорьиха, которые от своих детей отрывают, чтобы накормить солдат.

Поэтому попросить у Рудковского молока он не мог. А вдруг не поймет матрос и высмеет. Дети голодают, а он хочет любовницу молоком поить.

Перед новым, на четыре окна, под жестью домом Шкеля постоял, но зайти не отважился. Как объясняться с богатым хозяином? К такому лучше послать казака, который мог бы сказать; продайте меду для командира полка. Перед кулаками действительно не нужно ронять достоинство, чтобы не злорадствовали: вот до чего довела вас революция! Революцию он никому не позволит оплевывать, как бы плохо ни было не только ему лично, но и Мире, матери, отцу, сестре, солдатам. Не сказать, конечно, что он сам совершал ее, революцию, но принял разумом, сердцем, поверил в большевистские принципы свободы, равенства, братства. Февральская революция ненадолго побратала его с солдатами. А потом его снова принудили гнать их в атаку, на немецкие пулеметы, и ему было стыдно перед ними, гадко на душе; чтобы хоть как-то оправдаться, он сам впереди всех лез на эти пулеметы, искал смерти. Смерть пощадила его. Теперь ему, как никогда, хочется жить, даже страшно делается от жажды жизни. Хочется любить, окончить университет, учить детей, растить своих.

Богунович решил зайти еще в одну середняцкую избу, во дворе которой прогуливались корова и телка.

Тут ему повезло. Из избы вышла Стася. Увидела его — и глаза ее загорелись, как у кошки, заметившей мышь и решившей позабавляться с ней. Весело засмеялась:

— День добрый, товарищ командир. Что это вас в такой мороз погнало гулять? Чего вы ищете? Хату для постоя солдат?

— Молоко ищу.

— Что? — удивилась Стася, даже исчез в глазах игривый блеск. — Молоко? Какое молоко?

— Коровье. — Ему почему-то захотелось сказать всю правду. — Тяжело заболела моя жена…

— Жена? У вас есть жена?

— Есть.

— Эта та маленькая… агитаторша?

— Та самая.

— Где же вы повенчались? В какой церкви?

— Разве, чтобы соединиться двум людям, нужны обязательно поп и кадило? Мало для этого любви?

Теперь она смотрела на него совсем серьезно и уже с каким-то другим удивлением.

— А мне говорили, что вы не большевик. Это же большевики в бога не верят.

— А вы верите?

Стася грустно засмеялась и сказала о другом — о своем, женском:

— Я верила, что соблазню вас. Вы мне нравились, — призналась, смутилась: — Ох, что это вы делаете со мной?

— Ничего я с вами не делаю. Я был бы вам благодарен, если бы вы помогли мне купить молока.

— Вам не стыдно ходить по хатам?

Сергей на миг задумался: что ей ответить?

— Вы знаете, Стася, ничуть не стыдно. Когда близкому человеку плохо — для него сделаешь все. И сделать

хочется именно самому. Вам не знакомо такое?

Стася вдруг закрыла лицо красными варежками-самовязками.

Богуновичу показалось, что она плачет. Понимал почему: пожалел, что так неосторожно напомнил о ее вдовьей судьбе, но утешать не стал.

Она вытерла глаза варежками, вздохнула:

— Боже, как давно это было! Я завидую вашей жене. Счастливая она.

— Это я счастливый.

— Но все равно сами не ходите. Оговорят бабы. Почему вы не пришли к нам? В коммуне еще не всех коров запустили. Запустим — детям молока не будет. — Она криво усмехнулась над коммунарскими порядками.

Богунович снова признался с неожиданной для себя откровенностью:

— Мне придется просить у Рудковского хлеб и картошку для солдат. В который раз.

Стася сказала жестко:

— Сидит в вас панское. Трудно вам попросить у мужика. Не верите, что у мужика тоже есть сердце.

Ему стало неловко.

— Что вы!

— Ну вот что, товарищ командир. Идите занимайтесь своими делами. Молока вашей…

— Мире, — подсказал он.

— …вашей Мире я сама принесу. Меня, правда, не любит пани начальница. Набрехали ей, будто, пока она была в беженцах, я крутила с ее Пятрасом. Вот же языки! Не верьте. Очень мне нужен ее лысый литвин!

Какой из него мужчина! Старый дед. Ну, с Альжбетой я договорюсь. Будет повод потолковать по душам. Так что идите лучше учить наших стрелять из пулемета.

Богунович не знал, как благодарить.

Стася отмахнулась от его благодарностей: мол, панские штучки! Но, чувствовалось, по улице шла с ним не без гордости: поглядывала на окна и, видимо, жалела, что сквозь замерзшие стекла немногие увидят, как она гуляет с командиром полка.

А растроганный Сергей думал: не зря мать часто говорила, что свет не без добрых людей, и верила в это непреклонно. Он тоже начинает верить, даже здесь, на войне. Случайная встреча помогла. Однако насчет меда и масла заикнуться не отважился. Подумал, что Стася, чего доброго, возьмется достать и такие деликатесы, а это была бы беззастенчивая эксплуатация ее доброты.

Так же, как в доброту людей, он начинал верить и в силу слова. Понаблюдав, не мог не согласиться: в том, что в полку почти приостановилась самодемобилизация и солдат осталось больше, чем в соседних полках, немалая заслуга чахоточного Степанова, который сутра до вечера в ротах, во взводах спокойно, настойчиво убеждает солдат, что революцию мало совершить — ее надо защитить от врагов, внешних и внутренних. Хорошо у него получается, доказательно. Потом его простые слова как бы закрепляет Мира своими пламенными речами о мировой революции, о будущем обществе равенства и братства.

Сергей со своим образованием и опытом не мог не уловить противоречий в Мириных рассуждениях. Когда обращал на эти противоречия ее внимание, она упрямо не соглашалась, называла его оппортунистом, меньшевиком («меньшевик» было для нее самое оскорбительное слово), однако потом, наедине сама с собой, искала ответы на его каверзные вопросы. Он чувствовал, насколько драматичны ее поиски, сомнения. Душевную драму она пережила и после встречи с Троцким в вагоне. До этого нередко

ссылалась и на Ленина, и на Троцкого, ставила их имена рядом, а со времени той встречи он ни разу не услышал из ее уст имени наркома по иностранным делам.

Солдаты, возможно, не очень-то вникали в научные глубины, но пафос этой маленькой девушки, ее вера в то, о чем она рассказывала — будущее в ее рассказах выглядело сказочным, — восхищали их, вдохновляли, поддерживали дух.

Постепенно сам он сделался почти таким же агитатором, как Степанов и Мира. Правда, у него не было их красноречия и убежденности в большевистской правде, но зато было иное преимущество — знание военного дела и психологии солдата. Солдаты, безусловно, уважали его и Пастушенко за то, что в такое время, когда армия рушится, разваливается, они, офицеры, как капитаны тонущего корабля, до конца остаются на боевом мостике.

В том, что порученный им участок фронта охраняется боеспособными батальонами и ротами, хотя и сильно поредевшими, не в меньшей мере, чем слова, имело значение и то, что люди были хоть как-то накормлены.

И еще одно обстоятельство. Богуновичу нелегко было отважиться вооружить местный крестьянский отряд. Однако сам факт существования такого отряда, строевая учеба парней в лаптях и кожухах, занятия на стрельбище, подальше от линии фронта — чтобы немцы не докучали протестами из-за стрельбы, — все это на удивление подняло дисциплину. Теперь Богунович отдавал отряду Рудковского не меньше внимания, чем собственному полку.

В тот день он обещал Антону лично провести занятия по пулемету «максим», научить хлопцев разбирать его, собирать, наладить, если заест затвор.

Подвести Рудковского и красногвардейцев он не мог. Но как бросить Миру? Это все-таки надолго. А главное — где достать мед и масло? Поехать за двенадцать верст

в местечко? Вряд ли и там что-нибудь купишь в такое голодное время.

Самый надежный выход — поехать к Бульбе-Любецкому. У того всегда все есть. Но Богунович знал, каким образом это «все» достается: с окрестных крестьян, с евреев-местечковцев Бульба собирает дань. Это попахивает грабежом. Но Бульба оправдывает себя тем, что берет у богатых. «Экспроприирую экспроприаторов», — смеется он. Однако полк его не без влияния таких «экспроприации» разложился. Вчера командир третьего батальона Берестень доложил, что на участке «бульбовцев» передняя линия окопов вовсе не охраняется. Встревожило это их с Пастушенко. Договорились, что кто-то съездит к соседу выяснить обстановку.

Есть повод для поездки. Но Богунович серьезно опасался, как бы разговор с Назаром не обернулся так, что будет не до меда. Бульба бывает тяжел. Да и гадко просить награбленное. Бог пожалел Богуновича и не развратил даже на войне, его моральные принципы, воспитанные родителями, остались нерушимыми. Правда, жизнь расшатывает их. Против воли пойдешь на сговор с совестью. Но одно дело попросить под Новый год бутылку шампанского. Игра. Офицерский шик. Совсем другое — просить масла… Но, в конце концов, он поедет не воровать, не грабить. Просить. Для спасения родного человека. «Свет не без добрых людей».

Пастушенко обычно с завидной бодростью работал над сводками и тактическими картами, хотя боевых действий и не велось, в положении полка менялось только количество людей — выбывали без боев. Правда, в последние дни такие «потери» равнялись двум-трем человекам в день, не больше. Зато катастрофически таяли продовольственные и фуражные запасы. Даже Степанов беззлобно подтрунивал над начальником штаба: «Дались вам эти карты!», хотя понимал, что старый служака просто не может не работать, тоскует без привычного дела. Выступать перед солдатами, как

Степанов или Мира, боится, сам признался: «Как бы не напутать чего, у меня старые представления».

На этот раз полковник сидел за столом, над газетой, с несвойственным ему удрученным видом.

— Почта? — обрадовался Богунович. Почты не было уже несколько дней, даже депеши из штаба фронта и из Ставки не приходили, лишь телеграф изредка отстукивал малозначительные сообщения: «Вам послано семьдесят пудов овса». Мелочь. Правда, и над овсом думали немало — как его употребить: скормить лошадям или раздать солдатам — пусть столкут в ступках и варят овсяную кашу.

— Нет, не почта. А газета свежая, — ответил Пастушенко. — Привез сосед.

— А почему у вас такой вид, Петр Петрович? — Они разогнали Учредительное собрание.

— Кто?

— Большевики.

— И вы... из-за этого в таком горе? — удивился Богунович. Раньше ему казалось, что к политике Пастушенко относился спокойно, во всяком случае, ни одно из событий последнего времени не воспринял как трагедию.

— А вы?.. Вас что, не трогает это? — дрожащим голосом спросил Пастушенко.

— Абсолютно. Я знал, что его разгонят. Недели две назад Мира показывала мне статью Ленина...

— Голубчик мой, я вас не понимаю. Россия могла получить парламент...

— Петр Петрович, еще два, если не три года назад я разочаровался во всех парламентах мира. В наших думских болтунах. Во французском, английском парламентах. К черту парламенты, которые гонят

людей на смерть! В окопы их, сволочей, этих краснобаев! Вшей кормить!

Богунович редко так срывался, редко говорил с такой злостью. Спохватился — и ему стало неловко. Но Пастушенко вдруг как бы сбросил страшный груз, пригибавший его к столу, выпрямился. Попробовал возразить, но уже без отчаянья, а так, как спорили нередко раньше:

— Но это же народное собрание! Собрание, избранное народом!

— Каким народом? После выборов народ совершил революцию. Я понемногу начинаю понимать, что это такое, Петр Петрович! Неужели вы думаете, большевики так наивны: взяв власть, добровольно отдадут ее тем же людям, которым они, простите, дали пинка в мягкое место? Чернову, Керенскому. Вы что… загрустили по Керенскому?

Старик нахмурился.

— Вы меня оскорбляете.

— Простите, Петр Петрович. И плюньте! Подумаешь, трагедия! Разогнали Учредительное собрание… Туда ему и дорога!

Пастушенко смотрел на него, возбужденного, раскрасневшегося с мороза, с удивлением, даже немного как бы со страхом, но, пожалуй, и с завистью — завидовал его молодости и решительности.

— Выходит, я один такой… старый идиот, показалось, мир перевернулся в связи с этим разгоном…

Богунович вдруг засмеялся.

— Петр Петрович, дорогой мой человек! Люблю я вас за искренность. Вы весь — как на ладони.

Старик покраснел.

— А вы… вы знаете, голубчик, вы меня удивляете. Эволюцией ваших взглядов. Вас так просвещает эта девушка? Кстати, как она? Врач был?

— Был. Плохо ей, хотя и хорохорится. Врач назначил молоко, мед, масло. Молоко я нашел. А мед? Масло? Где их взять?

Пастушенко понурился уже совсем иначе — как бы с ощущением своей вины, что не может посоветовать, где взять больному ребенку необходимые лекарства.

— Поеду к Бульбе.

— Да-да, поезжайте, — сразу согласился полковник, хотя недавно возмущался, что «анархист, самозванец и грабитель Бульба компрометирует русское офицерство». Не любил Бульбу. Однако смелостью его восхищался, сожалел; что недолго тому носить такую лихую голову в бурное время.

— Но у меня к вам просьба. Я обещал Рудковскому провести с его людьми занятия по «максиму». Мне не хочется подводить их. Проведите, пожалуйста, вы.

— Я? — сначала испугался Пастушенко, но тут же поднялся, прошелся по комнате, остановился у окна, продышал в замерзшем стекле «глазок», посмотрел на заиндевевшие липы.

Богунович хорошо знал натуру полковника: задумался — значит, согласился.

Пастушенко повернулся от окна.

— А что, нехорошо, что я… будто боюсь этих людей? Нехорошо?

Богунович не ответил: старик сам решил — нехорошо.

— Да, — спохватился Пастушенко, меняя тему разговора, — главной новости я вам не сказал. Наш сосед справа, девяносто третий полк, отведен. Его место занял Первый Петроградский пролетарский полк

Красной Армии. Красной! А мы с вами какая армия, Сергей Валентинович? Белая? Серая?

— Серо-буро-малиновая, — засмеялся Богунович. Пастушенко вздохнул.

— Завидую я вам. Вашему оптимизму.

2

«Какой там, к черту, оптимизм! — подумал Богунович, когда казак вывел ему из баронской конюшни выездного и он, вскочив в седло, галопом выехал из старого парка на хорошо проторенную дорогу в лес, синевший вдали. — Какой там оптимизм, когда на душе кошки скребут? Ах, Мира, Мира! Как некстати ты заболела. А я мечтал взять отпуск, поехать с тобой в Минск, представить тебя родителям. Нет, не бойся. Они добрые, культурные люди. Они примут тебя. Может, мама про себя немного пожалеет… Не нужно, мамочка. Ты же сама была против предрассудков. Как они опутали нас, все эти предрассудки, сословные, национальные, религиозные… Здорово, что появились люди, так смело рвущие эти цепи».

Там, в штабе, его, пожалуй, обрадовала новость, что участок фронта рядом занял свежий полк.

А уже в дороге, когда въехал в бор и пустил скакуна легкой рысью, вдруг сообразил: по условиям перемирия на фронт не должны перебрасываться новые части. Большевики, выходит, начали такую замену. Правда, это условие перемирия первыми нарушили немцы, о чем он сам докладывал в штаб фронта. Как же понимать появление новой части? Демонстрация против немецкого нарушения? Или, может, переговоры в Бресте провалились? Вспомнил, что три дня назад, ночью, всего один вагон прошел из Бреста в Петроград. В штабе полка была телеграмма, но в ней не говорилось, кто едет, поэтому никто из командиров и членов комитета спецпоезд не встречал. Не придали значения: в одном вагоне мог ехать дипкурьер. В Брест

же шло целых три вагона. Теперь Богунович связал появление нового полка со спецпоездом и похолодел при мысли, что переговоры действительно по чьей-то вине, нашей или немецкой, сорвались. Снова охватил страх перед немецким наступлением. Как и тогда, когда он шел с Мирой от них под Новый год. Но теперь страх был, пожалуй, сильнее, с незнакомыми оттенками.

«Куда ее девать, больную? Отослать в госпиталь? Не поедет. Да и я не могу. Я боюсь. Мрут там, в госпитале...»

Назара Бульбу-Любецкого Богунович нашел за лесниковым гумном. Выглядел капитан не таким элегантным, как под Новый год, когда возлежал на медвежьей шкуре. Теперь сам он был похож на медведя, среди зимы выгнанного из берлоги. Одет в старый, порванный крестьянский тулуп. Небрит. С нездоровым серо-одутловатым лицом, наверное, с перепоя. Волкодав, почуяв чужого, бросился на Богуновича, когда тот еще только подходил к гумну. Бульба начал материться: кого там черт носит? Волкодав так ощерился, что Сергей на всякий случай достал из кобуры наган и крикнул:

— Эй, кто там? Заберите зверя! А то застрелю.

— Я тебе застрелю, такую твою! Я тебя самого застрелю! — Бульба выглянул из-за гумна. — А-а, это ты? Рекс! Свой! Хоть и дурак, но свой!

«Ничего себе встречает гостя», — подумал Богунович без обиды. Однако вид и настроение хозяина насторожили.

— Алис! Тевтон! Взять!

Из сосняка вылезло претолстое существо в длинной-предлинной немецкой шинели, в каске, на которую была надета кольчуга, закрывавшая лицо и шею.

Через занесенную снегом изгородь перескочил второй волкодав и бросился на человека.

Рекс лег на снег, напрягся, нацелился, нетерпеливо заскулил. Но Бульба сдержал его.

— Рекс! На место!

Тем временем Алис набросилась на человека в шинели. Сцепились. Покатились по снегу. Было видно, как Алис рвала шинель, летели в снег ошметки.

Богуновичу стало жутко от этой нелепой игры.

— Кто это? — показал он на куклу в немецкой шинели.

— Мой разведчик — башкир Мустай.

— Ты и этого спустишь? — кивнул на Рекса.

— Спущу. Но позже.

— Порвут они человека.

— Сергей! Я думал, ты умнее. Ты что, ни разу не видел, как дрессируют собак?

— Не видел.

— Да ну! А еще — командир полка!

С этим анархистом, видимо, сегодня не договоришься — язвительный, злой. И все внимание его — на собаках.

— На кой черт это тебе?

Алис — по имени царицы дали кличку, — видимо, получила хорошего пинка, потому что заскулила и стала отползать от башкира.

Бульба затопал ногами.

— Алис! Алис! Г… собачье! Баба есть баба! Алис! Взять! Взять его.

Но сучка, взвизгивая от боли и вины, пугливо оглядываясь, ползла к хозяину.

Разведчик поднялся и, угрожающе расставив руки в овчинных рукавицах, двинулся за ней.

Бульба повернулся к Рексу, намереваясь выпустить его.

Но Богунович остановил:

— Назар! Прекрати, пожалуйста, эту игру! Что за дикое представление?

— Хлюпики вы, такую вашу… — выругался Бульба-Любецкий, однако послушался, крикнул: — Отбой!

Богуновича поразило, с какой радостью обе собаки бросились к хозяину: жестокая тренировка явно была им не по вкусу. Рекс даже его, чужого, обнюхал довольно миролюбиво: друг хозяина — его друг.

Башкир снял кольчугу, открыл широкое красное лицо.

— Ваш бродь! Кончай, да?

— Я тебе дам — «ваш бродь»! Комиссар стоит, а ты меня, собачий сын, компрометируешь.

Разведчик, приближаясь, искренне и совсем панибратски смеялся.

— Моя знает. Не комиссар. Его бродь — ваша бродь.

— Вот подлец, — усмехнулся Бульба. — Все знает. Но какой разведчик! Сколько он мне лошадей пригнал от немцев!

Пошли к лесничеству.

— Ты спрашиваешь: на кой черт мне такие собаки? Я тебе скажу на кой. От полка моего, считай, остались рожки да ножки. Я, мои головорезы, личная гвардия, да комитет, угрожающий расстрелять меня. Вчера одна рота, надежда и опора комитета, снялась. Все сразу. Да еще лошадей погнали, сволочи. Скосить бы сукиных сынов из пулемета.

— Легко ты косишь.

— Ни хрена я не кошу. Чтобы косить, нужно силу иметь. А я догнал их вдвоем с Мустаем. Стеганул нагайкой одного, другого. А третий, бандюга, из винтовки в меня пальнул. Видишь, папаха пробита? Но лошадей я все же вернул.

Бульба был в крестьянском тулупе, но в генеральской папахе с красным верхом и с красной лентой наискосок. Никакой пробоины не было видно. Бульба или «заливал» — это он хорошо умел, или забыл, что папаха на нем другая. Выстрелить по нему, конечно, могли, если он пустил в ход нагайку. Теперь солдаты не прощают таких замашек. Богуновичу давно хотелось сказать другу, чтобы не давал воли своему анархизму.

— Нарвешься ты когда-нибудь…

— На что? На пулю? Подумаешь, испугал! Меня присуждали к петле, к пуле… А я заговоренный. За меня мама молится.

— Так зачем тебе собаки?

— А-а, собаки… Скажу… Солдаты — к бабам, к земле, которую мы дали им…

— Кто — мы?

— Большевики взяли нашу, эсеровскую, земельную программу. Сам Ленин признавал…

— Программы все писали дай бог какие. Голова кружилась.

— Не загоняй меня в тенеты политического спора. Я сам хорошо знаю, что мы дерьмо. И правые, и левые. Во всей партии эсеров есть только один настоящий человек. Это — я.

— Удивляюсь твоей скромности.

Бульба засмеялся.

— Но куда податься такому человеку в это время

разброда и шатания? За ротой в тыл? Нет. Мало я разных гадов отправил в тартарары. Я появился на свет, чтобы очистить его от мрази… Такова моя миссия. Так вот собаки… Я набираю отряд… партизанский… добровольцев. С ним перейду в немецкий тыл и хорошенько погоняю тевтонскую сволочь. Выпущу кровь кайзеровским собакам.

Богунович уже ступил было на крыльцо, но при этих словах резко повернулся, схватил Бульбу за плечо.

— Ты что? Не понимаешь, что это провокация? Ты хочешь сорвать перемирие? Мир?

— А ты так боишься воевать?

— Боюсь!

— Обабился ты, брат. «Только ночь с ней провож-жался — сам наутро бабой стал». А мне с бабами нечего делать! — Бульба вырвал плечо, отступил от крыльца, готовый плюнуть и пойти осуществлять свой замысел.

Богунович, стоя на крыльце, смотрел сверху на низкорослого, но коренастого, на удивление цепкого — так цепляется за землю луговой дуб-одиночка — человека, который иногда восхищал, но теперь внушал страх. Лицо его, серое, размякшее от перепоя или умиления собаками, в последнюю минуту стало волевым, решительным, злым, побелели глаза.

— Назар! Я вынужден донести штабу фронта!

— Плевал я на твой штаб! И на тебя. Доносчики! Научились доносы писать. Ни хрена у большевиков не получится, если они будут опираться на таких слюнтяев, как ты! Я таких вешал бы!

Богунович тоже было вскипел, но как раз последние слова Бульбы как-то странно усмирили, напомнили, ради чего он прискакал сюда. Из-за чего они схватились? Как мальчишки. Задиристые петушки. Разве он не слышал раньше, как Бульба за час-два мог «выдать» не один самый невероятный прожект? Так,

наверное, и с отрядом этим. Злость человека берет после вчерашнего поражения своего в баталии с дезертирами.

Спросил добродушно, с улыбкой:

— У кого ты научился вешать, народник? У Николая Второго?

Бульба не обиделся — неожиданно тоже засмеялся.

— Не бойся. Тебя я не повесил бы. Обеднеет мир без таких идеалистов, как ты. Да и скучно будет без дураков. Человечеству нужны идеалисты и... Ладно, прости.

Помирились. Вошли в тот же охотничий зал, уже далеко не такой уютный, как в новогодний вечер. В нем видны были следы вчерашней попойки: грязная посуда, окурки, шампуры на подпаленных и заплеванных медвежьих и волчьих шкурах. И было холодно. Не топили или выстудили?

Богунович подумал, что, видимо, демобилизовал себя и верный слуга Бульбин, земляк, черниговский крестьянин, хитрый, немолодой уже хохол, но необычайно хозяйственный — все умел. При нем никогда не было такого кавардака.

Бульба поморщился и выругался.

— Быдло!

Богуновичу хотелось сказать, что если эсер так ругает солдат, то выдает этим барские замашки похуже тех, за которые иногда сечет его, Сергея, по глазам. Но побоялся, как бы хозяин снова не рассердился.

— Где твой Грицук?

Бульба пыхтел, как паровоз, передвигая тяжелые кресла, чтобы поставить их на места и навести хотя бы какой-то порядок. Ответил не сразу и очень зло:

— Ты знаешь, на чем погорят большевики? На том же земельном декрете. Я убеждаюсь: отдавать землю, всю и сразу, мужикам нельзя было. Теперь их не удержишь ни в какой армии. А без армии… Какая власть без армии? Воцарится анархия. Каждый будет как я: что хочу — то и ворочу.

Да, не удержали Грица ни коньяки французские, распиваемые вместе с Бульбой, ни жаркое из дичи, остатки которого виднелись на шампурах. Убежал Грицук в свои Репки, к земле, к детям.

Мысли, наподобие высказанных Бульбой, появлялись и у Богуновича, ему тоже становилось страшно от развала армии, но относился он к солдатам, покидающим фронт, иначе. Во всяком случае, нагайкой не стал бы стегать, а тем более стрелять. По себе знал, как осточертели людям война, окопное прозябание, как хочется обычной человеческой жизни.

Сказал об этом Бульбе:

— Слушай, Назар, тебе хочется просто жить? Чтобы работать. Любить. Растить детей.

Бульба посмотрел на него, иронически свистнул,

— Нет, не хочется. Я тебе говорил, ради чего появился на свет.

— Удивляюсь.

— Удивляйся, черт с тобой. Я и живу для того, чтобы удивлять обывателей.

Нет, лучше его не трогать.

— Сейчас разожжем камин. И забудем хотя бы на миг обо всех проблемах революции.

— Я не могу, Назар.

— Забыть? Не забывай, пока я тебя не напою до свинского состояния…

Богунович рассказал, что заставило его приехать к приятелю. Говорил и боялся, как бы Бульба не начал издеваться над его любовью, над его тревогой за Мирино здоровье.

Нет, слушал молча. Только снова стал угрюм и в глазах промелькнуло выражение отчаянного одиночества.

Пошел сам в погреб искать съестное. Принес мед и замороженный окорок оленя. Масло? Пообещал привезти, если не сегодня вечером, то завтра обязательно. Такие заботы неожиданно странно взбодрили его и как-то переиначили, не было больше ни грубостей, ни насмешек, человек сделался серьезным, по-дружески внимательным. Провожая Богуновича, просто, как-то даже по-женски советовал:

— Ты ей бульон из оленины свари. Это лучше всех лекарств на свете. Животные, брат, они мудрее нас, оболтусов царя небесного, знают, какие травы есть, чтобы не болеть ни воспалениями, ни хандрой.

3

Приехали знакомиться новые соседи из Петроградского полка Красной Армии. Пастушенко не выдумал: соседи действительно называли себя так.

Богунович по дороге от Бульбы думал о двух армиях и в бессонную ночь — очень сильный жар был у Миры, он сидел подле нее и когда она засыпала, — снова думал. Такое разделение соседних полков — полк старой армии и полк новой — почему-то оскорбляло его. Не познакомившись еще с соседями, он настроил себя против них.

Утром Мире стало лучше. Однако он позвонил со станции Пастушенко, что в штаб не придет, будет при больной.

Но в полдень прискакал вестовой с запиской от Степанова: соседи хотят познакомиться с командиром.

Нарочно пошел пешком, пусть не думают, что спешил на их вызов. Да и хотелось остыть, прикинуть, как вести себя; после бессонной ночи голова была чугунная, болел затылок. Не заболеть бы самому.

Прогулка по морозцу взбодрила, сияла головную боль.

Командир Петроградского полка Иван Филаретович Черноземов был мужчина-богатырь лет сорока пяти, с густыми бровями, черными волосами, осыпанными инеем первой седины, с открытым крестьянским лицом, побитым не оспой, а как бы искрами металла или угля — так и въелись в кожу темные точечки.

Богуновичу, пожимавшему его сильную шершавую руку, показалось, что от человека этого действительно пахнет горячим металлом и теплым черноземом.

Видимо, он уже расспросил о Богуновиче — жал руку долго, с хорошей улыбкой, хотя с некоторой снисходительностью старшего.

Богуновичу вообще-то командир понравился. Будь он один, они, наверное, сошлись бы легче. Но Черноземов, как генерал, привез целую свиту — семь человек с ним. К тому же снисходительная доброта — так отец улыбается сыну — задела самолюбие.

«В чем твое превосходство? — подумал Богунович. — Ты умеешь ковать, а я не умею?» Он почему-то сразу определил, что Черноземов кузнец, и, желая поставить его на место, в упор спросил об этом:

— Вы кузнецом не были, товарищ командир?

Черноземов засмеялся:

— А глаз у тебя, Сергей Валентинович, острый. Молотобойцем был. Кузнецом. Механиком. Кем я только не был! — И начал представлять свою свиту. Первым — комиссара: — Товарищ Скулань мог быть капитаном корабля, но рано попал на каторгу. Остался без профессии. Зато хорошо изучил азбуку марксизма.

Латыша, наверное, смущал его сильный акцент, поэтому он больше молчал, пока говорили другие, а если и высказывался, то короткими, отрывистыми фразами, слишком правильными для исконно русского человека.

Кузнец представлял своих товарищей:

— Командир второго батальона Степан Горчаков. Не из князей Горчаковых. Из рода псковских дьячков. Но, не в пример отцу своему, не ладил Степа с богом, за что с гневом божьим и синодским был выставлен из духовной семинарии и выслан помогать поморам ловить рыбу. Великий рыболов! Хлебом не корми — дай поудить рыбку.

Командиры тоже весело перемигивались — им нравилась церемония представления.

— Саша Сухин. Ишь ты, как созвучно подобрал имя и фамилию! — Черноземов вдруг характерно заокал. — Нижегородский мукомол. Командир первого. Между прочим, тоже питерский кузнец. Одни кузнецы. А про кузнеца ты, Богунович, сказал не потому, что у тебя глаз острый. А чтобы напомнить нам: я офицер, фронтовик. А вы кто?

Богунович даже сконфузился: вот это прозорливость!

— Что вы!

— Ничего, мы не обижаемся. Но ты знай: в Красной Армии полками будут командовать кузнецы.

Богуновичу хотелось возразить, что лично он не верит в армию без образованных офицеров. Но промолчал, не отважился. Почувствовал, что Черноземов покоряет своим умом и авторитетом. Да и Степанов, председатель солдатского комитета, по нему видно, уже во власти гостей. Степанова можно понять: в гостях питерцы, большевики. А ему, беспартийному, зачем ломать шапку перед ними?

Богунович был недоволен собой. Раздражали и заботы

Пастушенко: полковнику непременно хотелось напоить гостей чаем.

Сели за длинный штабной стол.

Богунович сам убрал оперативные карты и опять-таки не без демонстрации: мол, изучать вам их без нужды да и вряд ли умеет кто-нибудь из вас «читать» карту. Но этого, кажется, не заметил даже Черноземов, чему Сергей потом порадовался. Однако все равно ему хотелось… ну если не взять реванш за свое поражение, то хотя бы вернуть себе роль хозяина. Спросил с явным вызовом:

— Что в Питере? Все еще рассказывают басни о близком мире?

— Почему басни? — насторожился латыш.

Другие тоже насторожились. Черноземов смотрел своими цыганскими глазами проницательно, лицо его было серьезно, но глаза, показалось Сергею, иронически улыбались. Снова пришло сравнение: так улыбался бы отец над неразумным упрямством сына. Это выводило из равновесия, злило.

— Так почему же его не подписывают? Трудно обмакнуть перо в чернила? Почему присылают на фронт свежие части? В нарушение условий перемирия…

— А вы что — хотите открыть фронт перед немцами? Чем заткнуть оставленные вами дыры? — внешне вежливо, но с какой-то внутренней неприязнью спросил Горчаков. — У империалистов волчьи повадки…

— Подожди, Степан, — перебил его Черноземов. — Давай сначала выясним позиции, — и к Богуновичу: — Из-за твоей злости я не понял, за что ты — за войну или за мир?

— Я? Я сыт войной вот так! — Богунович секанул ладонью по шее.

— Значит, мы единомышленники. Хотя не все… Сухин у нас за революционную войну. И в партии таких горячих голов немало…

— Они воевали, эти горячие?

— Вот! Теперь я поверил, что ты за мир. Так знай же: Ленин за мир. Вождь пролетариата настойчиво добивается его подписания.

— Но партия у нас демократическая, — сказал латыш.

— В войне нужно не голосовать, а действовать.

— Ты смотри, какой он молодец! — похвалил Черноземов. — В Питер бы его, к нашим «левым». Им полезно послушать фронтовика. Слушай, Саша.

Но похвала снова задела самолюбие: хвалят, как мальчика. Сергей отрубил:

— Пусть политиканы занимаются болтовней. А я думаю: чем солдат накормить?

— Хороший парень. Но образовываешь, Степанов, его слабо. Большевики не болтают. Они действуют. Признай: появление нашего и других полков — это не слова. Ты что же думаешь? Если мы подписали перемирие, то можно, как тому гоголевскому герою, раскрыть рот и ожидать, пока вареник сам вскочит в него? Нет, брат.

Ого! А кузнец образованный — Гоголя знает!

— Шесть дней назад наш боевой отряд… он стал полком… провожал на фронт товарищ Ленин… — начал латыш.

— Сам Ленин? — усомнился Богунович.

— Не читаешь ты, поручик, газет. Большевистских, — снова поддел Черноземов.

Ну не мог же Богунович сказать, что с появлением

Миры газеты он стал читать внимательно. Вместо этого попенял на фронтовые беспорядки:

— Нам легче достать немецкие газеты, чем получить свои.

— Вы читаете по-немецки? — как бы с подозрительностью спросил Горчаков.

— К сожалению, нет, — качнул головой Богунович и посмотрел на Степанова. Тот промолчал. Сергей в душе поблагодарил председателя комитета: молодец, что не сказал о Мире, которая читает им всем немецкие газеты.

Латыш терпеливо выждал, пока они перебрасывались этими фразами, и продолжил:

— Товарищ Ленин сказал: мир мы подпишем обязательно. Да, так сказал товарищ Ленин. И еще сказал: красноармейцы — боевой отряд питерского пролетариата — должны поднять дух… тех, кто ослаб духом… «Затыкать дырки» — неправильно сказал товарищ Горчаков.

— Мы должны заменить части, потерявшие боеспособность, — уточнил Черноземов.

— Это правильно. Так говорил товарищ Ленин. Богунович подумал о соседе слева — о полке Бульбы. Там действительно образовалась дыра, пустота в несколько километров шириной, прикрытая разве что заснеженным лесом, почти без дорог; это единственное, что может помешать немцам зайти в тыл его полка. Сказать им об этом? Нет. Получится, что он как бы доносит на представителя партии эсеров, которых большевики не любят. Он так и не отважился спросить у Бульбы: из каких он эсеров — правых или левых? Назар честит одинаково и тех и других, называет болтунами. Вчера он привез масло и долго веселил Миру явно выдуманными специально для нее историями, в которых он оказывался неизменно в смешном положении. Не всякий умеет так посмеяться

над собой. Нет, Бульбу он, если понадобится, будет защищать.

Однако этих людей не назовешь болтунами. Они действительно действуют. Латыш сказал Степанову:

— Мы пришлем тебе агитаторов… поднять дух.

Богунович не был против агитаторов, а теперь, когда Мира больна, да и Степанов чувствует себя не лучшим образом, хорошие агитаторы будут тем более кстати. Но в нем все еще сидел маленький чертик протеста.

— Вы нам хлеба пришлите… Черноземов свистнул.

— Ишь чего захотел! Мы у тебя собирались просить. Ты знаешь, как живет пролетариат Петрограда, Москвы? Поскольку рабочий получает хлеба…

Богунович это знал, и ему впервые за всю беседу стало неловко.

— Если бы не местные крестьяне, мы тоже голодали бы.

— Реквизируете?

— Нет, просим. Вымаливаем.

Черноземов засмеялся.

— Хороший ты командир, Богунович. Тебя бы политически образовать…

— Могу вас разочаровать: меня нисколько не привлекает военная карьера.

— Жаль, — искренне сказал приверженец «революционной войны» Сухин: до этого он молчал, но так внимательно изучал Богуновича, что тому от его взглядов делалось не по себе.

— Вот видишь! Даже Саша тебя полюбил. А он буржуев…

— Я не буржуй!

— Прости.

Пастушенко с помощью дневального подал чай: по кружке кипятка, заваренного липовым цветом и малиной — запах пошел божественный! — по ломтику хлебе и маленькому кусочку сахара.

— Ты смотри, до чего богато живут! — пошутил Черноземов. Шутку его приняли и хозяева и гости. За чаем разговор шел спокойный, дружелюбный: о морозах, о крестьянах, о немцах — как ведут себя во время перемирия.

Выпив кружку чая, Черноземов сказал:

— А теперь, хозяин, покажи нам позиции полка.

— Это что — инспекция?

— Ну и гонору у тебя! Мы поучиться хотим, чудак.

Поднялся Пастушенко:

— Пожалуйста, товарищи.

Богуновичу показалось, что старый полковник чему-то радуется. Не мог понять чему.

Гости приехали на двух санях. На этих санях поехали и на позиции батальонов. С ними Богунович и Пастушенко. Степанова не взяли: на морозе страшно кашляет, задыхается человек.

Богуновича вдруг охватило волнение. В самом деле, как перед инспекционной проверкой. В пятнадцатом году, помнится, он страшно переволновался, когда стало известно, что полк их посетит верховный — великий князь Николай Николаевич. Не спал несколько ночей. Мечтал: великий князь придет на позиции его взвода и похвалит его, командира, даже может нацепить офицерского «Георгия». Но тут же овладевал страх: а вдруг что-нибудь не так? Высокое начальство, целая свита генералов могут увидеть то, чего сам ты никогда не увидишь, хотя две недели уже день и ночь

готовишься к высочайшему смотру.

Тогда он был желторотый прапорщик, из него еще не выветрился чад ура-патриотизма.

Верховный посетил полк, но на передовую не явился. Такая инспекция вызвала гнев либеральных офицеров. А он, протрезвев, рассказывал о своих мечтах и страхах с безжалостной к себе и со злой от отношению к дядюшке царя иронией.

И вдруг сейчас, после революции, когда он уже давно избавился от любых иллюзий насчет собственной судьбы, — почти такое же волнение. Перед кем? Перед кузнецами. Потом, в разговоре с Мирой, согласился с ее мнением: потому и волновался, что инспектировали не генералы, а кузнецы — командиры пролетарского полка.

А в дороге, пока ехали за станцию, на позицию второго батальона, где передовая была за четверть версты от немецких окопов, крепко злился — на самого себя. И на Пастушенко — за то, что старик действительно-таки будто радовался этой поездке и был ненатурально говорлив — выкладывал гостям все подробности, касающиеся размещения полка, особенностей позиции каждого батальона, высказывал соображения о силах противника. В оценке этих сил у Богуновича были заметные расхождения с начальником штаба. Но оспаривать его не стал. Согласился: пусть полковник рассказывает и дальше, у него полковой масштаб и несравнимо больший опыт командования.

Однако волнение не проходило. Никого же не предупредили, поэтому, конечно, были опасения, что в блиндажах первой линии не окажется солдат — как под Новый год, когда они с Мирой шли от немцев.

К его удивлению, переросшему в радость, людей в блиндажах было больше, чем нужно. Солдаты, находившиеся в охранении, в карауле, приятно удивили хорошей боевой формой, ходы сообщений, стрелковые и пулеметные гнезда были очищены от снега.

Солдаты приветствовали командира полка, начальника штаба и гостей с революционной сдержанностью — не тянулись в струнку, не ели глазами, но по всей форме. Отвечали так же — сдержанно, но вежливо и по уставу.

В первом блиндаже командир взвода унтер Буров скомандовал:

— Встать! Смирно! — И доложил: — Товарищ командир полка! Первый взвод второй линейной роты несет охрану боевого участка от железной дороги до высоты сто двенадцать. На участке все спокойно. Приходили немецкие солдаты, трое, чтобы обменять сапоги на махорку. Махорку дали…

— Но и сапоги взяли? — иронически спросил Богунович.

Унтер виновато почесал затылок.

— В прошлый раз мы одного из них в валенки обули, отморозил герман ноги, — сказал старый солдат, оправдывая взвод.

— Вот — пролетарская солидарность! — назидательно заметил латыш.

Богунович слушал объяснения Пастушенко, а смотрел на солдат, думал об их судьбе и чувствовал новый прилив благодарности к ним.

Когда вышли из блиндажа, молодой Сухин, внешне сдержанный, но, как обнаружилось, довольно темпераментный, хмыкнул:

— А порядочки здесь у них еще царские.

— Порядочки военные, — одернул его Черноземов. Командир рабочего полка слушал разъяснения внимательно, вникал во все детали окопно-блиндажной техники, охраны передней линии, организации обороны на случай, если бы военные действия могли вдруг возобновиться. Не стеснялся показать, что действительно учится, а не инспектирует. Даже как-то

смягчился, подобрел, обращался к Богуновичу с большим уважением, во всяком случае, уже без обидной для Сергея снисходительности старшего.

От этого или скорее от того, что порядок в батальоне был на высоте, оттаивал и Богунович. Начал охотно отвечать на вопросы гостей. Не обращал особого внимания на едкие замечания Сухина. Пожалел, что вечереет и нельзя показать гостям еще одну боевую часть, к которой имел отношение, — местный красногвардейский отряд Рудковского: разошлись крестьяне по домам. В следующий раз обязательно покажет.

Под конец поездки Богунович сказал Черноземову:

— А теперь я хотел бы познакомиться с вашим полком.

Черноземов и латыш переглянулись.

— По военной части поучиться у нас еще нечему. А поучить нас вы можете. Поэтому — пожалуйста, просим. Когда? Завтра?

— Завтра.

— У нас есть несколько катушек полевого кабеля. Хотели бы установить телефонную связь с вашим штабом.

Этому и Богунович и Пастушенко обрадовались особенно: оторванность от правого соседа — полка другой дивизии — их всегда сильно тревожила, они хорошо знали, что стыки армий, дивизий — те слабые места, по которым немцы на протяжении войны часто наносили удары.

Немцев, как он сам говорил, Богунович ощущал кожей. Пока ездили вдоль линии фронта, видел, как поблескивали на солнце немецкие бинокли. Не много ли, если учесть перемирие, на небольшом участке биноклей? За кем и за чем они следят? Стало тревожно на сердце.

Мире снова стало хуже, ночью она бредила, и Богуновичу уже не хотелось ехать к соседям. Но не поехать было неловко — сам напросился. Конечно, можно послать вестового с извинениями, причину придумать нетрудно. Но еще вчера, когда распрощались с гостями и потом обсуждали неожиданное событие дня, он увидел, что поехать в первый полк новой армии хочется не только ему, но и Степанову и Пастушенко. Да и Мира загорелась этой идеей и одобрила его намерение посетить соседей, очень жалела, что болезнь не позволяет ей поехать вместе с ним, выздоровеет — сразу поедет. Это же не кто-нибудь, не крестьяне, одетые в шинели, — петроградские пролетарии, добровольцы! Там, наверное, не горсточка, как в их полку, партийцев-большевиков, а целых полполка. Утром она и слушать не хотела, когда он заикнулся, что хочет отложить поездку.

— Выдумки! Какой еще бред? Это я во сне разговаривала. Мама рассказывала, что я всегда говорю во сне. Интересно, на каком языке? Мне часто снится, что разговариваю по-немецки. Странно. Как-то снилось, что я с тобой говорю по-немецки. Ты меня не понимал, и мне стало страшно.

Сергей попросил хозяйку присмотреть за больной. Альжбета обиделась:

— Пан поручик, неужели вы думаете, что мы с Юстиной бросим больного человека? Как вам не стыдно! За кого вы нас принимаете? А еще такой гжечный пан!

От ее обиженного тона стало хорошо на душе. Успокоенный, Богунович поехал в штаб.

Только рассвело. Окрестности укутывал морозный туман. Похоже, потеплело, но от тумана было очень зябко, не спасал и тулуп. Казалось, туман лез даже в сапоги, ноги очень быстро замерзли.

Пастушенко и Степанов были уже одеты. Ждали его.

Петр Петрович предложил подарить соседям что-нибудь символическое. Как говорят, на добрую дружбу. Начали думать, что бы такое подарить. Да старый полковник, видимо, все продумал заранее: достал из ящика стола трофейный браунинг. Браунинг, наверное, принадлежал высокому немецкому чину: ручка инкрустированная, на одной стороне ее — вензель кайзера Вильгельма. Не сам ли кайзер дарил его своему генералу?

Степанову подарок не понравился — не тот символ: боремся за осуществление Декрета о мире, а дарим оружие, да еще немецкое.

Богунович прежде не видел этого браунинга. Вряд ли он завалялся на складе, хотя там хранилось немало трофейного оружия, — полк не единожды предпринимал успешные атаки. Но такую «игрушку» давно украли бы. Скорее всего браунинг принадлежал Пастушенко — может, его собственный трофей, а может, подарили. Но полковник никогда не хвастался этой вещицей и теперь, видно было, охотно соглашался избавиться от нее. Богунович взял браунинг и с интересом стал рассматривать.

— Классная штучка.

Пастушенко предупредил:

— Осторожно. Заряжен.

В это время зазуммерил телефонный аппарат.

Связи в штабе полка было немного — не хватало провода: только с дальним третьим батальоном, с батареей гаубиц и со станцией, где сидел военный телеграфист.

Сигнал подал аппарат связи с батареей.

Пастушенко взял трубку. Слушал — и лицо его заметно белело. Не отнимая трубку, грустно сказал:

— Ночью исчезли две гаубицы. С упряжками. Следы

ведут на немецкую сторону. Исчез прапорщик Межень... с двумя батарейцами.

Продали, сукины сыны, гаубицы!

Богунович с браунингом в руке бросился к двери. Сиганул со второго этажа флигеля по деревянной лестнице так, что зазвенели не только застывшие стекла, но и жесть на крыше. Испуганно шарахнулись от него лошади. Но вожжи были привязаны к липе. Солдат, который должен был везти их к соседям, где-то грелся.

Богунович сунул браунинг в карман тулупа и начал отвязывать вожжи.

Руки дрожали, не сразу справился с простым узлом. Это дало Пастушенко время добежать до саней. Зная, что остановить командира невозможно, мудрый старик с ходу повалился в сани, на душистое сено.

Богунович отвязал вожжи, вскочил в передок, хлестнул лошадей, гикнул на весь парк. У коровника едва не сбили женщину с ведрами.

Пастушенко не мог сообразить, что надумал Богунович, куда он так ошалело мчится. Надеется догнать командира батареи? Ищи ветра в поле. Только бы он, горячая голова, не затеял ехать к немцам, вызволять гаубицы. Абсурд. Позор. Унижение перед врагом.

— Сергей Валентинович, голубь, что вы надумали? Не нужно, прошу вас.

— За гаубицы я из него душу вытрясу!

— Из кого? Из Меженя? Где вы его найдете?

В ответ Богунович зло стегнул по лошадям, будто они были виноваты.

Нет, к переднему краю он не поехал. И дорогу, что вела на батарею, миновал. Гнал по селу в сторону местечка.

Тогда Пастушенко понял, куда командир едет. На станцию. Не на свою. На их станцию, что была всего в полутора верстах от переднего края, поезда не приходили, лишь изредка ночью пригоняли несколько вагонов. Прифронтовой станцией стали Пальчаны — за десять верст в тылу их полка. Там шла разгрузка и погрузка военных эшелонов. Туда устремлялась волна самодемобилизованных с позиций по меньшей мере трех дивизий, чтобы ехать на восток в любых вагонах — лишь бы ехать, не идти пешком. Двух комендантов станции там уже застрелили: капитана, назначенного еще при Керенском, и нового, большевика-матроса, пытавшегося не вернуть дезертиров назад в части, нет, а хоть немного обуздать стихию самодемобилизации. С того времени на станции царила анархия, там почти открыто грабили вагоны, прибывающие для фронтовых частей. Когда недели три назад получили из штаба тыла фронта телеграмму, что полку послан вагон муки, а вагон этот нашли пустым, Богунович рвался своими силами навести порядок на станции. Его отговорили Пастушенко, Степанов, весь солдатский комитет: возможно кровопролитие. Да и неизвестно, как воспримет высшее военное начальство такое вмешательство в дела не своей службы, не в своей зоне.

Теперь Пастушенко с ужасом представил, что может произойти, если командир в таком состоянии ворвется в переполненный солдатами зал станции и найдет там Меженя. Кажется, он сунул в карман браунинг. Да и личный револьвер при нем.

— Сергей Валентинович! Не делайте глупостей.

— Полковник! Что вы называете глупостями?

— Я — про самосуд…

— Я все могу простить. Все. Вы сами называли меня толстовцем. Но самая подлая измена — продать врагу оружие. Кулацкая морда! Не останавливайте меня, Петр Петрович! Не останавливайте! Иначе я пущу пулю себе в лоб. Для этих людей нет ничего святого. Ничего! — И стегал, стегал вожжами коней. Из-под их ног

летели ледышки, выбитые подковами, иногда больно били в лицо. Сани на ухабах заносило, ездоков засыпало снежной пылью. Ничего этого Богунович не видел, не чувствовал. Огонь гнева затуманил его разум.

Может, он не переживал бы так остро, если бы это совершили неграмотные голодные солдаты. Наконец, и офицер... любой из тех, кто не принял революцию, стал ее врагом. А этот же Межень после Февральской революции строил из себя великого революционера, эсера, кричал на каждом митинге. После Октября лез в командиры полка, эсеры голосовали за него, да большевики не поддержали. Степанов высказался против: из кулаков. Невольно поверишь, что сущность человека определяется его классовой принадлежностью. Отец Меженя винокурню держит, привозил на фронт спирт, бочки спирта. Не за спирт ли недоучку-гимназиста так быстро произвели в прапорщики? Да, Степанов прав: кулак есть кулак.

— Ну, подлюга, твое счастье, если я не найду тебя на станции!

— Сергей Валентинович, богом прошу, остыньте! Но просьбы доброго старика не успокаивали, а еще больше распаляли Богуновича. Он ругался по-окопному, по-солдатски, чего никогда не позволял себе в присутствии Пастушенко. Возможно, таким образом хотел себя остудить.

Счастья у Меженя не было.

Они догнали его с сообщниками в каких-то двух верстах от станции, на улице небольшой деревеньки. Оглянувшись на конский топот, узнав командира, дезертиры, все трое, бросились к ближайшему двору с высоким забором. Унтеры шмыгнули в калитку. А прапорщику, наверное, «офицерская гордость» не позволила спрятаться как зайцу, он решил встретить опасность лицом к лицу. Стоял, прислонившись к забору, решительный, воинственный.

Богунович резко развернул лошадей перед двором, и

они, чтобы не врезаться в ворота, вздыбились над торговцем гаубицами, но, умные, не опустили на человека своих горячих от бега копыт, развернулись еще больше, ломая палисадник перед домом.

Богунович соскочил с саней. Теперь он и Межень стояли в трех шагах друг от друга, лицом к лицу, оба запыхавшиеся, побелевшие.

— Гаубицы… гаубицы где? Сволочь! Застрелю!

Возможно, все кончилось бы угрозами и арестом, потому что браунинга в руках у Богуновича не было. Но Межень… Межень первый поднял полу казацкой бекеши, явно намереваясь достать из кобуры наган. Тогда и Богунович вспомнил про браунинг, который был ближе — в кармане тулупа.

Старый Пастушенко, скатившись с саней, упал в снег, поэтому не успел остановить ошалевшего от гнева командира полка. Когда грянули выстрелы — один… второй, — он обхватил Богуновича за плечи, заломил его руки назад.

— Сережа! Сережа! Сынок! Не нужно! Голубчик, не нужно…

Межень с полными ужаса глазами медленно оседал на снег, судорожно хватался той рукой, что искала револьвер, за столб, стараясь удержаться на ногах. На бекеше, на животе, расплывалось черное пятно.

Богунович видел много крови, но, свежая, она всегда была алой. Почему кровь Меженя черная? Мысль эта суеверно ужаснула. Послушно отдав Пастушенко браунинг, он пошел по улице, не видя крестьян, что несмело выглядывали из калиток — на выстрелы. Его лихорадило и тошнило.

«Людской телеграф» передает известия с не меньшей скоростью, чем любые технические средства, но искажает их, пожалуй, хуже любых неисправных аппаратов.

Из имения передали на станцию, что командира полка убили. Баранскаса, во время войны потерявшего брата, видевшего тысячи смертей, когда фронт приблизился к станции, эта смерть — убийство солдатами командира, такого доброго, такого демократичного офицера, убийство, когда нет ни боев с немцами, ни революции, — тяжко потрясла. Он долго не отваживался пойти домой. А когда пришел, пани Альжбета сразу увидела по выражению его лица: произошло что-то страшное.

— Что случилось, Пятрас? Что? Снова война?

— Убили пана поручика.

Юстина, присутствовавшая при этом, с ужасом ойкнула, потом заплакала навзрыд. Альжбета бросилась к дочери, прижала ее лицо к своей груди, чтобы заглушить рыдания, чтобы их не услышала за стеной Мира.

Успокоив немного Юстину, запретив ей и мужу входить к больной, сама она, однако, посчитала своей материнской обязанностью посетить Миру. Решила, что сумеет исподволь подготовить ее к страшному известию, которое рано или поздно нужно будет сообщить, не спрячешь.

Но как она по выражению лица мужа догадалась, что он принес страшную весть, так и Мира на ее лице прочитала: случилось ужасное. Ни о чем другом — ни о наступлении немцев, ни о контрреволюции — она не подумала. О нем одном подумала. Села на кровати.

— Что с ним? Что?

Альжбета не могла говорить, спазмы сжимали горло, сквозь туман слез она видела побелевшее Мирино лицо и неестественно расширенные глаза, излучавшие такую муку, такую боль, что разрывалось сердце. О, святой Езус, не дай пережить такое!

— Да говорите же вы! — в отчаянии закричала Мира.

Альжбета приблизилась, попыталась обнять девушку.

— Мужайся, дитя мое.

Мира высвободилась из объятий, соскочила с кровати, лихорадочно начала одеваться и только одержимо повторяла один и тот же вопрос:

— Где? Где он? Где он?

Альжбета не знала, где Богунович. Попыталась удержать Миру, хотя хорошо понимала, что удержать невозможно и что сама она, как бы ей ни было худо, вот так же бросилась бы искать родного человека.

Мира не слышала слов, которыми женщина пыталась утешить или успокоить ее. Альжбета помогла ей одеться. Но разве можно отпустить одну, такую ослабевшую, в таком горе?

Морозный воздух полоснул по больным легким, будто прошило их пулеметной очередью. Мира задохнулась. Ее повело в сторону. Перед глазами поплыли желто-зеленые круги. Неужели у нее нет сил идти? И она никогда уже не увидит его? Ей не хотелось верить в смерть, она ни разу не сказала про смерть, да и Альжбета тоже; представлялось, что он ранен и его могут повезти куда-то в неизвестность, откуда не возвращаются и где невозможно его найти. Страх дал силу устоять на ногах, не упасть. И боль в груди заглушил. Земля под ногами обрела твердость, не качалась, не плыла, ноги не скользили по накатанной дороге.

Не сразу сообразила, что ее подхватили, поддержали ласковые руки, с одной стороны — материнские, с другой — сестринские.

Юстина выскочила вслед за матерью и Мирой, несмотря на возражения отца. Альжбета увидела дочь, когда та с другой стороны подхватила Миру, порадовалась Юстининой чуткости.

Теперь дочь и мать держали девушку, которую еще недавно знать не хотели, под руки и, по существу, несли

ее, маленькую, легкую.

На полпути от станции к имению им повстречался знакомый солдат — нередко приходил посыльным из штаба — и со своей крестьянской простотой сразу бухнул новость, но совсем иную, чем та, что принес начальник станции:

— Перестрелял командир батарейцев. Теперь его комитетчики судят.

— Он жив? — вскрикнула Мира.

— Жив. Но судят...

— Он жив! — прошептала Мира и повисла на руках у Альжбеты и Юстины.

Солдат сначала испугался, потом, получив от Альжбеты приказ бежать и вернуться на санях, выругался:

— Был бы я царем — близко баб к войне не подпускал бы.

В большой комнате флигеля, где работал начальник штаба и где редко бывало тепло, на этот раз от духоты нечем было дышать. Во всяком случае, так казалось Богуновичу, он потел и раздраженно думал: «На кой черт так натопили?»

Было очень накурено. Лица солдат, сидевших у окна, расплывались. Вообще у Богуновича, после того как Пастушенко скрутил ему руки с такой неожиданной для старика силой, что правое плечо болело и теперь, это не проходило — все было как в тумане, как во сне. Отчетливо помнилось только гадкое ощущение от собственной рвоты, чувство было такое, будто он испачкал, изгадил себя на всю жизнь ничем иным — именно этой позорной блевотиной. Когда-то в четырнадцатом, когда он, молодой, горячий, ошалелый от патриотических чувств и гордости, повел в Восточной Пруссии свой взвод в штыковую атаку, выхватил у раненого солдата винтовку и заколол штыком немецкого солдата, такого же молодого, как он

сам, его тоже рвало. Но тогда ему было просто стыдно за свою слабость, он изо всех сил старался, чтобы ее не заметили солдаты, не узнали о ней офицеры. Тогда его переполняло чувство исполненного долга, ощущение, что в нем родился воин, а роды всегда мучительны, тут тебя не только вырвет, но и кровью можешь истечь.

Теперь ничего подобного не было — никакого проблеска высоких чувств, одна мерзость. Смертей он видел слишком много и свыкся с тем, что умирают от немецкой пули, от руки своего солдата — в революцию двух офицеров их полка солдаты подняли на штыки. Но никогда не чувствовал себя так скверно. Угрызений совести не было, поступок свой он оправдывал, знал: скажи ему сейчас, что еще кто-то, даже из числа присутствующих здесь, на суде, продал немцам пушки, он, не задумываясь о своей судьбе, так же пустил бы пулю в подлеца. Он возмущался, когда продавали полушубки, шапки, махорку, лошадей, но в тех дураков или мелких воришек стрелять ему не хотелось. Судить — мог, но не на смерть. За продажу врагу оружия меньшей кары не признавал. Как за измену, за шпионаж.

Только в какой-то момент, почему-то вспомнив мать, он подумал ее сердцем: «Боже, неужели так очерствела твоя душа на этой проклятой войне? Он (Межень) был человек, и ему хотелось жить». Ответил матери: «Мама, я тебя понимаю, возможно, когда-нибудь я буду как ты. Но теперь я не мог иначе, не мог, тебе этого никогда не понять».

Было еще одно очень неприятное ощущение, которого он давно не испытывал, — страх. Не страх смерти, во всяком случае, определил сам Сергей Богунович, а страх быть осужденным своими людьми, ставшими его товарищами не по форме обращения, а по существу, по духу, ибо и он, офицер, душой и сердцем принял их товарищество.

Страх этот гаденький появился, когда Пастушенко со вздохами и ахами привез его, обмякшего, опустошенного, в штаб и Степанов, услышав о

случившемся, вдруг пришел в ярость. Степанов, который редко ругался, на этот раз безжалостно костерил его:

«Оружие сдай! Сопляк! Научили вас стрелять… А в кого стрелять… Нужно знать, в кого стрелять и когда стрелять!»

Нет, страх вызвали не эти слова, не ругань, а скорее всего то, что его, командира полка, обезоружили, как преступника. Не враги обезоружили — свои. Товарищи.

И вот теперь страшок этот, как змея, время от времени касался холодным жалом его сердца. А когда он встречал взгляд солдата Алексея Шатруна, казалось, змея вот-вот пустит яд. С этим солдатом у него сложные отношения. Шатрун был в его роте весь шестнадцатый год. Прикидывался совсем неграмотным, скоморошничал — этакий ротный придурок, над которым все смеялись. Но Богунович первый раскусил его, что не так уж он глуп, а нарочно вызывает смех: все воинские уставы, установления, всю службу доводит до абсурда, когда и впрямь дураку ясно, какие нелепые приказы поступают, какой несуразной является вся патриотическая пропаганда, да и вообще все, что творится на войне. Такие шатруны очень подрывали дисциплину.

Богунович понимал открытых агитаторов против войны и, как умел, оберегал их от жандармерии, даже не однажды шел на риск и заступался за арестованных. Но поведение Шатруна его раздражало. Армия есть армия, и война есть война. А он командир боевой роты. Раздражение переросло в неприязнь, и он довольно часто наказывал непокорного солдата, иногда наказывал жестоко — назначал вне очереди на опасные посты, собственно говоря, под немецкие пули. Потом ему было стыдно за это.

После Февральской революции «придурок» Шатрун размаскировался. Прежде всего обнаружилась его грамотность, раскрылось и то, что он — убежденный социал-демократ, хитрый агитатор; рукописные

прокламации против войны, ходившие в роте, за что командира не единожды таскали в жандармерию и даже в контрразведку, писались Шатруном, который — так считал не только Богунович — «не знал» даже азбуки и просил кого-нибудь из друзей написать письмо домой.

Богунович, одним из первых среди офицеров перешедший на сторону революции, стал еще более чутко относиться к солдатам. И в отношениях с Шатруном старался быть ровным, добрым. Но в душе был задет, что комедиант этот больше года дурачил его, человека с университетским образованием. Чтобы не сталкиваться, попросил перевести его в другую роту. Потом, при Керенском, Шатруна арестовали, посадили в минскую тюрьму. Теперь жизнь свела их снова. Шатрун — командир роты. Как-то рота его была в боевом охранении; Богунович проехал по передовой, проверил и установил, что охрана несется плохо. Не лучше, пожалуй, обстояло дело и в других батальонах, кроме третьего. Но неудовольствие свое он высказал Шатруну. Не кричал, не угрожал. Чем он мог угрожать большевику, члену солдатского комитета? — Он высмеял его: «Если все революционеры спят так, как вы, Шатрун, мировая революция разве что упадет с неба. Как дар божий».

Шатрун, который раньше прикинулся бы дурачком, вдруг побелел:

«Ну, ты, командир, свои офицерские шуточки забудь. Не то время».

На комитете Шатрун сидел, как никогда, молчаливый, угрюмо-серьезный, посматривал из-подо лба. Богуновичу казалось — злорадно. От этих его взглядов, наверное, и появилось позорно-гадкое ощущение страха. Поймал себя на том, что боится глянуть в сторону Шатруна. Смотрел на Рудковского, всем своим видом подбадривавшего его: мол, правильно поступил, ничего не бойся.

Пришел Рудковский сам? Или Степанов пригласил?

Прежде председатель местного ревкома на солдатский комитет приглашался очень редко. Как бы там ни было, присутствие Рудковского давало некоторое успокоение. Недавно бойцы местного отряда застрелили сына кулака, ходившего к немцам. Может, он ходил за контрабандой, может, шпионил — неизвестно. Но обычные неграмотные крестьяне не могли ему простить. Так мог ли он остаться равнодушным, когда командир батареи продал орудия? Такой мог все продать — однополчан, честь, отчизну.

С опозданием вошел вчерашний гость — комиссар пролетарского полка новой армии, латыш. Богунович не мог вспомнить его фамилию, но появлению его обрадовался, хотя и был удивлен. Каким образом Степанов так быстро сообщил о случившемся соседям? И кого он собирает? Судей? Адвокатов? Где ты, адвокат Валентин Викентьевич Богунович? Что бы ты сказал? Не было в твоей практике такого прецедента, не могло быть. Война и революция перечеркнули все нормы и законы, полетели к черту и римское каноническое право, и все кодексы, все, что написано в десятках томов, сиявших золотыми корешками на полках отцовской библиотеки. По какому же праву, по каким законам будут судить его? Трибуналы распущены. Смертная казнь отменена. Что же ожидает его?

Степанов натужливо кашлял, харкал в грязный платок и то и дело просил:

— Не курите, товарищи!

На несколько минут цигарки прятали в рукава шинелей или кожухов и курили, как школьники старших классов, которые еще немного таятся от учителя, но уже не боятся его. А Богунович и этого не делал, он скручивал цигарку за цигаркой и курил по-солдатски — тянул, пока «бычок» не подсмаливал усы, не обжигал губы и пальцы.

Открыв заседание, коротко сообщив, по какому поводу так поспешно созван комитет, Степанов, человек немногословный, так же коротко высказал свое

отношение к случившемуся:

— Революция никому не дала права творить самосуд.

Потом говорил Пастушенко, долго и очень взволнованно. О положении в полку. О заботах молодого командира по укреплению боеспособности. О хитрости и коварстве врага — как раз о том, о чем часто думал Богунович. Слушая начальника штаба, он на какое-то мгновение забыл, что судят его и Пастушенко выступает адвокатом, как отец, и беспокоился за больное сердце полковника: не нужно старику так волноваться.

Но тот начал говорить о Межене, об облике человека, способного пойти на такое — продать орудия немцам, и голос его зазвучал гневно:

— Как назвать такого человека? Как? Тарас Бульба застрелил за такое родного сына.

Богунович вспомнил Назара Бульбу, тот тоже догонял роту, снявшуюся с позиций, но не стрелял, стреляли в него, пробили папаху, — и снова шевельнулся страх, слова Степанова «революция никому не дала права творить самосуд» показались приговором. Пусть приговор. Пусть хоть расстрел. Жаль только… мать и Миру.

Пастушенко договорился до приступа грудной жабы. Ему стало плохо. Его вывели подышать чистым воздухом.

На молодых солдат, не знавших, что такое больное сердце, вид задыхающегося единственного свидетеля произвел более сильное впечатление, чем его слова. Степанов сердито бросил комитетчикам:

— Докурились, такую вашу!..

Только после этого потушили цигарки.

— Ваше слово, Богунович.

Он поднялся по-военному. Ясно видел глаза каждого. Добрые у латыша. Почему-то испуганные у командира батальона Берестеня. Блестяще-выразительные, что явно выражало поддержку, — у Рудковского. По-прежнему из-подо лба, словно пряча свои глаза, смотрел один Шатрун. От этого его взгляда снова захолодало внутри.

— Я считаю, что выполнил свой долг… — ему хотелось сказать «перед народом», «перед революцией», но в последний момент он испугался этих громких слов и, помолчав, выдавил: — Долг командира.

— Плохо ты усвоил долг революционного командира, — буркнул Степанов, но уже без злости. — Больше вам нечего сказать?

— Если еще кто-нибудь продаст оружие немцам… Степанов перебил его:

— Ладно. Садитесь. Ваше слово, товарищи. Установилась тишина. Казалось, люди даже перестали дышать.

Богунович услышал удары собственного сердца и испугался, как бы их не услышали другие: очень гулкими они были, как удары молота, даже зазвенело в ушах, закололо в виске.

Первым подал голос Рудковский:

— Любой из нас застрелил бы такого сукиного сына.

— Ты за себя говори! — почему-то снова разозлился Степанов и закашлялся.

— Я за себя и говорю.

— Анархисты, — упрекнул Степанов и дружелюбно обратился к командиру третьего батальона: — Твое слово, Берестень…

Берестень, всегда медлительный, не сразу поднялся. Может, потому, что в этот миг вернулся Пастушенко,

стал в открытых дверях, откуда потянуло холодом; все жадно вдыхали свежий воздух.

Берестень чесал затылок и рассуждал:

— Конечно, на самосуд права нет… Но как бы сделал я? Если бы из моего батальона… Не знаю. Тут еще возраст нужно учесть… Мне сорок… у меня дети…

— Голубчик, мне шестьдесят, а я доставал револьвер… клянусь. Только Сергей Валентинович опередил меня…

«Почему старик так выгораживает меня? Он же ругал меня всю дорогу. Вздыхал, стонал!» — подумал Богунович.

— Бугаенко.

— Передать штабу фронта. Пусть они судят. Комитетчики недовольно загудели: признавали только свой суд, никаких штабов!

— Шатрул.

Шатрун бросил на пол потушенный окурок, старательно растер его сапогом.

Этот его жест особенно испугал Богуновича. Но Шатрун вдруг поднял голову, весело и хитро сверкнул на подсудимого глазами и громко сказал:

— Межень — контра. А с контрой — разговор короткий. Командира оправдать!

И зазвучало на разные лады это слово:

— Оправдать.

— Оправдать.

Тогда Богуновичу показалось, что флигель покачнулся, комната снова наполнилась густым туманом. Появился иной страх: не проявить бы слабость — не упасть от головокружения.

Но Пастушенко, как бы увидев, в каком он состоянии, сжал его руку в локте и этим вернул силу, ощущение реальности и способность сказать:

— Спасибо, товарищи. До смерти не забуду…

Часть вторая

Урок истории

Глава первая

Беспрерывная битва

1

Январские волнения рабочих в Германии и Австро-Венгрии, бурные выступления болгарского народа за мир с Россией вынуждали делегации Четверного союза маневрировать на переговорах в Бресте. Кюльману, Чернину, Попову и даже Талаат-паше пришлось произнести немало красивых речей о стремлении их правительств к миру, об уважении к другим народам, особенно к тем, земли которых топтали сапоги кайзеровских солдат, — полякам, литовцам, латышам, украинцам (белорусов как нацию не вспоминали), о праве этих народов на государственность, на самоопределение. Слова, слова… Огромный том дешевой демагогии.

Генералы говорили более конкретно и решительно. Представитель партии войны, воспитанник прусской военной школы, в которой издавна культивировалась ненависть к славянам, самоуверенный и опьяневший от побед Восточного фронта, где он был начальником штаба (против их фронта у русских не нашлось даже второго Брусилова), генерал Гофман на заседании политической комиссии предъявил советской делегации карту с обозначением земель, которые

Германия «вынуждена» удерживать за собой. Это была наглая аннексия всей Польши, значительной части Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии с сохранением жестокого оккупационного режима, полной власти над народами, вконец разоренными войной, доведенными до нищеты. Дипломатический туман — такая, дескать, линия диктуется «военными соображениями» — никого не мог ввести в заблуждение. Тут же выступил Кюльман и дал понять, что от того, как русские отнесутся к последним немецким предложениям, будет зависеть подписание мира.

По существу это был ультиматум, хотя еще и замаскированный. Карта возмутила членов советской делегации. А руководитель ее Лев Троцкий, мастер логических комбинаций, сразу сообразил, какой сильный козырь немцы дали ему против Ленина — для поддержания тезиса «ни войны, ни мира».

Ленин боролся за мир без аннексий и контрибуций. Как пропагандистский лозунг, думал Троцкий, это прекрасно. Но надо считать наивными империалистов, чтобы надеяться, что они когда-нибудь согласятся на такой мир. Кто же больший реалист в политике — он, Троцкий, или Ленин? На что же вам теперь решиться, Владимир Ильич? Принять немецкие условия, аннексионистский мир? Конечно, вы готовы пойти и на это во имя своей фантастической идеи победы и укрепления революции в одной стране — в отсталой России. Но идея подписания подобного мира не овладела, как вы учили, массами. Что вам скажет партия, когда вы предложите подписать такой грабительский мир?

Троцкий официально возмутился «картой Гофмана», но втайне потирал руки от удовольствия. Судьба народов, остававшихся под кайзеровской оккупацией, его мало волновала. Что бы ни случалось в политической борьбе, в революции, какими бы жертвами и потерями то или иное событие ни угрожало, когда оно работало на его «теорию революции» — Троцкий тут же подхватывал любой такой факт и жонглировал им с ловкостью

фокусника.

Троцкий знал историю дипломатии и держался правила: обо всем информировать свое правительство. Но в условиях революционной демократии он отбросил второе столь же обязательное правило: в точности выполнять указания правительства. Это правило он считал феодально-буржуазным. Анархист по своей человеческой сути, Троцкий по-своему толковал инструкции и указания Советского правительства, Председателя Совнаркома Ленина.

По окончании заседания Троцкий сразу же направился к телеграфному аппарату. На время переговоров немцы наладили линию прямой связи с Петроградом. Но в делегации уже знали, что для открытого текста немцы давали канал сразу, шифровки же держали по многу часов.

Троцкий открыто сообщил о немецких требованиях, высказал возмущение, но тут же развил свой «план», сущность которого давно была известна: от подписания мира отказаться, войну прекратить, армию демобилизовать.

Нет, Троцкий отнюдь не собирался переубеждать Ленина и его единомышленников. Он «играл» на публику. Через прессу: советскую — с целью подбодрить «левых», немецкую — чтобы через нее оказаться на первых полосах газет мира. О его позиции должны знать французы, американцы… Особенно американцы.

Ленин, получив «особое письмо», даже не возмутился: давно позиция руководителя делегации не была тайной ни для ЦК и Совнаркома, ни для немцев. Но Ленин знал чрезмерную активность Троцкого, его анархичность: известил правительство и теперь будет считать вопрос согласованным, чтобы решить его по-своему.

Ленин отвечает шифровкой, уверенный, что телеграмма будет прочитана немцами. Нужно остудить Троцкого и сбить с толку Кюльмана и Гофмана.

«Ваш план мне представляется дискутабельным. Нельзя ли только отложить несколько его окончательное проведение, приняв последнее решение после специального заседания ЦИК здесь?»

Ленин дает понять: если вам, Троцкий, мало инструкций Совнаркома — вопрос выносится в ЦИК.

«Мне бы хотелось посоветоваться сначала со Сталиным, прежде чем ответить на ваш вопрос».

Ленин подчеркивает, насколько это серьезно — вопрос о территориях, о судьбе народов, живущих на них, потому и считает необходимым посоветоваться с наркомом по делам национальностей. И тут же, в этой связи, о самом главном, что имеет отношение к переговорам, — о представительстве Украины:

«Сегодня выезжает к Вам делегация харьковского украинского ЦИК, которая убедила меня, что киевская Рада дышит на ладан».

Пусть Троцкий и немцы знают, что делегация Рады в Бресте никого уже не представляет!

Ленин передал этот текст в пять часов дня. В полночь, посоветовавшись со Сталиным и другими членами Совнаркома, Ленин телеграфирует:

«Передайте Троцкому. Просьба назначить перерыв и выехать в Питер».

Лев Давидович хмыкнул на телеграмму — на подписи: «Ленин, Сталин». С Лениным он не мог не считаться. Но чтобы ему, второму, как он считал, человеку в правительстве, приказывал Сталин, когда назначать перерыв в работе и когда выезжать в Петроград! Это било по его самолюбию. Сталина Троцкий не признавал марксистом-теоретиком. Практик. И вообще игнорировал: бурсак, недоучка. Так относился не только к Сталину — над тем же лидером «левых», с которым дружил в Нью-Йорке и теперь вступил в блок, — над Бухариным издевался: выскочка. Впоследствии

он напишет: «Я никогда не принимал Бухарина всерьез». Образованными марксистами он считал только себя и Зиновьева. Можно бы причислить сюда и Каменева, но этот болтун и фрондер основательно подмочил репутацию в истории с Викжелем… Идиоты! Без его, Троцкого, подсказки ничего толкового не могут сделать. Своей авантюрой только укрепили позиции Ленина в ЦК. Ленин любую ошибку противников сразу видит и великолепно умеет повернуть против самих организаторов акции. В отношениях с Лениным нужно ухо держать востро, не ослаблять бдительности. Ишь какая деликатность: «Просьба назначить перерыв».

Преодолев минутное раздражение подписью Сталина, Троцкий удовлетворенно улыбнулся.

Затягивание переговоров не на пользу Ленину. Любая отсрочка дает время объединиться сторонникам «революционной войны», которых он, Троцкий, тайно вдохновляет. Из Бреста, где немцы перехватывают каждую телеграмму, да и дипкурьерам довериться нельзя, влиять на ход борьбы, объединять единомышленников тяжело. Несколько дней пребывания в Петрограде при его энергии, активности и при его помощниках позволят ему немало сделать для пропаганды собственной теории революции и мира. А помощников в разных органах у него немало. Вновь зло подумал о Каменеве: авантюра в Викжеле дорого обошлась — выпустил из своих рук ЦИК. Со Свердловым каши не сваришь, Свердлов — убежденный ленинец. Теперь приходится этого болвана Каменева вытягивать — еле уговорил членов Совнаркома включить его в состав делегации.

Несмотря на позднее время, Троцкий поручил секретарю делегации Льву Михайловичу Карахану неотложно связаться с адъютантом Гофмана: когда немцы могут дать паровоз и открыть линию для спецпоезда, в котором руководитель делегации должен выехать для консультаций со своим правительством?

Иногда приходилось потратить немало времени и энергии, чтобы отправить курьера с почтой.

Для Троцкого паровоз дали через час-полтора, не больше, среди ночи.

Спецпоезд из двух вагонов на повышенной скорости шел на восток. Стояла глухая зимняя ночь. За окном в заснеженном просторе изредка мелькали расплывчатые очертания каких-то строений, возможно, деревенских изб, гумен. И — ни одного огонька. Мертвая земля. Как пустыня. Может, правда она омертвела, эта земля, с которой многие, спасаясь от немцев, бежали в центральные губернии России?

Мысль эта мелькнула и долго не задержалась. Троцкий много говорил и писал о народе, но вообще-то больше о пролетариате, крестьянство же он считал реакционным классом; думать о каких-то отсталых белорусах, поляках или литовцах — напрасная трата мыслительной энергии, необходимой для более важных логических упражнений — выработки стратегии мировой революции.

Так он поступал всегда. Соотносил свою персону только с глобальными мировыми событиями. А в действительности, как всяким смертным, владели им самые обычные человеческие побуждения, и больше мыслей было бытовых, сумбурных и мелочных.

Салон-вагон на специальных рессорах покачивался мягко, приятно, но бросало из стороны в сторону больше, чем в обычном поезде.

Лев Давидович немного боялся этого раскачивания — не сорвало бы с рельсов на поворотах. Кстати, боялся он и перегона от Бреста до линии фронта, до первой своей станции, где подавали русский паровоз. В полной безопасности, более того — хозяином он чувствовал себя только в России, несмотря на то что там еще бурлила революция и совсем не было такого порядка, как у немцев. Там каждый солдат, каждый железнодорожник чувствует себя хозяином. Так разве ж ему, наркому, это заказано?

А в общем, лежа в халате на мягком министерском

диване, Троцкий наслаждался комфортом. Он любил комфорт. Что поделаешь? Привычка, как говорят, вторая натура. Он вкусно и сытно поужинал, в Петрограде так не поужинаешь, даже дома, в семье, — не понесешь продукты из запасов делегации; делегация все же обеспечена по особым нормам. Да и в Бресте при членах делегации приходилось ограничивать себя, подавать пример: нужно экономить, Россия голодает.

Раздражал запах стеарина — неприятный смрад немецкой химии. То ли дело русская восковая свеча, пахнущая медом и полем, той степью в Таврии, где прошло его детство.

Ругал немцев: дали паровоз без динамо-машины. Или нарочно не подключили? Хотелось почитать немецкие газеты, чтобы в Петрограде блеснуть осведомленностью перед Лениным, членами Совнаркома.

Вспомнил Америку, пожалел, что пожить в Нью-Йорке довелось недолго, всего три месяца. А ему понравилось там. Впервые у него на квартире был телефон, рефрижератор. Европа еще до такого комфорта не дошла. Он, Троцкий, с интересом изучал политику, экономику самой богатой империалистической державы.

Американские социалисты ему не понравились. Встречался с ними мало. Более тесная связь была с газетами. Они охотно печатали его, давали заработать. Но особенно нравилось, как расписывали его роль в русской революции, выставляли его первой фигурой среди социал-демократов.

Да, эта проклятая Америка стоит внимания! Какая техника! Какой комфорт! России до такого уровня топать еще двести лет. Поэтому смешными представляются утверждения Ленина, будто в России, в одной России, без всемирной революции, которая дала бы возможность распределить производительные силы, можно построить социализм.

С высоких материй мысли сползли к грубому

материализму. Троцкому было тридцать восемь лет — мужчина в расцвете сил. А тут еще добрый ужин с бутылкой кахетинского. И уже почти две недели, как он выехал из Петрограда, от семьи. Смачно потянувшись, так, что хрустнули суставы, подумал о встрече с Натальей, женой; он отбил ее у товарища по эмиграции, любил, был благодарен за сыновей — Леву и Сережу. Хорошие парни растут! Смена!

Да тут же грешные мысли перенесли в далекое прошлое. Слаб человек, что поделаешь! Но в конце концов нельзя же все время жить в мире высоких материй: революция, социализм, мир. Человек есть человек. Лев Давидович вспомнил свою первую жену, Александру Львовну. Они поженились в московской тюрьме, когда им было по двадцать. Менее чем через два года он бросил молодую женщину с двумя девочками-малютками в суровой Сибири, на Лене, а сам бежал из ссылки и после короткой остановки в Самаре, в семье Кржижановского, агента «Искры», доставшего ему зарубежный паспорт, легко, без приключений, добрался до Вены.

(Впоследствии в мемуарах Троцкий обольет Глеба Максимилиановича и его жену грязью.)

Вспоминать Александру Львовну и дочерей Троцкий раньше не любил — лишние эмоции; всю свою любовь он отдавал сыновьям. Но теперь девочки в Петрограде, летом семнадцатого года он увидел их, они с восхищением слушали его выступление; славные девчата выросли, одной семнадцать лет, другой — шестнадцатый.

Сейчас, в вагоне, Троцкий подумал, что нужно взять их под свою опеку: выполнить свой отцовский долг и воспитать верных помощников, таких же, как сыновья.

(Действительно, ему удалось сделать из Нины и Зины преданных ему фанатичных троцкисток и этим искалечить их жизнь.)

Но в ту ночь и о детях своих он думал недолго. Всплыли

вдруг воспоминания о еще более далеком прошлом, о первой юношеской любви — к тамбовской девушке, батрачке в имении отца. Сильней кахетинского опьянили словно заново пережитые свидания в степи. Почуял запах пшеницы, спелых арбузов и яблок, ощутил вкус девичьих губ, теплоту ее груди. Потом он признается, что «природа и люди мало занимали места в моей жизни», однако юность свою любил вспоминать.

Вместе с тамбовчанкой всплыло из тех лет многое другое. Давно уже он с таким умилением не вспоминал Яновку — имение под Херсоном. Райский уголок, где действительно можно было стать поэтом. Какая степь, какой простор! И полная свобода, несмотря на отцовскую бережливость: нигде Давид Бронштейн не выбросил лишней копейки. Но им, детям, не отказывал ни в чем, хотя воспитывал строго, в труде.

Имение Бронштейн купил у польского пана, проигравшегося в карты. Купил дешево — дом старый, сотня десятин запущенной земли. Но Яновка быстро расцвела. «Мудрый человек мой отец», — с усмешкой подумал Троцкий.

Действительно мудрый. Начал со ста десятин, а через тридцать лет, перед революцией, у него было шесть тысяч. Магнат!

Правда, когда Троцкий сделал себя революционером — еще в ту пору, в молодости, — ему порою становилось стыдно, что отцовы батраки — безземельные с Могилевщины, Орловщины, Черниговщины — летом, под горячим украинским солнцем, в краю, откуда вывозились тысячи пудов пшеницы, арбузы, дыни, яблоки, болели цингой и куриной слепотой.

Потом совесть его успокоилась. Да, отец, конечно, эксплуатировал бедняков. Но не отцова ли помощь помогла ему занять видное место среди голодных эмигрантов? На деньги, что переводились из Одессы, ему удалось организовать в Вене свою газету, через которую он заявил о себе всей Европе.

Под стук колес, раскачивание вагона в заснеженной безлюдной мгле белорусской земли Троцкий думал еще об одной мудрости отца. Сам он ходил в синагогу, а детей крестил, чтобы открыть им дорогу в университет. Александр, Ольга, Елизавета...

А как отец воспитывал их! Трудился сам, загнал работой в могилу жену и требовал от детей: работать так работать, учиться так учиться! Но, возможно, больше всего благодарен был отцу Троцкий за то, что тот не отгораживал их от народа, требовал, чтобы они учились говорить по-русски, по-украински.

Много лет Давид Бронштейн держал в имении механика Ивана Васильевича, держал не по найму, а как члена семьи: тот сидел с ними за одним столом и в будни и в праздники. Позднее Лева сообразил, что отцу нужен был не только толковый и дешевый механик, но и человек, который учил бы детей русскому языку. Как это потом пригодилось! Насколько выше многих других своих коллег он чувствовал себя и в училище (всегда по русскому языку имел высший балл), и позже, когда брался за перо, когда говорил с трибуны.

Он, юный Лева, умел дружить и с батраками, и с механиком. У них учился классовому самосознанию.

Иван Васильевич и та «москалька»... «Как же это ее имя? Кажется, Аня. Непростительно, брат, забывать тех, кто помогал тебе открывать мир. Стареем», — усмехнулся нарком. Аня, пожалуй, была идеальной учительницей русского языка, у неграмотной крестьянки был необычайный лингвистический талант, более тонкий, чем у преподавателей реального училища. Кажется, именно она, та девушка, дала ему и уроки женской эмансипации — об освобождении женщин он неплохо писал потом.

С присущим ему юмором Троцкий подумал: «Это единственное, что связывает меня с капитализмом, — романтика детства и юности. Не боюсь признаться. Неофита из меня ничто не сделает; я верен одной религии — социализму».

Теперь были смешны его юношеские мечты. Кем только он не собирался стать! Сначала — художником. Конечно, великим. Как Рафаэль. В реальном училище выяснил, что никаких художественных способностей у него нет, и возненавидел уроки рисования. Но в это время он поставил себе целью стать поэтом. Украинским. Не меньшим, чем Тарас Шевченко. Его тянуло к сатирическому жанру, ночами переводил на украинский язык басни Крылова.

Потом Лева открыл в себе «выдающиеся» математические способности. Поступил вольным слушателем в Одесский университет. Способности, кажется, были, но математика требовала слишком упорного труда. «Стал бы я великим математиком, если бы подался в науку? — снова-таки не без юмора подумал возбужденный приятными воспоминаниями Лев Давидович и ответил сам себе совершенно серьезно, без всякого юмора: — Нет, мое призвание — политика».

Но тут же помрачнел — вспомнил Ленина. Гениальность Ленина как тактика революции нельзя не признать. Однако ленинской стратегии Троцкий принять не мог.

«Слишком уж верит в победу социализма в России. Крайности смыкаются: трезвый реалист и в то же время идеалист, романтик. По вопросу мира мы дадим вам, товарищ Ленин, решительный бой. Если умно поддержать «левых», нетрудно завоевать большую часть партии. А вы останетесь в меньшинстве...»

От такой приятной перспективы Троцкий довольно потер ляжки, живот, снова смачно потянулся. Вернулся в день сегодняшний.

Разрабатывал детали давно продуманной им политической комбинации, основной целью которой было: ультрареволюционной трескотней поднять собственную роль в революции, в партии, привлечь к своей персоне внимание мировой общественности. Чем это может окончиться для народа, для страны — думал

довольно абстрактно, в плане своей схемы «перманентной революции», в которой крестьянству отводилось место за хлевами истории. Солдаты, конечно, сила, с которой не считаться нельзя. Но силу эту нетрудно нейтрализовать — демобилизовать армию, разоружиться. Ленин пугает наступлением немецкого империализма. Бухарин, немало напутавший в теории, неплохо гальванизирует и поднимает тезис о «международной полевой революции». «Это стоит поддержать, товарищ Троцкий!»

Он любил свой псевдоним. Нередко вспоминал старшего надзирателя одесской тюрьмы, фамилию которого позаимствовал, когда, убегая из сибирской ссылки, заполнял чистый, переданный ему сибирскими социал-демократами бланк паспорта. Были у него потом и другие псевдонимы и клички — Акцид, Отто, Перо, — но от фамилии тюремного надзирателя он так и не отказался.

Троцкий снова разозлился на немцев. Чертовы колбасники, скупердяи, не могли подключить динамо-машину, дать свет. На ходу, когда вагон раскачивает, много не напишешь, однако некоторые мысли стоило бы привести в систему, чтобы потом опубликовать. Противник у него серьезный и чрезвычайно трудолюбивый. Ленин, безусловно, начнет пропаганду мира в прессе. «Левые» станут ему отвечать. Но, кроме разве что Радека, у них нет полемистов, равных ему, Троцкому. С парадоксальной виртуозностью он способен оспаривать, что дважды два — четыре. Он гордился своим ораторским талантом, но понимал, что даже при его красноречии устными речами большой аудитории не завоюешь, да еще в такой ситуации, когда он вынужден находиться в Бресте. Там не выступишь. Необходима трибуна в партийной прессе.

Работа в делегации, должность наркома по иностранным делам ограничивают его возможности во внутрипартийной борьбе. Но как руководитель делегации он может немало сделать для проведения своего плана. Пребывание в Бресте ему импонировало и

тем, что имя его не сходило со страниц газет всего мира, как и имя Ленина. Было приятно, что имена их часто стоят рядом и что его, как и Ленина, буржуазная пресса, говоря по-церковному, «предает анафеме».

Ругня, инсинуации, выдумки буржуазных писак его забавляли, особенно когда писалось не о нем, а о других членах правительства.

Тех, кто попытался слишком грязно писать о нем, он в свое время остудил. Сразу после Октября радиостанция с Эйфелевой башни начала передавать поклепы на членов Советского правительства, расписывали и «парижские похождения» Троцкого. Французские журналисты знали его. Но и он знал их, в том числе премьера Клемансо, тоже бывшего журналиста, и некоторых его министров. И он ответил им через Царскосельскую радиостанцию памфлетами с такими пикантными подробностями из жизни Клемансо, над которыми, перехватив передачи, потешалась вся немецкая пресса. Французы вынуждены были изменить тон: интимных сторон его жизни и жизни других членов правительства больше не касались.

Политические выдумки не волновали. На такие выдумки он и сам был великий мастер. Он вез с собой вырезки из газет, немецких, австрийских, французских, определенным образом подобрав их, чтобы показать жене, сыну, друзьям, пусть убедятся, как много мировая пресса отдает ему внимания!

Убаюканный честолюбивыми размышлениями и раскачиванием вагона, Троцкий уснул.

Разбудил его немецкий патруль на линии перемирия. Немецкий майор, осмотрев вагон, попросил прощения у господина министра, почтительно козырнул.

А через три версты на своей станции, кроме заспанного начальника станции, никто, даже из военных, его не встретил; такое равнодушие задело его самолюбие, но Троцкий успокоил себя мыслью, что это, мол, только подтверждает его позицию: армию необходимо как

можно быстрее разогнать. Пусть возделывают землю и плодят детей.

Рабочий день в Петрограде Троцкий начал, по существу, с приема Раймонда Робинса. Были, безусловно, утром другие дела, но свои, внутренние. Например, Залкинд подробно доложил обо всех событиях, происшедших за время отсутствия наркома. Троцкий старался не проявлять особого интереса к приему Лениным дипломатического корпуса. Но проницательный Залкинд понял, что именно это более всего интересует наркома — содержание беседы, все ее детали. Троцкий даже не сдержался, бросил упрек: почему он, Залкинд, его заместитель, не присутствовал на приеме?

— Не пригласили.

— Имейте в виду, Залкинд: от нас зависит, чтобы нас не забывали, не обходили, когда решаются вопросы, в какой-то степени касающиеся Наркомата по иностранным делам. Вопросы такие могут быть у Ленина, у Сталина, у Крыленко, у Скворцова-Степанова... Но ничего не должно решаться без нас с вами.

— Понимаю, Лев Давидович. — И Залкинд постарался загладить свою промашку информацией, которой не могло быть в газетах, да и в официальных документах тоже. Главное в информации помощника — смены «умонастроений» коллег, расстановка сил в предстоящей борьбе по вопросу войны и мира. Как заядлый картежник, Троцкий любил неожиданные комбинации и сообщников и противников, вообще групповщина была его стихией.

Ничего нового Залкинд не сказал: Троцкий порадовался, что, находясь в Бресте, он, пожалуй, безошибочно теоретическим путем предугадал все эти комбинации. Он знал людей и умел предсказать их действия.

Тактические ходы лишь одного человека тяжело

предсказывать, отгадывать — Ленина, хотя стратегия его всем известна, Ленин не делает тайны из своей политики и, может, как никто, доверяет товарищам по партии, коллегам по работе.

«Однако же мой наркомат обошел», — не без обиды подумал Троцкий. Он не стеснялся говорить «мой наркомат», не страдая излишней скромностью.

Звонок Робинса с просьбой принять его поднял настроение. Прежде всего пощекотал самолюбие: быстро же разнеслась весть о его приезде! Но еще больше порадовало, что одним из первых иностранцев просится не какой-нибудь мелкий коммерсант из Швеции или Греции, а представитель Америки.

Троцкий уже неоднократно встречался с Робинсом до своей поездки в Брест. Знал, что миллионер Робинс — человек широких и независимых взглядов, не держит себя в дипломатических рамках, высказывается о русской революции неожиданно смело, иногда довольно прогрессивно.

По широте и смелости, с какой он, руководитель миссии Красного Креста, поднимает вопросы американо-русских отношений, вносит предложения, видно, насколько значительно его влияние если и не непосредственно на государственный департамент, на Вильсона, то на те американские круги, у которых есть средства направлять политику своего правительства в интересах этих кругов, а интересы их в России давние. Одним словом, Робинс действует как деловой человек. Недаром он из бедняков выбился в миллионеры.

Робинс нравился Троцкому. Самолюбие подсказывало, что через полковника можно лишний раз заявить о себе не только Америке, но всему миру: пусть знают, кто делает внешнюю политику Советской Республики! Была уверенность, что у Робинса есть каналы связи с Америкой, помимо тех, какими пользуется осторожный посол Френсис. Во всяком случае, решительности и смелости у него больше, чем даже у социалиста Садуля.

Робинсу тоже очень нужен был Троцкий. Все довольно энергичные контакты полковника с членами Советского правительства диктовались совсем не желанием собрать сенсационный материал для мемуаров о русской революции, хотя изредка он маскировал свою деятельность таким узким интересом. Но это было рассчитано на наивных и доверчивых. Герой Клондайка был слишком практичным человеком, чтобы растрачивать столько энергии ради будущих мемуаров. Руководитель миссии Красного Креста взялся за более сложную задачу: любой ценой помешать Советскому правительству заключить мир с немцами. Нет, Робинс не был кровожадным империалистом. Человек он был гуманный, у него болело сердце при виде голодных детей. Он готов бы принять русскую революцию, зная, до какой нищеты царизм довел народ. У него не было намерений подложить мину под Советскую власть. Но он, как, между прочим, и социалист Садуль, считал, что участие России в войне до полной победы Антанты приблизит эту победу и позволит сохранить жизни тысячам американских, французских, английских, немецких, австрийских солдат, а русский народ спасет еще и от голода, который уже хватает костлявой рукой миллионы людей.

Встречи с Лениным убедили Робинса, что большевистский премьер неукоснительно стоит за мир, только в мире видит спасение Советской Республики. Робинс высказал восхищение такой убежденностью, но для себя решил, что с этим человеком, как говорят русские, каши не сваришь.

Другое дело — «Троцкий, горделиво играющий роль второго лица в государстве. Беседы с Троцким, при расхождениях в большевистской партии по вопросам войны, мира и мировой революции, давали Робинсу надежду, что его дипломатические усилия не напрасны, что он может оказать президенту Вильсону услугу большую, чем тот думает.

Вот почему полковника особенно интересовала личность Троцкого и переговоры, которые вел он в

Бресте. Но до Бреста не доберешься. Неожиданный приезд Троцкого в Петроград — как дар божий. Пребывание его может оказаться коротким. Поэтому — встретиться обязательно и как можно скорее!

Когда Ленин из-за чрезмерной перегруженности Смольного предложил, чтобы наркоматы перебрались в здания соответствующих, министерств, Троцкий на Совнаркоме долго рассуждал на тему: не отдалит ли это народные комиссариаты от народа? Рабочим, солдатам ненавистны министерские особняки. Но это была обычная демагогия. В действительности он радовался переселению. Во-первых, подальше от Ленина, имевшего привычку неожиданно зайти к тому или иному наркому, вникнуть в дела. Троцкий не любил этих посещений Председателя Совнаркома. Считал, что советы, подсказки необходимы Скворцову-Степанову, Калягаеву, Сталину. Он же, Троцкий, в состоянии во всем разобраться сам.

Во-вторых, Министерство иностранных дел — это простор, комфорт. Правда, помпезную сазоновскую мебель нарком приказал заменить на простую, демократическую, отослал в Эрмитаж все дорогие гобелены. Однако огромный персидский ковер в кабинете остался. Роскошные шторы тоже.

Простые столы, диваны, кресла, безусловно, испортили интерьер, эстетическому вкусу Льва Давидовича больше импонировало прежнее убранство, однако его ультрареволюционные принципы требовали уничтожить все старое. Модернизация сделала кабинет еще более просторным. Стадион с зелено-золотистым полем ковра.

Троцкий, заложив руки за спину, шагал по мягкому ковру. Мастер экспромта, к разговору с Робинсом он, однако, готовился. Даже думать старался по-английски, шлифуя наиболее значительные фразы, которые намеревался сказать. Остановился перед книжным шкафом, взял русско-английский словарь, проверил значение некоторых специфических словечек, полистал английскую энциклопедию.

Потом нетерпеливо стоял у окна, высматривая, когда подойдет знакомый «форд» с флажками Красного Креста и американским, звездно-полосатым.

Раймонд Робинс внешне был неторопливым человеком. Никакой суетливости. Спокойствие и рассудительность. Хотя, наверное, в молодости у искателя золота был другой темперамент. Годы и положение меняют человека.

Троцкому такой степенности не хватало, излишняя энергия иногда делала его суетливым, крикливым.

Однако большой кабинет, сознание значительности своего поста и уважение к гостю (было и это, хотя он иронически попенял себе: мол, теряешь, товарищ, классовую непримиримость!) сделали его в начале встречи официальным, дипломатически осторожным.

Поздоровались они как старые знакомые. Робинс, ранее посещавший наркомат в Смольном, с интересом осмотрел кабинет, но ничего не сказал о новом рабочем месте наркома. Такт? Или, будучи деловым человеком, не тратил лишних слов на формальную вежливость? Начал с комплимента хозяину кабинета. Хитрого комплимента, который сразу подводил к существу дела:

— У господина народного комиссара бодрый вид. Хотя я понимаю, насколько вы устали. Нелегкое дело — подписать мир?

— Нелегкое, — согласился Троцкий. — Начать войну легче.

— Это вам кажется. Войны начинать тоже нелегко. Империалистические, как вы их называете. Я знаю, как трудно было моему правительству вступить в войну. Только союзнический долг…

Троцкий пригласил Робинса сесть на мягкую банкетку за круглым столиком. Сам сел в кресло напротив. Он писал в статьях, почему Америка вступила в войну, писал с марксистских позиций: боялась, что добычу

разделят без нее. Но гостю этого не сказал — неделикатно. Теперь у него была другая задача: завоевать популярность не у русского пролетариата, а у Робинса, а через него — у американской общественности. Но добиваться этого надо очень дипломатично. Пусть знают его революционность!

— Нелегко заключить мир с империалистами. Но пролетариат может окончить войну в любое время.

Робинс не знал еще о сущности тезиса Троцкого «ни войны, ни мира», поэтому на его ультрареволюционные утверждения не обратил особенного внимания, подумал только, что Ленин сказал бы об этом иначе — с каким-нибудь особенным, простым и понятным теоретическим истолкованием; за ходом ленинской мысли всегда интересно следить.

Робинс был тонкий дипломат, но, поскольку не являлся официальным представителем, позволил себе идти к цели напрямик, с военной или коммерческой грубоватостью.

— Мне казалось, что немцы в их положении охотно подпишут мир с Россией. Не понимаю, что хотят выторговать гогенцоллерны?

Знал он о немецких претензиях, знакомился с секретной информацией, получаемой посольством. В Бресте, в штабе Гофмана, находился английский агент, но, естественно, его информация доходила через Швецию со значительным опозданием.

Троцкий укусил себя за язык — едва не выдал сущность немецкого ультиматума. Конечно, Советское правительство не делает тайны из переговоров, однако некоторые детали не могут не быть определенное время секретом. Выдать их раньше, чем он доложит Совнаркому, Ленину, было бы неосторожно. Но вместе с тем Робинс должен знать его отношение к немецким требованиям, которые рано или поздно все равно станут известны.

И он сказал категорично, самоуверенно:

— Я никогда не подпишу недемократического мира.

Робинс чуть не подскочил на диване. Потом он признавался, как обрадовали его такое заявление наркома по иностранным делам и его самолюбиво-амбициозный тон.

Ни один министр иностранных дел не отважился бы на подобное заявление без согласия правительства! Робинс перешел в наступление:

— Господин народный комиссар, надеюсь, вы знакомы с речью президента Вильсона в конгрессе. Я передал полный текст ее господину Ленину.

— Да, Ленин прислал речь делегации, и мы ознакомились…

— Согласитесь, что это очень серьезный документ. Это — программа мира.

— Господин Робинс, вы забываете: я один из тех, кто выработал нашу, большевистскую программу мира, — напомнил Троцкий о своем месте в Советском правительстве и в истории.

— Господин Троцкий, я этого не забываю. Но я не вижу противоречия между программой Вильсона и предложениями Советского правительства.

Троцкий все еще демонстрировал свою революционность:

— Разница есть. Мы за то, чтобы дело мира взяли в свои руки народы…

— Я готов согласиться, что война может быть, как вы утверждаете, империалистической. Но мир… Мир — благо в первую очередь для тех, кто в окопах. Для рабочих и крестьян. Видите, как я освоил большевистскую терминологию, — пошутил Робинс. — Господин народный комиссар, вы, безусловно, обратили

внимание на пункт шестой программы президента. Он посвящен России. В нем гарантируется получение Россией «полной и беспрепятственной возможности принять независимое решение относительно ее собственного политического развития и ее национальной политики». Это серьезное заявление.

Когда неделю назад Робинс, вручая текст речи Вильсона, обратил внимание Ленина на эти слова, Ленин сразу же парировал: «Господин Робинс, рабочим и крестьянам России не нужны гарантии для своего самостоятельного политического развития ни от каких добрых и богатых дядюшек. И не им гарантирует самостоятельность развития господин Вильсон. Он подбадривает, поощряет русскую контрреволюцию. Так я понимаю слова, от которых вы в восторге».

Робинс даже растерялся тогда от такого «недипломатичного» ответа. Но Ленин вынудил его прочесть слова Вильсона с иных позиций — с позиций людей, взявших в России власть.

Троцкий ответил иначе:

— Я изучил этот пункт речи президента, как и все другие. Тут есть основа для понимания нашего политического развития.

Робинс довольно заерзал на диване: о, какая существенная разница между мыслями руководителя правительства и человека, которому поручена внешняя политика и который ведет переговоры с немцами!

Использовать его настроение нужно с ходу. Робинс хорошо знал, сколь велико влияние Троцкого на немалую группу членов ЦК.

— Господин Троцкий, я, как вам известно, не дипломат. Я — представитель деловых кругов. Проклятый империалист. Я никогда не любил дипломатических хитростей. Но всегда, в силу своей принадлежности к этим самым «проклятым», был человеком слова и дела. Возможно, при наших прошлых встречах я старался

быть дипломатом. Сегодня же хочу спросить у вас, как говорят, открытым текстом. Что даст России мир с Германией? Потерю значительных территорий? — Робинс раскрывал свою осведомленность. — Уплату контрибуции? А в результате еще большую разруху, анархию и голод. Голод! Господин нарком, голод — страшнейший враг любого строя... любой монархии и любой революции. Миссия Красного Креста составила карту районов России, где уже голодают. Это большие районы. Не хватает не только хлеба. Нет угля. Соли. Спичек. Керосина. Тканей. Обуви. Где вы все это возьмете, чтобы накормить, обогреть и одеть миллионы людей? У кого в сегодняшнем мире это все есть? Только у моей страны. Америка требует немногого — держать фронт против немцев, даже без наступательных операций. Примите наших военных советников. И наших специалистов. За два месяца мы наладим вам добычу угля в Донбассе, добычу нефти в Баку. Организуем работу железной дороги. Дадим пшеницу. И забросаем ваших мужиков добротными товарами. Дайте нам только порты...

Троцкий не спускал глаз с Робинса, как бы желая убедиться, насколько все это искренне и серьезно.

— От чьего имени делаются такие предложения? От Красного Креста?

— Господин народный комиссар, я мог бы обидеться, как руководитель миссии, за такое отношение к самой гуманной организации.

— Простите.

— Но я не унижаюсь до пустой амбиции. Я не скажу, что делаю столь ответственные предложения от имени президента. Но могу заверить вас, что такой план поддерживают очень влиятельные круги Соединенных Штатов.

Троцкий сделал вид, что глубоко задумался. Робинс деликатно помолчал, давая ему возможность подумать.

— Мы обсудим ваши предложения.

— Для людей, которых я должен информировать, важно собственное мнение человека, направляющего внешнюю политику правительства.

Троцкий самолюбиво рассмеялся.

— О, вы не «проклятый империалист»! Вы — великий дипломат, товарищ миллионер.

— Спасибо за комплимент, господин комиссар.

— Я сказал вам вначале: лично я никогда не подпишу недемократического мира. А немцы предъявляют ультиматум. Думаю, что мы вынуждены будем принять ваш план. Не берусь сказать относительно Владивостока. А Мурманск и Архангельск мы можем предоставить под ваш... временный контроль.

Для Робинса это была победа. Можно бить в барабаны. Но полковник был не из тех людей, любую победу он умел закреплять. Нужно нажать на самолюбие Троцкого. Как?

— Мне кажется, вам нелегко будет убедить вашего премьера. Господин Ленин излишне увлечен идеей мира с немцами. Я не хотел бы, чтобы вы передали... но у меня такое впечатление, будто он ослеплен этой идеей и не видит, что творится вокруг.

— В социалистическом правительстве решения принимаются коллегиально.

Действительно нужны литавры! Но нет, лучше еще немного нажать:

— Говорить с вашим премьером интересно, но нелегко. Когда я сказал ему о нашей беседе по поводу организации работы Транссибирской железной дороги и о вашем согласии взять крупного американского специалиста помощником наркома путей сообщения, знаете, что ответил мне господин Ленин?

Троцкий насторожился.

— Он сказал: наш нарком большой юморист. Робинс увидел, как перекосилась у Троцкого левая щека. Кажется, он попал в цель. Но Троцкий не выдал себя: чтобы показать, что он действительно не лишен чувства юмора, весело засмеялся.

— Правда, потом Ленин с лукавой улыбкой сказал: Троцкий не договорил. Мы согласны взять вашего человека с условием, что вы возьмете русского большевика помощником своего министра. Из этого я сделал вывод, что сам Ленин не меньший юморист. Не потребует он за Архангельск и Мурманск посты министров в американском правительстве? Меня забавляет такая перспектива: большевики на Капитолийском холме!

Над этой шуткой они посмеялись вместе. Но Троцкий подумал: «С этим миллионером нельзя быть до конца искренним. Кажется, он очарован Лениным».

После этого визита Раймонд Робинс в одном из своих донесений госдепартаменту писал: «Я был удовлетворен, что именно он продолжает Брестскую конференцию… Я был удовлетворен, потому что я знал его. Он был нечто вроде «примадонны». Я знал, что Троцкий затягивает конференцию насколько это возможно, потому что она давала наиболее полное удовлетворение его эгоизму (эгоцентризму). Он был в центре мировых событий… он говорил перед наиболее широкой аудиторией, на которую мог рассчитывать раньше и в будущем».

И тот же Робинс через два месяца, уезжая из России, написал Ленину: «Ваша пророческая проницательность и гениальное руководство позволили Советской власти укрепиться во всей России, и я уверен, что этот новый созидательный орган демократического образа жизни людей вдохновит и двинет вперед дело свободы во всем мире».

«Мирные переговоры в Брест-Литовске вполне выяснили в настоящий момент, к 7.1.1918 г., что у германского правительства (вполне ведущего на поводу остальные правительства четверного союза) безусловно взяла верх военная партия, которая по сути дела уже поставила России ультиматум (со дня на день следует ждать, необходимо ждать и его формального предъявления). Ультиматум этот таков: либо дальнейшая война, либо аннексионистский мир, т. е. мир на условии, что мы отдаем все занятые нами земли, германцы сохраняют все занятые ими земли и налагают на нас контрибуцию (прикрытую внешностью платы за содержание пленных), контрибуцию размером приблизительно в 3 миллиарда рублей, с рассрочкой платежа на несколько лет».

Ленин обмакнул перо в чернильницу, жирно вывел порядковый номер следующего тезиса, однако перо застыло, нацеленное на бумагу.

Легко констатировать факты. Нелегко давать им философское объяснение. А написать надо так, чтобы убедить людей. Ох, как надо убедить всех, кто ошибается в самом главном — в вопросе о мире!

Ленин задумался.

В Смольном было непривычно тихо: позднее время, двенадцатый час ночи. Через слегка приоткрытые двери Владимир Ильич услыхал тихий шепот в комнате секретариата. Там тоже все разошлись, остались только часовые да дежурный секретарь — Юлия Павловна Сергеева, разговорчивая веселая белоруска. Ленину нравился ее характер, нравился и ее белорусский акцент с твердым «р» и мягким «ц»: «трапка», «зара», «играюць». Это, конечно, она шепчется с часовыми.

Ленин, когда писал, не обращал внимания даже на дневной гул голосов и топот сотен ног на «палубах» грандиозного корабля революции — Смольного. Шепот ему не особенно мешал. Можно пойти и закрыть двери поплотнее, но из деликатности он не делал этого, зная, что такой его жест смутит людей в приемной и они

будут напряженно молчать, пока он работает в кабинете. А работать ему придется допоздна. Тезисы о неотложном заключении мира должны быть готовы к утру!

После короткого раздумья Ленин написал:

«Перед социалистическим правительством России встает требующий неотложного решения вопрос, принять ли сейчас этот аннексионистский мир или вести тотчас революционную войну».

И снова остановился.

Что ему все-таки мешает работать как всегда, с той стремительностью, когда перо, даже при его владении скорописью, не поспевает за мыслью? Болит голова? Верно, голова болит — был очень тяжелый день. Шестнадцать часов работы с очень короткими паузами.

Владимир Ильич встал из-за стола, прошелся по кабинету, пружиня ногами, чтобы немного размять их — отекают. Привычно остановился у окна — сначала возле того, что выходит на площадь. Днем разглядывание площади, перспективы Петрограда, открывающейся из окна, давало и отдых, и — в зависимости от задачи — ясность мысли. Теперь за окном было пусто, заснеженно, темно — лишь кое-где далекие огоньки. Город без угля и хлеба рано засыпает.

Нет, не рано засыпает этот город. Сколько в это позднее время не спит контрреволюционеров, буржуев! Они не только не спят — шепчутся, сговариваются.

Владимир Ильич перешел к окну, из которого виден был главный подъезд Смольного. Тускло горели газовые фонари. Ходили красноармейцы, из-за колонн выглядывали дула орудий.

Вполне военная картина — пушки, красноармейцы (Ленин уже не впервые бойцов рабочего отряда, охранявших Смольный, называл красноармейцами) — как бы открыла самую широкую перспективу.

Ленин мысленно написал:

«…на создание действительно прочной и идейно-крепкой социалистической рабоче-крестьянской армии нужны, по меньшей мере, месяцы и месяцы», — и тут же вслух произнес:

— Неужели такая простая истина не доходит до вас, товарищ Бухарин?

Постоял у окна — немного поутихла боль в голове. Но чувство тревоги не оставляло. Оно редко бывало у него, он всегда сопротивлялся подобному настроению, никогда и ни в чем не позволял себе раскисать. Однако откуда оно, это чувство? Что случилось?

Час назад закончилось заседание Совнаркома. Ленину казалось, что центральным станет вопрос о мирных переговорах. Но вопрос этот ничем особенным не выделился.

Троцкий сделал короткий и подозрительно объективный доклад об ультиматуме Гофмана — все то, что минуты назад легло на бумагу одним из тезисов. Троцкий не высказал даже своей позиции. Только Каменев, которого Троцкий привез с собой — зачем? в качестве адъютанта? — непонятно для чего сообщил о «левых» взглядах членов делегации Иоффе и Радека. А какова позиция самого Каменева, уже не однажды вредившего революции? Наркомы, которые в вопросе о войне склоняются к «левым», тоже промолчали, никакой дискуссии не начали, только выяснили у руководителя делегации некоторые процедурные моменты переговоров.

Правда, Ленин видел, как у членов правительства помрачнели лица от сообщения, что в Германии явно берет верх партия войны. Но какой вывод из этого сделают «левые», их лидер Бухарин? Где они собираются выступить против него, где дадут бой? В ЦК? На завтрашнем совещании большевиков — делегатов Третьего съезда Советов, которое «левые» хотят превратить в партийную конференцию? Да,

безусловно, завтра. Что ж, я и мои единомышленники… мы примем этот бой. И мы выиграем его, товарищи и господа! — мысленно обратился Ильич и к членам своей партии, и к врагам — ко всем, кому хотелось втянуть республику в войну. — Но к бою, как и вообще к войне, надо готовиться! Тезисы! К завтрашнему совещанию они обязательно должны быть готовы! Это то оружие, которое поможет сплотить армию сторонников мира.

Ленин не сомневался, что среди рядовых членов партии таких абсолютное большинство, беда только в том, что «левые» крикуны сбивают их с панталыку. В тезисах надо разбить все «теории» Бухарина, Радека, левых эсеров. И — Троцкого. Он пока что не выступил публично, но хитро проводит не менее авантюрную линию. Всей партии надо доказать, что марксизм требует учитывать объективные условия и их изменения. А коренное изменение состоит в создании Республики Советов. Поэтому вся наша тактика должна быть подчинена единому принципу: «Как вернее и надежнее обеспечить социалистической революции возможность укрепиться…»

Это ответ вам, «теоретик» Троцкий. Ждать сложа руки революции в Германии, во Франции — значит похоронить свою собственную революцию. А поэтому абсурдно — открыть немцам фронт. Вильгельм и Гинденбург только этого и ждут.

Однако — писать. Надо писать. В голове мыслей — гора. Но они станут оружием, лишь когда лягут на бумагу.

«Положение дел с социалистической революцией в России должно быть положено в основу всякого определения международных задач нашей Советской власти…»

Ленин обрадовался, что мысль потекла привычно быстро и хорошо выстраивалась. Перо прямо летело, казалось, не прикасаясь к бумаге, однако за ним оставались слова, предложения, абзацы, навсегда закрепившие ленинскую мысль.

«...Наша пропагандистская деятельность вообще и организация братанья в особенности должны быть усилены и развиты. Но было бы ошибкой построить тактику социалистического правительства России на попытках определить, наступит ли европейская и особенно германская социалистическая революция в ближайшие полгода (или подобный краткий срок) или не наступит. Так как определить этого нельзя никоим образом, то все подобные попытки, объективно, свелись бы к слепой азартной игре».

Отвлек внимание странный звук: где-то не в приемной, а дальше, может быть, в бессонной 75-й комнате, застучала машинка.

Странно. Никогда он не обращал внимания на машинку, днем строчившую как пулемет рядом, за стеной. А тут... Ночная тишина так обострила звуки? Или сказывается раздражение от того, что печатают не очень умелые руки — выбивают по одной букве? Нет, просто усталость. Нервы. Голова таки болит.

Немудрено было и утомиться.

Позавчера — открытие и роспуск Учредительного собрания. Перед этим необычные дела в связи с тем, что контрреволюция готовила выступление в защиту собрания. Только за последние два дня написал несколько статей, много раз выступал. На заседании ВЦИК по Учредительному собранию выступал пять или шесть раз.

Сегодня надеялся на «тихий» день, на спокойную работу. Тихий! «Тихий» этот день привел к тяжелому эмоциональному возбуждению, к нервному срыву.

...С утра Ленин принял болгарского социал-демократа Романа Аврамова. Они были знакомы еще в эмиграции. После Второго съезда Аврамов стал большевиком и некоторое время работал в большевистском ЦК членом хозяйственной комиссии.

Но на прием к Председателю Совнаркома он явился не

от болгарских социал-демократов, а как представитель правительства «царя болгар» Фердинанда Кобургского, по воле которого народ, испытывающий к России благодарность за избавление от многовекового ига, был втянут в войну против своих братьев.

Аврамова призвали в армию и послали на фронт. В конце семнадцатого года царские слуги, внимательно следившие за социалистом и располагавшие на него полным досье, вспомнили о связях Аврамова с Лениным, тут же отыскали его и, подняв в ранге, послали в Германию, в комиссию по обмену военнопленными и в комиссию по экономическим вопросам, которую возглавлял знаток России граф Мирбах. Правительство царя Фердинанда дало Абрамову специальное важное и деликатное задание — попробовать договориться с большевистским правительством о закупке в черноморских портах хлеба и керосина: война довела Болгарию до голода. Народ, солдаты поднимались на призыв: «Сделаем как русские братья!» Трон шатался. Фердинанд хотел укрепить его русским хлебом, купленным с помощью болгарского большевика.

За день до этого Ленин беседовал с Аврамовым два часа. Аврамов приехал из Берлина, где работал в совместной с немцами комиссии. Он был довольно образованным экономистом, обладал острым хозяйским глазом и, безусловно, мог дать об экономике Германии более широкие, глубокие и точные сведения, чем те, что публиковались в газетах. Военная цензура процеживала подобные материалы сквозь такое густое, педантично-немецкое сито, к какому, кажется, не прибегала ни одна из стран Антанты. Например, во французских газетах время от времени еще можно было прочесть что-нибудь заслуживающее внимания — внимания экономиста и военного стратега. У немцев — только хитро состряпанная дезинформация.

Кроме работы в комиссиях, Аврамов имел контакты с немецкими социал-демократами. Перед отъездом в Петроград встречался с Каутским, с Гаазе, с Мерингом.

Они передали Ленину «горячий привет», но Каутский вместе с тем поручил сказать, чтобы Ленин не рассчитывал на революционную помощь со стороны Германии. «Немецкий народ — не революционный народ», — сказал лидер «независимых».

С этого Аврамов и начал разговор.

Такой «привет» Каутского разозлил Ленина.

— Старый осел! Восстание армии, голод народа у них на носу, а они, эти бабы и трусы, клевещут на немецкий народ, утверждают, что он не способен на революцию.

Ленин лучше Каутского понимал, что рассчитывать на германскую революцию в ближайшее время нельзя. Но неверие Каутского в собственный народ, в немецкий пролетариат его возмутило.

А вообще для Ленина Аврамов был интереснейшим собеседником, информатором, более осведомленным, чем Платтен, наблюдавший Германию со стороны, с позиций нейтрала. Роман Аврамов на разных фронтах и в разных тылах нанюхался всего, он знал «хлев» и его стадо изнутри. Поэтому Ленин засыпал его вопросами.

«Я был подвергнут буквально ураганному обстрелу, — вспоминает Аврамов. — Ленин хотел знать все до самых мелочей».

Что в Германии? В Болгарии? В Австро-Венгрии? В каком состоянии промышленность? Как с углем, с металлом? Как с хлебом? Ага, немцы, благодаря учету (именно учету!) и контролю за нормированием держатся. Чехи, венгры, болгары голодают. За авантюры романовых, гогенцоллернов, Габсбургов и кобургов расплачиваются народы. Русские военнопленные используются на самых тяжелых работах.

Ленин тут же позвонил Троцкому:

— Лев Давидович, вернетесь в Брест — заявите от имени Советского правительства протест против

бесчеловечной эксплуатации наших пленных. Русские солдаты работают в шахтах по четырнадцать часов и получают самый мизерный паек. В полтора раза меньше, чем у пленных англичан. Скажите, что это рабство. И мы заявляем: позор рабовладельцам! Откуда сведения? Из очень надежных источников. Да-да, очень надежных.

Болгарина тронула ленинская забота о его репутации и безопасности: Владимир. Ильич не назвал его фамилии, понимая, что он военный человек и ему в случае чего легко могут приписать разглашение военной тайны.

Аврамов тоже проявил дипломатический такт: не стал после такой дружеской душевной беседы единомышленников валить в одну кучу разные свои миссии — то, что шло от убеждений, и то, что ему надо было сделать по обязанности офицера и дипломата страны, воевавшей с Россией.

Эти свои обязанности Аврамов исполнил сегодня. Попросил продать Болгарии хлеб.

Владимира Ильича такая просьба удивила и даже несколько смутила.

Голодным болгарам надо помочь. Но Болгария даже еще не подписала мира, а Фердинанд хочет укрепить свое положение за счет русского хлеба. Не слишком ли цинично? А кто поможет голодным русским рабочим? Поклониться Америке, как предлагает Робинс и с чем, кажется, соглашается Троцкий? Нарком по иностранным делам готов отдать под американский контроль даже Транссибирскую железную дорогу. Каков торговец народным добром! Слишком большой кусок — от Владивостока до… До какого пункта, Лев Давидович, вы хотите установить этот контроль? Не до Петрограда ли?

Ленин поднялся со стула, на котором сидел напротив Аврамова. Теперь перед ним был не гость-единомышленник, а дипломат вражеской державы. Что же ответить посланнику царя Фердинанда?

Ленин прошелся по кабинету и вдруг открыл дверь в комнату секретариата, плотно закрытую всякий раз, когда у Председателя был посетитель. Позвал:

— Товарищ Кизас!

Вошла сотрудница.

— Анна Петровна, — обратился к ней Владимир Ильич, — принесите нам из буфета по порции хлеба. Если он там есть.

— И чаю?

— Да, и чаю.

Аврамов, пока не понимавший, что задумал Ленин, смущенно молчал.

Ленин прошел к своему рабочему месту за столом, сел в кресло. Спросил с официальным гостеприимством:

— В гостинице не холодно?

— Холодно, Владимир Ильич.

— Суровая зима. Очень суровая зима. А угля нет. Я скажу товарищам, чтобы нашли вам теплую квартиру.

— Спасибо. Прошу вас не беспокоиться.

Кизас вошла, неся блюдечки, на которых стояли стаканы с чаем и лежали тоненькие ломтики черного, цвета бурого угля, хлеба.

Женщина поставила чай и хлеб перед Аврамовым.

— Пожалуйста, — сказал Ленин гостю. — Прошу попробовать хлеб, каким питается пролетариат Петрограда. Не исключаю, что рабочие пекарни, откуда берут хлеб для Смольного, стараются выпекать его лучше, чем в остальных пекарнях.

Аврамов понял, что это ответ Ленина на его просьбу продать хлеб, и ему стало неловко за бесстыдство

людей, поручивших ему такую миссию. Сырой, недопеченный хлеб комом стоял в горле.

Ленин ел хлеб с аппетитом. Но чай допить ему не дали. Зазвонил телефон. Владимир Ильич взял трубку. И вдруг Аврамов заметил, как изменилось у Ленина лицо — вмиг налилось гневным румянцем, — таким он никогда не видел Ленина даже на самых жарких диспутах в Женеве.

Председатель правительства закричал в трубку:

— Товарищ Урицкий! Это черт знает что такое! Что у вас творится в городе? Вы председатель комиссии по охране Петрограда. И вы мне спокойно докладываете о такой подлой провокации. Да-да, спокойно… Немедленно найдите и арестуйте этих анархистов! Немедленно! Я вам приказываю!

Бросив трубку, Ленин тут же позвал секретаря.

— Бонч-Бруевича ко мне! Где Бонч-Бруевич? Почему председатель комиссии по борьбе с контрреволюцией до сих пор не знает, что в Мариинской больнице совершено гнуснейшее убийство! В больнице! Советская власть никому не позволит чинить самосуд! Сейчас же найдите мне Бонч-Бруевича! Свяжите меня с Дыбенко! Революцию топчет анархия, а им хоть бы что!

Ленин был настолько возбужден и разгневан, что совсем забыл о госте. Аврамов, смущенный тем, что невольно стал свидетелем чрезвычайного происшествия, но и заинтересованный — что же случилось? — отошел в дальний угол кабинета, к окну.

Несколько дней назад специальным постановлением Совнаркома бывшие министры Временного правительства Кокошкин и Шингарев, заболевшие в Петропавловской крепости, были переведены оттуда в больницу. В минувшую ночь матросы-анархисты ворвались в больницу и убили их там.

В кабинет торопливо вошел Бонч-Бруевич.

Владимир Ильич набросился на него:

— Чем вы занимаетесь? Чем занимается ваша комиссия? Вы знаете, что случилось?

— Знаю...

— Почему не докладываете?

— Я ездил в больницу и провел там первичное следствие.

Ленин немного успокоился, голос его стал привычно деловым.

— Правительство назначает следственную комиссию: Бонч-Бруевич, Дыбенко, Штейнберг. Немедленно начните самое тщательное расследование. Виновных арестовать обязательно! Одновременно подготовьте текст срочной телеграммы. Всем комиссариатам, всем председателям районных Советов Петрограда и пригородов. Комиссии по охране Петрограда. Штабу Красной гвардии. ВЧК, комиссарам вокзалов... Абсолютно неотложно поднять на ноги все имеющиеся в наличии силы и отыскать убийц!

Бонч-Бруевич вышел. А Ленин с минуту сидел за столом, массируя пальцами виски. Опять начала болеть голова. Аврамов боялся пошевелиться. Но Владимир Ильич вспомнил про свидетеля и долго, строго и внимательно смотрел на него, словно изучая: как болгарин принял это происшествие и как может после рассказывать о нем? Должно быть, поняв, что тот смущен и всем видом своим показывает, что никому ничего не скажет, Ленин улыбнулся. Подошел к Аврамову и коротко разъяснил существо дела. Между прочим бросил:

— Плоды деятельности нашего общего знакомого Кропоткина. Анархия — злейший враг революции. — И, должно быть, желая еще раз подчеркнуть, как надо охранять революцию и ее штаб, потому что в первое свое посещение Смольного Аврамов спросил, зачем

такие строгости — броневики, пушки у подъезда, пулеметы в окнах, Ленин с хитроватой улыбкой сказал: — А без пропуска вас из Смольного не выпустят.

Сел к столу, оторвал клочок бумаги, написал пропуск.

— Я скажу, чтобы вам дали автомобиль доехать до гостиницы.

...Владимир Ильич понял, что мешает ему не далекий стук машинки, отрывают от неотложного дела мысли об убийстве министров. Анархию необходимо задушить в зародыше. При свободе, которую дала революция, при слабости Советской власти, ее органов внутреннего порядка это страшная стихия — разгул анархии. Ее сразу же начинает использовать в своих целях контрреволюция, как было с разграблением винных подвалов.

Ленин редко беспокоил работников Совнаркома по ночам. Но тут понял: чтобы кончить тезисы о мире, ему нужен доклад о расследовании сегодняшнего происшествия.

Вышел в комнату секретариата. Попросил Сергееву найти Бонч-Бруевича. Комиссары 75-й комнаты нашли своего руководителя в казарме флотского гвардейского экипажа, где анархисты также учинили заваруху. Владимир Дмитриевич тут же связался с Лениным по телефону и коротко доложил о работе, проделанной комиссией. Пообещал через полчаса явиться, чтобы рассказать обо всем подробнее.

Ленин убедился, что назначенная комиссия работает, несмотря на ночь, и успокоился, переключив все внимание на теоретическое и практическое обоснование необходимости немедленного подписания мира.

Умолкла машинка. Или он плотнее прикрыл двери? Во всяком случае, какое-то время ничто не мешало течению мысли. И голова, кажется, перестала болеть. Нет, голова болит. Однако надо уметь не

прислушиваться к боли. Он это умел, когда вот так погружался в работу.

Ленин писал:

«Беднейшее крестьянство в России в состоянии поддержать социалистическую революцию, руководимую рабочим классом, но оно не в состоянии немедленно, в данный момент пойти на серьезную революционную войну. Это объективное соотношение классовых сил по данному вопросу было бы роковой ошибкой игнорировать».

Пусть его оппоненты попробуют оспорить два десятка тезисов! Такие эквилибристы, как Бухарин, безусловно, попытаются это сделать. Но члены партии будут иметь возможность сравнить их доказательства, их теории и разобраться, где правда, за кем надо идти.

Ленин верил в здоровый реализм рабочих, солдат, на них рассчитывал тезисы, поэтому и писал до прозрачности просто — чтобы понял любой, даже неграмотный человек. Ленин представлял, знал наперед аргументы своих оппонентов и разбивал их. Он говорил беспощадно суровую правду:

«Если же германская революция в ближайшие месяцы не наступит, то ход событий, при продолжении войны, будет неизбежно такой, что сильнейшие поражения заставят Россию заключить еще более невыгодный сепаратный мир, причем мир этот будет заключен не социалистическим правительством, а каким-либо другим (например, блоком буржуазной Рады с Черновцами или что-либо подобное)».

Ленин писал предпоследний, двадцатый тезис, когда пришел Бонч-Бруевич.

— Минуточку посидите, Владимир Дмитриевич. Нет, нет, не уходите. Посидите здесь.

Управляющий делами прошел в дальний угол и притаился там, чтобы не мешать. Но видел, как на лице

Ленина, в морщинах на его лбу, в глазах, на губах отражается то, о чем он пишет. Бонч-Бруевич наблюдал это не впервые, удивлялся и восхищался такому отражению мысли во всем ленинском облике: хоть читай по лицу!

Ленин размашисто подчеркнул известные нам слова, собрал разбросанные по столу листки, поднялся с кресла, держа листки в руке. Явно довольный, показал их Бонч-Бруевичу.

— Тезисы о мире. Партии нужно оружие против левых фразеров. Против Троцкого.

Сложил листки, бережно, как важнейший документ, спрятал их во внутренний карман пиджака.

С ласковым прищуром оглядел управляющего делами. Должно быть, чувствовал некоторую неловкость за утреннюю гневную вспышку свою.

— Владимир Дмитриевич, у вас вид ученика, которого поставили в угол. Не надо, батенька. Садитесь и рассказывайте, что сделано комиссией.

Бонч-Бруевич начал рассказывать о результатах следствия.

— Соболезнование семьям покойных выразили? Сказали, что виновные будут наказаны по всей строгости революционного закона? Проследите за похоронами. Кадеты и эсеры могут использовать похороны для демонстрации против Советской власти. Вы говорите: арестованы подозрительные матросы? На чем основываются подозрения? Обязательно очная ставка с персоналом больницы! За самосуд — суровое наказание! Но чтобы никто не пострадал невинно. Передайте Штейнбергу, что он несет персональную ответственность за ведение следствия. Матросам гвардейского экипажа, об анархических настроениях которых вы только что мне рассказали, передайте от имени правительства, что они отвечают за жизнь арестованных офицеров и за самосуд понесут суровую

кару. И вообще пошлите в экипаж надежных большевиков. Отделите здоровую часть матросов от анархистов. Анархистов разоружите.

Получив указания по различным вопросам, не только в отношении анархистов, хотя убийство Шингарева и Кокошкина, видно было, все еще сильно волновало Владимира Ильича, Бонч-Бруевич на прощание спросил:

— А не пора ли вам отдохнуть, Владимир Ильич? Полночь.

— Я еще должен принять Гримлунда.

— Владимир Ильич, я вынужден буду поставить на Совнаркоме вопрос о режиме работы Председателя.

Ленин нахмурился, но тут же улыбнулся.

— Товарищ Бонч-Бруевич! Не становитесь бюрократом! Отдыхать, батенька, будем, когда укрепим Советскую власть.

— А меня вы отослали в «Халилу».

Ленин засмеялся.

— Вы невозможный человек, Владимир Дмитриевич.

3

«Левые» чувствовали себя победителями. После окончания совещания лидеры «левых» не расходились. Они столпились в переднем углу зала, у стола президиума, вокруг Бухарина и шумно, со смехом, шутками продолжали разговор. Правда, в присутствии Ленина они не высказывали прямо довольства результатами голосования, но радость чувствовалась во всем: в том, как они говорили, как смеялись, каким Наполеоном выглядел Николай Иванович Бухарин. Он стоял в центре группы, довольно кругленький для своих тридцати лет и голодного времени, раскрасневшийся от

возбуждения — от удовлетворения, наверное, своей пламенной, глубокой, как он считал, речью, которая, безусловно, сплотила сторонников революционной войны и дала им победу над самим Лениным. Тридцать два человека проголосовали за него, Бухарина, и только пятнадцать — за позицию Ленина. Шестнадцать голосов собрал Троцкий. Но Троцкий, его теория ближе, значительно ближе им, «левым», с Троцким можно объединиться и в ЦК, и на конференции, созыва которой они будут требовать, поскольку не удалось превратить в конференцию это совещание с делегатами Третьего съезда Советов и руководителями крупных партийных организаций.

Ленин тоже задержался в зале, в другом конце, у двери. Задержали его не столько единомышленники, сколько те «левые», которым, возможно, стало стыдно за бестактно-шумную реакцию Бухарина, Урицкого, Ломова, Осинского, Косиора... Конечно, ленинцам тоже хотелось поддержать, подбодрить вождя партии. Первым по-рабочему просто и искренне сделал это Федор Андреевич Артем:

— Не переживайте, Владимир Ильич. Этим наша борьба за мир не кончается.

Ленин в проходе между раздвинутыми в беспорядке венскими стульями благодарно сжал локоть своего верного единомышленника, сказал тихо:

— Товарищ Артем, я огорчаюсь не за себя. За них. Чему они радуются? Возможности похоронить Советскую власть?

Такого не скажешь громко, во весь голос, тем более официально, с трибуны. Есть чувство ответственности за свои слова. И такт. А главное — в пылу любой, самой острой полемики нельзя сказать такого, что дало бы этим молодым и горячим головам повод для раскола. Нельзя забывать, что люди они разные и не ахти какие теоретики. У всей группы «левых» есть одно хорошее качество — их молодость. А молодость иногда страдает ультрареволюционностью.

Владимир Ильич был благодарен Артему, другим товарищам и за поддержку с трибуны, и за дружеское участие. Однако он вовсе не чувствовал себя побежденным. Наоборот. Он радовался, ощущая в себе прежнюю боевитость — ту, которой всегда отличался в эмиграции. Правда, теперешнее положение вынуждало к большей дипломатии. Тезисами он уже начал новый этап пропаганды в партии за подписание мира. А результаты голосования на этом частном совещании ровно ничего не значат, ни для кого не являются обязательными. Лично для него они только осветили настроение некоторых руководителей Московской и Петроградской организаций. Того же Бубнова, Косиора, Вронского.

Задержал его на выходе, между прочим, Бубнов. Возможно, хотел как-то оправдаться.

— Владимир Ильич! Я стою на старой позиции Ленина! — воскликнул Андрей Сергеевич.

— В том и беда, что вы остаетесь на старой тактической позиции и упорно не желаете видеть, что возникла новая объективная ситуация. Повторяя старые лозунги, вы не учитываете даже, что мы, большевики, теперь вынуждены стать оборонцами. Произошла коренная перемена — создана республика рабочих и крестьян. Республика Советов.

Дзержинский всегда был верным ленинцем и ненавидел оппозиционеров. Однако сейчас переживал нелепость создавшегося положения, ибо искренне был убежден, что революция должна развиваться именно путем революционной войны победившего в России пролетариата против империализма, в данном случае немецкого. Кроме того, ему больше, чем кому-либо другому, было больно, что тот мир, который призывает подписать Ленин, отдает немецким империалистам на разграбление Польшу, Белоруссию, Литву.

Дзержинский не выступал на совещании. Многие из ленинских тезисов о мире произвели на него сильное впечатление. Но с последним тезисом, Лениным не

зачитанным, а разъясненным устно, он никак не мог согласиться.

— Владимир Ильич, я готов многое принять. Но одного не понимаю. Как мы можем так легко отдать Польшу, Литву?

— Мы отдаем нелегко. С болью. И временно.

— Но вы сказали, что теперь мы объективно воевали бы за освобождение Польши...

— Я это сказал. И повторяю: положение таково, что само существование социалистической республики находится под угрозой. У нас выбор: либо поступиться правом на самоопределение нескольких наций, либо похоронить республику. Безусловно, интересы сохранения социалистической республики стоят выше. Вот почему лозунг революционной войны в данный момент — или пустая фраза, или — что особенно опасно — невольное заманивание в ловушку, расставленную империалистами, чтобы схватить нас за горло и задушить.

Неподалеку от Ленина стоял и Троцкий. Он не радовался ни победе «левых», ни своей победе. Троцкий, возможно, единственный из всех оппонентов Ленина понял, насколько это серьезный документ — ленинские тезисы о мире. Бухарин сорок минут трубил экспромтом о революционной войне. Сам он, Троцкий, тоже привычно попрактиковался в краснобайстве. Пленил слушателей логикой своих доказательств. Но слушателей было менее семи десятков. Что из его доказательств они запомнили? Ленин же написал основательную теоретическую работу, которую прочитает, будет изучать вся партия. Когда только успел при его занятости? Лев Давидович упрекнул себя — в Бресте он совсем мало написал, хотя политическая комиссия заседала всего час-два, да и то не каждый день.

Троцкий размышлял, каким образом нейтрализовать действие ленинских тезисов. Он любил метод

доказательства от противного. В политике это ход «с пятой стороны». Подбить Ленина быстрее опубликовать тезисы. Вот что нужно! Тогда такое воронье, как Бухарин, Осинский, Радек, «расклюет» их по зернышку, оспорит каждое положение. Они запутают, затемнят простые и ясные мысли настолько, что обычному рядовому члену-партии, рабочему, из марксистской теории освоившему разве что лозунг революции, а тем более неграмотному крестьянину, будет невозможно разобраться, кто же больший революционер — Ленин или Бухарин. А в результате большинство может поддержать его, Троцкого, позицию. О, как ему хотелось, чтобы хоть одно стратегическое направление революции было определено его теорией! Пока что на всех этапах, от февраля до октября, и потом, в период своего триумфального шествия, революция развивалась по ленинской теории, по ленинскому плану. А ему, Троцкому, считавшему себя… ну, если не первым, то уж, во всяком случае, вторым теоретиком партии, отводилась роль практика, исполнителя. Он должен своей рукой подписать мир, необходимость которого так горячо и — нельзя не согласиться — обоснованно доказывает Ленин.

Дзержинский слушал Ленина не перебивая, было видно, как ему хочется понять логику ленинских доказательств. Практик, реалист, председатель ВЧК не мог не согласиться, что с теми вооруженными силами, какими располагает республика (их, по существу, нет), никакой войны вести нельзя, это действительно абсурдно.

— Товарищ Дзержинский, поезжайте на фронт… например, на Минский участок… к себе на родину… и посмотрите на армию — что от нее осталось. Думаю, вы не станете, как Осинский, кричать, что я хочу сослать вас на фронт?

— Что вы, Владимир Ильич! Я принимаю вашу аргументацию. Я хочу понять другое. Деликатности Дзержинского у Троцкого не было: любого собеседника он мог прервать на полуслове и заглушить своим

красноречием. Так он и сделал.

— Феликс! — К своим коллегам по Совнаркому, за исключением Ленина и некоторых стариков, вроде Скворцова-Степанова, Троцкий обращался фамильярно, панибратски, иногда завоевывая этим некоторую симпатию тех, кто клевал на такую дешевую приманку. — Не мучай Владимира Ильича. Завтра работа Ленина появится в «Правде». Мы изучим ее, и тогда разговор будет более предметным. На заседании ЦК, например.

Ленин не сразу ответил Троцкому. Это насторожило Льва Давидовича, и он настойчиво посоветовал:

— Тезисы обязательно надо опубликовать!

— Завтра? — Ленин, прищурившись, всмотрелся в Троцкого. — И вы считаете, это поможет вам в переговорах с немцами?

Троцкий почувствовал, что Ленин загоняет его в угол.

— Мы не делаем тайны из нашей политики.

— Мы превратились бы в наивных простаков, если бы открывали все свои тайны. — Ленин задумался. — Нет. Тезисы не будем публиковать. По крайней мере, до предъявления немцами официального ультиматума. Мы познакомим с тезисами делегатов съезда Советов. Разошлем партийным организациям.

Троцкого передернуло. О, этого лобастого нелегко сбить с толку! У него все продумано. И стратегия, и тактика. Опубликованные сразу, тезисы стали бы обычной статьей, каких сейчас по вопросам войны и мира появляется немало во всех газетах — большевистских, эсеровских, меньшевистских, и их действительно открыто клевали бы оппоненты. Совсем другое дело, когда они пройдут как документ ЦК, Совнаркома — официальный документ партии, правительства. Возможность дискуссии останется, да. Но это будет дискуссия совсем иного характера. В этой ситуации и Бухарину, и ему, Троцкому, придется менять

тактику и немало затратить энергии, чтобы опровергнуть ленинские взгляды. Необходимо помешать тому, чтобы тезисы стали общепартийным документом. Добиться решения ЦК об их публикации. Ленин, который строго держится партийной дисциплины, подчинится решению ЦК.

4

Через три дня, на заседании Центрального Комитета двадцать четвертого января, бухаринцы уже не чувствовали себя победителями. Не держались особняком, не шумели, не смеялись. Не группировались вокруг своего лидера. Наоборот, больше обращались к Свердлову, оказавшемуся в центре внимания в связи со съездом Советов, который открылся накануне.

Спокойную, деловую естественность взаимоотношений можно было объяснить тем, что почти все члены ЦК вчера виделись на съезде и теперь, перед заседанием, как бы продолжают ранее начатые беседы, не разбиваясь при этом на группы в зависимости от того, какую кто занимает позицию по вопросу о мире, хотя вопрос этот должен быть главным сегодня, из-за него и собралось чрезвычайное заседание. Троцкий одним из первых почувствовал перемену в настроении «левых». Они будто перессорились между собой. Нет, ссоры, конечно, не было, иначе Моисей Соломонович Урицкий информировал бы его о происшедшем. Просто Бухарин и его сторонники растерялись. Ленинские тезисы, над которыми они не могли не думать — не пустые головы! — которые не могли не изучать три дня, и овация, устроенная делегатами съезда — рабочими и солдатами — в ответ на предложение Свердлова выбрать Ленина почетным председателем съезда, — безусловно, произвели на всех этих людей впечатление. Даже он, Троцкий, при его скептическом отношении к умам и авторитетам всех иных, кроме себя самого, не мог остаться равнодушным. У него шевельнулось и доброе чувство гордости: и он рядом с Лениным, часть аплодисментов адресована и ему, и недоброе чувство — зависть. Кстати, он не глушил этого чувства, давал ему

волю, оно определенным образом проясняло его очень сложные отношения к тому, за кем идет партия.

Растерянность «левых», замеченная им, вызвала чувство презрения к Бухарину и его группе. Его сильно беспокоило, куда кто из них может повернуть. От этого будут зависеть результаты голосования. В конце концов, главное — не дать Ленину набрать большинство голосов. Определенную работу Троцкому удалось провести. Но не хватало времени — дни были заполнены бесконечными заседаниями, ее было даже возможности пригласить надежных людей на чашку чаю. Однако еще на съезде Советов он договорился, чтобы председательствовать сегодня поручили ему — заседания ЦК в отличие от заседаний Совнаркома, где неизменно председательствовал Ленин, вели по очереди члены Политбюро.

Собрались в классной комнате Смольного, где постоянно с небольшим аппаратом работала Стасова, секретарь ЦК. В комнате стояло несколько столов, за ними и расселись члены и кандидаты в члены ЦК, выбранного Шестым съездом, — шестнадцать человек. Из членов ЦК отсутствовали Берзинь и Смилга. «Левые» поставили вопрос о приглашении Косиора, им нужен был доклад о позиции Петроградского комитета, выступавшего против мирного договора.

Стенографисток не было, никто тогда не думал, как через много лет и десятилетий историкам будет не хватать такой стенограммы. Хорошо, что неутомимая труженица Елена Дмитриевна Стасова неизменно с августа 1917 года записывала в свою заветную тетрадку ход всех заседаний Центрального Комитета, на которых присутствовала. Делала она это лучше технических секретарей, более точно и грамотно.

Старейшая революционерка с копной седых, но все еще красивых волос, в круглых очках с серебряной, под цвет седины, оправой, сидела за отдельным столом. Близко к ней не садились: она не любила курильщиков.

Стасова тоже попала под влияние «левых», она

искренне боялась, что без революции на Западе русская революция погибнет. Но она чаще многих мужчин встречалась с питерскими работницами и знала, как им хочется мира, как многие из них ждут с фронта мужей и братьев. Поэтому заседание, на котором решалась судьба мира, ее волновало особенно, по-женски. Она подготовила не только ручку и чернила, но и заостренные карандаши, чтобы записать без «провалов».

Ленин сел около ее стола. Его тоже донимали курцы. Один Сталин своей трубкой мог задымить целый зал.

Быстро решив вопросы о допущении Косиора и о рекомендациях на руководящие профсоюзные посты в связи со съездом профессиональных союзов, перешли к третьему пункту, самому короткому по формулировке: О мире.

«Первым берет слово товарищ Ленин», — записала Стасова.

Ленин. Товарищи, на совещании двадцать первого наметились три точки зрения. Представители позиций высказали свои доводы. Но документ есть один — мои тезисы о неотложном заключении сепаратного и аннексионистского мира. Как поступим сегодня? Обсудим тезисы по пунктам? Или снова будем начинать общую дискуссию.

Троцкий. Я — за общую дискуссию.

Урицкий. Я поддерживаю Троцкого.

Свердлов. Снова, значит, будем агитировать друг друга за мир или за войну?

Ломов. За революционную войну, товарищ Свердлов!

Ленин. Голосуйте, Лев Давидович… Так. Большинство за дискуссию. В таком случае позвольте начать. Позиции каждой группы известны. Сепаратный аннексионистский мир. Революционная война. И третья… третья… Объявить войну прекращенной,

демобилизовать армию, но мира не подписывать. (Ленин не удержался — хмыкнул.) Гениально!

Бухарин. Владимир Ильич, можно без иронии?

Ленин (очень серьезно). Давайте без иронии. Какая может быть ирония, когда решается вопрос о жизни и смерти социалистической республики?

Коллонтай. Зачем так драматизировать?

Ленин. Мы начали дискуссию. Я обещаю очень внимательно выслушать каждого из вас.

Троцкий. Прошу внимания.

Ленин. Товарищи! Я не буду повторять свои тезисы, у вас есть их текст. Сразу вступаю в полемику со своими оппонентами. Первое теоретическое положение, в котором товарищи путают. Подчеркиваю. Большевики никогда не отказывались от защиты отечества. Но мы должны учитывать определенную, конкретную обстановку, которая в настоящее время налицо, а именно: речь идет о защите социалистической республики от необыкновенно сильного международного империализма. Вопрос только в том, как в данный момент, в данной обстановке защищать отечество — социалистическую республику. Защищать можно по-разному, товарищи. Конечно, наступление — лучшая защита. Но при теперешнем состоянии русской армии мы не можем наступать... А они будут наступать! Положение немцев на островах Балтийского моря настолько хорошо, что при наступлении они смогут взять Ревель и Петроград голыми руками. Продолжая в таких условиях войну, мы необыкновенно усилим германский империализм. Мир придется все равно заключать, но тогда он будет еще худшим, так как его будем заключать не мы, нас сметут объединенные силы контрреволюции... Да и просто солдаты, которые побегут с фронта. Мы опираемся не только на пролетариат, но и на беднейшее крестьянство, которое отойдет от нас в случае продолжения войны. Армия распадется окончательно. А новой армии мы еще не

создали. С какими силами мы будем воевать? Перед нами хищник, вооруженный до зубов. Империалистический хищник, он только и ждет удобного момента, чтобы задушить русскую революцию, от триумфального шествия которой у молодых друзей, называющих себя «левыми» (я очутился в «правых»!), закружились головы. Они стали забывать, благодаря чему мы после Октября имели несколько месяцев наивысшего триумфа. Наша революция — пусть это звучит парадоксально — произошла в счастливый момент, когда на четвертом году войны страны, воюющие между собой, обессиленные, зашли в тупик. Империалистические хищники пока что не могут объединиться против нас. Это мы должны использовать, а не прикрываться революционной фразой, не считать, что и с международным империализмом расправимся так же легко, как с Керенским или Корниловым. Нет, товарищи, так не будет. Мы знаем, как английские, французские империалисты заинтересованы в продолжении войны. Они готовы платить по сто рублей за каждого русского солдата, который остался бы в окопах. Но солдат не остается. Солдат не может остаться. Армия разваливается. А новой армии, повторяю, у нас еще нет. Товарищи, стоящие на позиции «революционной войны», доказывают, что мы будем находиться в состоянии гражданской войны с германским империализмом и тем самым разбудим революцию в Германии. Но это наивно, это похоже на детское рассуждение: «Я могу делать любую глупость — Карл Либкнехт меня выручит». Товарищи! Германия только беременна революцией. А у нас родился прекрасный здоровый ребенок — социалистическая республика. И мы его можем загубить, по существу, задушить собственными руками, начав революционную войну. Нет, товарищи, без создания новой армии — революционной армии — никакой революционной войны мы вести не можем. Не можем мы вести ее и без укрепления Советской власти, без проведения социальных реформ, без налаживания работы железных дорог… Без хлеба. Без металла. А чтобы иметь все это — нужно время. Необходима передышка!

То, что предлагает товарищ Троцкий — прекращение войны, отказ от подписания мира и демобилизация армии, — это интернациональная политическая демонстрация, не больше. Односторонним приказом воткнуть штык в землю войну прекратить нельзя! Троцкий доказывает, что немец не может наступать. А я спрашиваю: «А если он начнет наступать?» Можем мы рисковать? Можем мы ставить на карту судьбу русской революции? Мы, люди, стоящие на защите социалистической отчизны? Еще раз повторяю: если немцы начнут наступать, то мы будем вынуждены подписать любой мир и тогда, безусловно, он будет худшим. Для спасения социалистической республики три миллиарда контрибуции не слишком дорогая цена!

Бухарин. Дорогая цена — не сама контрибуция, дорогая цена — унижение революционеров перед империалистами.

Ленин (горячо). Революционер, который не желает, если борьба того требует, ползти на животе по грязи, — не революционер, а болтун. Не потому я предлагаю так идти, что это мне нравится, а потому что другой дороги нет.

Бухарин (выслушал Ленина вежливо, со снисходительной улыбкой). Дорога есть, товарищи. Я внимательно слушал тезисы Ленина на совещании, еще с большим вниманием прочитал их. Я высоко ценю ленинскую логику. Но тут я усматриваю существенные противоречия. Товарищ Ленин говорит, что мы стоим на позициях защиты отечества. Да. Но защита отечества предполагает революционную войну, это раньше доказывал и сам Ленин. Теперь же, по его логике, выходит, что такой войной мы поможем ее международному пролетариату, а империалистам. Другая ошибка Владимира Ильича: он хочет спасти Российскую Советскую Республику без революции на Западе.

Ленин. Вы гарантируете революцию в Германии? А если ее не будет? Что тогда? Отдавать нашу революцию на съедение империалистам? Ради чего мы брали

власть?

Бухарин. Ради всемирной революции. Российскую Социалистическую Республику необходимо рассматривать с точки зрения интернационализма, в плане общего фронта борьбы классов. Мы пошли первые и победили, в других странах отряды стоят на одном месте, а в третьих, как в Германии, Австро-Венгрии, они только пришли в движение. Подписав мир с кайзером, мы остановим это движение, мы сорвем борьбу. Немецкие социал-демократы заинтересованы в том, чтобы мы не подписывали договора. Рабочие Вены вышли на улицу с лозунгами, на которых, написано требование демократического мира. А товарищ Ленин предлагает подписать аннексионистский мир и выплатить немцам контрибуцию. Сможет это поднять пролетарское движение в Германии? Нет, товарищи! Сохраняя свою социалистическую республику, мы теряем шансы на международную революцию. Пусть немцы нас побьют, пусть продвинутся на сто верст. Для нас важно, как это отразится на международном движении…

Ленин. А если они возьмут Петроград, Москву?

Бухарин. Это еще больше взбудоражит западноевропейские массы.

Ленин (хмыкает). И ради этого мы готовы задушить собственное дитя. Здоровое дитя.

Бухарин. Я готов отступить, Владимир Ильич. Я готов согласиться, что начинать революционную войну при теперешнем состоянии армии мы не можем. Поэтому я считаю, что в данной ситуации позиция Троцкого самая правильная.

Такой неожиданный поворот лидера «левых» удивил Ленина и даже некоторых единомышленников Бухарина. Но Ленин не выдал своего удивления, наоборот, склонил голову, прикрыл левой рукой рот, бородку, начал размашисто, казалось, не кириллицей — иероглифами записывать в блокнот мысли Бухарина

или свои собственные в связи с его «поворотом».

Бухарин. Напрасно товарищ Ленин… мне показалось, даже с иронией… выступал против политической демонстрации. Отказ от войны, братание являются сильным элементом разложения армии. Корнилова мы одолели разложением его армии, именно политической демонстрацией. Тот же метод мы применим и к немецкой армии…

Урицкий. Товарищ Ленин совершает ту же ошибку, что и в пятнадцатом году, когда он доказывал возможность победы революции в России без революции на Западе. Это национальная ограниченность — смотреть с точки зрения России, а не международной. Конечно, я согласен, мы не можем вести революционной войны. Начав ее, мы потеряем армию — солдаты-крестьяне тут же разбегутся. Но, подписав мир, мы потеряем пролетариат, который не примирится с таким миром, посчитает его отходом от нашей линии, изменой мировой революции. Отказываясь от подписания мира, проводя демобилизацию армии, мы, безусловно, открываем дорогу немцам. Но тогда — без сомнения — у народа проснется инстинкт самосохранения и народ… сам народ начнет революционную войну. Что же касается политической демонстрации, то вся политика Народного Комиссариата иностранных дел была не чем иным, как политической демонстрацией…

У Троцкого участился пульс и раскраснелись щеки. Он понимал, что тезисы Ленина разоружили «левых», укротили их воинственность, а работа, проведенная им, Троцким, за эти дни (полезно быть в Петрограде), приблизила к нему даже самого Бухарина, потому что иной позиции у того, после признания невозможности революционной войны, нет. Его же, Троцкого, формула дает простор для любых, самых левых и самых правых, теорий. Поэтому «левые» вступили под его знамя. Создается, по существу, блок, новый блок… против Ленина.

Есть от чего частить сердцу. Но ни в коем случае нельзя показывать, что это против Ленина. Некоторые,

как Урицкий, излишне раскрывают карты. Пока что совсем ни к чему утверждения, что внешнюю политику Советского правительства направляет он, Троцкий.

Троцкий сначала намеревался всех выслушать тихо, без своих саркастических замечаний, чтобы потом «подвести итог» и этим поднять свой авторитет. Но после поворота «левых» поспешил выступить.

Он долго и углубленно теоретизировал об отношении революционной войны к мировому интернациональному союзу пролетариата, о соотношении сил русской революции и пролетарского движения на Западе. Косвенно опровергал ленинский тезис о «счастливой конъюнктуре», которая сложилась в результате войны двух групп империалистических хищников и помогла русской революции триумфально шествовать по огромной стране. Потом он так же долго говорил о работе комиссии в Бресте, о том, например, что ему, Троцкому, никак не удается нащупать сущность взаимоотношений Австро-Венгрии и Германии, их противоречий в подходе к миру.

Троцкий. Не могли мы нащупать и того, насколько велики силы сопротивления в самой Германии. Немцы не знают условий мира. Цензура фальсифицирует переговоры. А вопрос в данный момент заключается в соотношении сил. Независимо от того, будем ли мы активно воевать или выйдем из войны — мы все равно будем участвовать в войне. Поэтому мы должны взвесить, что нам наиболее выгодно сегодня. Превратить все наши силы в силы военные — это утопия. Поэтому революционная война нереальна. Все мы, и товарищ Ленин в том числе, согласились, что старую армию нужно распустить. Но распустить армию — не значит подписать мир…

Свердлов. Это значит — подписать приговор Советской Республике.

Коллонтай. Немец не способен наступать.

Свердлов (вздохнув). Все мы стратеги. Но не помешало

бы спросить об этом у Гинденбурга — будет или не будет немец наступать.

Ломов. Меня удивляют подобные шутки. Решается судьба мировой революции…

Сергеев (Артем). А может, лучше сначала подумать о судьбе своего родного дитяти?

Урицкий (горячо, лозунгово). Русскую революцию может спасти только революция мировая! Ради нее мы пойдем и на смерть…

Муранов. Мы можем пойти на смерть. А вот крестьянин… да и пролетарий наш, русский… Он не готов еще умирать за мировую революцию… За русскую — другой разговор.

Ломов. Матвей Константинович, это — идеология мешочников. Крестьянство мы должны поднимать до себя, а не опускаться до него.

Ленин. Однако нельзя не учитывать настроения и интересы класса, который мы хотим поднять до себя. Крестьянство неимоверно устало от кровавой войны. Оно хочет возделывать землю, сеять хлеб… Воевать без хлеба нельзя так же, как и без патронов…

Троцкий (как только в разговор вступил Ленин, тут же вспомнил о своих председательских обязанностях). Товарищи, продолжим общую дискуссию… Неподписание мира, политическая демонстрация, как называет товарищ Ленин, поднимет движение в Германии, и это, Яков Михайлович, сдержит Гинденбурга и Гофмана от наступления. Правильно сказал товарищ Урицкий. Сколько бы мы ни мудрили, какую бы тактику ни изобретали, спасти нас может только европейская революция.

Сталин. Позиция Троцкого — не позиция. Я не назвал бы ее и политической демонстрацией. Более правильно назвать ее политической демагогией.

Стасова (изумленная, отрывается от своей тетради).

Товарищ Коба!

Троцкий (с иронией). Товарищ Сталин — открытый человек, это делает ему честь.

Сталин (не отвечает на слова Стасовой и Троцкого). Давайте посмотрим правде в глаза и не будем напускать туману. Революционного движения на Западе нет, мы не знаем конкретных фактов. Есть потенция, а с потенцией мы не можем считаться, решая судьбу своей революции. Когда немцы начнут наступать, у нас поднимет голову контрреволюция, она создаст внутренний фронт. А Германия может наступать и будет наступать, у нее хватает сил, у нее есть свои корниловские войска — гвардия, которую кайзер пока держит в резерве. В октябре мы говорили о священной войне… о революционной войне, потому что верили: одно слово «мир» поднимет революцию на Западе. Но Запад может взбудоражить не революционная война, не лозунг Троцкого «ни мира, ни войны», а закрепление нашей революции, проведение нами социалистических реформ. А для этого нужно время, нужна передышка, о которой говорит товарищ Ленин. В этом наше спасение, а не в политике, которую предлагают Бухарин и Троцкий.

Сталин не впервые ошеломлял партийных интеллигентов, таких, как Стасова, грубой категоричностью своих высказываний. Отвечать ему не всегда отваживался даже задиристый Бухарин. А Троцкий презрительно игнорировал «бурсака-грузина».

Сталина поправил Ленин в другом своем выступлении, указав на ошибочность утверждения, будто революционного движения на Западе нет, есть только потенция. Поправил Ленин и Зиновьева, который был за мир, но в то же время утверждал, что «мы стоим перед тяжелой хирургической операцией, потому что миром мы усилим шовинизм в Германии и на некоторое время ослабим движение на Западе. А дальше виднеется другая перспектива — это гибель социалистической республики».

«Левые» сползли на позицию Троцкого. Только Бухарин пытался по-своему развить тезис «ни мира, ни войны», предложив лозунг «окопного мира», который, мол, «подпишут» сами солдаты.

Троцкий чувствовал себя победителем. Успокоенный и довольный, он думал о том, как быстрее закончить эти в общем-то уже бесплодные споры: перед отъездом в Брест у него много самых различных дел — в наркомате и дома. Но нужно сформулировать вопрос так, чтобы голосование подтвердило его позицию и в то же время вынудило Ленина поставить на голосование «необходимость подписания аннексионистского мира».

Троцкий не сомневался, что за Ленина проголосует меньшинство. Троцкому очень хотелось, чтобы и тут, в ЦК, как и на совещании, Ленин очутился в меньшинстве.

Троцкий ставит вопрос: будем ли мы призывать к революционной войне?

«За» проголосовали двое, «против» одиннадцать.

Сильно подействовали ленинские тезисы!

«Левые» чувствовали себя так, будто плюхнулись в лужу. Не смотрели друг на друга.

Бухарин шумно убирал со стола свои бумаги.

Деликатно молчали ленинцы: радоваться не было повода, дискуссия показала, что до победы еще далеко.

Троцкий снова почувствовал сердцебиение; какой же ход сделает Ленин? Почему он молчит? Не в его это характере!

Ленин обдумывал и далекую стратегию, и ближнюю тактику. Ни члены ЦК, ни крупные организации — Петроградская, Московская — не готовы принять аннексионистский мир. Людей нужно переубедить, преодолеть сопротивление в ЦК и добиться перелома в настроениях той части масс, что идет за

пропагандистами революционной войны, а для этого нужно некоторое время.

Ленин сказал:

— Предлагаю поставить на голосование: мы всячески затягиваем подписание мира.

За его предложение проголосовало двенадцать человек.

Троцкий почувствовал разочарование. Чтобы нейтрализовать даже эту победу Ленина, он пошел в открытый бой:

— В таком случае я предлагаю поставить на голосование следующую формулу: войну мы прекращаем, мира не заключаем, армию демобилизуем.

За его предложение проголосовало девять человек, против — семь.

Итоги голосования развязали Троцкому руки. Но — странно — победителем он себя чувствовал в меньшей степени, чем во время дискуссии, когда «левые» повернули в его сторону.

А через несколько часов в Таврическом дворце его настроение еще больше упало.

Ленин приехал на второе заседание съезда с опозданием. Он появился в президиуме, когда Свердлов читал «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа».

Владимир Ильич хотел пройти незаметно, сесть с краю. Но зал, тысяча человек, поднялся в едином порыве и устроил такую овацию, что, казалось, закачались хрустальные люстры.

«Ура товарищу Ленину!»

Волна энтузиазма подняла даже эсеров, и они вынуждены были приветствовать вождя революции.

Овация в тот вечер возникала еще дважды: когда Свердлов дал слово Ленину для доклада о деятельности Совнаркома и по окончании доклада.

На следующий день Троцкий снова чувствовал себя победителем; на объединением заседании центральных комитетов большевиков и левых эсеров не только «левые коммунисты», но и эсеры поддержали его позицию.

Однако в день отъезда в Брест Троцкий был раздражен, разозлен на своих приверженцев за бездеятельность, которая, по его мнению, выявилась в их слабом влиянии на делегатов съезда. На съезд влиял Свердлов, большинство делегатов шло за ним. Троцкий кипел гневом. Сколько он затратил энергии, чтобы затемнить вопрос о мире! А резолюция по предложению Свердлова была принята короткая и ясная: съезд одобряет политику Совнаркома (читай — Ленина) по вопросу о мире и предоставляет ему в этом вопросе самые широкие полномочия. Совнаркому! Значит, снова-таки Ленину, потому что в правительстве у него чуть ли не единодушная поддержка, если не считать его, Троцкого, и левого эсера Штейеберга. Даже Калягаев не выступил решительно против мира.

Выходит, что не голосование в ЦК развязало руки ему, Троцкому, а резолюция съезда рабочих и солдатских депутатов (в конце к этому съезду присоединился съезд крестьянских депутатов) передала Ленину очень широкие полномочия в решении вопроса о мире.

В тот же день Ленин пригласил к себе Троцкого и Каменева, чтобы дать инструкции перед их отъездом в Брест.

Владимир Ильич не мог простить Каменеву две его тяжкие измены в самые ответственные моменты революции и с ноября не имел с ним никаких контактов. Но в тот день настроен он был доброжелательно даже по отношению к Каменеву. Беседовал с обоими дружески, искренне и доверительно. Еще и еще раз, расширяя и углубляя

логику своих доказательств, разъяснял, что альтернативы миру нет, нужно понять: мира требует народ, все многомиллионное крестьянство огромной страны, да и рабочий класс устал от войны не меньше.

— Все красивые призывы к революционной войне — это чистейшее фразерство. Не можем мы воевать, Лев Давидович! Вы прекрасно это понимаете.

— Да, воевать мы не можем, — согласился Троцкий. В полемику с Лениным на сей раз он не вступал, своей позиции не отстаивал. А Каменев, тот вообще больше молчал, хотя отнюдь не был молчуном. Но тут он явно подчеркивал свое положение подчиненного и, возможно, обиженного.

Троцкий не молчал, но тоже показывал, что хорошо понимает: в этом кабинете не место для политической дискуссии, у председателя правительства есть полное право давать указания наркому, руководителю делегации, членам этой делегации. Но ему было бы проще, если бы Ленин делал это официально и категорично. А его доверительность как бы расслабляла. Во всяком случае, в какой-то момент Лев Давидович ощутил странно обезоруживающую расслабленность, потому насторожился, повысил бдительность. О, с Лениным нужно держать ухо востро! — Он не забывает ни одного слова. Любое неосторожно данное обещание, любую промашку Ленин потом очень умело использует, повернет против него, Троцкого.

— Немцы не добираются до ваших портфелей? Троцкий не понял или сделал вид, что не понял, о чем речь.

— В каком смысле?

— Не проверяют, что в них? Не шпионят?

— Шпионят, безусловно. Но до проверки портфелей не дошло.

— Немцы умеют это делать деликатно, воруют культурно. — Ленин засмеялся, что-то вспомнив. —

Возьмите экземпляр моих тезисов, познакомьте членов делегации. Скажите Радеку, что члену делегации не позволено печатать статьи в немецкой газете, пусть и социал-демократической, о его особой позиции. У делегации позиция должна быть одна, выработанная ЦИК и Совнаркомом. Радек сполз далеко влево. То, что он пишет, — авантюра. Передайте ему мое принципиальное несогласие со всеми его положениями. Хотя лучше я сам напишу ему.

Ленин вырвал из блокнота листок, обмакнул перо в чернила, не так быстро, как обычно, стал писать:

«Дорогой Радек! Троцкий или Каменев сообщат Вам мою точку зрения. Я с Вами принципиально в корне не согласен: Вы попадаете в ловушку, которую империалисты обеих групп ставят Республике Советов.

С наилучшим приветом

Ваш Ленин».

Владимир Ильич написал по-немецки не без таимой мысли: пусть сообразит, что не ему, чужеземцу, воспитанному в Германии, с таким апломбом, с такой категоричностью судить о русских делах, о настроении русского народа и толкать его в новую бойню.

Передал письмо Троцкому.

— Лев Давидович, разъясните Радеку мою позицию более подробно. Передайте всем товарищам привет. И давайте на прощание твердо договоримся. Мы можем спорить у себя дома, можем отстаивать разные мнения. Но мы должны делать дело, доверенное нам революцией. Некоторые товарищи забывают, что в эмиграции можно было решать словами… Теперь — нужно решать делами. Важнейшее из дел Республики Советов — выход из войны, мирная передышка. Лев Давидович, Лев Борисович, я прошу вас помнить и исполнять директиву Совнаркома. Мы держимся до ультиматума немцев, после ультиматума мы сдаемся и без оттяжек, безотлагательно подписываем мир.

Непомерно самолюбивый — это было в его натуре от природы и закрепилось определенным воспитанием, внешне будто бы и демократичным, — Лева Бронштейн всегда жаждал лидерства. Он буквально болел, когда его оттесняли на вторые роли, и не прощал этого никому, особенно если конкурент добивался успеха путем интриг, к которым широко прибегали в том мелкобуржуазном окружении, где прошла его молодость. Позже, став «марксистом», Лев Давидович долго не мог примириться, что есть в России более высокие умы, чем его собственный.

Он лидерствовал в отцовском имении. Какое-то время был лидером в Одесском реальном училище Святого Павла. Попытался возглавить «бунт» против деспотизма преподавателей: первым свистнул на уроке. За это его исключили. Однако отцовские деньги вскоре вернули его в училище. Но после этого лидером его уже не признавали. Тогда он плюнул на одноклассников: обыватели! — и начал искать новых друзей. Одесситов, скептически настроенных ко всему на свете, ничем нельзя было удивить — ни гениальностью, ни беспросветной тупостью, ко всему они относились с веселой иронией — как к царю, губернаторам, так и к греческим и еврейским вундеркиндам.

«Ты лучший студент? Ну и что! Ты социалист? Скажите, какая персона! Видали мы не таких социалистов!»

Распрощавшись с мечтой стать великим поэтом. Лева Бронштейн поставил себе целью стать великим революционером.

Были у него качества, привлекавшие молодежь, — смелость в принятии решений, настойчивость в достижении цели, завидная самоуверенность.

Борцом против самодержавия он стал, будучи лишен каких бы то ни было политических взглядов.

В одной своей краткой биографии с присущей ему

иронией Троцкий признался, что, придя агитатором к николаевским рабочим, он понятия не имел о марксизме, даже Коммунистического манифеста не читал.

Позже он азбучно неплохо усвоил марксизм. Во всяком случае, социал-демократы — интеллигенты, особенно эмигранты, признавали его знания, его литературные и ораторские способности. Однако в вопросах строительства партии, выработки ее стратегии и тактики в каждый конкретный исторический момент Троцкий колебался, как маятник, с амплитудой от Ленина до Мартова, от Плеханова до Каутского, от левых до самых правых.

Сгорая от самолюбия, от мании величия, от неутолимой жажды лидерства, Троцкий без конца сколачивал различные группы, группки, блоки. Организовать подобных себе честолюбцев он умел. Но ненадолго. Построенные на шатком теоретическом основании, оторванные от русской почвы, от партийных организаций в России, от борьбы пролетариата, блоки Троцкого так же быстро разваливались, как и создавались. Многие годы Троцкий в союзе с оппортунистами разных мастей вел жестокую, часто довольно грубую по форме борьбу против Ленина, большевистской партии, ее основ. Еще в пятом году Ленин назвал Троцкого пустозвоном: «Если пустозвон Троцкий пишет теперь…»

«Троцкий плетется за меньшевиками, прикрываясь особенно звонкой фразой», — писал Владимир Ильич насчет статьи Троцкого в немецкой газете о внутрипартийной борьбе в России. Это было в 1910 году.

«Рекламируя свою фракцию, Троцкий не стесняется рассказывать немцам, что «партия» распадается, обе фракции распадаются, а он, Троцкий, один все спасает».

«Троцкий группирует всех врагов марксизма, объединяя Потресова и Максимова, ненавидящих «ленинско-

плехановский» (как они любят выражаться) блок».

«Это — авантюра в смысле партийно-политическом».

«С Троцким невозможно спорить по существу, потому что у него нет никаких взглядов».

Троцкий праздновал победу, когда ему удалось создать в августе 1912 года «блок (союз) ликвидаторов, Троцкого, латышей, бундовцев, кавказцев».

Троцкий наконец добрался до лидерства. Ходил триумфатором.

Ленин писал:

«Прославлялась «многочисленность» участников этого блока, прославлялся союз «марксистов разных направлений», прославлялось «единство» и нефракционность; посылались громы против «раскольников», сторонников январской 1912 года конференции».

Против той конференции, которая исключила ликвидаторов и его, Троцкого, из партии.

Не прошло и двух лет, как троцкистский блок затрещал и развалился.

В работе «О нарушении единства, прикрываемом криками о единстве» Ленин с уничтожающим сарказмом выставил напоказ не только русским социал-демократам и рабочим, но и всей мировой социалистической общественности человеческую и политическую сущность Троцкого.

«Троцкий любит звонкие и пустые фразы...»

«Не все то золото, что блестит. Много блеску и шуму в фразах Троцкого, но содержания в них нет».

«Пытаясь теперь убедить рабочих не исполнять решений того «целого», которое признают марксисты-правдисты, Троцкий пытается дезорганизовать

движение и вызвать раскол».

«…Ведь это же целиком приемы Ноздрева или Иудушки Головлева».

В заключительном разделе Ленин коротко и образно дает и биографию движения, и биографию Троцкого: «Старые участники марксистского движения в России хорошо знают фигуру Троцкого, и для них не стоит говорить о ней. Но молодое рабочее поколение не знает ее, и говорить приходится, ибо это — типичная фигура для всех тех пяти заграничных группок, которые фактически также колеблются между ликвидаторами и партией».

«Троцкий был ярым «искровцем», в 1901–1903 годах, и Рязанов назвал его роль на съезде 1903 года ролью «ленинской дубинки». В конце 1903 года Троцкий — ярый меньшевик, т. е. от искровцев перебежавший к «экономистам»; он провозглашает, что «между старой и новой «Искрой» лежит пропасть». В 1904–1905 году он отходит от меньшевиков и занимает колеблющееся положение, то сотрудничая с Мартыновым («экономистом»), то провозглашая несуразно-левую «перманентную революцию». В 1906–1907 году он подходит к большевикам и весной 1907 года заявляет себя солидарным с Розой Люксембург.

В эпоху распада, после долгих «нефракционных» колебаний, он опять идет вправо и в августе 1912 года входит в блок с ликвидаторами. Теперь опять отходит от них, повторяя, однако, по сути дела, их же идейки.

Такие типы характерны, как обломки вчерашних исторических образований и формаций, когда массовое рабочее движение в России еще спало и любой группке «просторно» было изображать из себя течение, группу, фракцию, — одним словом, «державу», толкующую об объединении с другими».

Даже тогда, когда затяжная кровавая война отрезвила многих социал-шовинистов, когда повсеместно нарастало революционное движение, Троцкий

продолжал путать и напускать туману в отношении к войне.

В феврале семнадцатого года Владимир Ильич писал Александре Михайловне Коллонтай: «Насколько было приятно узнать от Вас о победе Н. Ив. и Павлова в «Новом мире»… — настолько же печально известие о блоке Троцкого с правыми для борьбы против Н. Ив. Этакая свинья этот Троцкий — левые фразы и блок с правыми против циммервальдских левых!!»

Троцкий синел от гнева, читая ленинские характеристики. Он ставил себя выше всех, считал самым умным, самым революционным, а его вдруг так раздевают перед мировой социалистической общественностью! А мыслил он только мировыми категориями. Игнорировать ленинскую критику он мог еще в 1903 году. После же революции 1905–1907 годов, после Пражской конференции, Циммервальда Троцкий при всем своем самолюбии, при всем восхищении собственной персоной вынужден был признать, что Ленин — наивысший революционный авторитет. Троцкий хорошо понимал: что бы ни случилось, как бы ни развивалась революция, как бы ни сложилась судьба самого Ленина, теоретические работы его никто и ничто уже не вычеркнет из истории развития марксизма, они будут жить столетия. И так же долго будет жить ленинская оценка его, Троцкого, деятельности.

Лев Давидович кипел. Но, обладая гибким умом, убедившись за много лет, на многих исторических поворотах, что не его, а ленинские прогнозы всегда оправдывались, он решил: не время вести открытую борьбу с Лениным, иначе зачеркнешь сам себя, нужно возвращаться в партию, из которой его исключила Пражская конференция. К такой мысли он пришел весной семнадцатого года по пути из Америки в Россию. Атлантические волны, приятно покачивая, успокаивали, океанский ветер отрезвлял от ликвидаторского похмелья.

Но вернулся в партию Троцкий не сразу — три месяца

торговался.

Апрельская конференция по предложению Ленина принимает резолюцию «Об объединении интернационалистов против мелкобуржуазного оборонческого блока». Это был ленинский стратегический ход: все социал-демократы, противники войны, должны объединиться против буржуазного правительства Львова — Керенского. Таким образом можно изолировать меньшевистско-эсеровских соглашателей, разоблачить их перед рабочими и солдатами.

«Межрайонцы» еще в марте, до возвращения из эмиграции Троцкого, выступили с предложением слить свои организации с большевистскими.

Ленин в мае пошел на конференцию «межрайонцев».

Ленин предложил: «Объединение желательно безотлагательно». И тут же написал условия объединения. А дальше Владимир Ильич записал ход обсуждения:

Троцкий (который взял слово без очереди после меня…):

«С резолюцией я согласен целиком, — но вместе с тем я согласен постольку, поскольку русский большевизм интернационализировался. Большевики разбольшевичились — и я называться большевиком не могу».

Шестой съезд принял четыре тысячи «межрайонцев» в партию.

Троцкого и его единомышленников Урицкого и Иоффе выбрали в ЦК.

Троцкий решил учиться у Ленина. Но учиться по-своему. Во-первых, постараться быть ближе к признанному вождю революции или же всегда держать около него кого-нибудь из «своих людей». Во-вторых, делать так, чтобы у Ленина было возможно больше

трудностей, наблюдать, как он будет преодолевать эти трудности, какие тактические ходы будет вырабатывать, — и на этом учиться «искусству борьбы».

В отсутствие Ленина Троцкий, бесцеремонно отталкивая всех других, старался занять место лидера.

Когда после июльских событий Ленин, сразу поняв обстановку, согласился с решением ЦК о том, что ему и другим товарищам необходимо уйти в подполье, Троцкий остался в Совете. Он не боялся быть застреленным. Ему нечего было бояться. В первый день июльских событий он спас от разгневанной толпы министра Чернова. Министр труда меньшевик Скобелев был его близким другом по эмиграции (у Троцкого в каждой партии были друзья). Наконец, эсеровско-меньшевистские писаки оказались настолько неосведомленными, что зачислили Троцкого в число тех, кого немцы вместе с Лениным «везли в опломбированном вагоне». В случае ареста ему проще простого было доказать, что в дни, когда Ленин ехал из Швейцарии в Россию, он еще гулял по Нью-Йорку.

Но было главное: Троцкий надеялся, оставшись на легальном положении в Петроградском Совете, взять в свои руки руководство партией.

Убедившись, что партией, подготовкой социалистической революции по-прежнему из Разлива руководит Ленин, Троцкий публикует статью, за которую Временное правительство сажает его в «Кресты». Невольно возникает мысль, что Троцкий посадил себя сам. С какой целью? Возможно, ему хотелось украсить свою биографию еще одним арестом: вот, мол, Ленин прячется, а его, Троцкого, бросают в тюрьму. Или очень может быть, что это был ход в духе того, какой он сделал в 1905 году.

При нарастании первой русской революции Троцкий вел активную деятельность в Петроградском Совете, какое-то время был даже его председателем. Но когда в декабре 1905 года сильно потянуло порохом, когда повсюду начали вырастать баррикады, Лев Давидович,

мастер конспирации, вдруг очутился в тюрьме. И в то время, когда царизм душил революцию, когда тысячи рабочих, крестьян, матросов расстреливали без суда и следствия, Троцкий, как он потом напишет в мемуарах, «особых неудобств» в тюрьме не испытывал. Дважды в неделю его посещала молодая жена Наталья Седова. На процессе присутствовали отец и мать, крупные херсонские землевладельцы. Троцкий получил ссылку. Всего-навсего ссылку. Ехал он в сибирские дали с чистым бланком паспорта под подошвой и с золотыми червонцами в каблуке.

В Березове, том самом, где отбывал ссылку Меншиков, Лев Давидович притворяется больным, отстает от партии, которую гнали прямиком за Полярный круг, через три дня нанимает лошадей, кучера и едет семьсот верст через тайгу по Северному Уралу к железной дороге. И царская охранка с ее богатейшим опытом в поимке беглых никак «не могла» догнать его! С первой крупной станции, из Казани или Нижнего, «отважный беглец» дает открытым текстом телеграмму жене в Петербург: «Встречай!» И — где, когда. И снова-таки сыскное отделение глухо и слепо. Седова выезжает навстречу, пересаживается в поезд, в котором едет муж, находит его в вагоне второго класса, вручает ему иностранный паспорт. Через несколько дней Троцкий гуляет по Стокгольму.

Не было ли двухмесячное сидение в «Крестах» чем-то подобным его бегству из Березова?

В меньшевистско-эсеровском совете у Троцкого было немало друзей, поэтому и сидел он в «Крестах» не без комфорта: Седова ежедневно носила ему передачи. Когда другие арестованные решили в знак протеста против того, что им долго не предъявляют обвинения, объявить голодовку, Троцкий высказался против голодовки и сорвал ее.

Заключенный имел хорошие связи с миром. Эсеровские газеты обвинили Каменева в том, что тот был в Киеве агентом охранного отделения. Троцкий предложил ЦК обратиться в Совет, имевший доступ к царским

архивам, чтобы проверить факты. И тут же попросил наиболее авторитетных руководителей Совета Дана, Либера и Гоца возглавить комиссию «по делу Каменева». Комиссия отвергла обвинения как клеветнические.

Ленин был за бойкот Демократического совещания. Каменев за участие в нем. Троцкий, как делал он это часто, занимал позицию «и нашим, и вашим» — двойственно-неопределенную. Но когда большинство ЦК высказалось за участие в Совещании, Троцкий, не спросив согласия Ленина, тут же высказался за появление Ленина на нем, причем подчеркнул: «Вместе с Зиновьевым». Троцкий понимал: если их арестуют, Зиновьеву, как и ему самому, Троцкому (отдохнул в «Крестах» два месяца — и все), ничто не угрожает — Чернов, Дан и Либер выручат. А Ленину?

Теперь известно, что охранка Временного правительства готовила убийство Ленина.

Троцкий был в таких близких отношениях с Каменевым и Зиновьевым, что не мог не знать: свое несогласие с ленинским планом вооруженного восстания, высказанное ими на заседании двадцать третьего и двадцать девятого октября, несогласие с абсолютным большинством ЦК (кроме них двоих) эти штрейкбрехеры и предатели, политические обыватели, напуганные революцией, вынесут в печать и этим выдадут Керенскому план восстания.

Так создалась наитяжелейшая, критическая ситуация для революции, из которой мог вывести партию только стратегический гений Ленина.

Владимир Ильич тут же пишет «Письмо к членам партии большевиков» и «Письмо в Центральный Комитет РСДРП (б)», полные гнева против предателей: «Я говорю прямо, что товарищами их обоих больше не считаю и всеми силами и перед ЦК и перед съездом буду бороться за исключение обоих из партии».

Требует неотложного решения ЦК, дает проект

постановления: «Признав полный состав штрейкбрехерства в выступлении Зиновьева и Каменева в непартийной печати, ЦК исключает обоих из партии».

Троцким была проведена сильная «обработка» членов ЦК, чтобы не принять ленинское требование об исключении штрейкбрехеров из партии. Даже Сталин пошатнулся, видимо, желая в решительный момент не допустить раскола. В приписке «От редакции» под заявлением Зиновьева в газете «Рабочий путь» Сталин написал: «Мы в свою очередь высказываем надежду, что сделанным заявлением т. Зиновьева (а также заявлением Каменева в Совете) вопрос может быть исчерпан. Резкость тона статьи т. Ленина не меняет того, что в основном мы остаемся единомышленниками».

Горячий и надменный Каменев, «оскорбленный» определениями, данными ему и Зиновьеву Лениным, подал заявление о выходе из ЦК.

Однако это был блеф, дешевая демонстрация человека без совести и чести. Никуда штрейкбрехер не ушел, потому что это было невыгодно Троцкому, ослабляло его позиции.

24 октября (6 ноября), когда Ленина не было еще в Смольном, Троцкий, верный своей натуре, своей тактике, сам, никем не уполномоченный, выступает в роли «руководителя восстания». Во всяком случае, ему казалось, что он руководит. В действительности он делал только то, что всегда умел делать, — собирал по телефону информацию и грубо кричал на комиссаров Военно-революционного комитета, которые стояли во главе боевых отрядов, готовые идти в бой.

Как «руководил» Троцкий восстанием, можно представить и по тому, что единственным его помощником в ту ночь, не отходившим от него ни на шаг, был Каменев — тот, который за несколько дней до этого выдал врагу план выступления, совершил предательство, за которое расстреляли бы в любой армии.

Троцкий и Каменев очень активничали в тот день.

Протокол заседания ЦК донес два предложения Каменева.

Первое: сегодня без особого постановления ЦК ни один член ЦК не может выйти из Смольного. Как будто все правильно: ответственный момент! Но одна деталь: Ленина не было еще в Смольном и не многие знали, где Ильич. Не хотел ли «тактик» Каменев, зная дисциплинированность Ленина, подобным постановлением вынудить его добираться в Смольный в то время, когда на улицах еще полно было казаков, юнкеров, шпионов Керенского?

Другое предложение Каменева: в случае разгрома Смольного иметь опорный пункт на «Авроре» и развести мосты, чтобы выйти в залив.

Он думал не о победе — о разгроме, о том, как в случае поражения с наименьшей опасностью, под охраной матросов и орудий крейсера, оставить поле боя, сбежать в Финляндию или Швецию.

Ленинский план восстания осуществился. Революция победила. Ленин в такой решительный момент особенно заботился о единстве партии, поэтому под нажимом группы Троцкого согласился рекомендовать Второму съезду Советов Председателем ЦИК Каменева. Но занимал этот высокий пост штрейкбрехер одну неделю.

В критический момент наступления Керенского на Петроград, юнкерского мятежа в столице и жестоких боев в Москве Викжель (союз железнодорожников) обратился с ультимативным требованием о создании нового правительства с участием всех демократических партий — «от большевиков до народных социалистов включительно». Это значило — меньшевиков, эсеров и т. д. — не только не пошевеливших пальцем, чтобы помочь революции, а, наоборот, помогавших контрреволюции, Керенскому. На четвертый день Октябрьской революции Викжель еще был в силе, под

его контролем были железные дороги и телеграф. По телеграфу он обратился с призывом «Всем, всем, всем!» — и пригрозил, что в случае непринятия его условий будет остановлено движение на всех железных дорогах. Забастовка поставила бы в тяжелое положение пролетариат Москвы, которому необходимо было неотложно помочь революционными частями. Ленин это понимал, как никто.

«Переговоры должны были быть как дипломатическое прикрытие военных действий...» «Нужно прийти на помощь москвичам, и победа наша обеспечена», — сказал Владимир Ильич на заседании ЦК.

Но штрейкбрехеры оставались штрейкбрехерами, предателями, их тянуло на сговор с соглашателями, с буржуазией. Каменев, Зиновьев, Рязанов, Быков, Ногин, Милютин выступили за создание так называемого «однородного социалистического правительства». Создалась новая оппозиция. Меньшевики и эсеры, окрыленные поддержкой Каменева, Зиновьева, других соглашателей, потребовали остановить сопротивление войскам Керенского, создать правительство без Ленина и... Троцкого.

Что касается Троцкого, то это было не что иное, как очередной тактический ход. Сам Троцкий и его друзья делали все, чтобы имя Троцкого всегда стояло рядом с именем Ленина. Таким образом Троцкому создавалась популярность у рабочих и крестьян.

Требование о его выводе из «однородного правительства» было таким же блефом, туманом: Каменев и Зиновьев, безусловно, не без благословения Льва Давидовича, хорошо знали, что если их акция удастся, то в результате их торговли с меньшевиками и эсерами соглашение может быть только одно: премьер — Чернов или Авксентьев, министр иностранных дел — Троцкий, никто иной.

Большинство ЦК проголосовало за резолюцию, написанную Ильичей.

Ленин писал решительно, бескомпромиссно: «Центральный Комитет признает, что сложившаяся оппозиция внутри ЦК целиком отходит от всех основных позиций большевизма и пролетарской классовой борьбы вообще, повторяя глубоко немарксистские словечки о невозможности социалистической революции в России...»

«Центральный Комитет подтверждает, что без измены лозунгу Советской власти нельзя отказаться от чисто большевистского правительства, если большинство II Всероссийского съезда Советов, никого не исключая со съезда, вручило власть этому правительству».

Оппозиция погорела. Каменев и Зиновьев подали заявления о выходе из ЦК.

На должность председателя ВЦИК Ленин предложил Якова Михайловича Свердлова.

Пришлось Троцкому вновь спасать своих верных оруженосцев. Хитрого Зиновьева он уговорил сразу же, тот отозвал свое заявление через несколько дней. Однако его «Письмо к товарищу» — документ, интересный необычайным сочетанием лицемерия, фарисейства, возвышения своей персоны и наглости в отношении ЦК и Ленина.

Позже Каменев, Рыков, Милютин и Ногин тоже пожелали вернуться в ЦК. Но Ленин категорически выступил против: «Мы по своему почину его (письмо четверки) в печать не помещаем, а им отвечаем письменно, что назад их не принимаем».

Штрейкбрехер Каменев остался без работы. Но ненадолго. Троцкий взял его в Наркомат иностранных дел и добился включения в состав мирной делегации. Как не порадеть родному человечку!

Снова идет распределение ролей. В вопросе мира Зиновьев был сторонником Ленина. Но все выступления его на заседаниях ЦК, ЦИК, в прессе отмечены шатанием и путаницей. Что, однако, не помешало

Троцкому позднее поднимать роль Зиновьева. На Седьмом экстренном съезде партии, который ратифицировал с такой трудностью подписанный Брестский мир, Троцкий, оправдываясь, выкручиваясь и обвиняя всех, в том числе даже Ленина, в непоследовательности, несколько раз повторил, что, мол, один только Зиновьев с самого начала и до конца без колебаний был за подписание мира.

6

На одном из заседаний политической комиссии, на котором присутствовали все делегации, Троцкий в своем, как всегда, горячем выступлении грубо пригрозил, что, мол, когда восстанет немецкий пролетариат, он перевешает генералов на телеграфных столбах, как сделали это русские рабочие и солдаты…

И без того полное и красное лицо генерала Гофмана — ему не нужно было перевода, он весьма неплохо владел русским языком — налилось кровью.

Руководитель немецкой делегации стукнул ладонью по столу, прервал Троцкого:

— Я протестую!

Троцкий, которого ничто никогда не смущало, на этот раз смутился.

Притихли молодые и наглые члены делегации Центральной Рады, которые до этого громко переговаривались между собой, демонстрируя нежелание слушать большевистского министра. Ждали скандала. Жаждали скандала.

У Михаила Николаевича Покровского сжалось сердце, он лучше других знал, что дипломаты не говорят на таком языке даже тогда, когда вручают ноты с объявлением войны. Тем более это недопустимо на мирных переговорах.

Об этом же, вздохнув, подумал и военный консультант

советской делегации генерал Самойло. Русский генерал давно и хорошо знал Гофмана, они много лет изучали друг друга заочно и очно, до войны занимали примерно одинаковые посты: Гофман возглавлял русский отдел немецкого генштаба, Самойло — оперативное управление русского генштаба, причем считался лучшим знатоком немецкой и австро-венгерской армий. Самойло хорошо знал юнкерско-прусскую заносчивость, надменность и упрямство Гофмана, его патологическую ненависть к славянам, которых он считал «навозом для удобрения немецкой культуры». В переговорах нельзя не учитывать личные качества партнера. Поэтому пятидесятилетний русский генерал, желавший честно служить своему народу, но еще не вполне разбиравшийся в целях большевистского правительства, не мог понять, зачем Троцкому такой тон, такие заявления. Неглупый же, кажется, человек, по-европейски образован, владеет несколькими языками.

Деликатный Иоффе испугался, побледнел. Только авантюрно настроенные «леваки» Каменев и Радек были в восторге от смелости своего руководителя.

Не меньше Иоффе испугался министр иностранных дел Австро-Венгрии граф Чернин. Зачем большевикам такие нелепые заявления, если им нужен мир? Кичливый пруссак Гофман может пойти на срыв переговоров и начать наступление на фронте. А этого Чернин боялся. Осторожный и умный министр хорошо знал, что его голодная, обессиленная войной империя трещит и разваливается. Только мир может спасти Австро-Венгрию или хотя бы оттянуть полное крушение. Граф Чернин, вопреки немцам, за которыми был вынужден идти, вопреки своему императору и правительству, пожалуй, единственный из руководителей делегации Четверного союза был готов принять ленинские предложения о мире без аннексий и контрибуций.

Статс-секретарь Рихард фон Кюльман тоже сморщился, как от зубной боли, от этой нелепой стычки Гофмана с

Троцким.

Позавчера было совещание у кайзера, где военные требовали разрыва переговоров с Троцким. Им, реалистам — рейхсканцлеру Гертлингу и ему, Кюльману, — удалось уговорить Вильгельма не делать этого: они лучше военных понимали положение в империи и боялись, что срыв переговоров вызовет бурю.

Грубость Троцкого укрепляет позиции Гинденбурга и Гофмана. Кюльману важно было понять, чего добивается Троцкий. Что ему надо? Что стоит за подобными выпадами — сила или слабость?

Граф Чернин тут же взял слово и, употребив все свои дипломатические качества — хитрость, деликатность, остроумие, может, в первую очередь остроумие (пошутил над тем, как он будет висеть на столбе), — укротил разъяренного генерала.

Заседание продолжалось.

Это была не только провокационная бестактность Троцкого, но и гнусный поклеп на Октябрьскую революцию — самую бескровную в истории. Кто, когда, где и кого в период победного шествия революции вешал? История не знает ни одного такого случая. Позже, когда разгорелась гражданская война, это делали деникинцы и колчаковцы — вешали на столбах коммунистов-комиссаров, красноармейцев, просто рабочих и крестьян. Ответом на белый террор был красный террор.

Троцкий делал все, чтобы переговоры сорвали немцы. В этом случае никто не упрекнет его, а он помог бы Бухарину и всем «левым», подтвердил бы их тезис, что с империалистами никакие переговоры невозможны. Сам он, между прочим, так не думал. Но ему важно было организовать еще один блок против Ленина.

На первой стадии переговоров, когда делегацию возглавлял Адольф Абрамович Иоффе, в Брестской крепости царила совсем другая атмосфера.

Монархист Гофман играл демократа и щедрого хозяина. Советской делегации предложили питаться в столовой офицерского собрания вместе с делегациями Четверного союза. Аккуратно появлялся там и сам Гофман. За завтраками и обедами шли веселые беседы. В составе советской делегации была единственная женщина — левая эсерка Анастасия Биценко. Гофмана это забавляло, он с рыцарской галантностью, впрочем, иногда довольно назойливо, заигрывал с ней, говорил комплименты, хотя женщина, бросавшая бомбы, отвечала генералу совсем не по-дамски. Но Гофман умел все перевести в шутку. Вместе с тем он был серьезен и подчеркнуто внимателен к людям, с умом и знаниями которых не мог не считаться, — к Покровскому, к Самойло.

Правда, русского генерала, которого считал жертвой, Гофман нередко встречал бестактно-едким вопросом:

— Не доконали вас еще большевики?

Предшественник Самойло, генерал Скалой, там же, в Бресте, застрелился в коротком перерыве между заседаниями. В бумагах его осталось письмо жене, изменявшей ему, что и было причиной самоубийства. Однако немецкая пресса долго и бестактно смаковала смерть «члена русской делегации», хотя генерал Скалой был только военным консультантом.

Делегация пользовалась известной свободой поездок: не одна, вместе с немецкими офицерами, могла выезжать из крепости в город, ездила даже в Варшаву. В самой цитадели, в ее внутренней части, было лишь несколько мест, запрещенных для прогулок, — вблизи Белого замка, где размещался штаб Гофмана, некоторых казарм; нельзя было выходить за ворота, в предмостные укрепления. Особенно почему-то бдительно охранялась Кобринская сторона.

С приездом Троцкого все изменилось. Он запретил членам делегации пользоваться немецкими автомобилями и посещать офицерский клуб. Столоваться начали самостоятельно, в отведенном

блоке. Это изолировало делегацию. А в это время Голубович, а позже Севрук и Левицкий со своими «казаками» (кое-кто из Центральной Рады ходил в экзотических свитках, красных широких шароварах) устраивали с немецкими и австрийскими офицерами шумные попойки. С советской делегацией радовцы встреч избегали, влиять на них, чтобы объединиться против немцев, было трудно.

Естественно, что с Гофманом у Троцкого были напряженные отношения, неофициально они не встречались. Однако Троцкий иногда прогуливался по очищенным с немецкой аккуратностью от снега дорожкам с представителем Генерального штаба майором Брикманом. Майор часто ездил в Берлин и в ставку командующего Восточным фронтом принца Леопольда Баварского. О чем говорили между собой Троцкий и Брикман — истории неизвестно. Но во время переговоров в газете правых социал-демократов — в газете Каутского — появилась статья, где ничего не говорилось о Ленине, зато чрезвычайно много — о выдающихся качествах Троцкого; по существу, утверждалось, что это, мол, единственный человек, способный возглавить демократическое, социалистическое, в понимании правых, правительство России.

Начальник оперативного отдела Ставки, потом, при Керенском, — генерал-квартирмейстер армии и фронта, Александр Александрович Самойло хорошо знал состояние русской армии, понимал, что в случае немецкого наступления она развалится, враг захватит массу военного имущества и это чрезвычайно ослабит обороноспособность страны. Он прилагал немалые усилия, чтобы на совещаниях, которые Троцкий любил проводить, убедить в этом руководителя делегации и ее членов. Троцкий не всегда выслушивал генерала до конца, прерывал язвительными, почти оскорбительными репликами. Военный консультант не имел даже совещательного голоса в политической комиссии. Это сильно задевало самолюбие генерала: с его мнением считались главнокомандующие — великий

князь, царь... Только верность русскому народу давала Самойло силу исполнять его нелегкие обязанности. Но Троцкий не желал признавать не только бывшего царского генерала — ученого-марксиста Покровского он выслушивал с презрительной усмешкой, нетерпеливо, хотя Михаил Николаевич в то время сам был в плену «левацких» настроений. Леонид Борисович Красин, попытавшийся спорить с Троцким, пробыл в Бресте всего четыре дня.

Троцкий слушал только самого себя, свои длинные упражнения в красноречии, Слушал Радека. Над Каменевым незло подшучивал, чувствуя его зависимость.

Величайшим наслаждением для Троцкого были баталии с Гофманом, особенно когда удавалось «тевтонского рыцаря» разозлить; спесивый пруссак, рыжий от природы, от гнева краснел так, что, казалось, вот-вот вспыхнут его волосы, щеки. Успокаивали его своей рассудительностью оба министра — Кюльман и Чернин.

В конце января — начале февраля рабочие Берлина и Вены вышли на улицы, требуя мира и хлеба.

Советская делегация из Бреста слала в Петроград телеграммы об этих событиях, явно преувеличивая значение выступлений немецкого и австрийского пролетариата: шли со знаменами и лозунгами — не с винтовками, солдаты рабочих не поддержали.

Нельзя винить членов делегации за оптимизм: информация у них была ограниченная, они не имели даже возможности купить все газеты, читали только те, что разрешал Гофман, а вера в германскую революцию была велика, ждали помощи европейского пролетариата, надеялись на такую помощь, полагая — по теории Бухарина и Троцкого, — что только революция на Западе может спасти русскую революцию, Советскую власть.

Выступлениям в Германии и Австро-Венгрии обрадовались не только «левые». Первого февраля

«Правда» вышла с огромной шапкой:

«Пожар мировой пролетарской революции разгорается! Восстал германский пролетариат. В Берлине — Совет рабочих депутатов. Гибель капитализма неизбежна! Солнце социализма восходит! Торжество честного мира обеспечено! Да здравствует международная пролетарская революция! Да здравствует международная рабочая Республика Советов!»

По первым сообщениям Ленин тоже поверил в революцию в Германии. Но Ленин оставался реалистом, он не давал воли эмоциям, а продолжал внимательно следить за событиями, анализировал их.

Немцы прервали телеграфную связь делегации со Смольным.

Третьего февраля Ленин собственноручно пишет обращение:

«По радио. Всем. Мирной делегации в Брест-Литовске особенно.

Мы тоже крайне взволнованы отсутствием провода, в чем, кажется, виноваты немцы. Киевская рада пала. Вся власть на Украине в руках Совета».

Именно об этом в первую очередь должны были знать народ, армия и особенно делегация в Бресте, обязанная подписать мир. Таков ход ленинской мысли. Этому он подчиняет всю другую информацию: «В Финляндии дела буржуазных контрреволюционеров безнадежны… На Дону 46 казачьих полков на съезде в станице Каменской объявили себя правительством, воюют с Калединым».

Только сообщив то, что давало весомые аргументы советской делегации и выбивало их у Гофмана, Ленин информирует, что «среди питерских рабочих большой подъем энтузиазма в связи с образованием Совета рабочих депутатов в Берлине». И очень осторожно в конце: «Ходят слухи, что Карл Либкнехт освобожден и

скоро встанет во главе немецкого правительства».

На другой день, четвертого февраля, Ленин снова шлет «Радиограмму всем, всем». Но цель ее другая: помочь немецким рабочим, запуганным ужасами русской революции.

В радиограмме Ленин информировал прежде всего рабочих мира и особенно немецких социалистов:

«Ряд заграничных газет сообщают ложные сведения об ужасах и хаосе в Петрограде и пр.

Все эти сведения абсолютно неправильны. В Петрограде и Москве полное спокойствие. Никаких арестов социалистов не произведено».

Предпоследний абзац адресован своему народу — спокойно, рассудительно, правдиво:

«Сведения из Германии скудны. Явно, что германцы скрывают правду о революционном движении в Германии. Троцкий телеграфирует в Петроград из Брест-Литовска, что немцы затягивают переговоры».

В тот день Троцкий получил от немцев связь и послал Совнаркому такую телеграмму:

«Немецкая пресса стала трубить, будто бы мы вообще не хотим мира, а только заботимся о перенесении революции в другие страны. Эти ослы не могут понять, что именно под углом зрения развития европейской революции скорейший мир для нас имеет огромное значение».

Ленин верил делегации. А между тем Троцкий лгал, вводил правительство в заблуждение — и насчет собственной позиции, и насчет позиций делегаций Четверного союза.

Одной телеграммы ему показалось мало, он в тот же день шлет лично Ленину: «В немецкую печать проникло нелепое сообщение о том, что мы собираемся демонстративно не подписать мирного договора. Какая

дикая ложь!»

Совсем иначе, чем Ленин, повели себя Бухарин и его сторонники. Люди, надеявшиеся только на революцию на Западе и бывшие в плену революционного фразерства, с первыми же вестями о выступлениях в Германии повели бестактную, наглую пропаганду против Ленина. Они явно хотели взять реванш за свое поражение на Третьем съезде Советов.

Заявление Бухарина, Ломова, Осинского, Пятакова, Крестинского в ЦК с требованием неотложно созвать партийную конференцию было, по существу, ультиматумом ленинцам. В заявлении говорилось, что конференция необходима для окончательного и ясного решения вопроса исторической для международного пролетариата важности и что созывается она «в связи с тем, что в резолюции, внесенной от имени большевистской фракции на съезде Советов… не имеется прямого указания на недопустимость подписания договора 29 января (10 февраля) и в то же время предоставлены неограниченные полномочия Совету Народных Комиссаров по вопросу о заключении мира, э. зн. и право подписать «похабный мир».

В случае подписания мира без конференции вся группа угрожала оставить ответственные посты в партии и в правительственных органах.

Ленин выступил против созыва конференции, которая в такой ситуации, будучи созвана срочно, не могла выразить мнение партии. Нет смысла в конференции, сказал Ильич на заседании ЦК первого февраля, потому что решения ее не могут быть обязательными для ЦК.

Ленин добивается постановления о созыве партийного съезда. Но, чтобы успокоить крикливых своих оппонентов, дипломатично соглашается на проведение срочного совещания — «для ловли мыслей». Снова — который раз! — призывает сторонников революционной войны «съездить на фронт и там собственными глазами убедиться в полной невозможности ведения войны».

Через два дня состоялось совещание ЦК с представителями Петроградского и Московского комитетов — Косиором, Фенигштейном, Осинским, Стуковым. Все они были «левые».

Никто не позаботился о ведении протокола. Только Владимир Ильич собственноручно записывал некоторые положения из выступлений и составил таблицу голосования, разбив участников на четыре группы. Голосование было сложным. Не просто за мир или за войну. Следовало изложить свое мнение по десяти важнейшим вопросам внешней политики Советского государства. Вопросы предложил Ленин. Первым среди них был: «Допустим ли вообще мир между социалистическими и империалистическими государствами?» Дальше шло: «Допустимо ли сейчас подписать германский аннексионистский мир?»; «Затягивать переговоры или нет?»; «Разорвать ли переговоры немедленно?»; «Нужно ли создавать Красную Армию?»

Поняв, что Ленин «перехитрил» их — вынуждает ответами вывернуть свою сущность, лидеры «левых» Бухарин и Урицкий и «приверженец» Ленина, а в действительности помощник Троцкого — Зиновьев сбежали до голосования, пугливо оставили «поле боя».

Ленин размашисто и крупно, во всю таблицу, написал: «Ушел до голосования» — против фамилии Зиновьева и немного мельче: «Ушли до голосования» — против фамилий Бухарина и Урицкого.

Осинский и Стуков ответили отрицательно даже на первый вопрос: допустим ли мир между социалистическими и империалистическими государствами?

В одном случае «за» проголосовали все, кроме, конечно, сбежавших: за создание Красной Армии. Но вопрос этот был как бы контрольным: еще пять дней назад, двадцать восьмого января, Владимир Ильич подписал декрет Совнаркома о создании Красной Армии. Немецкий ультиматум сделал ненужным

дипломатический, маневр — создавать новую армию без официального объявления. Пусть «партия войны» в Германии знает, что с развалом старой русской армии Советская Республика не останется без вооруженных сил! Пусть знают, что затягивание переговоров может дать нам время укрепить фронт.

Александр Александрович Самойло всегда был верен воинской присяге и немало сделал для русской армии. Большевики не требовали от него присяги. Но, перейдя на сторону Советской власти, он присягнул самому себе: так же верно служить своему народу, а значит, и правительству, которому народ доверил руководство страной. Имея богатый опыт ведения разведки, он и в Бресте не дремал. Сблизился с «радовцами», видимо, полагавшими, что царский генерал ближе к ним, чем к большевикам, и через него можно выведать секреты советской делегации.

Генерал принял приглашение Николая Любинского на ужин и, умея умно выпить, выведал от пьяных «казаков», что Центральная Рада готова подписать с немцами и австрийцами сепаратный мир. Поэтому переговоры прерваны, Кюльман и Чернин выехали в Берлин.

Встревоженный Самойло в тот же вечер доложил об этом Троцкому.

Нарком принял его в теплом халате и в армейских валенках: в блоках было холодно; холодные отношения между Гофманом и Троцким отразились даже на этом — комнаты советской делегации начали отапливать с немецкой скупостью.

Нарком выслушал генерала внимательно, но со спокойной снисходительной улыбкой, уже неоднократно оскорблявшей человека, который окончил военную академию, которого никто никогда не считал профаном и за мнение которого перед войной и во время войны дорого бы заплатили разведки вражеских генштабов.

Троцкий не впервые так выслушивал военного консультанта. Он созерцал полную фигуру Самойло с «классовой брезгливостью», видимо, полагая, что так должен смотреть голодный пролетарий на сытого буржуя. И не верить ему. Ни в чем.

На этот раз Троцкий как будто поверил, потому что успокоил генерала без обычного саркастически-игривого тона — серьезно:

— Ленин телеграфирует, что Рада дышит на ладан. Что такое договор, подписанный покойником?

— Но я не сомневаюсь, что в договоре обязательно будет пункт, дающий право немцам ввести на Украину войска. Это поставит нас в тяжелое положение. Если даже власть Центральной Рады падет на всей Украине, немцы могут долго признавать то правительство, с которым подписали выгодный им договор. Нельзя недооценивать значение договоров.

Троцкий задумался:

— Что вы предлагаете?

Они обходились без обращений: Троцкий никогда не сказал генералу «товарищ Самойло», в свою очередь, генерал не мог заставить себя говорить ему «товарищ нарком», как обращались к Троцкому другие.

— Раскрыть сговор Севрука и Левицкого с Гофманом. Заявить протест. Попытаться достать проект договора.

Губы Льва Давидовича скривились в знакомой саркастической улыбке. Проницательный Самойло понял, что Троцкий подумал: мол, недобитый генерал дает ему, великому революционеру, политический совет.

Но Троцкий неожиданно снова сделался серьезным и, походив в задумчивости по просторной комнате, сказал:

— Телеграфируйте в штаб Западного фронта — с передачей Главнокомандующему… Текст такой.

Запишите. Обстановка складывается так, что показывает на полную возможность, даже в ближайшие дни, решения немецкого командования приостановить перемирие и возобновить военные действия. Считаю необходимым провести самым ускоренным образом меры по вызову в тыл артиллерии и материальной части.

У Самойло испуганно расширились глаза. Впервые он сказал интимно-доверительно, шепотом:

— Лев Давидович! А если Гофман читает наши шифровки?

Троцкий остановился перед генералом и снова брезгливо посмотрел на его округленный под френчем живот.

— Генерал! У вас болезнь. Шпиономания. Но меня удивляет не это. Странно, что царизм не научил вас исполнять приказы.

Один из немногих в составе делегации, кто понимал угрозу и был серьезно обеспокоен судьбой страны, армии, Самойло в подавленном настроении оставил наркома; пошел к телеграфисту, вместе с ним зашифровал телеграмму и передал ее. Было это шестого февраля.

Троцкий не только не послушался совета Самойло — открытым протестом помешать секретному соглашению, но не сообщил о предупреждении консультанта ни делегации, ни Совнаркому. Знал, что Ленин недоволен признанием делегации Рады, которым она была обязана Троцкому, поэтому делал вид, будто роль ее настолько мизерна, что не заслуживает даже серьезной информации.

В это время в Брест наконец приехали представители делегации ЦИК Советов Украины Медведев и Шахрай. Как ни старался Владимир Ильич, чтобы они выехали быстрей и высказались от имени украинского народа, немцы не без влияния радовцев сделали все, чтобы

задержать их приезд.

Троцкий приезду советских украинцев не придал такого значения, какое придавал Ленин. Он, по существу, игнорировал их, как игнорировал каждого, в ком не видел единомышленника, союзника.

Сама делегация, без штата, без технических средств, во враждебном окружении немцев и радовцев, при равнодушии Троцкого, была в Брестской цитадели в полной изоляции, была беспомощной. К тому же у членов ее не было твердой политической позиции. Лидер украинских левых социал-демократов, не всегда стоявших на ленинских позициях, Ефим Медведев был ленив по натуре и болезнен, недаром он быстро сошел с политической арены. Энергичный и деятельный Василий Шахрай уже тогда страдал симптомами националистической болезни, за что позже его исключили из большевистской партии. Владимир Затонский по болезни не смог приехать.

Девятого февраля на дневном заседании политической комиссии Троцкий без свойственной ему настойчивости и пафосности поднял вопрос о признании делегации Советской Украины.

Тут же поднялся всегда сдержанно вежливый Кюльман и непривычно горячо возразил:

— Я считаю необходимым отметить следующее: господин представитель русской делегации прежде не указывал на то, что вместе с делегацией Киевской рады имеет полномочия говорить от имени украинского народа еще и другая делегация.

Вполне возможно, что Кюльман знал о критике Лениным позиции Троцкого в отношении делегации Рады.

Троцкий вынужден был проглотить жабу. Однако человек этот умел выкручиваться из любых ситуаций и любой поворот использовать в своих целях.

Потребовав перерыва, он провел совещание своей делегации с участием Медведева и Шахрая и предложил текст телеграммы в Петроград: «Если мы до пяти часов вечера получим от вас точное и проверенное сообщение, что Киев в руках советского народа, это может иметь большое значение для переговоров».

Из Петрограда ответили через каких-нибудь два часа — очень оперативно, если иметь в виду, что все телеграммы из Бреста докладывались Ленину и почти все ответы писались или диктовались Лениным; нельзя не учесть и того факта, что «провода» часто не было — немцы всячески мешали связи, а такую телеграмму вообще могли задержать.

В телеграмме, которая была передана открытым текстом, говорилось:

«Вчера, 8 февраля, в десять часов ночи получили из Киева от главнокомандующего Муравьева официальное сообщение о взятии Печерского района и бегстве остатков Рады… Все это было вчера в 20 часов, 8 февраля; от Рады не осталось ничего, кроме печального воспоминания… Как видите, делегация Киевской рады в Бресте представляет пустое место… В Киев, как и в Харьков, будет передано немедленно ваше требование о регулярном информировании Бреста».

Троцкий делал вид, что советуется с Совнаркомом. Но, получив это очень важное сообщение, он не пошевелил пальцем. А по всей логике переговоров должен был потребовать от Кюльмана и Чернина срочного заседания политической комиссии, чтобы с документом в руках опротестовать полномочия делегации Рады.

Немцы, безусловно, прочли телеграмму и тут же, тайно от советской делегации, с необычной поспешностью, сделав значительные уступки кичливым националистам, подписали договор с Радой.

Об этой акции первым узнал Самойло: граф Чернин, видимо, обрадованный, что радовцы не потребовали от Австро-Венгрии компенсации — Восточной Галиции и

Буковины, устраивал прием.

Взволнованный консультант снова пошел к руководителю делегации. Троцкий никакой озабоченности не высказал, не собрал даже делегацию посоветоваться. Он продиктовал Самойло телеграмму о случившемся. Спрашивал, что делать. Но тут же с вызывающей недоумение категоричностью сообщал, что «наше окончательное решение будет вынесено завтра вечером».

Всю ночь в Брестской крепости, пугая немецких часовых, «по-запорожски» пировали «дипломаты» Винниченко и Петлюры, которые сами в это время убегали из Киева навстречу немецким и австрийским войскам, под охрану кайзера Вильгельма и императора Карла.

Хлеб и мир! Это была забота не только каждого дня — каждого часа, каждой минуты. Решение любого вопроса организации Советской власти обязательно и очень цепко связывалось с миром и хлебом. Вся огромная умственная энергия Ленина, которой хватило, чтобы всколыхнуть, потрясти весь мир, теперь была направлена на эти, такие простые, понятия. Простые, когда хлеб и мир есть, но такие сложные, когда их нет! Ленин нередко говорил близким людям, что ему легче было написать в Разливе «Государство и революция», чем раздобыть лишнюю тысячу пудов хлеба для Петрограда и армии.

Вчера были представители Совета народных уполномоченных Финляндии. Буржуазия душит финскую революцию голодом. Пришлось включить в повестку дня сегодняшнего заседания Совнаркома вопрос: «Ходатайство Финляндии о хлебе». Но где его взять? Где — известно. У крестьян. Как взять?

Три дня назад по его идее, не без боя с левыми эсерами, пришлось взять из правительственного фонда двести тысяч рублей для организации и содержания социалистического отряда при Чрезвычайной комиссии по обороне Петрограда.

А вчера родилась новая идея: найти сто миллионов рублей для «Центроткани», чтобы пустить все фабрики, наделать мануфактуры и выменять на нее хлеб.

Но сто миллионов — не сто рублей, их нужно найти в государственном казначействе — выкроить, урезав расходы на другие нужды. А главное — провести через Совнарком. Левые эсеры, выставляющие себя защитниками крестьянства (Ленин хмыкнул: «Будто мы, большевики, — враги крестьян»), должны поддержать, хотя в последнее время, случается, действия их не укладываются в логику их же программы. Могут выступить против некоторые «экономисты» — Пятаков, Невский. Потому что денег действительно-таки нет.

Несколько часов назад Ленин выступил на съезде земельных комитетов, среди прочего сказал и об этом:

«Денег нет, вот где наша слабость, вот отчего мы слабы и отчего страдает наша страна».

Все так. Однако сто миллионов нужно найти. Голод — союзник контрреволюции, хлеб — самое сильное оружие революции.

В тот же день Ленин отдал еще одно важное распоряжение, имевшее отношение к хлебу. Да и к миру тоже.

Революция совершила небывало гуманный акт: освободила из-под стражи военнопленных. Будьте равными среди равных, смотрите, как русский пролетариат берет власть, учитесь!

В поисках хлеба и работы военнопленные наводнили Петроград. Особенно много наехало офицеров. Поступают сведения, что некоторые из них идут на связь, на контакты с русским контрреволюционным офицерством — калединцами, корниловцами.

Ленин написал Подвойскому:

«Ввиду продовольственных затруднений и опасности

контрреволюционных выступлений предписываю принять немедленно самые решительные и экстренные меры для высылки из Петрограда всех военнопленных, в первую голову офицеров».

В борьбе с контрреволюцией никаких дискуссий быть не может. Предписание Председателя Совнаркома должно быть законом! Но жизнь показала, что бухаринцы, эсеры могут устроить обструкцию по любому поводу, по любой позиции. Если выступили против мира, могут так же легко выступить против поисков денег, закупок хлеба, высылки пленных. В таких случаях очень важно, чтобы любую идею правильно поняли и поддержали — без шатаний, без оговорок — близкие и надежные товарищи.

Ленин пригласил к себе Свердлова и Сталина — посоветоваться.

Насчет пленных Яков Михайлович спросил:

— Своевременно ли это, Владимир Ильич? Немцы и австрийцы не прицепятся? Перед самым подписанием мира?..

— Мир мы подпишем если не сегодня, то завтра обязательно! Мы протестовали против рабской эксплуатации русских военнопленных. А у нас пленные пользуются совершенной свободой. После подписания мира мы их как можно скорее вернем на родину. Пусть пропагандируют нашу революцию. А пока что статус военнопленных — внутреннее дело страны, взявшей их в плен. Мы пошли дальше всех международных конвенций. Но если некоторые из военнопленных намереваются выступать против революции…

— Предписание Подвойскому должно быть секретным документом. Мы слишком много даем в печать, — сказал Сталин.

— Насчет пленных Сталин прав, тут дело чисто военное, — согласился Владимир Ильич, но, на секунду задумавшись, сказал: — А вообще таиться от рабочих

мы не будем. Все декреты Советской власти рабочие и крестьяне должны знать. Пока что печать наша, большевистская, слабо пропагандирует их. А меньшевистские и эсеровские газеты получали излишнюю свободу, чтобы оплевывать наши декреты. Мы задыхаемся без бумаги, у них же она есть. Это абсолютно ненормально. Все запасы бумаги нужно национализировать. Бумага, как и порох, должна быть в руках государства.

Говорили о хлебе.

Ленин критиковал комиссариаты, которые мало делают для скорейшего перевода металлургических заводов на производство товаров, пригодных для обмена на хлеб.

— Дадим селу плуги, косы, серпы, ситец — и мы получим хлеб. Более того: это будет практическое закрепление союза пролетариата и крестьянства. — Ленин осмотрел своих сподвижников, прижмурившись одновременно весело и озабоченно, как он делал в минуты напряженного размышления. — Однако с металлическими заводами проще. Деньги, отпущенные на военные заказы, мы используем на мирную продукцию. Где взять сто миллионов для «Центроткани»?

Вошел Николай Петрович Горбунов, положил перед Лениным бумагу. Владимир Ильич пробежал текст, и лицо его померкло, оживление в глазах пропало, морщинки под глазами и на лбу углубились. Сказал Свердлову и Сталину:

— От Троцкого. По существу, повторение вчерашней телеграммы. Не понимаю, почему он так добивается инструкций, что делать в связи с подписанием немцами договора с Радой. Инструкции ему даны достаточно ясные и подробные. А потом — эти заявления. Как ультиматум Совнаркому. — Ленин прочел: «Сегодня около шести часов нами будет дан окончательный ответ. Необходимо, чтобы он в существе своем стал известен всему миру. Примите необходимые к тому меры». Как это понимать? Вы что-нибудь понимаете,

Яков Михайлович? — Ленин протянул телеграмму Свердлову.

Председатель ВЦИК прочитал, покачал головой и, передав бумагу Сталину, сказал с иронической улыбкой:

— Ох, Пер-ро! Это то «перо», которое еще до того, как начать писать, брызгает чернилами и ставит кляксы. Лева слишком уж озабочен, как бы войти в историю. Ему обязательно нужна всемирная аудитория. Не меньше.

— А я не верю Троцкому! — категорично, пожалуй, даже зло, прокомментировал Сталин, положив бумагу на стол.

Владимир Ильич поднялся, отошел к окну, постоял в задумчивости.

Зимний вечерний мрак окутывал Петроград. Однако безоблачное небо было еще светлым. И Ленин снова подумал, что в небе мало дымов. Представил, как мерзнут в холодных квартирах дети. Только мир может дать хлеб и уголь!

Ответил Сталину от окна:

— Не верить товарищам по работе мы не можем. Это развалит советский аппарат.

Передернул плечами, будто сбросил с них тяжесть, быстро вернулся к столу, сел, на бланке с грифом «Совет Народных Комиссаров» энергично написал:

«Брест-Литовск. Русская мирная делегация. Троцкому. Наша точка зрения вам известна; она только укрепилась за последнее время и особенно после письма Иоффе. Повторяем еще раз, что от Киевской рады ничего не осталось и что немцы вынуждены будут признать факт, если они еще не признали его. Ленин».

Написав это, Владимир Ильич помахал листком в воздухе, прочитал текст и протянул телеграмму

Сталину.

— Иосиф Виссарионович, проследите в аппаратной, чтобы передали как можно скорей.

Сталин пробежал глазами по тексту:

— Мне хочется, Владимир Ильич, дописать одно предложение: «Информируйте нас почаще». Троцкий должен чувствовать контроль правительства.

— Пожалуйста, допишите.

Сталин дописал в конце, перед подписью «Ленин», эти слова, а под адресом написал: «Ответ» — и поставил дату и время: «28/1, 6 часов 30 минут вечера».

Сталин поставил петроградское время и дату по старому стилю. А без десяти шесть по берлинскому времени десятого февраля в Брестской крепости началось последнее заседание делегаций на мирных переговорах.

Немцы, сломив страхи графа Чернина, еще накануне открыто предъявили свой ультиматум.

Троцкий дважды с двусмысленными приписками сообщил о договоре с Радой и очень туманно — об ультиматуме: «Сегодня Кюльман и Чернин подвели итог всем спорам, происходившим до этого времени…»

Троцкий хорошо помнил инструкцию Ленина: «Мы затягиваем переговоры до объявления ультиматума. После ультиматума мы сдаемся и подписываем аннексионистский мир».

Оправдывая свой ультиматум и подбадривая обессиленных войной союзников — австрийцев и болгар, Гофман начал со злобного заявления:

— Кончая бесплодную дискуссию, которую мы здесь долго вели, я должен от имени моего императора и правительства заявить решительный протест русскому правительству в связи со значительным в последние

дни увеличением численности русских войск на территории Финляндии.

Это была ложь: никакие новые части в эти дни в Финляндию не посылались.

Вслед за Гофманом выступил Кюльман. Статс-секретарь говорил не так зло, как генерал, — дипломатично: — Делегации Четверного союза ехали в Брест-Литовск с самыми чистыми и самыми миролюбивыми намерениями. С такой же искренностью мы заключили перемирие. Но русское правительство на протяжении всего перемирия использовало его только с одной целью — чтобы восстановить немецких солдат против офицеров и генералов, чтобы перенести беспорядки, имевшие место в России, в Германию, Австро-Венгрию… Правительство его величества кайзера не может больше мириться с таким положением. Сегодняшнее заседание серьезное и ответственное. От имени союзных Германии делегаций я предлагаю закончить общую дискуссию и обсуждать только пункты, дающие возможность прийти к определенным результатам.

Не споря с Гофманом, потому что на последнем совещании военных поддержал кайзер, Кюльман, однако, пытался спасти переговоры. Гертлинг и он боялись возобновления войны.

Всего несколько часов назад в ответ на категорическую телеграмму Вильгельма с требованием «Троцкого безотлагательно поставить перед постулатом — заключение мира на моих условиях», — рейхсканцлер по его, Кюльмана, просьбе согласился послать кайзеру телеграмму, в которой, между прочим, они напомнили, что «забастовка, только что закончившаяся, показала сильное брожение» и что «народ считает, правильно или неправильно, что интересы Германии требуют заключения мира». Боле того, они отважились на «бунт»: Гертлинг согласился подписать следующее: «Как мне это ни больно, но я буду просить ваше величество, в случае, если ваше величество будет настаивать на выдвинутых требованиях об очищении

Лифляндии и Эстляндии, как conditio sine gua non [1] для мира с Троцким, снять с господина Кюльмана и с меня ответственность за дальнейшее проведение политики вашего величества и милостиво принять от нас обратно мандат на завершение мирных переговоров».

Троцкий выслушал заявление Кюльмана с саркастической улыбкой.

Михаил Николаевич Покровский трижды пил воду: к этому времени он отошел от левацких взглядов Бухарина, целиком поддерживал Ленина, а тут вдруг почувствовал, что мир под угрозой, и это его сильно взволновало.

С необычайным спокойствием, не без остроумия ответив на обвинения Гофмана и Кюльмана, Троцкий заявил:

— Мы выходим из войны, но вынуждены отказаться от подписания мирного договора.

Немцы опешили. Но еще больше австрийцы. Граф Чернин просто-таки испугался. Он не понимал такой дипломатии: «Что творит этот человек? Он что, с ума сошел? Агентурные данные не подтверждают, что это инструкция его правительства. Наоборот, все свидетельствует, что Ленин — за мир. Чего же добивается Троцкий? Свалить таким образом своего премьера? Неужели у большевиков такая демократия? Меня бы за подобное повесили».

По просьбе Троцкого был объявлен короткий перерыв. Во время перерыва генерал Самойло передал Троцкому телеграмму Ленина. Но тот даже не прочитал ее членам делегации. Однако постарался, чтобы заявление, заранее написанное им, подписали члены делегации — левый эсер Карелин, только что назначенный в делегацию и не очень разбирающийся в тонкостях переговоров, не больно грамотная Биценко, верный единомышленник Иоффе, растерянный Покровский…

Возобновилось заседание — и Троцкий прочитал это заявление:

— «Именем Совета Народных Комиссаров Правительство Российской Федеративной Республики настоящим заявлением доводит до сведения правительств и народов, воюющих с нами, союзных и нейтральных стран, что, отказываясь от подписания аннексионистского договора, Россия объявляет со своей стороны состояние войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцией, Болгарией — прекращенным. Российским войскам отдается одновременно приказ о полной демобилизации по всем линиям фронта».

Такое официальное заявление — не выступление в дискуссии, не пафосная речь, каких были произнесены тут десятки. Оно смутило даже радовцев. Радость свою выдал разве что один воинственный Гофман: какие возможности открываются для его армии!

Кюльман обрадовался не менее Гофмана: начальнику штаба Восточного фронта ничто не угрожало, а ему и Гертлингу после их телеграммы кайзеру угрожала отставка. Парадоксально: их спасал Троцкий!

Кюльману хотелось захохотать. Но хитрый и осторожный дипломат подчеркнуто вежливо и деликатно уточнил:

— Насколько я понял из заявления господина комиссара по иностранным делам, существенной частью этого заявления является то, что русское правительство сейчас же намерено отдать приказ о полной демобилизации русской армии и в то же самое время отказывается подписать какое бы то ни было соглашение с делегациями противников...

И тут же, заботясь о месте своем в истории, о своей «дипломатической честности», Кюльман счел необходимым предостеречь русских. Он сказал:

— Военные действия, несмотря на продолжение состояния войны, приостановлены на основании

существующего еще договора о перемирии, но при отпадении этого договора военные действия автоматически возобновляются… То обстоятельство, что одна из сторон демобилизует свои армии, ни с фактической, ни с правовой стороны ничего не изменит в этом военном положении.

Троцкий игнорировал угрозу. Однако ему требовалось прикрыть себя словами. Он снова выступил с речью, в частности сказал: он, дескать, понимает, что империалистические правительства в борьбе с Советской Россией, видимо, «будут дальше опираться на помощь пушек и винтовок».

— Но я не верю, что это спасет вас, господа. Я уверен: первое же ваше наступление приведет к взрыву гнева ваших солдат, пролетариев ваших стран, и вы будете выброшены на помойку истории.

Несмотря на эту последнюю, совсем уж неуважительную речь наркома, граф Чернин все же предложил провести завтра еще одно заседание политической комиссии.

Но Троцкий отказался.

Немцы, на сей раз все — военные и дипломаты, готовы были хлопать в ладоши.

Через несколько минут телеграфные аппараты отстучали их радость в таких словах:

«Тут почти все считают, что для нас вообще не могло произойти ничего более благоприятного, чем решение Троцкого. Безусловно, на первый взгляд оно ошеломляюще. Этим решением Троцкий отказывается от всех преимуществ страны, ведущей войну и заключающей мир. При заключении мира мы все-таки должны были бы пойти для него на разные серьезные уступки. Теперь мы сможем все урегулировать по нашему собственному желанию».

Это из телеграммы Лерснера, заместителя Кюльмана.

А Троцкий сразу после заседания послал такую телеграмму: «Петроград. Председателю Совнаркома Ленину. Переговоры закончились. Сегодня после окончательного выяснения неприемлемости австро-немецких условий наша делегация заявила, что выходим из империалистической войны, демобилизуем свою армию и отказываемся подписать аннексионистский договор. Согласно сделанному заявлению издайте немедленно приказ о прекращении состояния войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцией, Болгарией и о демобилизации на всех фронтах. Нарком Троцкий».

Наглость Троцкого граничила с издевательством, и не только над Лениным, но над всем Совнаркомом. Он диктовал правительству, упиваясь своим величием.

Правда, Троцкий понимал, что его «рекомендации» Ленин отклонит. И получится, что он потратил много пороха впустую.

Поэтому перед самым отъездом из Бреста, в десять часов вечера, он шлет еще одну телеграмму — в Могилев, через голову Совнаркома, Главнокомандующему:

«Согласно со сделанным делегацией заявлением издайте неотложно этой же ночью приказ о прекращении состояния войны… и о демобилизации на всех фронтах».

Николай Васильевич Крыленко, очень обеспокоенный развалом старой армии, желавший быстрей избавиться от больного организма и начать строительство новой армии, понял телеграмму в том смысле, что мир подписан. В радиограмме «Всем, всем, всем» за подписью Главковерха так и говорилось:

«Мир. Война окончена. Россия больше не воюет… Демобилизация армии этим объявляется».

Глава вторая

Свадьба

1

День был солнечный, с легким бодрым морозцем. Два дня назад выпал свежий снег, и зима предстала во всей своей красе — искрилась снегом, сверкала голубизной неба, низким солнцем. И звенела.

Об этом сказала Мира — она слышит странный звон, словно всюду вокруг развешаны серебряные колокольчики.

Сергей засмеялся:

— Это у тебя в ушах звенит. После болезни.

— Нет, не в ушах, — по-детски заупрямилась она. Да, зима была еще в силе. Но это был один из тех февральских дней, когда по каким-то неуловимым приметам уже чувствуется весна. Не упало с крыши ни одной капли, негде еще напиться воробью. И однако, может, именно в них, в воробьях, возившихся на куче шлака, что высыпали из немецкого паровоза, доставившего утром вагоны правительственного состава, в их чириканье, в любовном звоне их крылышек и чувствовалась она, весна. Видимо, черный шлак нагревался уже на солнце и отдавал свое тепло воробьям.

В то время как Мира, жадно глотая воздух, любовалась простором, недалеким сосняком, запорошенным снегом, Богунович смотрел на воробьев и думал о поезде, который он на этот раз вышел встречать. В утренних сумерках не светилось ни одно вагонное окно. Пассажиры спали. Проверять их никто команды не давал. Богуновичу даже стало неловко перед нарядом солдат, что поднял их в такую рань. Правда, из вагона выглянул какой-то служащий в полувоенной форме, заспанно окликнул Баранскаса: когда подадут русский

паровоз?

Богунович спросил у него:

— С чем возвращаемся?

Служащий сделал вид, что не понял вопроса, и, зябко передернув плечами, осторожно, без стука, закрыл перед командиром полка дверь.

Богуновичу с самого рассвета не терпелось пойти в штаб. Но Мира еще вчера сказала, что хватит ей «притворяться больной», нужно выходить, браться за работу; последние дни она жадно читала газеты, готовясь пойти к немцам. Мирины планы, по мнению Богуновича, были ей еще не по силам после тяжелой болезни: она намеревалась сначала навестить соседей — питерских большевиков, затем поехать в политотдел ревкома армии, получить инструкции и пропагандистский материал.

В том, что она еще слаба, Сергей убеждался, наблюдая за ее подготовкой к первому выходу из теплой комнаты: пока она болела, Баранскасы не жалели топлива.

Собиралась Мира не по-солдатски, как раньше. Но и не по-женски, как когда-то его, Богуновича, мать в театр или в гости. Она долго и без нужды ходила из комнаты на кухню и обратно, не дала ни ему, ни Альжбете, ни Юстине помочь ей готовить нехитрый завтрак. Все делала сама. А потом ушивала юбку, потому что похудела, и вообще долго занималась одеждой, отдавая ей больше внимания, чем раньше.

Сергей понял: боялась за свои силы. Предложил вызвать из штаба вестового на лошадях. Она отказалась: ей хотелось проверить себя.

На дворе Мира дышала полной грудью.

Сергей сказал ей — так когда-то говорила ему в детстве мать:

— Не хватай морозный воздух. Прикрой рот шарфиком,

дыши через нос.

Мира засмеялась, догадливо спросила:

— Так учила тебя твоя мамочка? Да?

Сергея иногда обижало ее насмешливо-пренебрежительное отношение к его родителям: баре. Переубедить ее было трудно. Конечно, баре: квартира в центре Минска, на Захарьевской, рядом с отелем «Европа», кинематографом «Эден», в лучшем многоэтажном доме, который она хорошо помнила, — каждый день ходила мимо в Мариинскую гимназию. Семь комнат! А в ее доме — деревянной хибаре на Немецкой — одиннадцать душ.

До ее болезни они наверняка поссорились бы — из-за ее несносного упрямства. Но сейчас... Сейчас Сергей готов был простить ей самые жестокие слова и поклялся никогда не обижаться. Что значат слова, когда они идут от такой вот почти детской непосредственности? Любовь его стала иной — глубже, чище, нежнее. Теперь это что-то неизмеримо большее, чем та «половая любовь», о которой он много читал в университете и здесь на фронте. Он месяц не притрагивался к ней, но чувствовал, что с каждым днем она становится ему все дороже. Как сестра. Как мать.

— Если ты будешь спешить и так хватать воздух, я возьму тебя на руки и понесу.

Она вообще побежала. Но, сделав десяток шагов, остановилась, обернулась, с одышкой попросила:

— Догони. Возьми. Понеси.

Сергей подбежал, подхватил ее на руки.

Мира не вырывалась. Она доверчиво и ласково обхватила его шею, приблизив свое лицо к его глазам, и притихла, словно захлебнулась от счастья.

Он удивился: какая она легкая! Как ребенок. От этой мысли родилось новое чувство. В разное время, в

разных ситуациях были чувства влюбленного, брата… Но даже когда она болела, была без сознания от жара и он со страхом и старательностью сестры милосердия ухаживал за ней, сидел у ее кровати долгими бессонными ночами, она представлялась ему то матерью, то маленькой сестрой, но никогда — дочерью. А тут вдруг, подняв ее на руки на лесной дороге, Богунович почувствовал себя отцом, появился отцовский — иного определения этому чувству он не нашел — страх за нее — за жизнь ее, за будущее, здоровье, счастье. Чувство было нелегкое, нерадостное, ибо он подумал: а есть ли у него силы и все остальное, чтобы вот так отвечать за нее? Что-то подобное, но совсем в ином плане — общественном — он пережил, когда его выбрали командиром полка. Тогда он не один день мучительно размышлял: есть ли у него моральное право брать на себя ответственность за жизнь двух тысяч человек? Тогда еще в полку было немало людей. Теперь он думал не о своем праве. Право есть, потому что свобода, братство и есть их взаимная любовь. Но чем он обеспечит свою любовь, свою ответственность? Он уже вышел из того возраста, когда отдаются одной любви, хотя в первые дни их сближения жил только ею. Но теперь вызрели иные колосья из того зерна, имя которому любовь. Может, недели две назад он начал бы по-юношески доказывать давнюю мудрость: «С милой рай и в шалаше». Кроме солнца и звездного неба, хлеба и воды, ничего, мол, им не нужно, особенно в такое время, когда революция сокрушила все тысячелетние представления о жизни, богатстве, обо всех иных ценностях, в том числе и о браке, семье. Это, между прочим, доказывала ему все время Мира, и он кое с чем в душе соглашался, хотя вслух многое оспаривал.

Да, для счастья им не нужны дворцы, земля, собственность. Хватит одежды, что на них, — гимнастерок, сапог, полушубков… Но вдруг впервые, когда нес ее, как ребенка, он подумал, что нужно еще одно: уметь по-отцовски заслонить ее от любой опасности, любой беды. А это очень непросто в мире, где страсти человеческие разбушевались, словно океан в самый грозный шторм.

— Ты красивый, — серьезно, без улыбки сказала Мира, пристально всматриваясь в его глаза. — Глаза у тебя — как сегодняшнее небо.

— А у тебя… — Богунович не смог найти сравнения.

— У меня — как черная ночь. Или омут, где топятся.

— Считай, что я утонул в нем, — пошутил Сергей. Мира не засмеялась. Спросила по-прежнему серьезно:

— О чем ты думаешь? В глазах твоих я увидела мысли, только не успела прочитать их. Они мелькали так быстро. Как в синераме…

— Я думал о тебе.

— Не думай обо мне много. Это опасно.

— Для кого?

— Для меня, — и после короткой паузы добавила: — И для тебя.

— Ты становишься суеверной.

Мира засмеялась:

— Становлюсь. Потому что ты сам веришь в таинственные силы…

У конюшни, где стояли полковые лошади, толпилось много солдат и нынешних хозяев имения — бывших батраков барона. Богуновича такое оживление немного удивило. Но потом подумал, что в солнечный веселый день это естественно. Видимо, решили прогулять лошадей, а такая прогулка всегда событие, особенно для детей. Да и старые крестьяне любят лошадей, в каждом из них живет извечная мечта о хорошем коне. Или, может, ожеребилась Звезда? Кобылу эту английских кровей солдаты где-то украли — Богунович подозревал, что у немцев, но кто-то сочинил легенду, будто Звезда из конюшни бывшего командующего фронтом Эверта, там, мол, ее видели. Как она из

Минска попала на фронт, никто не интересовался, в революцию все могло быть. Степанов, правда, незло матерился на солдат:

— Мародерствуют, сукины дети.

Пастушенко хитро усмехался:

— На то и сотворил бог коня, чтобы люди переезжали на нем из тыла на фронт. Потом поедут назад, в тыл. А какое теперь имеет значение, кому конь принадлежал раньше?

Степанов немного подозрительно относился к этому полному игнорированию полковником, дворянином, частной собственности. Возможно, рабочий считал, что каждый, кто был или мог быть эксплуататором, — хапуга и скряга. Богунович понимал Петра Петровича, ведь даже у него, молодого, на фронте наступило вот такое же равнодушие ко всему, из-за чего люди убивали друг друга, — к деньгам, богатству, одежде, даже к науке, искусству. Все ложь, мишура, думал не однажды. Поэтому прекрасно понял Пастушенко, когда тот как-то доверительно сказал: «Голубчик мой, в моем возрасте честные люди уходили в монастырь».

Звезда была полковой знаменитостью, недаром ей и кличку такую дали. Если действительно ожеребилась — неудивительно, что собралось столько солдат и крестьян. В конце концов, это, возможно, единственное, чему можно порадоваться — рождению новой жизни.

Богунович высказал свою мысль Мире, но она, кажется, не поняла. Она жила предстоящим выступлением перед солдатами, уверенная, что Степанов сразу же даст ей такое задание. И, наверное, после продолжительного перерыва волновалась, хотя за время болезни прочитала немало марксистской литературы, газет.

Мира сразу направилась к председателю комитета, которому вновь нездоровилось — кашель душил его при любой перемене погоды.

Богунович вошел в общую комнату штаба и увидел там привычную картину: начальник штаба сидел за длинным столом и, как обычно, работал. Удивило разве что одно: стол был завален огромным количеством бумаг, чего Пастушенко не любил: порядок у него всегда был образцовый — и на столах, и в шкафах, и в сейфе.

Они через стол поздоровались за руку. Но Богуновичу показалось, что полковник слишком быстро опустил глаза в бумаги. Снова что-то случилось. Разогнали еще одно Учредительное собрание, что ли?

Об Учредительном собрании Богунович вспомнил с юмором и весело попросил:

— Петр Петрович, гляньте мне в глаза. Пастушенко поднял голову, виновато улыбнулся.

— Петр Петрович! Ваши глаза!.. Что случилось?

— Вы что — разве не знаете? Мир. И полная демобилизация.

Богунович встрепенулся:

— Мир?! Так это же радость! Какая радость! А у вас грустные глаза. Почему? Петр Петрович! — Молодой командир быстро обошел стол, обнял седого полковника. — Мне на руках хочется ходить. Наконец-то! Наконец-то! Объявили людям?

— Да, радость, — согласился Пастушенко. — Довольно крови, сиротских слез. Во имя этого народ выбросил из кареты истории Романовых и керенских. Для солдат большая радость. Мир и земля. Что еще нужно?

Богунович отступил шаг назад, внимательно осмотрел начальника штаба, старик даже опустил глаза, как девушка.

— Однако я не чувствую радости в вас, Петр Петрович. Почему? Насколько я вас знаю — вы всегда выступали против этой бессмысленной бойни.

Пастушено сел, как-то обессиленно, по-стариковски натянул на плечи бекешу, уткнулся в бумаги. Но через несколько минут словно устыдился своего поступка — не прятаться же, в самом деле! — и повернулся к Богуновичу: лицо, как всегда, открытое, приветливое, глаза искренние.

Сергей давно говорил, что не встречал более искренних глаз, чем у Пастушенко. Мире как-то сказал. Та даже ревниво спросила: «А мои что — неискренние?»

Петр Петрович начал говорить не так, как только что — лишь бы ответить на вопрос, а с той доверительностью и честностью, которые давно уже породнили их, старого и молодого.

— Сергей Валентинович, голубчик. Конечно, я рад. За солдат, за народ мой. Но я человек... и у меня свои эмоции. Я тридцать лет в армии... Поймите, что это значит. Я знал, что когда-нибудь придется пойти в отставку. Поэтому мы с Марией Петровной купили у меня на родине, в Харьковской губернии, небольшое именьице. Сами понимаете, в имение это я не поеду. Кто меня там ждет? Маруся в Москву уехала, к дочери, к внукам. А я... Скажу вам честно, не хочется мне в Москву... Что там делать? Внуков нянчить? Не маленькие они уже, старшему двенадцать. А я чувствую себя еще молодым, еще на что-то способным... — засмеялся невесело. — О чем вы подумали? Закукарекал старый петух? Какой там петух! Старый лапоть. Ничего я уже не могу. Отвоевался.

Богунович слушал молча, не перебивая, не выдавая своей реакции на слова полковника, но хорошо понимая его.

Пастушенко эта его серьезная внимательность, наверное, смутила, он снова повернулся к столу, взвесил в руках толстую папку, сказал, будто оправдываясь:

— Вот готовлю бумаги для сдачи. Кому мы их сдадим? Военный архив остался? Не знаете? Архив нужно

сохранить. И не стоит так сразу оглашать документы армии, которой не станет. Как и тайные договоры. Большевики совершают ошибку… — Он оглянулся на дверь. — Простите… Я демократ, но старомодный. Многого не понимаю.

Богунович не ответил про архив и договоры, его действительно это не интересовало. Сел на свое привычное место — напротив начальника штаба. Помолчал, заметив, что у Пастушенко дрожат руки, белые такие — барские, но словно покрытые ветвями синего дерева — толстыми венами.

До щемящей боли в сердце стало жаль старика.

— Слышали, что Черноземов рассказывал?

— О чем?

— Что говорил Ленин, провожая отряд на фронт. Отряд их — основа новой армии. И я верю — большевики создадут новую армию. Они называют ее рабоче-крестьянской. Будто старая армия не из рабочих, не из крестьян… Дело в том, в чьих руках она была, кто командовал… Пусть командуют рабочие… Таким, как наш Степанов, можно доверить. Но, думаю, Советы не могут не использовать опыт таких людей, как вы. Это было бы просто неразумно. Более того, это создало бы им большие трудности.

У полковника повеселели глаза.

— Вы так думаете?

— Убежден. Недаром и слово новое появилось: военспец.

— Воен-спец, — медленно, протяжно повторил Пастушенко непривычное слово, как бы проверяя его звучание, потом выговорил его быстро: — Военспец, — и покивал головой, усмехаясь какой-то мысли, которую, наверное, хотел высказать. Но помешала Мира. Она вошла в комнату, радостно возбужденная. Не поздоровавшись даже с Пастушенко, весело спросила:

— Вы слышали? Мир! Мне нужно написать листовку — обращение к солдатам. Где бумага?

— К чему вы будете теперь призывать их? — деликатно спросил Пастушенко.

— Чтобы, вернувшись домой, они тут же забирали землю, скот у помещиков, у кулаков. А кто будет против — того под ноготь, как окопных вшей, к стенке… Чтобы сволочь эта, контра…

На бледных щеках Пастушенко выступили свекольные пятна. Он поднялся, сказал вежливо, но голос его странно задрожал:

— Дитя мое! Зачем так? Зачем такая жестокость? Разве мало крови? — и вышел из комнаты.

Мира удивилась.

— Он что? Обиделся? Он не рад миру?

Богунович вздохнул.

Мира разозлилась.

— Не понимаю я ваших барских вздохов. Богунович ступил к ней, обнял за плечи, подвел к тому окну, из которого видна была конюшня — около нее толпились солдаты и крестьяне. Теперь он понял, что не жеребенок английских кровей появился на свет — люди прощаются, солдаты собираются домой. Поспешно собираются.

— А ты пойми… Пойми. Человек тридцать лет в армии. А теперь куда? В имение, купленное за честно заработанные деньги, поехать не может…

— Ах, ему имения жаль?

— Нет, не имения. Ты же видела, что Петру Петровичу ничего не жаль. Ему тяжело от неопределенности… Куда деваться? А ты — под ноготь, к стенке… Что ж, и его к стенке? Здорово обеднеет Россия, если ставить

таких, как Петр Петрович, к стенке.

— Не обеднеет.

— Ты удивляешь меня. Ты же добрая. И умная. Ты — женщина… Мать будущая…

— Замолчи, пожалуйста! — жестко приказала Мира.

И сама замолчала. Но от окна не отошла. Стояла рядом и часто дышала, как при воспалении легких.

Долго стояли молча. Из конюшни вывели-таки Звезду, и солдат водил ее на длинном поводе. А вслед стайкой воробьев бежали дети. Одна девочка, самая маленькая, в платке и длинной материнской кофте, без конца спотыкалась и падала. Но тут же поднималась и снова бежала, бежала за старшими. Было в ее упорстве что-то и смешное, и трогательное.

Сергей даже вздрогнул от Мириного голоса, такой он был непривычно чужой, не по-женски жесткий:

— У него неопределенность… А у меня — определенность? Ему тяжело. Подумаешь, у него душа! А у меня что — балалайка! Мне, может, в сто раз тяжелее, однако я не хнычу…

— Отчего тебе тяжелее? — очень осторожно и тихо, почти шепотом, спросил Богунович.

— Отчего? — и язвительно: — От радости. Полная де-мо-би-ли-зация! Ты полетишь в свое теплое гнездышко. А я… я куда?

Сергей, удивленный, повернулся к ней.

— Как — куда? Ты что это! Мы же обо всем договорились. Ты что, играла со мной как кошка с мышкой? — От одной этой мысли его бросило в жар.

— Не играла. Но хорошо знаю, что твои родители… твоя мамочка ни за что не даст согласия на нашу женитьбу. Как же: фронтовая девка… еврейка…

— Не смей! — крикнул он.

— И ты послушаешься. Знаю я вас, буржуев! Вы добрые, пока мы вам нужны.

— Ты не веришь мне? — Сергея дрожь проняла от таких ее слов. С чего вдруг? Чем они вызваны? Давно ли он нес ее на руках и глаза ее светились счастьем?

— При чем здесь веришь или не веришь, — мягче, с большей рассудительностью сказала Мира. — Законы класса…

— Пойдем сегодня же повенчаемся!

Она отступила от него на два шага, черные глаза ее, и без того казавшиеся целыми озерами на исхудавшем от болезни лице, расширились и сыпали искрами гнева.

— Господин поручик! Вы часто забываете, что произошло в России. И — кто я такая.

Но Сергей схватил обе ее руки, крепко, до боли сжал их.

— Ну, ляпнул по привычке. Конечно, мы вступим в гражданский брак. В Совете.

Мира осторожно освободила руки, отошла от стола, так же осторожно, будто у нее что-то заболело, села на высокий стул, наклонилась вперед и закрыла лицо руками.

— Что с тобой?

Она ответила не сразу:

— Прости. И дай мне побыть одной.

Он схватил папаху, выбежал в коридор. Там увидел Пастушенко. Полковник сидел на чурбане перед печкой, в которой жарко пылали березовые дрова. Сергей попросил его:

— Дайте ей побыть одной. Она сказала не подумав…

— Я понимаю, голубчик… Я что… Я вас очень прошу… не нужно ее обижать. Не нужно.

2

Совет размещался в единственном на все село кирпичном здании — бывшей волостной управе. Но Филипп Калачик не любил там сидеть. Крестьяне шутили, что он, как сосунок, боится остаться без матери — Рудковского. Старик хитро усмехался. И действительно, не отставал от молодого большевика, ходил за ним, как короткая тень, катался, как калачик.

Рудковский, когда был не в настроении, иногда злился:

— Чего ты, дед, таскаешься за мной по пятам? Люди смеются.

— Браточка мой! Так учусь же.

— Чему?

— Руководить державой.

— Нашел учителя! Я что — министром был, что ли?

— А черт тебя знает, может, и был там, в Питере.

Недаром голова поседела. В твои-то годы. Ай-яй, у меня и то меньше седины.

— Не плачь по моей голове. А учиться нужно руководить одним селом, одним сельским Советом, а не державой…

— Кто знает, Антонка, кто знает. Может, меня Ленин к себе в помощники позовет.

— Нужны Ленину такие помощники!

— Не скажи, Антонка. Снился мне вчера сон. Вышел я, браточка, из волости, иду по улице, а навстречу человек. Не наш, одет по-городскому. Но знакомый, как брат все равно. Кто такой, думаю. И вдруг узнаю. Он!

Холодно, а он в кепчонке. Здорово, говорит, Филипп Михайлов. А я за тобой. Собирайся в Питер, поможешь, говорит, мне. А то собралось там много умников, но такого, как ты, нет ни одного. Ах ты, бог мой, думаю. Как же так? Да тут черт принес Киловатиху. Заголосила на всю улицу, дурная баба. И Ленин исчез. Как испарился или вознесся. Вещий сон, Антонка.

Рудковский выслушал его с интересом: Калачик известный на всю округу выдумщик. Но не преминул уколоть старика:

— А знаешь, почему исчез вождь пролетариата? Учуял, что ты колбасы у кулака ел.

— А чтоб тебе добро было! Сколько ты будешь те колбасы поминать. У меня от них одна соль в горле осталась. А Ленина, Антонка, я вправду видел во сне. Хочу попу рассказать… чтобы он растолковал.

Рудковский гневно покраснел, шрам на щеке прямо фиолетовым сделался. Сурово поднялся, возвысился, молодой, рослый, над низеньким дедком, который сжался и сделался еще меньше, сморщил лицо — от страха или от натуги, чтобы не рассмеяться.

— Додумайся мне, старый баламут, еще к попу идти! Узнаю — враз вычищу из ячейки!

— Злой ты, Антон. Недаром тебя девки боятся. Даже вдовы. Ядя и та боится тебя. Ты хочешь сразу всех перековать. А мы — тресь.

— Боишься треснуть — к попу иди, к Киловатому, а не в партию большевиков.

Калачик, до этого усмехавшийся, вдруг вспылил:

— Антон! Ты хорошо знаешь, с кем мне по дороге, а с кем не по дороге. Не стебай по глазам!

Когда старик начинал злиться, Рудковский смущался. Почему-то именно в этих случаях он вдруг вспоминал, что по возрасту Филипп Михайлович — отец ему, что

еще в шестом году он поднял батраков на барона, бунтовщики сожгли ригу с хлебом, и казаки исполосовали его нагайками, а потом посадили в виленскую тюрьму.

В тот солнечный февральский день батраки лопатили в амбаре семенное зерно. Зерно понемногу таяло — то солдаты выпросят, то кто-то из своих вынесет, — и Рудковский начал охранять семенной запас с чрезвычайной бдительностью, дрожал над каждым фунтом: скоро весна. Первый коллективный сев!

Калачик крутился рядом. Между ними снова произошел нелегкий разговор. Калачик сказал, что часть баронских семян нужно раздать беднякам из села: им дали землю, но сеять нечем.

Рудковский понимал, что нужно. Но бывший матрос хотел как можно быстрее вступить в коммунизм. Верил, что самый близкий путь туда — через коммуну. Сколько он сил приложил, сколько слов потратил, чтобы убедить в этом батраков, чтобы удержать их в имении, организовать коммуну. Он хорошо понимал: недосев, недород — и все его усилия пойдут прахом, коммуна развалится, батраки, имеющие права на землю, разделят ее и станут теми же крестьянами, кто бедняком, кто середняком, а кто, чего доброго, и в кулаки может со временем выбиться. Он знал зловещую силу частной собственности, боялся ее, этой силы, и ненавидел.

От раздвоенности чувств — дать или не давать — Рудковский был особенно зол. Он сказал Калачику еще в гумне:

— У Киловатого да Войтика ямы выгреби и раздай беднякам. Ты — Советская власть.

Его поддержали батрачки, веявшие ячмень и гречку.

Оба понимали, что могут поссориться при людях, поэтому вышли из амбара во двор. После полумрака солнце и снег ослепили их, они жмурились, особенно

смешно — Калачик, лицо его сморщилось, как печеное яблоко.

— Браток ты мой, у Киловатого сына убили. Он после этого — зверь зверем. Сунься к нему — собак натравит, из дубальтовки, если хочешь, пальнет.

— Боишься за свое мягкое место? — едко бросил Рудковский.

— А что ты думаешь? И боюсь.

— Революционер — ничего не скажешь! Кулаков тебе жаль? Может, и барона жалеешь?

— Антон! — разозлился наконец и Калачик — не до смешков было, слишком серьезное дело.

— Да ты знаешь, что такое классовая борьба? — гремел на весь хозяйственный двор Рудковский.

Тут и нашел их Богунович. Помешал спору.

Они смолкли перед командиром полка, как мальчишки, захваченные врасплох во время потасовки.

Чувствуя, что его приход почему-то смутил местных руководителей, Богунович начал без дальних подходов, вступлений — прямо к делу:

— А я к вам за помощью.

— Снова хлеба? — вызверился Рудковский.

Богунович сообразил, что они, видно, говорили о хлебе, и, поскольку в этот раз пришел по другому поводу, почувствовал себя увереннее:

— Нет, не хлеба. Хочу... жениться. Но чтобы оформить по закону... По советскому. Не идти же нам в церковь...

И вдруг взвинченные, заведенные на крутой разговор, может, даже на ссору люди словно растаяли под ярким февральским солнцем. Лица их расплылись от добрейших улыбок.

— А чтоб тебе добро было! Да чтоб у тебя куча детей была! — весело выкрикнул Калачик.

А Рудковский сказал с иронией, показывая на старика:

— Так вот он перед тобой — наш архимандрит. Калачик, кажется, не на шутку испугался, набросился на своего идейного поводыря:

— А браточка ты мой, Антон! Что это ты из меня делаешь? Попа? Я и подступиться к такому делу не умею. Впервой же! Что нужно? Риза? Кадило?

— Я тебе накадилю! — пригрозил Рудковский. — Человек с серьезным делом пришел, а ты дурака валяешь, старый баламут.

— Антонка! Ей-богу ж не знаю, как это по-новому делается. Правда, что нужно? — уже совсем серьезно спросил председатель Совета, обращаясь одновременно и к Рудковскому и к Богуновичу.

Богунович сам не знал, что нужно. Он и церковного обряда не помнил: близких никого не женил, не выдавал замуж, венчание видел, когда учился еще в гимназии; в университете стал убежденным атеистом и церковь не посещал. Правда, позже, на фронте, ходил в церковь вместе со своими солдатами, и богослужение волновало его, может, потому, что так близко была смерть, подстерегала каждый день, не раз, едва выйдя из церкви, сменяли товарищей на передней линии — пусть и они помолятся! — и вынуждены были с ходу атаковать или контратаковать немцев. На фронте офицеры женились редко, во всяком случае, он только слышал о таких «окопных свадьбах». А нового, советского, порядка вступления в брак — так его, видимо, и нет еще! Кому теперь до свадеб!

Рудковский задумчиво поскреб затылок, сдвинув на глаза свою матросскую бескозырку; всю зиму человек проходил в легкой бескозырке, лишь несколько раз, в самые лютые морозы, Богунович видел его в зимней солдатской шапке.

— А что нужно? Книга нужна, чтобы записывать, кто родился, женился, умер… Не попу же записывать…

— Так и книги ж нет, Антонка.

— Значит, плохая ты власть. Книгой и той не обзавелся.

— А чтоб тебе добро было, Антон! — уже весело, чуть ли не с восторгом вскричал Калачик и сказал Богуновичу: — Вот учитель-мучитель.

— Мало в имении гроссбухов? — вел свое матрос. — Весь баронский кабинет завален.

— Верно, книгу найдем, — согласился Калачик и почесал затылок, сдвинув вперед облезший заячий треух тем же жестом, что Рудковский бескозырку, — будто передразнил, однако с серьезной озабоченностью спросил: — Думаешь, одна только книга нужна?

— А что еще?

— Э нет, Антон, так, брат ты мой, не пойдет! — с решительной и очень серьезной рассудительностью запротестовал старик.

— А как пойдет?

— А так пойдет… Родители должны быть.

— Какие родители? Что ты городишь?

— Нет родителей — пусть молодые выберут себе кто — отца, кто — мать. И дружки чтобы были. Без свидетелей венчать не буду!

— Ну, тебе-таки стоило бы в попы податься, — бросил добродушно Рудковский, в душе согласившись со всеми требованиями Калачика. Действительно, нужен же какой-то ритуал. На корабле вон какие ритуалы — по любому поводу: подъем флага, встреча гостя, начальника, военного корабля союзной державы…

Богунович тоже должен был признать, что в словах

старого крестьянина есть мудрая народная логика, и, чтобы не терять времени, сказал:

— Будут родители… Будут дружки. Когда приходить?

— Сегодня хочешь?

— Обязательно сегодня.

Калачик, прижмурившись, посмотрел на низкое зимнее солнце.

— Часа через два. Нужно, браточка, подготовиться.

— Куда?

— Куда, Антон? — озабоченно спросил Калачик у Рудковского.

— Не в твою же облезлую волость, — буркнул тот. Калачик прямо засиял весь, засветился.

— Вот правда! Вот, брат, голова! В зале! Товарищ командир! В зале, где паны балы устраивали, обвенчаем вас… И сыграем первую советскую свадьбу.

— Можно часа через три? — спросил Богунович, почувствовав вдруг, как застучало сердце, кровь ударила в виски — давно уже так не волновался. Лишний час нужен был, чтобы привезти Бульбу-Любецкого. Почему-то очень захотелось, чтобы шафером был Назар. Да и невесте дать время подготовиться.

К замку приехали на паре саней. Так нужно было, так устроила Альжбета или получилось случайно — этого Богунович не знал, — но в возке, когда-то, еще в царское время, принадлежащем командиру полка, ехали Мира и Альжбета. В обычных крестьянских санях — они втроем: Юстина, Назар и он, жених. Сергей за время подготовки и организации церемониала успокоился и теперь иронически посмеивался над своей свадьбой. Не над женитьбой, нет. Брак с Мирой волновал по-прежнему. Иронизировал над

формальностями, над тем, что даже такая революция не могла их отменить.

«А может, и не нужно отменять то, что выработано народной традицией? Может, традиции нужно расширять, углублять, освобождать от религиозных, классовых, национальных предрассудков?» Знал, что мысль не его — отца, адвоката, народника. Немного туманно пытался по дороге изложить ее Бульбе. Но тот, как всегда, максималист: все нужно уничтожить! Однако — странное противоречие! — к свадьбе Сергея и даже к этим церемониям Назар отнесся с неожиданной серьезностью. Шутил, но так, чтобы не затронуть самой свадьбы, ни оскорбить чувств жениха. Рыцарски любезничал с Юстиной, весело, но со страстью серьезного актера сам входил в роль шафера.

Юстина, воспитанная матерью в лучших шляхетских манерах, влюбленная когда-то, до появления Миры, в пана поручика, смирившись с крушением своей любви, держалась с гордым достоинством, но — видел Богунович — вся дрожала от волнения, внимая не просто пану капитану, а герою Дюма, убившему губернатора, убежавшему из тюрьмы и способному совершать безумные поступки, особенно во имя любви. Один Богунович видел, чувствовал, что ей, бедняге, рисовало воображение. Жалел Юстину, но восхищался ею. Возможно, в этот момент в ней рождается женщина: из угловатого подростка, у которого все чувства, как лава из вулкана, изливались на поверхность (так было с появлением Миры), Юстина на глазах превращается во взрослую девушку, у нее больше женской дипломатии, игры, чем, например, у Миры, которой хочется сразу, одним махом, разрушить все и всякие условности старого мира.

Наблюдения эти вместе с шутками Назара захватили настолько, что на какое-то мгновение Сергей забыл, куда и зачем они едут.

Около дворца было безлюдно, только трое солдат стояли недалеко от флигеля, где размещался штаб: наверное, служба не позволяла им отлучиться.

К парадному крыльцу, по которому, еще недавно сходили барон и его гости, была расчищена дорожка, и двери, запертые наглухо с той ночи, когда исчезла баронская семья, гостеприимно открыл кто-то невидимый, как только кони остановились перед крыльцом.

Назар соскочил с саней, протянул руку Юстине. Альжбета также помогла Мире сойти с возка. Делала она это и для приличия — чтобы невеста не скакала козой и, возможно, действительно, чтобы помочь: Мира путалась в Юстинином бальном платье, которое было ей до пят, во всяком случае, чувствовала себя не очень ловко.

Альжбета за руку подвела ее к Богуновичу.

— Принимайте ваше сокровище, пан поручик, — сказала по-польски.

Наверное, Мире почудились нотки юмора в этих словах, потому что она, сердито глянув на жениха, нервно засмеялась:

— Ну и комедия! — и, подобрав рукой подол, первая по-солдатски размашисто зашагала к крыльцу.

У Богуновича екнуло сердце: испортит торжество.

Альжбете, Юстине и ему пришлось немало потрудиться, чтобы уговорить ее надеть платье и вообще согласиться на «эту комедию», как она с самого начала называла все, что он задумал, о чем договорился с местными руководителями. Кажется, уговорил ее молчаливый начальник станции, хотя сказал Пятрас Баранскас всего какие-то две фразы, на первый взгляд банальные:

— Брак, дочка, дело серьезное. И все это, — кивнул он на Юстинино платье, — нужно не одной тебе…

Потом уже, вспоминая, Богунович догадался, что Миру тронуло, поразило: «дочка» и «ты» — так фамильярно деликатный литовец никогда к ней не обращался. Возможно, она устыдилась своего упрямства, оценила

свое поведение как каприз кисейной барышни.

Сергей догнал невесту на крыльце. Перед дверью они остановились: кому проходить первому?

Тогда та же невидимая рука еще шире распахнула обе половинки широких парадных дверей, и они вместе вошли в полутемный после солнечного сверкающего дня вестибюль.

Их встретил старец с широкой белой бородой. Богуновичу как-то показывали его, он знал, что это баронский слуга, лакей, в коммуну его не приняли. Но старец был не в лакейской ливрее, а в полотняной, с вышитой манишкой крестьянской сорочке, в белых суконных портах, заправленных в начищенные сапоги.

Старец с достоинством поклонился и сказал по-русски:

— Ваши пальто, господа, — но тут же поправился: — Товарышы...

Вторым человеком, которого увидели Богунович и Мира, была Стася. Она стояла у мраморной лестницы, празднично разодетая — вышитая кофточка, черная юбка, — и весело улыбалась.

Мира не любила эту проворную, шумную, иногда сварливую, иногда чрезмерно веселую вдову, хотя сама себе не могла объяснить — за что? Неужели только за то, что она чаще других попадалась на глаза, где бы они ни шли с Сергеем, и слишком независимо разговаривала с командиром полка? О том, что это ревность, обычная женская ревность, Мира не допускала и мысли. Для революционеров не существует такого чувства.

Когда они разделись, Стася принялась их строить, словно командир солдат — где кому встать. Разве что без зычных команд, а с приглушенным смехом, который тоже не понравился Мире.

— Товарищ командир, возьмите невесту под руку! — приказала Стася так властно, что они вынуждены были

подчиниться. Стася придирчиво осмотрела их, приблизилась и английскими булавками приколола им на грудь красные банты: Мире, ему, затем Бульбе-Любецкому и Юстине. Альжбете сказала, извиняясь:

— Вам, пани Баранскене, необязательно. Скорее всего пятый бант не был припасен.

— А теперь идите за мной.

Повела наверх по недавно вымытым (еще не просохли) мраморным ступеням парадной лестницы.

На втором этаже перед дверьми, за которыми слышался шум голосов, Стася еще раз осмотрела их и решительно распахнула двери.

У Богуновича перехватило дыхание, и он тут же почувствовал, как задрожала Мирина рука; она крепче прижалась к его френчу, будто в поисках защиты.

Зал был полон. Люди повернулись к ним — серьезные, заинтересованные, — притихли. Богунович подумал, что даже в тот день, когда делили землю, народу здесь было меньше. Пришли не только бывшие батраки — теперешние хозяева имения, не только сельчане, но и многие солдаты его полка. Все перемешалось, всех объединил интерес к первой советской свадьбе. Это взволновало еще больше.

Стася скомандовала:

— А ну, бабы, расступитесь!

В центре было больше женщин и детей — девочек.

Люди расступились, создавая живой коридор, в конце которого, казалось, далеко-далеко, Богунович увидел стол, накрытый красной тканью. За столом стоял Калачик в черной сатиновой «толстовке» (насчет цвета рубашки было немало споров, но другой у председателя Совета не нашлось). На Богуновича его наряд как раз произвел впечатление: просто, торжественно, черная сорочка хорошо оттеняла белые, аккуратно

причесанные волосы старика и подстриженную по такому случаю бородку. Калачик казался волхвом, добрым волшебником, приготовившимся совершить чудо. Он широко, по-хорошему улыбался. Понимал, что ему надлежит быть серьезным, как попу, но ничего не мог поделать со своим характером. Из-за этого Рудковский, стоявший сбоку от стола рядом с Пастушенко и Степановым, недовольно хмурился.

Стася кивнула им и пошла к столу.

Они двинулись за ней. Альжбета шла последней, одна. Видимо, поэтому женщины начали перешептываться, подзывать Альжбету, явно желая что-то подсказать ей. Но она, наверное, догадалась. Не доходя до стола, свернула к группе Рудковского — Пастушенко.

Молодые остановились перед маленьким самотканым ковриком, лежавшим у стола.

Заметив коврик, Мира, прочитавшая в гимназии немало романов, недовольно подумала, что коврик — атрибут церковный. Банты она одобрила, коврик — нет, не хотелось становиться на него. Но как обойдешь? Тем временем Стася взяла Пастушенко за рукав френча и, подведя к Альжбете, поставила рядом. Старый полковник покраснел, как девушка, — от гордости и волнения. Зал одобрительно зашумел: теперь вроде все как положено — у молодой есть мать, у жениха — отец. И шафера на месте.

Косолапого, кряжистого, как луговой дуб, Бульбу-Любецкого, щедро раздававшего игривые взгляды и улыбки, рассматривали с интересом: мало кто его знал, да и увидели, что человек веселый, а веселых любят.

Крестьянки постарше, стоявшие ближе к столу, хором зашептали:

— Первая… первая становись на подстилочку. Твой верх будет… Смелей ступай!

От этой неожиданной подсказки Мира, не терявшаяся

даже перед анархически настроенными солдатами, смутилась. Как бы спрашивая, посмотрела на Сергея. Он подбодрил ее улыбкой, и она первая ступила на коврик.

Бабы довольно зашумели.

Калачик не выдержал своей важной роли и весело выкрикнул:

— А-а, чтоб вам добро было!

Тем временем Стася сунула в руку невесте что-то маленькое, той показалось — серебряную монетку.

Спросила:

— Что это?

— Колечко. Когда скажу — обменяетесь, — и упрекнула: — Как дети, ничего не подготовили.

Передала такое же кольцо Сергею, виновато улыбнувшемуся.

Колечки были самодельные — из серебряных гривенников. Мире хотелось отказаться: если коврик, на который она первая ступила, еще можно истолковать как народную традицию, то кольца уже наверняка из церковного обряда, за такое, чего доброго, из партии можно вылететь.

Посмотрела на Степанова, на Рудковского, в конце концов, они здесь старшие, из большевиков. Как они относятся к кольцам? Странно, на лицах нет даже улыбок, оба серьезные, сосредоточенные. Будто заворожила их эта напористая шляхтянка. Теперь нет сомнения: Стася — никто иной — выдумала всю эту церемонию. Но, в конце концов, раз Степанов и Рудковский молчат, значит, вдова делает то, что надо. И этот смешной огарик, так весело подмигивающий — словно заигрывает. Вот он сделался серьезным и заговорил звонко, молодым голосом:

— Товарищи и граждане! Сегодня у нас особенный день… первая свадьба… наша… народная.

— Советская, — подсказал Рудковский.

— Во — советская! — будто обрадовался Калачик. — Венчаются…

Рудковский кашлянул.

— А чтоб тебе!.. — смешно сморщился старик. — А как же?

— Вступают в брак.

— Вот голова! Надо же… Вступают в брак по советскому закону гражданин Богунович Сергей и гражданка… — Калачик первый раз заглянул в бумажу: — Шкляр Мира Наумовна…

3

А на другой день пришло похмелье. Горькое.

У Богуновича и в самом деле болела голова. Обанкротился гуляка Назар Бульба-Любецкий, еще раньше вычистивший в окрестных местечках все винные погреба. На такое торжество, как свадьба друга, раздобыл одну-единственную бутылку шампанского — для женщин; мужчины же вынуждены были пить привезенный им вонючий армейский спирт, от которого сильно попахивало керосином.

Утром Сергею, когда умывался на кухне, деликатно выговорила пани Альжбета: нехорошо, пан поручик, жениху перепивать.

Он почувствовал себя виноватым и попросил у хозяйки прощения. Альжбета сразу подобрела, ибо выше всего на свете ставила учтивость.

— Не у меня просите — у жены.

Вернувшись в комнату, попросил прощения у Миры.

Она счастливо засмеялась:

— Что ты, Сережа! Вы с Назаром такие интересные были — как молодые обезьяны.

Так же весела была Мира по дороге в штаб: они поехали в том же возке, с тем же солдатом, что вез их вчера на свадьбу.

Еще более просветленной вернулась она из казармы второго батальона — барака, где когда-то жили батраки; хорошо поговорила с солдатами.

Когда Пастушенко догадливо вышел из комнаты, Мира прижалась к мужу, прошептала:

— Сережа, дорогой мой, если б ты знал, как хорошо быть женой: не нужно бояться оскорблений.

Богуновича передернуло. Какой же он дурак! Не видел, что два месяца она жила под этим страхом. И очень может быть — оскорбляли. Солдаты есть солдаты. Да и крестьяне с их нравственным максимализмом. Но она молчала. Сергей выругал себя: так долго не мог додуматься до простой вещи — оформить их отношения любым образом, по любому закону — церковному, светскому, советскому.

А через какой-нибудь час пришло оно — тяжелое похмелье в виде телеграммы из штаба фронта, в которой говорилось, что демобилизация отменяется, мир в Бресте не подписан.

Сначала Богунович испытал состояние шока — был оглушен, подавлен. Казалось, кто-то безжалостный очень зло пошутил над ним, над Мирой, над всеми… Над всем народом. Как можно так шутить?!

А когда приехали соседи — Черноземов и Скулонь — с тем же известием, Богунович взорвался:

— Я перестаю уважать правительство, которое декретирует мир народу и не подписывает его… Ваш Ленин…

— Не смей! — испуганно закричала Мира.

Флегматичный латыш Скулонь схватился за кобуру:

— Если ты скажешь плёхо о товарищ Ленин, я застрелю тебя.

Между ними встал Черноземов, по-отцовски разведя их своими могучими руками, в кожу которых въелись уголь и металл.

— Спокойно, товарищи, спокойно… Вот петухи молодые! Ай-яй. Еще заклюют друг друга, чего доброго.

С другой стороны выступал миротворцем Пастушенко:

— Сергей Валентинович, голубчик, не нужно. Возьмите себя в руки. Нельзя же так…

Богунович обессиленно сел, облокотился о стол, сжал руками голову — почувствовал под ладонями удары пульса в висках, удары, несущие острую боль в голову, в грудь.

Черноземов сел рядом, положил свои большие руки на стол перед его, Богуновича, глазами. Удивительные руки. Удивительно спокойные. И слова у него особенные. Несмотря на звон в ушах, на острую боль в голове, Богунович сразу услышал их. Черноземов сказал, видимо, Мире:

— Плохо вы политически просвещаете своего командира. Каждому солдату известно, что Ленин за мир… Против мира — «левые» и Троцкий. А Троцкий вел переговоры…

Богунович вспомнил человека, так оскорбительно сунувшего Мире в вагоне шоколад, и снова взорвался:

— Расстрелять его мало, вашего Троцкого!..

— Не смей! — снова крикнула Мира.

Возмутился Скулонь:

— Ты — за кого? За кого ты?

— Я? — Сергей вскочил. — Я — за народ. За русский народ. И за латышский! И за латышский, черт возьми! За белорусский. За еврейский. Я за тех, кто не хочет умирать. А ты за кого? Ты сбросил одних идолов, чтобы кланяться другим… Подумаешь — Тро-о-цкий! Святыня!..

Черноземов, легко взяв Богуновича за локоть, принудил его сесть, заговорил, усмехаясь и качая головой:

— Вот не думал, что ты такой горячий. Мы считали тебя самым спокойным командиром. Ты чего разошелся? Ты знаешь, какие условия немцы поставили? Нет.

И я не знаю… Может, такие, что и мы с тобой не подписали бы мир.

Богунович повернулся к командиру Петроградского полка, заглянул в глаза, глядевшие строго и ласково из-под рыжих опаленных бровей. Глаза эти удивительно успокаивали.

— Чего я разошелся? Я вам скажу, Иван Филаретович, чего. Я три с половиной года убивал. Я по горло в крови. Я захлебываюсь в ней. Это вы можете понять?

Черноземов вздохнул:

— Это, сынок, я могу понять.

Слова его еще больше успокоили. Или, может, не столько слова, сколько длинная пауза — будто минута молчания в память погибших. А потом, наверное, каждый боялся нарушить ее, эту мирную тишину, все понимали: лучше помолчать, чем ссориться, да еще так — с выходом на высокую политику, затрагивая людей, которых никто из них лично не знал и о которых поэтому не мог иметь собственного мнения. Эмоции — плохой советчик в любом споре, в политическом — тем более.

Богуновичу стало стыдно за свою несдержанность.

Однако и латыш — тоже порох. О латышах говорят, что они спокойная нация, а этот хватается, черт, за наган. Хорошо, Черноземов не дал воли своим эмоциям. А он, Богунович, видел, что кузнец может быть горячим. Волевой командир: в его пролетарском полку — дисциплина, какой он, кадровый офицер, позавидовал.

В тишине услышал Сергей, как за спиной у него тревожно дышит Мира. Понял: боится за него, боится, что за такие высказывания питерские большевики пришьют ему контрреволюцию. А она же, как никто, знает, что хотя он и беспартийный, но всей душой за революцию.

Сергею стало жаль жену: за одни сутки он несколько раз уже отмечал, что она все больше и больше становится похожей на его мать, в ней как бы пробудилась разом вся женственность.

Первым после молчания подал голос Черноземов:

— Ну, пошумели — и хватит. А теперь давайте спокойно подумаем.

— О чем?

— О том, например, что будем делать, если немцы начнут наступление.

Богунович вспомнил батареи, замеченные им, когда ходил к немцам, вспомнил донесения разведчиков, что перед ними свежая дивизия, представил картину немецкого наступления и, пожалуй, впервые за всю войну ужаснулся. Поднялся, взволнованно прошелся по комнате, остановился напротив Черноземова.

— Иван Филаретович, если немцы начнут наступать, мы будем сметены за час боя.

Черноземов опустил голову — как бы задумался над ответом. Потом оживился, сверкнул глазами, осмотрел сразу всех — Пастушенко, Скулоня, Миру. Однако остановил взгляд на Богуновиче.

— Что же ты предлагаешь? Открыть фронт без сопротивления? Сдать немцам Петроград, Москву? Пусть, кайзер душит революцию?

На это Богунович не знал, что ответить. Спросил неуверенно:

— А вы что предлагаете?

— Нужно стоять насмерть! — ответил Скулонь.

— Зачем пугаешь людей, Арвид? — тихо поправил своего комиссара Черноземов. — Будем стоять на жизнь. Нужно задержать немцев. До подхода новых полков Красной Армии. Рабочих полков. Мы можем рассчитывать на возмущение немецких солдат, которых генералы бросят в новую бойню. Два месяца перемирия, братание, большевистская агитация — все это не могло не просветить их мозги. Разве не так?

— Если вы дезертируете все, Петроградский полк все равно будет защищать свой участок... До последнего бойца! — все с той же решительностью, может, излишне пафосно сказал латыш. — Товарищ Ленин как говорил? Теперь мы все оборонцы...

— Мы не дезертиры! — возмутился Пастушенко, но тут же понизил голос и разъяснил: — Мы — военные люди, голубчик. Мы присягали... народу, революции. Конечно, мы будем стоять... Если будет приказ...

Богунович прислонился к косяку окна, чувствуя себя обессиленным, загнанным в угол, из которого не видно выхода. Все еще кипела злость на правительство, на главное командование. Что там делается наверху? Одна рука не знает, что творит другая? Такого даже при Керенском не было. Отдать приказ о демобилизации и через сутки отменить. Чем они думают?

Но огонь затухал. Богунович понимал, что поворот произошел не из-за чьего-то чудачества или сумасшествия. И не из-за ошибки адъютанта или телеграфиста. Что-то, конечно же, случилось. Петр

Петрович сказал разумно: мы — военные люди. Да, мы готовы защищать свои позиции. Но с кем, полковник Пастушенко? С кем? Через неделю-другую мы останемся с вами вдвоем. Ну, еще Степанов, Мира… Может, несколько комитетчиков-большевиков, если комитет проголосует. Этими силами вы хотите остановить немцев? Наивно.

Почему вы смотрите на меня? Ожидаете, что скажу? Смешно. Господа… товарищи, я не фельдмаршал Кутузов. Я всего только поручик Богунович, возненавидевший войну через три месяца после того, как попал в окопы, по дурости своей, вольноопределяющимся. Если хотите знать, солдаты выбрали меня командиром за мою ненависть к войне. Я согласился, поверив в мир. А теперь я должен вести их на смерть?

Однако они действительно ожидают, что я скажу. А что сказать? Сложить с себя командование? Стать дезертиром? Нет! Дезертиром я не стану!

«Я знаю, этого не простила бы мне и ты», — сказал он Мире, приблизившись к ней, настороженной, почти испуганной. Вдруг захотелось взять ее за руку и повести из этой комнаты, где снова запахло кровью, подальше от линии фронта, туда, где тишина, мир, покой. А где он, покой? «Покой нам только снится».

Сергей взял Мирину руку и, к своему собственному удивлению, сказал:

— Вчера я женился. Это — моя жена. Поздравьте нас.

Стояли сильные февральские морозы. Возможно, последние перед весной. В такой собачий холод даже в самый разгар войны фронт замирал, люди, как кроты, забивались в землянки, уходили под землю. Офицеры пили водку и резались в карты. Солдаты в своих норах, там, где были печки и дрова, досыпали те часы, что не доспали во время боев.

Теперь было не до сна. Богуновичу не спалось и ночью,

да и все в полку, видел, были возбуждены, хотя к тому, что подписание мира сорвано, относились по-разному: с горечью, разочарованием, недоумением. Этих людей Богунович понимал. Возмущали его те, кто одобрял «левых» и Троцкого. «Неужели и Назар радуется?» — думал он. Но заглянуть к соседу было недосуг, да и появилась боязнь оставлять полк. А вдруг самое страшное случится, когда он будет отсутствовать?

Он ездил из батальона в батальон, ходил из роты в роту. Заставлял солдат работать — привести в порядок оружие, укрепить пулеметные гнезда, позицию батареи. Обучил новых пулеметчиков и артиллеристов вместо тех, кто сам себя демобилизовал; дезертировал — слово было непопулярное, ведь, по существу, революция, Декреты о мире и о земле как бы дали каждому свободу решать — оставаться в армии или ехать делить и пахать землю.

Радовало лишь одно, что было неожиданностью: учились солдаты новым военным специальностям охотно. Может, потому что занятия чаще проходили в блиндаже, в тепле: батальоны занимали позиции близко к лесу и дров хватало.

А работать на морозе солдаты не хотели. Это удручало. Он понимал людей, потому что и сам почти со страхом думал по утрам, что придется немало часов провести под небесной крышей, под прекрасной, но очень уж настывшей голубизной; казалось, даже солнце излучало не тепло, а холод.

Однако, не приложив труда, невозможно было привести в божеский вид основательно запущенные за два с половиной месяца перемирия укрепления. А без них придется или удирать, подмазав пятки, от первой же немецкой атаки, или умирать бесславно, подставив себя под пули.

Что фронт в случае немецкого наступления удержать невозможно — это Богунович знал как «Отче наш». Но правы Черноземов, Скулонь, да и свои — Пастушенко, Степанов: кайзеровцам нужно показать, что русские не

утратили способности защищать свою родину, что поход немцев в глубину русских земель, на Петроград, на Москву, не будет триумфальным, за каждую версту новой территории им придется дорого платить.

Только в таком случае могут протрезветь немецкие солдаты. Только в таком случае!

Он мысленно спорил с самим собой, с правительством, с Рудковским, с Бульбой, с унтерами, с солдатами, уклонявшимися от работ, с женой, пытавшейся доказывать, что наступать немцы не могут, ибо солдаты, познавшие, что такое мир, прошедшие через братание с русскими солдатами, набравшиеся революционного духа, при первом приказе о наступлении повернут штыки против своих генералов, офицеров. Он хотел верить в это, но не мог. И Пастушенко не верил. Степанов готов был поверить, но они с полковником лучше знали механизмы военной машины, особенно немецкой. «Заесть» эти механизмы может только в одном случае: если немцы встретят сопротивление. Первые же удары будут нанесены по всем правилам прусской военной стратегии и тактики — на уничтожение остатков русской армии.

Мира тоже все эти дни была в ротах и взводах, вела агитацию.

Богунович попросил ее:

— Пожалуйста, не вколачивай солдатам в головы, что немцы не могут наступать. Ты окажешь плохую услугу мне, командиру. Мы помешаем друг другу.

Мира растерялась:

— Так о чем же мне говорить?

— О чем? Мне очень понравились слова Скулоня или Черноземова, не помню, кто из них сказал, да это и не имеет значения. Помнишь, они сказали… Ленин учит, что теперь мы все стали оборонцами. Мы обязаны оборонять Отечество! Хорошо, если бы ты нашла в

газетах ленинское выступление. Я хотел бы почитать сам, собственными глазами. Теперь это очень важно, пойми! Для меня. Для солдат... Для всех нас.

Под вечер Богунович зашел в штаб — узнать о результатах поездки Пастушенко на армейские склады. Надо было послать интендантов? Боже милостивый! Какие там интенданты?! Неграмотные ефрейторы! Из этой службы не осталось ни одного офицера. Поэтому он вынужден был послать на склады начальника штаба. Порадовался, что тому удалось выбить немного патронов, снарядов и овса. Овес не только фураж — солдаты научились обдирать его в ступах и варить кашу. Голод всему научит.

Черноземову он охотно рассказал о своих делах по телефону, по существу, докладывал, будто кузнец был его начальником; у них даже выработался особый код — на случай, если бы немецкие разведчики подключились, к проводу.

За правый фланг, где соседом был Петроградский полк, Богунович не волновался: эти будут стоять насмерть. Тревожил Бульба. Дважды посылал к нему вестового. Назар отвечал письменно: «Сережа! Мир — бардак! Плюнь на все. Пошли они...»

Явно был пьян. Нужно съездить. Обязательно съездить!

Богунович ругал штабы дивизии и армии, не дававшие абсолютно никаких сведений ни о состоянии обороны соседних участков, ни о противнике. Хорошо, что ребята Рудковского еще раньше сходили в немецкий тыл и кое-что принесли. Известия мало утешали, но, по крайней мере, не чувствуешь себя слепым и глухим. Во всяком случае, он, командир, знает, сколько батарей может ударить по его полку. Другие при такой разлаженности разведки и этого, наверное, не знают.

4

Шестнадцатого февраля мороз ослаб, небо

нахмурилось. Порхал снежок. Ночью Богуновичу пришла мысль сменить позицию батареи, подтянуть пушки ближе к передовой, чтобы в случае немецкой атаки они могли бить картечью.

Батарейцам затея командира не понравилась: нужно было вылезать из обжитых землянок на голое место, где, пока не построят укрытия, даже не погреешься. Батарейцы тихо, без шума, без бунта, отказались исполнить приказ. Пришлось искать Степанова, чтобы получить решение полкового комитета. Хорошо еще, что Степанов все его меры по обороне участка полка считает правильными. Но не во вред ли делу подобная демократия в такое время? Сказал об этом Степанову, Пастушенко.

Полковник промолчал. Степанов же ответил как бы с сожалением:

— Ох, налетишь ты, Сергей Валентинович, на солдатскую пулю. Не все в революции умные, не всем сразу дано сообразить, что ты им же добра желаеиг.

Впрочем, настроение у Богуновича испортилось не из-за ущемления его командирской власти.

Сергея радовало, что, несмотря на возможность возобновления военных действий, самодемобилизации было на удивление мало, дезертировали единицы, меньше, чем во время перемирия. Хотелось понять причину этого явления. Остались самые сознательные солдаты, понимающие свою ответственность так же, как понимают он, Пастушенко, Степанов, комитетчики-большевики? Или, может, солдат сдерживает его давешняя расправа над дезертиром Меженем? Вспоминать Меженя было неприятно, но Богунович убеждал себя, что в любой армии в исключительных случаях может возникнуть ситуация, требующая и такой суровой меры. Больше волновало другое: как легко он избавился от мук совести — человека ведь убил, не зайца! Очерствел, значит, и он. А это пугало.

И вдруг — как обухом по голове известие: среди бела

дня дезертировал почти весь гаубичный взвод. Это было тем более непонятно, что со старой позиции он снял, перебросил вперед пушки, а гаубицы оставались там же, у теплых землянок.

Неприятное известие это принес командир орудия унтер Ромашов, член батарейного комитета. Богунович, наверное, сильно побледнел, потому что Пастушенко всполошился:

— Не нужно, Сергей Валентинович, прошу вас.

Полковник, наверное, думал, что он бросится за батарейцами так же, как за Меженем.

Нет, броситься во второй раз он не мог, не было сил. Пришло изнеможение, появилось очень опасное чувство безысходности, беспросветности. А что, если вот так же снимутся с передовой все роты, батареи, батальоны?

Ромашова зло распекал Степанов: как он, большевик, не заметил сговора, не предупредил такого массового дезертирства?!

Каплей утешения было разве что одно: Степанов употребил то же слово — дезертирство, произносить которое когда-то запрещал ему, чтобы не злить солдат.

Нужно было заткнуть щель. Что-что, а орудия, когда понадобятся, должны быть на месте все — пушки, гаубицы. Как и пулеметы. Но кем заткнуть? Где те люди, которых можно за день, за неделю научить стрелять из гаубицы? Пулеметчиков обучить проще.

Но, как говорят, беда не ходит одна. Когда Богунович не очень охотно и без ясной цели собрался ехать на батарею (Пастушенко тут же высказал желание поехать с ним), пришел телеграфист и с ленты испуганным голосом прочитал телеграмму из штаба фронта:

«Немецкое командование заявило, что оно возобновляет военные действия восемнадцатого в двенадцать часов дня. Обеспечьте эвакуацию

материальных ценностей армии, артиллерии и арсенала — в первую очередь».

У Богуновича заняло дыхание, ослабли ноги. Нет, он не испугался. Он, может, единственный, кто ни на миг не сомневался в том, что немцы пойдут в наступление, и готовился к этому активно, деятельно. Но все же телеграмма его ошеломила. Прежде всего — точно названным сроком, затем — указанием штаба. Ошеломление перешло в возмущение, и он при телеграфисте, не стесняясь самых крепких слов, выплеснул свои чувства:

— Сволочи! По условиям перемирия они должны были заявить об этом за неделю. А наши... тупоголовые идиоты! Я без вас знаю, что при отступлении нужно вывезти в первую очередь. Вы скажите, что нам делать здесь, на линии фронта. Что нам делать? — крикнул он, остановившись перед Пастушенко.

Старый полковник, может быть, впервые в жизни не ответил с военной точностью и интеллигентской деликатностью, а только пожал плечами; он сам не представлял, что можно предпринять в такой ситуации, как понимать телеграмму: обороняться? отступать?

Степанов тоже ничего не сказал, но сильно закашлялся. Отвернувшись в угол, сплюнул в скомканный платок, подошел к телефонам и начал крутить ручку аппарата связи с Пролетарским полком. Там трубку взял Скулонь.

Степанов спросил без приветствия, без обычных вступительных слов:

— Телеграмму получили?

— Да, — ответил Скулонь громко, чтобы перекричать шумы.

— Что будете делать?

— Петроградский пролетарский полк будет стоять насмерть, — отчетливо, словно диктуя, проговорил

латыш.

Степанов прикрыл ладонью трубку и сообщил, пожалуй, с радостью:

— Они будут стоять… — только «насмерть» опустил, посчитал лишним.

Эта спокойная радость чахоточного председателя комитета, радость от того, что соседи остаются верными слову, поразила Богуновича. Ему стало стыдно за свою несдержанность. Раскричался, как истеричная барышня.

— Мы хотим встретиться, — кричал между тем в трубку Степанов и, выслушав ответ, сообщил: — Черноземов и Скулонь приедут к нам вечером.

Но раньше, чем приехали пролетарцы, появился Бульба-Любецкий. На подпитии. Веселый, лихой, как казацкий атаман. Шапка набекрень, бекеша нараспашку. Но Богунович, лучше других знавший Назара, сразу отметил, что все это показное, в действительности же он не только растерян, но, пожалуй, и испуган, хотя вся жизнь его подтверждала, что человек этот никогда ничего не боялся. Ни бога, ни черта, ни властей, ни немцев. Бульба спросил с порога, не поздоровавшись:

— Слышали? Они хотят укусить нас за ж… Тевтонские собаки! Кайзеровские холуи!

Пастушенко без слов взял со стола телеграфную ленту.

— Они не укусить хотят — задушить.

— Неужели они думают, что мы вот так возьмем и подставим им шею? — спросил Богунович.

Бульба удивился его спокойствию.

— Что ты собираешься делать?

— Воевать, — так же спокойно ответил Богунович. — С

кем? — закричал Бульба. — Сколько у тебя штыков?

— Пятьсот четырнадцать, — ответил Пастушенко; еще вчера начштаба потребовал от батальонных точные списки личного состава.

— Откуда? Где вы их взяли? — не поверил Бульба.

— Немного меньше, — уточнил Богунович, имея в виду дезертирство гаубичного взвода. — Но у нас есть хороший резерв — партизанский отряд Рудковского.

— Ну, ты просто Давыдов! — с долей иронии высказал свой восторг Бульба, но тут же снова как бы усомнился: — Чем вы держите эту крестьянскую стихию? У меня… хорошо, если наберется сотня. Полк! — хмыкнул презрительно. — Революция всех демобилизовала. И нельзя винить их! — и тут же повторил озабоченно и угрюмо: — С кем воевать, Сергей? Дорогой мой Давыдов!

Швырнул папаху на стол, тяжело плюхнулся на твердый стул.

Богунович слушал забористую ругань друга, морщился. Пастушенко — тоже. И, безусловно, не потому, что у них обоих такие уж нежные уши, просто оба почувствовали, что человек выплескивает свое отчаянье, даже, пожалуй, страх.

Когда Бульба исчерпал запас бранных слов, Сергей сказал:

— Не обидишься, если я тебе кое-что предложу?

— Давай! Я знаю — это приговор великому Бульбе. Но я не дамочка. Я не обиделся, когда меня присудили к смертной казни. От любого приговора я становлюсь только злее.

— В таком случае мне лучше помолчать. Злость твоя нам ни к чему, особенно теперь.

— Не ломайся, как салонная барышня. Начал — говори.

Но Богунович еще некоторое время раздумывал. Потом подошел к печке, прислонился спиной к горячему кафелю и решительно, как старший по званию, сказал:

— Поставь надежный взвод на большаке, у Былинки. Задача: продержаться часа два, не дать немцам зайти в тыл моего третьего батальона. А сам… Сам бери батарейцев, подпрягай орудия и давай ко мне… командиром объединенной батареи.

Бульба не повернулся к Богуновичу, не удивился, только наклонился к столу, будто спрятал глаза от внимательного взгляда Пастушенко, сидевшего напротив. Спросил глухо:

— А как же позиция полка?

— За твоим полком что? Пуща. В пуще почти нет дорог. Их перекроет Рудковский со своим отрядом. А тут — железная дорога, в десяти километрах, на станции, — армейские склады. Нужно думать не только о собственных позициях…

Тогда Бульба круто, вместе со стулом, повернулся к своему будущему командиру и сказал, немного, правда, паясничая, но явно с восхищением и согласием:

— Нет! Ты — не Давыдов. Ты — Кутузов. Стратег! А я — дерьмо… А еще хотел выторговать у Сашки министерский портфель. Министр, такую твою! — и рассмеялся; было в этом смехе презрение к себе, было и успокоение душевное, радость, что нашелся какой-то выход.

За поздним солдатским обедом, с рюмкой водки, привезенной Назаром, провели что-то вроде военного совета. Присутствовали командиры батальонов, некоторые члены комитета. Согласие Бульбы перейти в его полк с орудиями и командовать батареей успокоило Богуновича. Остаток дня он прожил, прокомандовал так, словно получил значительное подкрепление.

Приехал домой поздно вечером и… очень

встревожился: не было Миры. Его появление без жены, в свою очередь, встревожило Альжбету и Юстину: где Мира?

Пошел на станцию, позвонил в штаб. Ответил дежурный член комитета: в связи с заявлением немцев решили, что у аппаратов ночью должен дежурить кто-то ответственный и осведомленный. Хотелось попросить Пастушенко: может, он что-нибудь знает? Постеснялся. Раньше, когда Мира задерживалась в батальонах, он не поднимал такой тревоги. Страх охватывал его только тогда, когда она шла к немцам. А что, если снова пошла к ним? Нет-нет, это безрассудство. В самые лучшие времена перемирия она ходила туда только с разрешения комитета.

Однако тревога его росла и порождала в воображении самые страшные картины.

Возбуждение квартиранта заметил даже флегматичный Баранскас, использовавший приход командира на станцию, чтобы посоветоваться, что делать с армейским имуществом, накопившимся в станционном пакгаузе. Имущество это было адресовано частям, давно переведенным на другие участки огромного фронта или совсем расформированным. Из-за неразберихи, плохой связи, особенно в интендантской службе, на телеграммы начальника станции почти никто не отвечал. А был даже такой ответ: обращайтесь в управление по учету трофеев. Кто-то, видимо, глянув на военную карту, посчитал, что станция отбита у немцев.

В пакгаузе были даже тулупы.

Богунович горько упрекнул железнодорожного службиста: солдаты мерзнут, а тулупы гниют! Завтра же отдать солдатам его полка. Да, под его ответственность!

Баранскас удивился и немного испугался: с какой решительностью молодой командир распорядился чужим имуществом. За всю свою долгую полувоенную службу на прифронтовой станции он не знал случая,

чтобы даже генералы отдавали такие смелые приказы.

Баранскас не сразу сообразил, в чем дело. А Богунович просто не хотел оставить немцам даже чурки дров, заготовленных для паровозов. Чугунные печки? Разбить! Цемент? Есть даже цемент? Замочить! Рельсы? Что можно сделать с рельсами? Ничего? Тогда утопить в реке костыли и гайки! Керосин? Раздать крестьянам!

— Пан поручик! — взмолился начальник станции.

— Баранскас! Завтра вечером в пакгаузе должны остаться одни мыши… Вы же сами убеждены, что вагонов никто нам не даст.

— Вы жестокий человек, товарищ командир.

— Нет. Я добрый человек. Я готов сжечь… утопить в реке все, что может служить войне… врагу… А думаю я сейчас об одном: где моя жена?

— Я вас понимаю. Но у меня иная забота. Моя Альжбета сказала: умру, а в тыл не поеду.

— Что ее испугало в Поволжье? Такая душевная женщина! Да просто язык не повернется ее оскорбить.

Старый, лысый железнодорожник покраснел от похвалы его жене.

— Кроме того, что ее называли «пшечкой» и смеялись над ее произношением, других оскорблений, кажется, не было. Но это же мелочь. Тайны женской психологии, не так ли?

Богунович подумал о тайнах Мириной психологии. Тайны есть, но какие чудесные тайны. Однако это мало утешило. Где она?

Разговор с Баранскасом напомнил о немецких лазутчиках. Да и свои солдаты, дезертиры… За время войны он если и не все видел, то слышал обо всяком — и о самых высоких подвигах, и о самых чудовищных, низменных преступлениях, совершавшихся солдатами и

даже офицерами.

Мысль, что кто-то может учинить насилие над его женой, довела до такой душевной муки, какой он не переживал никогда.

Не выдержал: позвонил дежурному в штаб и попросил прислать вестового с его конем. Мчаться! Одному сразу во все стороны, во все батальоны, по всем дорогам!

Но не успел приехать вестовой, как Мира появилась на станции. Ее привез Скулонь. Она, оказывается, забрела к соседям, в Пролетарский полк, и полдня изучала, как поставлена большевистская агитация у петроградцев.

Богунович представил себе молодого латыша, пожалуй, его ровесника, с красивой каштановой бородкой, и ощутил гаденькое чувство ревности. Разумом понимал, что унижает этим чувством и себя, и жену. Но одолеть его не мог. Почему этот чертов латыш не захотел увидеться с ним, не зашел погреться, так быстро уехал назад?

Раздраженно упрекнул Миру: как можно в такое время, никого не предупредив, без сопровождения забираться бог знает куда? Она признавала себя виноватой. Но это было как соль на кровоточащую рану ревности. Особенно не понравилось, как она рассказывала про Петроградский полк — возбужденно и радостно. А чему радоваться? Чему? Что послезавтра немцы обрушат на нас свой огонь? Знает ли она о немецком наступлении? Знает.

— Так чему же ты радуешься? — спросил он почти зло.

— Я не радуюсь. Я горда за тех людей, Сережа, это настоящие революционеры!

— Это — мишени для немецких пушек! Мира крикнула в отчаянии:

— Сережа! Не нужно так! Не нужно так! Я прошу тебя.

Стало жаль ее. В конце концов, нельзя забывать — она

женщина. Да какая там женщина! Ребенок! И войну до этого видела только в минском госпитале, где работала по заданию большевистской организации.

Они шли домой молча.

Ревность у Сергея исчезла, но осталось чувство вины. Как он мог оскорбить Миру ревностью, подозрением? До чего же несовершенен еще человек! Темный раб предрассудков, веками унижавших его, формировавших такую же рабскую психологию.

У себя в комнате, осторожно обходя то главное, что волновало обоих, они говорили о разных мелочах.

Сергея тревожило, что она больше не рассказывает про поход к пролетарцам, — конечно, почувствовала, что разговор неприятен ему. Он выбирал подходящий момент, чтобы как-то тактично вернуть ее к тому радостному рассказу.

Пришел Баранскас.

Приказы командира об уничтожении имущества, за которое он как начальник станции отвечал, сильно взволновали его. Ему хотелось многое выяснить. Уничтожить — да, но как это делать? С какими людьми? Какие документы для своего оправдания он получит? В собственном доме он чувствовал себя более уверенно: в случае чего поможет решительная Альжбета, да и квартирант здесь, наверное, «сбросит мундир».

Баранскас пригласил Богуновича на свою половину. Хорошо, конечно, что Альжбета рядом, но неженское это дело — их военные заботы. Жена и дочь сидели в спальне. А они беседовали в гостиной, без чая.

На этот раз начальника станции поразило равнодушие Богуновича, буквально час назад отдававшего такие решительные приказы. Теперь он выглядел донельзя изнуренным, слушал и не слышал, отвечал невпопад и думал, пожалуй, об одном: делайте что хотите, только оставьте меня в покое. Баранскас удивился, но не

обиделся. Из своего нелегкого опыта он знал, как часто причиной подобной отрешенности от дел бывает не кто иной, как жена... Ах, эти женщины! И без них невозможно, и с ними нелегко!

Старик даже настроился против Миры: рано ты, милая, показываешь коготки, а главное — не ко времени выводишь такого человека из равновесия.

Богунович вернулся в свою комнату.

Мира сидела на кровати, завернувшись в одеяло.

— Снова перемерзла? — сказал Сергей с упреком. — Смотри, болеть больше не дам! Некогда!

Она тихонько засмеялась. Смех ее растопил последние льдинки ревности, обиды, злости на нее за бездумный поступок. Хотя почему, собственно говоря, бездумный? Видимо, у нее была душевная потребность сходить к петроградцам.

— Я вскипячу чай.

— Спасибо. Не хочу. Меня хорошо накормили. Снова шевельнулось в нем недоброе, он хмыкнул:

— Хорошо? Они такие богачи?

— Сережа! Я не панского рода. Гречневая каша с постным маслом для меня всегда была лакомством.

Как она умеет успокаивать! Самыми обычными словами.

Богунович присел к столу, достал бумагу, заострил перочинным ножом цветные карандаши. Хотелось перенести на бумагу то, что сложилось за тяжелый день в голове, — схему боя и вывода людей из-под огня. В необходимости отхода после непродолжительного сражения сомнений не было. Но бой должен быть такой, чтобы немцы запомнили его. И главное — чтобы отступление не превратилось в паническое бегство сотен людей. Надо отступить по-кутузовски, чтобы в

самом отступлении заключалась победа. Наименьшие потери — вот их победа в такой ситуации. А это в значительной степени зависит от его командирского умения.

Как никогда раньше, Богунович ощутил свою особую ответственность за жизнь каждого человека. Это помогло ему сосредоточиться и начать составлять диспозицию.

Почувствовал на себе пристальный Мирин взгляд. Но, странно, взгляд ее, влюбленный, умиленный, не мешал, наоборот, успокаивал, рождал уверенность, что полк сможет хорошо огрызнуться и без паники отступить. Но вдруг Мира тихонько позвала его:

— Сер-режа!

— Аю?

— Ты не боишься?

— Кого?

— Их.

— Немцев? Милая моя, я солдат, я более трех лет на фронте.

Но вдруг будто что-то ударило ему в затылок. Вмиг вышибло вон все схемы, все расчеты. Он вскочил, ступил к кровати. И по глазам, черным, блестящим, более глубоким, чем обычно, увидел, что догадка его верна.

— Ты боишься?

— Боюсь, — тихо призналась она, но тут же начала оправдываться: — Боюсь. Но не за себя. Не за себя, Сережа. За него.

— За кого? — удивился он, что она сказала «за него», а не «за тебя».

— За него… за твоего сына…

Какой-то миг Сергей стоял ошеломленный. Потом упал перед кроватью на колени, уткнулся лицом Мире в живот, будто хотел и через одеяло услышать в ней новую жизнь.

— Мира! Ma femme aimee! — Не впервые самые нежные слова он произносил по-французски. — Моя дорогая жена, — он повторил те же слова по-белорусски, от чего они приобрели особый смысл.

Она положила руку ему на голову, погладила волосы, он взял ее руки, поцеловал одну, другую…

— Мира! Любимая моя! Не бойся. Завтра ты поедешь в Минск. К моим родителям. Или к своим. Как хочешь…

Тогда она, пожалуй, грубо отняла руки и сказала жестко, со звоном в голосе:

— Боже! Какие вы слюнтяи, баре! Как легко раскисаете. Никуда я не поеду! Я — солдат революции.

Глава третья

Тревожные будни

1

После обеда Владимир Ильич задержался в своей квартире немного отдохнуть. Этого требовали от него Надежда Константиновна и Мария Ильинична. Если у кого-то из них было время, его буквально караулили. Он иронизировал над их настойчивостью, шутил:

— Что ж, посидим под домашним арестом. Но я на вас пожалуюсь Совнаркому, имейте в виду.

В тот день у жены и сестры были неотложные дела: у Марии Ильиничны — в редакции «Правды», у Надежды

Константиновны — в Наркомате просвещения. Но он пообещал им полчаса отдохнуть. Когда он обещал серьезно, женщины верили ему.

Днем Владимир Ильич никогда не ложился, считал это обломовщиной: дневной сон расслабляет тело и мозг. А у него впереди самая напряженная работа — заседание Совнаркома. Заседать приходится почти ежедневно: накапливается множество неотложных дел, требующих архисрочного решения.

Он поднялся к себе в рабочий кабинет. Проходя через комнату управления делами, увидел секретаря Совнаркома Марию Николаевну Скрыпник и вспомнил о ее просьбе: она хотела поехать на Украину к родителям вместе с Медведевым, Шахраем, возвратившимися из Бреста, и Ворошиловым, которого он, Ленин, командировал в Донбасс, на подмогу Антонову-Овсеенко.

Конечно, лучше ехать в неспокойное время в компании товарищей, таких рыцарей, как комиссар Петроградского ВРК Климент Ворошилов. Этот человек в свои тридцать семь лет может, как юноша, краснеть перед женщинами, что замечали сотрудницы Совнаркома, но, если судить по его подпольной деятельности и по работе в революции, никогда не «краснел» перед врагами.

Ленин замедлил шаг у стола Горбунова:

— Николай Петрович, напишите, пожалуйста, от моего имени распоряжение начальнику Николаевского вокзала, чтобы он предоставил четырехместное купе товарищам Скрыпник, Ворошилову, Медведеву, Шахраю. Им необходимо срочно выехать в Харьков.

В кабинете, на рабочем столе, Ленина ожидали неотложные документы: повестка дня заседания Совнаркома — больше тридцати вопросов, проекты декретов, которые еще нужно коллегиально обсудить, и декреты, рассмотренные на Совнаркоме, — эти необходимо подписать, и они станут регламентировать

новую жизнь, направлять ее по социалистическому пути, перечеркивая царские законы, правила, нормы. Декреты диктатуры пролетариата!

В большинстве своем вопросы были хозяйственные, экономические — мирные. Например, объявление капиталов касс — ссудо-сберегательных, взаимопомощи, пенсионных и эмеритальных — неприкосновенными. Или ассигнование ста тысяч рублей на Северную экспедицию СНК по охране имущества РСФСР, находящегося в Архангельской губернии. Хотя вряд ли этот вопрос «мирный». Имущество нужно сберечь не только от своих воров, но и от зарубежных посягателей: на Архангельск точат зубы англичане. В случае их высадки — не дать им захватить народные ценности.

Крыленко и Подвойский весьма своевременно внесли предложение принять декрет о выплате суточных демобилизованным солдатам, временно остающимся в своих частях. Архиважно задержать во фронтовых частях людей, которые в случае немецкого наступления могли бы оказать хоть какое-то сопротивление: пусть Вильгельм и Гинденбург поймут, что наш фронт не открыт, как пообещал им Троцкий своей формулой «ни мира, ни войны».

У Ленина тревожно сжалось сердце. Вспыхнул гнев на Троцкого. То, что он не подписал мира вопреки ясной директиве Совнаркома, похоже на грандиозную провокацию. За это наркома следовало бы отдать под суд. Если бы не позиция «левых» коммунистов и левых эсеров, поддерживающих авантюру Троцкого, Ленин потребовал бы партийного суда. Но в данной ситуации удар по Троцкому может привести к отставке наркомов-эсеров, к расколу в ЦК большевистской партии. А это нежелательно, уж больно неподходящее время. И этим пользуется Троцкий. Из Бреста возвратился с видом победителя. Весел. Как всегда, нисколько не сомневается в правильности своего решения.

Ленина возмущала такая наглая самоуверенность. Но как глава правительства он был вынужден спокойно

выслушать доклад руководителя делегации. Конечно, немецкие империалисты — разбойники! Они навязывали архитяжелый мир. Однако, бесспорно, он легче того, который придется заключить, если немцы начнут военные действия. «Воевать» могут только Бухарин и его «левые» фразеры. На бумаге. В безответственных выступлениях. Республика в настоящий момент воевать не может. Безграмотные солдаты отлично понимают это, а высокообразованные интеллигенты, называющие себя марксистами, никак не поймут. Невозможно втемяшить в их слишком мудрые головы эту простую истину…

Троцкий доказывал, что немецкий генштаб не осмелится возобновить военные действия. Наступать на республику рабочих и крестьян, которая объявила о мире и демобилизует свою армию, — такой подлости пролетариат Германии никогда не допустит.

Ленин хотел верить… Ленин верил в революционность немецких рабочих. Однако революционная ситуация — вещь довольно сложная, она требует сочетания многих факторов. В Германии чего-то не хватает. Чего? Ах, как мало времени! А так нужно проанализировать положение в воюющих странах. Англию и Францию кормит богатая Америка. Выступления пролетариата в этих странах эпизодичны и в недостаточной степени направлены против войны — еще не выветрился угар ура-патриотизма. В Германии положение иное. И, однако, все наши надежды на близкую революцию там не оправдываются. В чем причина? Раскол социал-демократии? Зараза национал-шовинизма? Слабость интернационалистов? Тюремное заключение Карла Либкнехта?

Ленин недавно принял Романа Аврамова, который отбывал из Петрограда в Берлин. Они обговорили многие проблемы социал-демократического движения и отношений с Германией, поскольку Аврамов — член экономической комиссии Четверного союза. Но, может, самое главное в их беседе — его, Ленина, поручение Абрамову передать организатору группы «Спартак»

Тышке: пусть немецкие товарищи ни на миг не забывают, что дальнейшее укрепление Советской власти в России является делом и долгом не только русских, но и немецких рабочих.

Будет огромнейшим счастьем, если генералитет кайзера из-за боязни революционного взрыва не осмелится бросить свои войска на Россию. Наступлению на востоке могли бы помешать активные действия войск Антанты на западе. Однако такой активности нет. Наоборот, всё — от выступления Вильсона до действий даже таких дипломатов, как Робинс и Садуль, — свидетельствует: бывшие союзники России очень заинтересованы в движении немцев на восток. Жак Садуль в беседе с Лениным дипломатично дал понять, что Нуланс и его коллеги чрезвычайно обрадовались срыву мирных переговоров. Так же, бесспорно, радуется и Клемансо.

Чертовски хочется верить, что немцы не станут наступать!

Великий революционный романтик, Ленин всегда оставался самым трезвым реалистом.

Троцкий набрался наглости высказать недовольство действиями Ленина, когда тот отменил приказ Крыленко о демобилизации армии, изданный Главковерхом по телеграмме Троцкого из Бреста.

Сдерживая гнев, Владимир Ильич ответил:

— Мобилизация и демобилизация армии — прерогатива правительства, а не отдельного министра, даже если он министр иностранных дел и считает себя самым мудрым в правительстве.

Гневный ленинский сарказм, скрытый за внешней учтивостью, Троцкий давно, еще со времен эмиграции, научился чутко улавливать и понимать.

Нарком вынужден был понизить голос. Однако не успокоился. Подговорил Урицкого сделать запрос на

заседании Совнаркома. Зацепкой послужило распоряжение Ленина о закрытии вечерней газеты «Эхо», опубликовавшей приказ Крыленко.

Ленин ответил, что планы демобилизации, как и мобилизации, даже в самой спокойной обстановке являются военной тайной. Он прочитал недавнее письмо начальника штаба армии Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича, обращавшего внимание на недопустимость публикации данных секретного характера.

Члены правительства согласились с Лениным. Троцкий хитро помалкивал — за него говорили другие.

Все эти дни Ленин через силу разговаривал с Троцким. По всем иностранным делам он, через голову наркома, обращался к Чичерину. Георгий Васильевич активно и компетентно включился в работу наркомата, организуя эту работу совсем по-новому.

Троцкий почувствовал неприязнь Ленина и избегал встреч, даже не явился на два заседания Совнаркома. Занимался тем, что сколачивал своих единомышленников и подбивал «левых» крикунов. Сам он, между прочим, тоже не очень верил, что немцы не будут наступать. Более того, ему хотелось возобновления военных действий. Тогда Ленину пришлось бы согласиться с «левыми» и начать революционную войну. Лопнула бы его идея передышки, а заодно — и теория о возможности победы социализма первоначально в одной, отдельно взятой стране, такой мужицкой, отсталой, как Россия.

Ленин глубоко задумался. Нет, не Троцкий его тревожит в случае немецкого наступления. При всей своей самоуверенности он плюхнется в лужу и будет вынужден освободить пост наркома по иностранным делам. Тревожат «левые», которые активизировались опять и с новой силой доказывают, что никакого соглашения с империалистами быть не может.

Ленина очень взволновало то, что, несмотря на его

телеграмму, посланную утром одиннадцатого, Крыленко все-таки отдал приказ о демобилизации армии. Пришлось отменять его приказ решением Совнаркома. Действия Крыленко подтверждают мысль, что необходимо пристально следить не только за «левыми», — более строгий контроль нужен и за военными.

Революционная демократия — великое завоевание, однако в армии она должна иметь определенные границы. На повестке дня сегодняшнего заседания — объявление железных дорог на военном положении. Как пройдет его идея? Многие товарищи, с которыми Владимир Ильич успел посоветоваться перед заседанием, поддержали такую важную меру в укреплении обороны. Железная дорога с засильем на ней викжелевцев — меньшевиков, эсеров — может стать ахиллесовой пятой при обороне, а тем более — при отступлении армии. Без налаженной работы железной дороги накопленное в прифронтовой зоне военное имущество очутится у немцев. Этого допустить никак нельзя! Военное положение. Военная дисциплина. Подчинение железнодорожных чиновников командирам и солдатским Советам! Только так перед угрозой немецкого нашествия! По-видимому, этот декрет пройдет нелегко. Кто может выступить против? Урицкий? Штейнберг? Хорошо заранее знать оппонентов и их аргументы. Из тактических соображений Ленин перенес вопрос о железных дорогах из числа первых в середину повестки дня. Вроде рядовой вопрос — рядом с ассигнованием 25 тысяч рублей Совету города Сольцы на неотложные нужды населения.

Мысли возвратились к Бресту, к Троцкому — и Ленин вновь почувствовал не только раздражение, но и глубокое политическое беспокойство.

Такое состояние мешало работать.

Ленин вышел в общую комнату, чтобы в разговоре с сотрудниками Совнаркома вернуть душевное равновесие. Однако мысли о мире не оставляли.

Вспомнил пункт вчерашней повестки дня заседания Совнаркома — обратился к Горбунову:

— Николай Петрович, передайте, пожалуйста, Чичерину: на переговорах с немецкой делегацией об обмене гражданскими пленными идти на любые уступки, не затрагивающие интересов самих интернированных. Русские люди должны вернуться в Советскую Россию! Немцев пусть возвращают всех, на ком нет вины перед Советской властью. Даже тех, что осуждены монархическими трибуналами. Опубликованием тайных договоров мы раскрыли царские секреты.

Заседание проходило легко, даже весело. У Ленина к вечеру поднялось настроение. Вспоминался прием рабочих из прифронтового Минска, давший хороший заряд оптимизма. Рабочие верили в мир, их интересовали формы управления отнятыми у капиталистов заводами — металлургическим и кожевенным.

Хорошо подействовала и беседа с Кедровым и Косушкиным, которые передали ему примерную смету и схему строительства Волховской гидроэлектростанции, разработанные отделом по демобилизации армии Наркомвоена.

Михаил Сергеевич Кедров — врач, журналист, военный — думал о мире, об организации экономики, о работе для вчерашних солдат. Чего стоит его мысль, что в социалистическом государстве не должно быть безработных? «Левым» бы такую заботу о мире, о людях!

Ленин шутил, и наркомы шутили, даже при обсуждении самых серьезных вопросов. Правда, оставалось некоторое беспокойство: пройдет ли дело с переводом железных дорог на военное положение. Но и тут, как говорят, повезло.

Моисей Соломонович Урицкий не присутствовал, он замещал Дзержинского, которого Ленин заставил

поехать отдохнуть на несколько дней в «Халилу». А в Петрограде было неспокойно, поступили вести о возможном выступлении немецких военнопленных. Тревожный сигнал. Пленных явно подстрекают. Ленин понимал, какая это пороховая бочка — многие тысячи немцев и австрийцев. Революция выпустила их из-под стражи, из-за колючей проволоки, немцы свободно ходят по городу, офицеры живут на квартирах.

Совнарком еще несколько дней назад принял решение об эвакуации всех пленных. Главная причина — чрезвычайные трудности с хлебом. Вышло так, что русские рабочие получали меньший паек, чем немцы, потому что в отношении пленных старались выполнять международную конвенцию — пожалуй, единственный из договоров, подписанных еще царским правительством.

Эвакуация многих тысяч людей на восток, в хлебные губернии, помогла бы спасти столицу от голода.

Но Ленин думал и о другом, не менее важном, — об обороне Петрограда.

Эвакуация проходила трудно. Не только из-за отсутствия вагонов, но и из-за сопротивления самих пленных, среди которых распространили провокационные слухи, будто их хотят сослать в Сибирь. Немцы-солдаты готовы были голодать вместе с русскими, но в Петрограде, вблизи от родины. А среди офицеров, как стало позже известно, работали агенты немецкой разведки.

По приказу Ленина подняли на ноги ЧК, Комитет по борьбе с погромами, красногвардейские отряды. Дзержинский, Урицкий, Бонч-Бруевич работали день и ночь. Феликс Эдмундович прямо занемог. Пришлось принимать специальное решение. В Совнаркоме чувствовалось отсутствие Бонч-Бруевича, но когда он являлся с докладом, Ленин снова и снова напоминал, что важнее дела, чем безопасность Петрограда, нет.

На подходе к вопросу о железных дорогах секретарь

Совнаркома передала Троцкому записку, и тот поспешно вышел. С тем, что Троцкий мог покинуть заседание в любую минуту, Ленин свыкся и на его уход не обратил внимания. Троцкий смеялся над постановлением, принятым, кстати, единогласно, — о штрафе в десять рублей за опоздание на заседание или за отсутствие на нем, и штрафа не платил; работники Управления делами СНК могли напомнить о штрафе любому наркому, а Троцкого не трогали — опасались его сарказма, подчас довольно грубого.

Железные дороги были объявлены на военном положении. Члены правительства, даже левые эсеры, согласились с такой мерой.

Была полночь.

Ленин оставался в кабинете. В тишине читал французские и английские газеты, поступавшие из Стокгольма с недельным опозданием. Только в это время и можно почитать, днем лишь просмотрел заголовки да отметил карандашом наиболее важное из напечатанного.

У англичан, как и у немцев, чувствуется усиленная военная цензура, у французов — посвободнее, их газеты пишут и об антивоенных выступлениях. Бывают такие. Но пока что больше экономических стачек. Западный рабочий хочет есть хлеб с маслом даже в войну. Одним словом, как и прежде, ни одно сообщение не говорило о близком революционном взрыве.

Неужели «левые» не читают французских газет? На что они надеются, призывая к революционной войне? Как это опасно, когда люди придерживаются только догм, лозунгов и не желают видеть того, что происходит вокруг, игнорируют живую практику, те конкретные обстоятельства, которыми обусловлено развитие революции.

Теперь помочь пролетарским революционерам на западе, национально-освободительному движению на востоке может лишь Российская Республика Советов, ее

укрепление, ее успехи в организации экономики на абсолютно новой основе. Кажется, как просто! И, оказывается, очень трудно понять эту простую истину некоторым людям!

Оппортунизм, любой — «левый» ли, правый, — словно тяжелые гири. Неужели к Бухарину, к Урицкому, Ломову эти гири прикованы так крепко, что их невозможно сшибить?

Законы борьбы нередко объединяют оппортунистов всех мастей. Троцкий, занимающий будто бы правую позицию, готовый пойти на поклон к англо-американским империалистам, отдать им Владивосток, Мурманск, в вопросе войны и мира тесно смыкается с «левыми». Закономерное явление! Правые сползают влево, «левые», словно маятник, качаются во все стороны. Оказалось возможным с помощью Троцкого сорвать мирные переговоры — пошли на сговор с Троцким. Даже не сговор — заговор.

Ленин оторвался от газет, задумался. Ему не хотелось бы пользоваться таким словом, как заговор, однако иного нет для определения авантюры в Бресте.

Неожиданно в кабинет вошел Троцкий — никогда не являлся так поздно. Вид у него был как будто растерянный. Таким, пожалуй, Троцкого не видели никогда — он не терялся ни в какой ситуации. И Ленин понял, что случилось что-то чрезвычайное. Сжалось сердце: война!

— Прошу извинить, Владимир Ильич, — произнес Троцкий. — Я отлучался в наркомат. Вызывали. Телеграмма от генерала Самойло, который находится в Бресте... остался, чтобы ликвидировать дела делегации, рассчитаться с немцами.

Ленин не захотел, чтобы телеграмму ему читал Троцкий, — решительно протянул руку.

«Сегодня в 19 часов 30 минут от генерала Гофмана мне официально заявлено, что 18 февраля в 12 часов

заканчивается заключенное Российской Республикой перемирие и начинается снова состояние войны».

Кровь ударила в голову. Владимир Ильич чуть было не скомкал бумагу, пальцы сжались. Однако спохватился. Его положение обязывает быть сдержанным. Достал из кармашка жилетки часы. Отметил, что Троцкий пробыл в наркомате более двух часов. И не позвонил. Чем он там занимался, получив такую архисрочную телеграмму? Связывался с немцами? Проверял?

Успокоенный сдержанностью Ленина, который ни единым движением не выдал своего душевного состояния, Троцкий плюхнулся в кресло у стола и с присущей ему самоуверенностью сказал:

— Думаю, это провокация. Толстяк Самойло — царский выкормыш. Контрразведчик. Шпион. Неизвестно только, чей теперь. В Бресте он снюхался с Гофманом. Прогуливался с графом Černиным. Я не удивлюсь, если он останется у немцев, учинив нам провокацию.

Ленин не знал Самойло лично, но помнил, какую характеристику давали генералу и Крыленко, и братья Бонч-Бруевичи.

В другое время Ленин, наверное, возмутился бы таким шельмованием человека, военного специалиста. Но теперь он не стал вникать в поклеп Троцкого на Самойло — не об этом думал.

Ленин знал: все в телеграмме правда, и уже прикидывал, что надлежит сделать, чтобы защищаться от этой зловещей правды.

— Допускаю иной вариант — телеграмма не от Самойло. Я пытался связаться с ним — немцы не дали связи. Возможно, Гофман решил нас припугнуть, чтобы вынудить принять позорный мир. Но мы не из боязливых. Пусть попробует Гофман наступать… Поглядим, что из этого выйдет. Немецкий рабочий класс…

«Какая демагогия!» — Ленин поморщился. Вышел из-за стола, прошелся к двери и оттуда сказал Троцкому решительно, зло:

— Довольно революционных фраз! Мы их сказали больше, чем надо.

Человек, не признававший не только авторитета Ленина, но и всей партии, смутился — почувствовал в голосе Ленина негодование.

— Немцы начнут наступление! В этом нет сомнений. Немецкий рабочий класс нас не спасет. Действовать нужно самим. Заключение мира! — Владимир Ильич остановился перед Троцким и сказал тоном командира на поле боя: — Сейчас же телеграфируйте Кюльману наш протест. По условиям перемирия они должны объявить о возобновлении войны за неделю. А не за сутки. Из семи дней немцы украли у нас пять. Это бандитский прием. Однако мы вынуждены уступить разбойникам. Передайте, что мы принимаем брестские условия мира!..

— Без решения ЦК? — осторожно, тая усмешку, спросил Троцкий.

Ленин снова взглянул на часы и тяжело вздохнул: созвать сейчас ЦК нелегко. Да, пожалуй, и не нужно — поднимешь людей с постелей, «левые» явятся раздраженными, потребуют объяснения обстановки, к телеграмме могут отнестись так же, как Троцкий: липа, мол.

Владимир Ильич вдруг взял стул, пододвинул его ближе к наркому иностранных дел и еще раз попытался поговорить с той товарищеской доверительностью, с какой беседовал с этим человеком перед его последней поездкой в Брест.

— Я прошу вас понять. Играть в войну и мир мы дальше не можем. Мы ставим на карту не что-нибудь — революцию, Советскую власть. Партия, пролетариат не простят нам этого.

— У партии насчет мира разные мнения, Владимир Ильич, — холодно ответил Троцкий.

Случалось, на словах Троцкий был искренним, умел и любил порассуждать, поспорить. Теперь же своим ответом он дал понять, что ленинской искренности не принимает, что у него есть свое определенное мнение, которого он один на один даже не желает высказывать.

Разговора по душам не получилось. Выяснив некоторые дипломатические детали, Владимир Ильич поспешил проститься с ночным посетителем.

Троцкий поехал спать.

Ленин пошел в телеграфную, чтобы связаться с Могилевом, со штабом Главнокомандующего: передать телеграмму Самойло, узнать, как ведут себя немцы на линии фронта, посоветовать повысить бдительность на случай неожиданной атаки — теперь от кайзеровцев ожидай любой провокации, наступление они могут начать раньше, чем объявили. Пусть армия будет готова к наступлению противника!

2

Еще до завтрака Ленин побывал у Свердлова. Председателя ЦИК заявление Гофмана встревожило так же, как и Председателя Совнаркома. Однако горячий и одновременно спокойный, когда нужно, до того спокойный, что ничем не пробиваемое хладнокровие его на заседаниях ЦИК иногда доводило меньшевиков и эсеров до приступов бешенства, Яков Михайлович рассудил, что требовать созыва Центрального Комитета немедленно, утром, не стоит. Пусть каждый из членов получит информацию по своим каналам и «переварит» ее. Днем, наверное, будет больше ясности.

— Пока что ее так же мало у нас с вами, Владимир Ильич, как и у наших оппонентов.

— Но я боюсь, что Троцкий с его настроениями будет не

прояснять, а темнить. При своей энергии и влиятельности начнет «нажимать» на Иоффе, на Урицкого… Да и на Бухарина, опьяненного своей теорией «перманентной крестьянской войны», которая не что иное, как утопия, абсурд.

— Нам тоже полезно посоветоваться и с нашими единомышленниками, и с нашими оппонентами. Я чувствую, предстоит нелегкий бой. К нему нужно подготовиться. Поручите мне, Владимир Ильич, переговорить с товарищами.

Ленин согласился.

Начинался обычный рабочий день с нескончаемым множеством дел, посетителей, бумаг. Но день этот отличался от других тем, что любой вопрос Ленин связывал с возможным немецким наступлением и решал с учетом такой чрезвычайно опасной для Советской Республики ситуации.

Мария Николаевна Скрыпник не смогла поехать вместе с Ворошиловым. А поехать ей нужно — отдохнуть, полечиться. Ленин из разговора с Бонч-Бруевичем выяснил, что Скрыпник хотела бы лечиться не в Харькове — в Киеве.

Владимир Ильич даже эту поездку маленькой худенькой женщины связал с событием, от которого зависела судьба революции. Тут же пригласил Марию Николаевну к себе в кабинет.

— Вы хотите поехать в Киев?

— Да, Владимир Ильич. Мне кажется, нигде я так не отдохну. Вы не представляете, как я люблю Киев!

Ленин внимательно посмотрел на женщину.

— Мне неприятно вам говорить, но может случиться, что господин Винниченко, радовцы помогут немцам выбить из Киева советские части. Мир не подписан, немцы заявили о возобновлении войны. С Радой у них договор…

— Мне нужно остаться? — спросила Мария Николаевна.

— Нет-нет. Вы обязательно должны поехать. Я просто хотел предупредить.

За время совместной работы Скрыпник хорошо узнала Владимира Ильича, умела понимать не только любую высказанную им мысль, но и «читать» невысказанное.

— Тем более мне нужно ехать в Киев.

— Тем более?

— В подполье — лучший отдых, Владимир Ильич.

Ленин откинулся на спинку стула и рассмеялся.

— Хорошо вы сказали: в подполье — лучший отдых. В таком случае вот вам большевистский наказ: если придется снова очутиться в подполье, — борьба, безжалостная борьба против оккупантов! Передайте это киевским товарищам. У кайзеровцев и их прихлебателей не должно быть ни одного спокойного дня. Нужно поднять украинских рабочих, крестьян на партизанскую войну против империалистических грабителей. Народ поднимется. Такой будет наша революционная война.

— Я принимаю это, Владимир Ильич, как ваше поручение... партийное поручение...

— Нет-нет! Вы едете отдыхать, лечиться. Я не имею права давать вам поручения. Но я прошу вас помнить это. Я надеюсь на вас.

— Я не пожалею жизни...

Ленин укоризненно покачал головой:

— Не нужно так, Мария Николаевна. Жизнью нужно дорожить. И здоровье беречь. Жизнь, здоровье большевиков — оружие революции.

— Я просто хотела сказать, что обязательно поеду в

Киев. В любом случае.

— Прекрасно, — одобрил Ленин. — Мы дадим вам открытое письмо СНК, чтобы вам повсеместно оказывали содействие. Все советские органы, все военные. Скажите Николаю Петровичу, чтобы подготовил такое письмо.

(Скрыпник выполнила данное Ленину обещание — во время немецкой оккупации она работала в киевском подполье.)

Одновременно Ленин думал о большой стратегии будущей обороны. Против немецкого вторжения на Украину нужно иметь крепкий заслон, который прикрывал бы Одессу, Крым, Черноморский флот, Донбасс.

Идея такого заслона возникла раньше — в ответ на провокации бывшего союзника — королевской Румынии, стремившейся уничтожить революционные отряды в Бессарабии. Но теперь, когда появилась угроза немецкого нашествия, сильный советский кулак на юге приобрел совсем иное стратегическое значение.

Решение нельзя откладывать. Посоветовавшись со Сталиным и Подвойским, Ленин тут же, в их присутствии, продиктовал телеграмму:

— Румчерод [2], Юдовскому… Одесса, главнокомандующему Муравьеву, Румынской верховной коллегии, народному секретариату Украинской республики, Антонову.

Ввиду серьезности положения на Русско-Румынском фронте и необходимости экстренной поддержки революционных отрядов в Бессарабии главнокомандующий Муравьев и его северная армия причисляются в распоряжение Румынской верховной коллегии. Мы ни на минуту не сомневаемся, что доблестные герои освобождения Киева не замедлят исполнить свой революционный долг.

Председатель Совнаркома Ленин.

Вечером семнадцатого февраля собрался Центральный Комитет. Бухарин и его единомышленники перед началом заседания держались настороженно. Они даже сели все вместе, как бы защищая друг друга. Возможно, боялись, что Ленин, располагающий большей информацией, принудит их прикрываться ненадежным зонтом все тех же фраз, занимать оборону. Они же настолько были уверены в своей непогрешимости, что считали оборону позором, им хотелось наступать в любой баталии, ибо только себя они считали настоящими революционерами.

Ленин пришел задумчивый, поздоровался сдержанно, уходил от всяческих посторонних разговоров, что для него было нехарактерно; обычно его хватало на все: на серьезный ответ — одному, остроумно-шутливый — другому. Очень может быть, что эта глубокая задумчивость Владимира Ильича и насторожила «левых»: значит, ситуация сложнее, чем они представляют.

Но «левых» сбивал с толку Троцкий. Он был весел, привычно развязен, держался фамильярно.

Если судить по Троцкому, то ничего особенного не случилось, уж кто-кто, а он всегда обо всем узнавал первым, тем более — о международных делах, в конце концов, это его служебный долг. Конечно, Бухарину, редактору «Правды», информации поступает не меньше, но, как говорят, не из первых рук.

Почему же так задумчив Ленин?

Бухарин, пользуясь отсутствием Елены Дмитриевны Стасовой, следившей за порядком проведения заседаний, пытался захватить председательское место.

Свердлов с деликатной настойчивостью пресек его узурпаторство:

— Николай Иванович, насколько я помню, вы

председательствовали на прошлом заседании? Кажется, моя очередь? Не так ли?

Молчанием члены ЦК подтвердили, что Свердлов прав: порядок есть порядок.

— Что ж, начнем работу, — сказал Яков Михайлович. — Предупреждаю, на длинную дискуссию времени нет. Дискуссий мы провели больше, чем надо. Надлежит принять конкретное решение по важнейшему вопросу: мир или война?

Бухарин укоризненно покачал головой. Ленин попросил слова. Но Троцкий бесцеремонно опередил его:

— Я хочу сделать внеочередное сообщение, чтобы членам ЦК было ясно. Я по-прежнему считаю провокацией со стороны Самойло или Гофмана заявление о возобновлении военных действий. Я еще вчера радировал немецкому правительству, штабу Гофмана с просьбой разъяснить недоразумение. Ответа нет. Телеграфной связи не дают ни с Брестом, ни с Берлином.

— Этого вам мало? — спросил Ленин и обратился к членам ЦК: — Я ни на йоту не сомневаюсь, что завтра немцы начнут наступление. Не нужно нас убаюкивать, товарищ Троцкий. Беспечность может очень дорого обойтись.

— У страха глаза велики, — бросил Урицкий.

Ленин не ответил на этот бестактный выпад: «левые» нередко вели себя как гимназисты на классной сходке. Он продолжал:

— Яков Михайлович правильно сказал: слов было достаточно, самых громких фраз. А с фактами наши молодые товарищи не хотели считаться. Факты же — вот они: прекращение немцами всяких сношений и явная активизация их частей на линии фронта. Троцкий старается нас усыпить. Нет, товарищи! Теперь мы не можем не считаться с фактами. Скажем прямо:

европейская революция, вопреки нашему желанию, посмела запоздать, а немецкий империализм, опять же вопреки нашему желанию, посмел наступать.

— Еще не посмел, — сказал Троцкий.

— Если наступление начнется, мы очутимся перед катастрофой. Время революционных фраз прошло. Наступило время действовать. Пойдемте к рабочим, к крестьянам, от них услышим один ответ: мы не можем вести войну ни в коем случае, у нас нет армии, нет физических сил. Массы поймут нас и оправдают подписание самого несчастного мира…

«Левые» возмущенно зашевелились, но смолчали — уважали «Старика» при всем своем несогласии с ним: Ленин есть Ленин.

— Товарищи, не подписать мир — значит поддаться на провокацию русской буржуазии, которая ждет наступления немцев, которая надеется с помощью немецких штыков свергнуть Советскую власть. Если мы сегодня не обратимся к немцам с нашим согласием принять брестские условия и тем самым не предотвратим широкое немецкое наступление, мы будем вынуждены, я не сомневаюсь в этом, в ближайшие дни принять более тяжелые условия, которые нам продиктуют. Если только мы не хотим отдать революцию на слом. Нужно сегодня же, безотлагательно, не тратя времени на дискуссии, обратиться к правительству империалистической Германии с нашим согласием вступить в новые переговоры для подписания мира. Иного выхода у нас нет.

За Лениным выступил Троцкий. С ненужным в такой узкой аудитории пафосом и обычной самоуверенностью он отвергал возможность немецкого наступления:

— В Германии прекращение войны было встречено с радостью. Я верю, что наступление вызовет серьезный взрыв немецкого пролетариата. Поэтому совершенно логично нам подождать, какой эффект произведет

наступление, если оно вообще состоится. Я все еще сомневаюсь в его возможности, думаю, Гофман рассчитывает на психологический эффект.

Урицкий правильно определил состояние некоторых товарищей: у страха глаза велики. Революционеры не должны испытывать страха ни перед какими испытаниями.

«Какая демагогия», — подумал Владимир Ильич.

— Наступление? — поднялся Бухарин. — Хорошо, пусть будет наступление. Массы — и у нас, и в Германии — глубже поймут сущность империализма. Мирными переговорами мы многих сбили с толку. Массы должны переварить ситуацию. Подписание мира сейчас, до немецкого наступления, только внесет сумятицу в наши ряды...

Бухарин говорил более осторожно, чем обычно, как бы с оглядкой, без пафоса и громких фраз.

Ленин сразу отметил, что он вдруг слез со своего конька — ни слова о том, чтобы в ответ на немецкое наступление тут же поднять на «революционную войну» крестьянство. Лидер «левых» старался отвлечь внимание от практического решения теоретическими рассуждениями.

Бухарин сказал:

— Согласие на мир при данных условиях является капитуляцией передового отряда международного пролетариата перед международной буржуазией.

Ленин выслушал Бухарина до конца, но тут же взял слово повторно.

— Давайте внесем ясность, товарищи. Первая неточность в выступлении Бухарина: немецкая буржуазия в данных условиях не есть «международная», потому что англо-французские капиталисты приветствуют наш отказ подписать мир. Это мы хорошо знаем. Теперь о капитуляции.

Капитуляция, безусловно, вещь позорная. Однако общепризнанная истина эта не определяет каждого отдельного положения, ведь капитуляцией можно назвать уклонение от боя в явно невыгодных условиях, а такая капитуляция — обязанность серьезного революционера. Мы не можем бросаться в бой, заранее зная, что силы противника значительно… непомерно превышают наши. И последнее… Передовым отрядом мы являемся в смысле революционного почина. Но если б мы стали передовым отрядом в смысле военной схватки с силами передового империализма, это была бы авантюра, недостойная марксистов. Нашим первым декретом был Декрет о мире. На нашем знамени всегда будет: мир! Войны мы будем вести только в защиту социалистического Отечества.

Свердлов снова напомнил, что время требует не дискуссии, а конкретного решения. С ним согласились.

В начале голосовалась, по существу, единственная, четко изложенная ленинская мысль: немедленно предложить Германии вступить в новые переговоры для подписания мира.

«За» проголосовали Ленин, Сталин, Свердлов, Сокольников, Смилга. («Приверженец» Ленина в вопросе мира Зиновьев на заседание не явился, хотя находился в Петрограде — лежал на диване.)

Шесть других членов ЦК — Бухарин, Ломов, Троцкий, Урицкий, Иоффе, Крестинский — проголосовали против.

Ленин не удивился, соотношение сил было ему известно. Он вдруг почувствовал сильную усталость — накопилась за долгий и тяжелый день. Возможно, ощущение усталости пришло от мысли, что впереди новый этап сложной и нелепой борьбы, на которую придется тратить уйму сил.

Но, вспомнив, что на сегодняшнем заседании «левые» ни слова не сказали в защиту своей теории, Владимир Ильич неожиданно предложил:

— Что ж… в таком случае давайте голосовать за революционную войну.

Бухарин неожиданно возмутился:

— По такой постановке я отказываюсь от участия в голосовании.

Ломов покачал головой:

— Это несерьезно, Владимир Ильич.

— Я всегда доказывал, что это несерьезно, — ответил Ленин с притаенной иронией и почти весело: отказ «левых» голосовать за революционную войну можно, пожалуй, считать победой; немецкое наступление, наверное, отрезвит этих людей. Но какой ценой будет заплачено за их трезвость?

Ленин с прежним вниманием стал следить не только за тем, как кто голосует, но и за выражением лиц членов ЦК, за их реакцией на слова, замечания. Благоприятный момент для постановки очень важного вопроса: оказывать всяческое сопротивление, если немцы начнут наступать. Все голосуют за необходимость сопротивления. Это уже, пожалуй, начало поворота, подумал Ленин.

Усталость отступает, он забывает о ней.

Но Троцкий в это же самое время рассуждает иначе: «левые» размякли, растерялись, их нужно взбодрить, подтолкнуть, дать понять, что позиция их выглядит капитуляцией перед Лениным.

Троцкий предлагает проголосовать за то, чтобы обождать с возобновлением переговоров о мире, пока немецкое наступление не станет фактом и не выявится его влияние на рабочее движение.

«За» голосует шестерка Бухарина — Троцкого.

Яков Михайлович Свердлов понял ход ленинской мысли: ставить на голосование вопросы, против

которых трудно выступить. Он предлагает высказаться: допустимо ли в принципе подписание мира с империалистической Германией? «Левые» кричали, что с империалистами у пролетариата не может быть никаких соглашений, никакого мира — только война. Ленин все время доказывал абсурдность такой теории.

Все члены ЦК высказались за допустимость подписания мира. Еще одна ступень в протрезвлении от «левого» угара.

Но должна быть ясность по основному вопросу:

— Если мы будем иметь как факт немецкое наступление, а революционного подъема в Германии и Австрии не наступит, заключаем ли мы мир?

Бухарин, Ломов, Урицкий, Крестинский воздерживаются от голосования. Один Иоффе голосует против.

Мягкий и добрый человек, Иоффе дрожал перед Троцким. У Адольфа Абрамовича еще тогда, когда они вместе выпускали в Вене троцкистскую «Правду», было тяжелое психическое заболевание. Один Троцкий знал о болезни, которую Иоффе скрывал. Знал и подлым образом пользовался страхом несчастного товарища. (В 20-е годы Иоффе был советским послом в Германии, в Японии, но Троцкий и там не давал ему покоя, вынуждая выступать в защиту троцкизма. Иоффе не выдержал этого и застрелился.)

Троцкий, к удивлению не только Иоффе, но и Сталина, неожиданно подает свой голос за мир. Ленина это не удивляет: Троцкий достаточно умен и хитер, после Бреста он не станет безоговорочно высказываться против мира. Все дело в том, как поведет себя пролетариат Германии и Австрии. Троцкий готовил «бескровное» отступление от своей позиции «ни войны, ни мира».

Как бы там ни было, ЦК большинством голосов высказался за мир.

Договорились итоги голосования считать партийной и государственной тайной. Никакой информации!

Однако Ломов в ту же ночь послал составленную им таблицу голосования Московскому областному комитету РСДРП, который в то время придерживался самых левых взглядов. На обороте таблицы Ломов написал: «Секретно. Только узкому составу областного бюро партии…»

Не придумать более хитрой уловки, если хочешь, чтобы тайное стало явным, общеизвестным.

Так шло заигрывание с людьми, которые через несколько дней выскажут недоверие Центральному Комитету. Люди эти заявят: «В интересах международной революции мы считаем целесообразным пойти на возможность утраты Советской власти, становящейся теперь чисто формальной».

Ленин назовет это заявление «странным и чудовищным».

Глава четвертая

Кровь на снегу

1

Они поднялись с типично немецкой пунктуальностью — ровно в двенадцать. Сначала одна шеренга по неслышной, словно какой-то мистической, команде выросла из белого, обильно выпавшего накануне снега — серые, в рогатых касках доисторические существа. Винтовки с кинжальными штыками они держали наперевес — как для штыковой атаки.

За первой шеренгой поднялись вторая, третья… А там уже шеренги невозможно было сосчитать. Встали

сплошной стеной.

Ударили барабаны — и стена колыхнулась, закрыв полнеба, двинулась по заснеженному полю к русским окопам. Это не был парадный марш; по глубокому снегу нельзя было идти известным со времен Фридриха церемониальным шагом. Это была психическая атака. Богунович видел такие атаки еще в пятнадцатом году, потом немцы отказались от них, перешли к атакам с перебежками, рассыпными цепями.

Не парадно — со зловещей угрозой гремели барабаны, заглушая шорох снега под сотнями ног и все иные звуки. Впрочем, никаких звуков, собственно, не было — стоял тихий и какой-то трогательно-мирный день.

Первое, что испытал Богунович, было профессиональное удивление: как удалось немецкому командованию так невидимо и бесшумно накопить огромную массу пехоты в окопах переднего края? Потом охватил страх, более сильный, чем пережитый в четырнадцатом году, когда молодым прапорщиком впервые повел свой взвод в атаку. Тот страх был только за себя, за свою жизнь. Этот же — за всех: за Миру, за Пастушенко, за солдат, за страну, за революцию… За всех он в ответе. А что он может, такой маленький, по существу беспомощный, всего одна боевая единица, даже не с винтовкой — с наганом? Вон тот пулеметчик значит куда больше, чем он, командир полка, ведь связь у него только с ближайшим солдатом, руководить полком во время контратаки у него нет ни сил, ни средств. Он, пожалуй, сам поставил себя в такое невыгодное положение, когда час назад перенес полковой командный пункт со станции в блиндаж передней линии.

По всем правилам военной теории и практики это было неразумно, против этого протестовал Пастушенко. Но Богунович, хорошо сознавая, что бой вообще в такой ситуации невозможен, верил в чудо. Жила в нем не его — Мирина вера в разум людей: они не станут стрелять друг в друга, колоть один другого штыками. Проще говоря: верил, что немцы выйдут с белым флагом,

вступят в переговоры. В случае же атаки он обязан быть рядом со своими солдатами, ибо кто, как не он, удержав от демобилизации, снова послал их в окопы? Он должен что-то придумать, выручить этих людей из беды. Ему казалось, что в версте от окопов, в относительной безопасности придумать что-то такое он будет не в состоянии.

Петроградцы сказали: будут стоять насмерть. Из солдатской солидарности с соседями он вынудил свой сильно поредевший полк занять оборону. Но совсем не хотелось стоять насмерть. Как никогда, хотелось жить, поэтому нужно было придумать что-то необычное, действительно чудодейственное. Людям в его полку тоже хочется жить. Не только в его полку. Всем хочется, кто бы они ни были — свои, русские, или немцы.

Но колыхнулась серая стена, заслонив полнеба — как они близко в бинокле! — и Богунович в тот же миг понял, что чуда не произойдет, будет страшное побоище, которое для него и его солдат кончится разгромом, катастрофой.

Что он должен сделать? Дать команду отступать, бежать, показать врагу спину? Немцы, безусловно, на это рассчитывают, поэтому и подняли сразу столько солдат, оглушают барабанным громом. Возможно, им тоже не хочется убивать… Но они же идут, идут, чтобы захватить нашу землю, наши города… Минск, до которого так близко… А потом, может, и Петроград, Москву…

Когда вместе со своей ротой, полком, дивизией поручик Богунович, мягко говоря, отступал летом шестнадцатого под Пинском, тогда не было такого всеобъемлющего страха — за Минск, за Москву, за народ.

Пригнувшись, подбежал белый, как снег, командир второго батальона.

— Что будем делать, Сергей Валентинович? — Никогда

он не обращался так просто, по-свойски, по-мирному.

Богунович оторвал бинокль от глаз и почти обрадовался, что серый вал, катящийся на них, еще далеко и есть какая-то минута для размышления. Почему-то обратил внимание, что слабый ветер гонит по полю в сторону немцев струи поземки. Этот оторванный от земли, поднятый в воздух снег показался синим, хотя небо было затянуто низкими серыми тучами. Такой же серой была зловещая волна людей, ощетинившаяся штыками, хотя в действительности шинели у немцев зеленоватые.

Что делать? Что делать? Стоять насмерть? Нет, против этого протестует все его существо. Будь хоть какая-нибудь надежда остановить этот серый вал, получить подкрепление, — тогда другое дело. Он же понимал, что остановить немцев они бессильны и на помощь никто не придет. Разве что Бульба своей батареей может кое-как прикрыть их отступление. Значит, бежать? Нет, и этого он не принимал.

Веря еще в чудо, он приказал без команды огонь не открывать. Странно, что его слушаются. Ни одного выстрела. Но это ненадолго. Еще минута — и у кого-то не выдержат нервы, кто-то выстрелит. А может произойти другое: солдаты вскочат и побегут сами — к станции, к имению. Спасайся кто как может. Позор! Нет, для солдат не позор. Позор для него. Что в таком случае делать ему? За ними он, конечно, не побежит. Остаться, как капитану тонущего корабля, до конца? Да, но не сдаваться же в плен. Тонуть... тонуть с помощью собственного нагана. Боже! Только, кажется, началась жизнь, пришло счастье... От мысли, что у него нет иного выхода, захолодало внутри. А может, пусть солдаты бегут? Такой вариант показался чуть ли не спасением. Спасением от позора. Они сняли бы с него ответственность за свои жизни, за свою кровь. Но никто не вскакивал, не бежал. Хоть бы одна голова поднялась над заснеженными брустверами. Затаились, притихли, будто завороженные, заколдованные видом немецких шеренг или громом их барабанов.

— Что делать? Будем воевать!

Командир батальона вздохнул:

— Сотрут они нас в снежную пыль, командир. Эх, была не была! Пойду сам лягу за пулемет. Погреюсь в последний раз. Веселей умирать будет.

Обреченность Комбата потрясла Богуновича. В сердце ударил новый страх, но уже не за полк, не за себя, не за судьбу страны. За одного очень дорогого человека — за Миру.

Вспомнилось, как он пожалел о своем решении перенести командный пункт сюда, в окопы, — пожалел в ту минуту, когда Мира решительно заявила, что пойдет с ними — с мужем, Пастушенко, Степановым.

Пытались отговорить ее — она и слушать не стала:

— Мне стыдно, что я не сделала этого раньше. Сижу, как секретарша, при штабе!.. А где должен быть большевистский агитатор?!

Сергей спохватился: Мира только что была рядом — и вдруг ее нет. Ага, вон где мелькает ее красная косынка, выбиваясь из-под воротника, — у пулемета. Стало немного спокойнее: жена словно под охраной самого надежного оружия.

Как медленно, однако, они идут! Не торопятся. Глубокий снег. А куда им торопиться? Под наши пули?

Неужели осталось одно, неизбежное, — дать команду открыть огонь? Поредеют их шеренги. Стена, наверное, ляжет в снег. Но у немцев есть другая сила — их артиллерия. От ее огня не спрячешься. На участке батальона всего три надежных блиндажа, по одному в каждой роте. Да и в те не полезешь, если не хочешь в плен. Выходит, все равно выход один — бежать в тыл всем, кто спасется от снарядов.

Богунович, чуть наклонив голову, прошел каких-то пять шагов по очищенному от снега окопу, упал грудью на

бруствер рядом с Пастушенко.

— Что будем делать, Петр Петрович?

— Я молюсь богу, голубчик.

Сергея охватила злость: опытный, мудрый, спокойный человек, немало понюхавший пороху, полковник не придумал в такой момент ничего более действенного, чем молитва. Спросил с иронией, которой никогда раньше не позволял себе по отношению к Пастушенко:

— Надеетесь, бог поможет нам?

— Нам ничто не поможет, Сергей Валентинович.

— Я даю команду открыть огонь, — со злой решимостью сказал Богунович.

Он выпрямился в полный рост, глянул в одну сторону, потом в другую и… содрогнулся. Уже далеко от окопа навстречу страшной стене, что, колыхаясь, приближалась, бежала Мира — маленькая фигурка в солдатской шинели — и махала красной косынкой, словно приветствуя чужих солдат.

Первая шеренга немцев будто наткнулась на невидимую проволоку, нарушила строй, в стене образовались проломы.

Сергей рванулся на бруствер:

— Ми-ра!

Но Пастушенко схватил его за руку:

— Не нужно, дорогой мой. Не вылазьте. Вы не остановите ее. Побежите сами — будет хуже. По ней одной не будут стрелять. Не будут… Ее могут только взять в плен.

Тем временем косынка, хотя и отдалялась, казалось, заполыхала большим красным знаменем — Мира, остановившись шагах в пятидесяти от немцев, высоко

подняла косынку над головой и махала ею.

Из наших окопов не было слышно ее слов, ветер относил их в сторону. Сильно запыхавшись, она успела выкрикнуть всего три слова — обращение, в силу которого так верила:

— Геноссе дойче зольдатэн!..

С немецкой стороны коротко стрекотнул пулемет, и фигурка в шинели упала как подкошенная в снег.

Ветер не погнал ее косынку в немецкую сторону, она плыла вдоль линии фронта — по снежной глади катился маленький красный клубочек, и, должно быть, не одному русскому солдату показалось, что это течет струйка алой крови агитаторши.

— Ми-ра!

Богунович царапал пальцами бруствер, ноги скользили по обледенелой стене окопа.

Но Пастушенко не дал ему вылезти — схватил за плечи, втянул назад в окоп.

— Не надо, голубчик! Не надо! Чем вы поможете? Какие звери! По женщине!

Вырвавшись, Сергей не полез на бруствер — бросился в блиндаж, крутанул ручку телефонного аппарата связи с батареей.

— Назар? Огонь! Назар! Огонь! Кроши их, гадов!

Выскочив из блиндажа, услышал, как стучали русские пулеметы, тяжко бухали винтовочные выстрелы.

Стремясь отомстить, солдаты готовы были броситься врукопашную. Сдержала их разве что батарея.

С шелестом пролетели над окопом гаубичные снаряды. Там, где залегла живая стена, взвихрились султаны снега и земли.

Но еще через минуту многоголосо рыкнули немецкие батареи. Снаряды их без пристрелки накрыли окопы.

2

Очнулся Богунович часа через три. С усилием раскрыл глаза. Стоял полумрак. Но это была не ночь — где-то далеко пробивался дневной свет. Сознание возвращалось постепенно. Сначала в голове, распухшей от боли, тяжело, как валун, шевельнулась самая простая мысль: где он, что с ним? На каком он свете? На этом? На том? Пришедшему в сознание человеку всегда хочется выяснить свое место на земле, потому что перво-наперво включается инстинкт самосохранения: только узнав, что с тобой, где ты, можно искать спасение. Боль, именно боль — мертвым не больно! — говорила, что он жив. Но где находится? В окопе? В блиндаже? Мрак, как в блиндаже. Но почему-то сильно пахнет конюшней. Откуда? Почему?

За войну он хорошо узнал, как пахнет смерть — трупы, свежая кровь, человеческая и лошадиная, гангренозные раны. Никогда они не пахли конюшней. Конем, его потом и навозом пахла жизнь: хлев, где лошади стоят, ранняя весна, когда возят навоз на поле, свежая пашня, а здесь, на войне, — передышка, когда не нужно убивать, а занимаешься мирным делом — чистишь своего скакуна, только что в разведке спасшего тебя от смерти, от плена, или того артиллерийского тяжеловоза, что в осеннюю распутицу, в непролазную грязь помог при отступлении, превратившемся в бегство, вывезти орудия.

Почему так сильно пахнет лошадьми? И при этом непривычная, глухая тишина — ни одного звука: ни голосов, ни фырканья, ни звона уздечек. «Где я? Что со мной?»

Ранен, без сомнения. Куда? В голову? Да, голова болит страшно. В ней как бы образовалась пустота, та ничейная полоса, которая простреливается врагом,

поэтому невозможно ее пройти, пробежать. Можно только переползти. Так ползло его сознание: через провалы, пустоту — туда, назад, где было небо, люди, звуки… Звуки… Он услышал их — зловещий гром барабанов. И тогда память как бы прорвала плотину боли, преодолела мертвую зону. Все вдруг всплыло. Немецкая атака. Маленькая фигурка с красной косынкой в руке… А потом… потом косынка катилась по снегу…

На мгновение кровавый туман погасил сознание. Но всего на мгновение. Тут же будто не в глаза — в мозг ударил близкий дневной свет, и события выстроились в их логической последовательности.

Мира! Мира хотела остановить серую страшную стену своим словом. Она так верила в слово!..

Девочка моя наивная!

Богунович заплакал, застонал от боли.

Сразу же над ним склонилось знакомое лицо. Очень знакомое. Но Сергей не сразу узнал Пастушенко, настолько тот изменился — старичок с взлохмаченными седыми волосами, без шапки; по морщинистым щекам текут слезы. Пастушенко спросил:

— Больно, сынок?

Ничего военного в Петре Петровиче не осталось, только отцовское — глубокая мучительная боль за неразумных детей.

Сергей прочитал эту боль. Однако поразило иное: он видел, что Пастушенко шевелит губами, но ни одного слова не слышал.

Спросил сам:

— Где мы?

Своего голоса тоже не услышал. Тогда сообразил: тишина оттого, что он оглох.

Памятью услышал свист немецких снарядов, вспомнил, как его подбросило и, казалось, долго-долго несло в воздухе, но там, в небе, он еще некоторое время «держался на ногах», а потом перевернуло и камнем бросило вниз, ударило головой о мерзлый бруствер окопа. От удара он потерял сознание. И, выходит, оглох.

— Выпей воды, голубчик.

Пётр Петрович, протянув руку, взял у кого-то невидимого фляжку. Богунович ощутил присутствие вокруг других людей. Понял, что сказал полковник.

Появилось желание пить.

Мягкие ласковые руки приподняли его голову. Пастушенко поднес к губам кружку. Он жадно глотнул ледяной воды и закашлялся, От кашля, от натуги боль ударила с новой силой, и на какой-то миг он снова провалился в беспамятство. Но руки не опустили голову, подняли еще выше, его почти посадили.

Когда сознание вернулось, Сергей увидел лицо человека, поддерживающего его голову, — женское лицо с большими грустными глазами. Тоже знакомое лицо, очень знакомое. Но снова-таки не сразу узнал, кто эта женщина. А узнал — Стася! — и обрадовался ей, словно поверил, что только она может вернуть ему жизнь, силы. Но тут же обожгла другая мысль: а зачем ему жизнь, если нет Миры? Наверное, он заплакал, потому что Стася провела своей мягкой ладонью по его обмороженным почерневшим щекам. И прикосновением своим действительно вернула ему силы. Богунович совершенно ясно увидел, что находятся они в знакомой баронской конюшне, где вместе с лошадьми коммуны стояли их штабные лошади.

С глаз его будто сползла пелена кровавого тумана. Теперь он видел, что дневной свет цедится сквозь маленькие окна конюшни, в дальних стойлах, беззаботно жуя сено, стоят несколько лошадей, а ближе к нему, на полу, на навозе, сидят люди. Он даже

оказался в состоянии отметить, что солдат его полка немного, большинство — батраки, коммунары, старые женщины, дети.

«Зачем они собрались здесь?» — подумал Сергей. Присутствие солдат он понимал: их, как и его, как Пастушенко, взяли в плен и заперли в конюшне перед тем, как погрузить в вагоны и отослать в Германию, в лагерь военнопленных. Но зачем здесь женщины? Он спросил об этом и опять не услышал своего голоса. По тому, как Стася начала отвечать ему — с возмущением что-то объяснять, понял, что голос у него не потерян, люди слышат его, и обрадовался этому.

С трудом поднял руку, дотронулся до своего уха, показывая, что ничего не слышит. Увидел глаза Петра Петровича, наполненные такой мукой и болью, что стало жаль его. Хотелось утешить старика. Но не хватило сил что-нибудь сказать, только подумал:

«Вам больно за меня, дорогой Петр Петрович? Не нужно, не переживайте. Я все сделал на земле...»

Но тут же вспомнил Миру, ее смерть, и горький комок распух в горле до того, что нечем стало дышать, перед глазами поплыл на этот раз желто-зеленый туман, сквозь который стремительно летела красная косынка — как язык горячего пламени. Заслонила Пастушенко, Стасю, всех людей... Нет, не заслонила, пролетела мимо. Из тумана, постепенно редевшего, снова выплыли озабоченные Стасины глаза. Женщина сама поила его, но уже не ледяной водой, а теплой, с запахом яблок — взваром, бутылку которого захватила с коммунарской кухни одна старая практичная женщина.

Вместе с силой взвар разбудил острую боль во всем теле. Богунович понял, что сильно окоченел, в нем застыла даже кровь, и теперь, согретая, больно колола тысячами иголок в ноги, в руки, в лицо, в грудь.

Только потом он узнал, что немцы долго не подбирали раненых, а пленных два часа держали в поле на студеном ветру.

Сознание прояснилось до восприятия всего окружающего.

Произошло самое страшное из того, чего он боялся.

И командир почувствовал себя виноватым. Нельзя было с таким поредевшим полком занимать оборону. Но петроградцы же заняли. Что у них?

Тревога за соседей — пожалуй, самое реальное возвращение из небытия в жизнь. Пусть она безрадостна, эта жизнь, и перспектива у всех у них мрачная — плен, но мысль о соседях связалась с мыслью о судьбе всего фронта, республики.

Неужели немцы пройдут маршем? Неужели нет силы, способной остановить их?

Пошевелив распухшими губами, Богунович спросил:

— Что у соседей? Где батарея?

Пастушенко грустно покачал головой.

Распахнулись ворота конюшни, впустив широкую реку дневного света.

Отделение солдат без касок, в шерстяных подшлемниках, туго обтягивающих головы, что делало их похожими на средневековых рыцарей, надевших кольчужные сетки, — бегом устремилось внутрь конюшни. Вид их, стремительность испугали женщин, те бросились из прохода в стойла, к стенам, к яслям. В проходе остались Пастушенко, Стася и Богунович. Стася прислонила контуженого командира к жердям стойла.

Сергей пощупал кобуру: защитить женщин, если солдаты начнут насильничать! Но кобура была пуста. Хотелось плакать от бессилия. Однако солдаты людей не тронули. Пробежали в глубину конюшни и вернулись назад, ведя за уздечки или за гривы лошадей.

Богунович с облегчением подумал: выводят лошадей —

значит, собираются долго держать здесь пленных. Это немного утешило, потому что чувствовал, что сам пока не сможет встать на ноги, идти.

Ему не хотелось такого унижения — чтобы его несли. А покончить с собой без оружия непросто.

Вместе с тем появилась надежда: пройдет еще час-другой — и он сможет стоять на ногах. И тогда он постарается помочь этим людям хотя бы советом… Только бы встать на ноги. Но со двора вернулись те же солдаты. И тоже бегом. Теперь каждый из них нес пузатый красный баллон. Солдаты расставляли баллоны по всей длине прохода, с равными интервалами — по-немецки аккуратно.

Богунович, оглохший, едва начавший приходить в себя от контузии, не сразу сообразил, что происходит, зачем понадобились в конюшне баллоны. Пока не увидел, как встревожился Петр Петрович. Лохматый, в разорванной бекеше, полковник бросился к солдатам, схватил одного за плечо, что-то объяснял, показывая в ту сторону, где столпились батраки. Второй солдат грубо оттолкнул старика, так, что тот свалился рядом с Богуновичем. Но тут же вскочил и, протянув руки к коммунарам, закричал:

— Люди!.. Товарищи!.. Они хотят отравить нас газом!

Богунович словно услышал этот крик. Нет, не услышал — догадался по тому, как поднялись люди, сидевшие перед ним. А еще вдруг обратил внимание, что у каждого солдата висит через плечо тяжелая зеленая сумка.

Баллонов Богунович не видел среди трофеев. А сумку… сумку такую сам носил еще в пятнадцатом году. Немецкие противогазы! Их выдавали офицерам, пока не наделали своих, русских.

У него не было сил возмутиться, он не мог встать и, не слыша своего голоса, не очень верил, что крик его услышат другие. Да разве поможешь криком?!

Мира! Как она верила в немецких солдат, в революцию в Германии! Вот в этих солдат!.. Которые оборвали твою жизнь пулей, а нас задушат газом. Газом! Боже мой, боже! Что же это?

Немецкий солдат, стоявший над Богуновичем, вытянулся, как вытягиваются перед высоким начальством или по команде «смирно». Действительно, тут же появилось начальство — два немецких офицера, майор и лейтенант.

Майор показался Богуновичу знакомым. От напряжения памяти — откуда он мог знать этого офицера? — он снова будто всплыл в реальный мир, где через открытые ворота лился свет, пахло навозом и испуганно суетились люди, только голосов их не слышал — немо и глухо, как в могиле.

Пастушенко, видно было по его возбужденной мимике, что-то горячо доказывал майору.

Богунович узнал майора, как только рядом с ним появился монах в длинной, до пят, сутане. Монах — это сын барона Зейфеля Ёган, богослов! А немецкий майор — младший сын, бывший капитан штаба Ставки, тот, что когда-то, инспектируя их дивизию, в картежной игре вычистил карманы и кошельки чуть ли не у всех офицеров.

И тут появилось совсем иное, живое чувство — гнев, ненависть, презрение.

«Сукин сын! Предатель! Шпион! Каковы же твои заслуги перед немецкой армией, если тебе дали майора?!»

Уже с иным намерением, с иной решимостью, преодолевая боль в руке, Богунович схватился за кобуру, забыв, что она пустая. Однако тут перед его глазами произошло ужасное…

Пастушенко тоже, наверное, не узнав Зейфеля, вторично бросился к нему:

— Господин майор! Что хотят делать ваши солдаты? Это же газ! — показал он на баллоны. — Они хотят пустить газ на людей? Но это же мирные люди, местные крестьяне, батраки!.. А солдаты… солдаты — ваши пленные. Их защищает конвенция, подписанная и Германией.

Майор немецкой армии молчал, словно не слышал — осматривал конюшню, остановил взгляд на выбитом окне, показал солдату на это окно:

— Забить! Досками!

Солдат бросился выполнять приказ. А старый полковник русской армии с острой болью в сердце, с отчаяньем и страхом умолял победителя:

— Здесь же дети! Господин майор!

Майор отдал приказ детей до пятнадцати лет вывести из конюшни.

Подошел монах — и Пастушенко, как минутой раньше Богунович, наконец узнал, кто собирается совершить такое страшное преступление.

Старик закричал иным, гневным голосом:

— Барон Зейфель! Вы хотите отомстить своим батракам?! Одумайтесь! Что вы делаете? Господин богослов! Остановите вашего брата! Вечное проклятье падет не только на вашу семью, но и на всю немецкую армию, на всю нацию…

У офицера и монаха одинаково презрительно скривились губы. Ёган Зейфель сказал, грустно вздохнув:

— Не беспокойтесь о немецкой нации, господин полковник. У немцев есть бог.

— Миссия немецкой армии и народа — уничтожить заразу большевизма, — жестко бросил Артур Зейфель; русские офицеры за картами называли его ласково —

Артюша, Артюха.

— Кто здесь большевик? — удивился Пастушенко.

— Вы! Вы — первый большевик! — Рыцарская важность и спокойствие оставили майора, и он начал злобно кричать, даже посинел: — Вы! Предатель царя и отечества! Вы продались быдлу! За что они вас купили? Вонючий дворянин! Несчастный плебей!

Пастушенко молча выслушал грязную брань. Но даже Богунович, ничего не слыша, увидел, как изменился за эту минуту Петр Петрович. Из старого, боящегося за жизнь людей человека, растерянного, беспомощного, суетливого, он превратился в прежнего командира полка, боевого офицера, гордого, независимого, отважного, никогда не склонявшего головы ни перед начальством, ни перед вражескими пулями.

Полковник сказал отчетливо, громко:

— Сукин ты сын! Тевтонский пес! Ты не дворянин. Ты вонючий клоп! Веками вы ели хлеб, политый потом славян, сосали кровь из нашего народа и служили врагам России. Я плюю в твою шпионскую морду! Женщин пожалей, палач!

У барона задрожали губы. Не разжимая их, он прошипел:

— За ваши заслуги перед русским народом я дарю вам, полковник, смерть от немецкой пули... не от газа, — и начал медленно вытаскивать из кобуры револьвер.

Монах попытался остановить брата. Тот грубо оттолкнул его.

Стася бросилась, чтобы загородить Пастушенко собой, но майор ударил ее револьвером по лицу. Она упала.

Барон выстрелил дважды с холодностью профессионального палача, только брезгливо скривив лицо, — выстрелил старому человеку в грудь, в живот.

Пастушенко, закрыв ладонью сердце, отступил шага на два, прислонился спиной к кирпичному столбу и начал медленно оседать на землю.

Заголосили женщины.

Богунович, рванувшись к убийце, от боли потерял сознание.

Зейфель ткнул его в бок носком сапога, бросил лейтенанту:

— Этого, когда очнется, будем судить как шпиона.

Потом так же цинично-брезгливо показал сапогом на Стасю:

— А эту — солдатам на забаву.

В предсмертной тишине застучали молотки — солдаты забивали окна конюшни.

Часть третья

Спасение

Глава первая

Ультиматум

1

День начался трудно и тревожно, хотя ничто не нарушало ритма работы в Совнаркоме. К тому времени Смольный жил уже довольно упорядоченной жизнью. Каждый знал свое место: не было митингов, гула голосов, топота многих сотен сапог — всего того, чем наполнялись коридоры и классные комнаты бывшего

Смольного института в первые два месяца Советской власти. Но — странно! — тишина не помогала сосредоточиться.

Ленин еще утром весело сказал Горбунову, что при шуме революции ему работается легче. Но хорошо понимал, что причина не в этом. Тяжелая голова и тревожное чувство остались от бессонной ночи. Он лег в четыре часа, такое случалось нередко, но раньше он умел заставить себя уснуть и несколько часов поспать, чтобы проснуться бодрым, готовым работать с обычной энергией.

Прошлой ночью ему, пожалуй, так и не удалось уснуть, задремал разве что на какой-нибудь час, но и в дремоте возбужденный мозг продолжал работу.

Итоги вчерашнего заседания ЦК в общем-то удовлетворили его. «Левые» вынуждены были отступить: ни один не проголосовал за революционную войну. Нервничал Троцкий — рушилась его позиция. Но победа в политической полемике — это не все теперь, после революции. Победа делом — вот что нужно. А до такой победы далеко: большинство в один голос за формулировку: «заключаем мир, если будем иметь как факт немецкое наступление». Как факт… Странно и грустно слышать, когда люди, стремящиеся решать судьбы русской и мировой революций, рассуждают, как дети: некоторые верят, что заявление Гофмана — блеф, провокация, другие считают, что можно сложа руки ожидать наступления, более того, ожидать, какое впечатление оно произведет в самой Германии. Это не теоретическая путаница. Это уже практическое преступление, когда ради доказательства своих ошибочных теорий люди готовы пожертвовать революцией, Советской властью.

Немецкое наступление начнется сегодня в полдень — Ленин не сомневался в этом ни на минуту. Своей богатой фантазией, интуицией стратега и тактика Владимир Ильич представил, как оно развернется. Новые, вооруженные до зубов дивизии обрушатся на русскую армию, обессиленную, голодную, на две трети

демобилизованную. Бои. Жертвы. Кровь. Снова кровь…

Он думал об исстрадавшихся солдатах, которых по всей бывшей Российской империи ждут матери, жены, дети. И — земля! Как им хочется потрудиться на земле!

Спасение одно — мир. Только мир. Другого выхода нет. Но немцы наверняка продиктуют более жестокие условия. Принимать любые условия! Для этого — объявить войну революционному фразерству, политике Троцкого, который, по существу, не верит ни в русский пролетариат, ни в немецкий, игнорирует крестьянство. Нужно повести открытую борьбу с фразерами и политическими дилетантами, путаниками. Чтобы знали партия, рабочий класс, армия!

В бессонную ночь начал складываться план статьи против революционной фразы. Ленин безжалостно разоблачал, раздевал и выставлял голыми на «свет божий» Бухарина и его сторонников, а заодно развенчивал демагогию Троцкого, заявившего, что он, дескать, сорвав подписание мира, спас Советскую Республику от позора и дал толчок европейской революции. Беспардонная демагогия! На такую эквилибристику способен только Троцкий.

Хотелось встать и записать свои мысли, которые складывались в емкие формулировки. То, что появляется ночью, днем как бы притупляется, теряет остроту.

Раскрыть корни фразерства: «Революционная фраза чаще всего бывает болезнью революционных партий при таких обстоятельствах, когда эти партии прямо или косвенно осуществляют связь, соединение, сплетение пролетарских и мелкобуржуазных элементов и когда ход революционных событий показывает крупные и быстрые изломы».

Обязательно сказать, что революционная фраза рождена субъективизмом: «Чувство, пожелание, негодование, возмущение — вот единственное содержание этого лозунга…»

Нет, сначала о сущности самой фразы! «Революционная фраза есть повторение революционных лозунгов без учета объективных обстоятельств, при данном изломе событий, при данном положении вещей, имеющих место. Лозунги превосходные, увлекательные, опьяняющие, — почвы под ними нет, — вот суть революционной фразы».

Ах, как хотелось записать ночью! Не отважился. Жаль было будить жену. Надя, безусловно, не спала до его прихода. И потом долго слушала его бессонницу, она как бы умела слышать его мысли. Тихо позвала, прервав его работу:

— Володя, ты не спишь? Он притаился, не отозвался.

Ленин закрыл блокнот. Нет, для теории — ночь, днем нужно заниматься практической работой, ее нельзя отложить даже на час.

Пригласил Бонч-Бруевича.

У управляющего делами был усталый вид, серое лицо, красные глаза — тоже провел бессонную ночь. Он исполнял, кроме прочего, обязанности председателя комиссии по борьбе с погромами. Вместе с Дзержинским, работниками ЧК, комиссарами 75-й комнаты они очищали город от контрреволюции. Это было указание Ленина: не дать никаким силам подняться против Советской власти, воспользовавшись немецким наступлением. В такой момент необходима особенная бдительность.

— Как ведут себя пленные? — спросил Ленин.

— Чекисты выявили сговор немецких офицеров с русскими.

Ленин хмыкнул.

— Спелись вчерашние враги? Против диктатуры пролетариата буржуазия пойдет на сговор с самим дьяволом. Газеты эсеров, меньшевиков полны проклятий немцам, а за кулисами идет подлый сговор.

Господа «ура-патриоты» готовы продать Россию Вильгельму. Продадут кому хотите, лишь бы свергнуть Советскую власть. Офицеров арестовать!

— Собираем доказательства, Владимир Ильич.

Ленин посмотрел на старого друга, обычно понимавшего его с полуслова, со строгостью учителя.

— Владимир Дмитриевич, мы проявляли больше, чем надо, гуманизма. Разрывом перемирия немецкое командование зачеркнуло наш гуманный акт — освобождение пленных. Офицеров арестовать! Солдат выслать в лагеря военнопленных. Иначе мы получим восстание немцев в Петрограде. К нему тут же присоединится отечественная буржуазия. Нег, пожалуй, наоборот: русская контрреволюция использует немцев. Не дайте им сделать это. Разбейте троянского коня, пока не поздно. Передайте Дзержинскому и Урицкому — самые решительные действия по очищению Петрограда! Поднимите рабочие отряды... — Ленин на минуту задумался, пристально взглянул в глаза Бонч-Бруевичу. — И знаете что, батенька? Пошевелите вы комиссию по организации Красной Армии.

— Владимир Ильич...

— Знаю, знаю, что вы загружены вот так, — показал рукой выше головы. — Сколько часов спали?

— Часа два.

— Никуда не годится. Я вас посажу под домашний арест... — Глаза Ленина знакомо смеялись, с лица исчезли следы бессонной ночи, он весело добавил: — Как только одолеем контрреволюцию и... подпишем мир с немцами. Хорошо, считайте с этого момента комиссаром комиссии по созданию Красной Армии — Ленина. Можете работать под моим руководством?

Бонч-Бруевич засмеялся.

— При таком председателе!..

— Пожалуйста, без комплиментов. — Ленин поднялся с кресла, привстал на цыпочки, заложил руки под мышки, обошел стол, остановился перед управляющим делами, сказал тихо, будто по секрету: — Вы умеете говорить с рабочими, Владимир Дмитриевич…

— Это тоже комплимент.

Ленин не принял шутки, сказал серьезно:

— Может случиться… наверняка случится, что в ближайшие дни нам придется послать на фронт рабочие отряды… тысячи большевиков…

В кабинет вошел Сталин. Был он во френче, в тяжелых с виду сапогах, которые, однако, никогда не стучали, даже на каменной лестнице, и не скрипели. В левой, руке Сталин держал потушенную перед тем, как зайти к Ленину, трубку.

Ленин шагнул навстречу наркому, пожал руку. Приветствовал шуткой:

— Товарищ Коба, есть у грузин пословица: на ловца и зверь бежит?

— У грузин, товарищ Ленин, все есть.

— Не будьте националистом, — пошутил Владимир Ильич.

— Нет, я интернационалист.

— Это архиважно, чтобы нарком по делам национальностей был убежденным интернационалистом, — сказал Ленин, обращаясь к Бонч-Бруевичу, который, поздоровавшись со Сталиным, стоял в задумчивости, ожидал новых указаний. Ленин, заметив, что Владимир Дмитриевич не проявляет обычно свойственного ему остроумия, понял, как сильно человек устал; самого же Владимира Ильича радовало, что он вдруг вышел из такого же тяжелого состояния, зарядился снова энергией.

Приблизившись к Бонч-Бруевичу, Ленин сказал с заговорщицкой таинственностью:

— Знаете, что я вам, батенька, посоветую? Найдите тихий уголок и поспите часок. А потом с утроенной энергией возьмитесь за погромщиков.

Бонч-Бруевич вышел.

Ленин вернулся в рабочее кресло, пододвинул к себе лист бумаги с грифом: «Председатель Совета Народных Комиссаров».

— Иосиф Виссарионович, последнюю неделю мы с вами занимались Грузией в связи с оккупацией турками Батума и Карса. Сегодня нам предстоит заняться Эстляндией. Срочная телеграмма в Ревель. Запросить о последних данных военной разведки. Посоветовать эстонским товарищам: твердо установить и усилить охрану западной границы республики. Нападение на Советскую Эстонию, которая не находится в состоянии войны с Германией, станет актом неприкрытого империалистического разбоя. Наконец дело с арестованными за заговор и измену баронами. Держать под строгой охраной… вывезти на восток… в надежную тюрьму. За эстонскими баронами стоят немецкие бароны, им нужно будет вызволять своих. Нечистое дело — держать заложников. Но когда имеешь дело с разбойниками, не грех использовать любые средства. И самое важное… Ревельскому Совету… не телеграммой, с курьером. Специальное распоряжение Совнаркома: принять самые энергичные меры к неотложной и полной эвакуации завода Северо-Западного общества в Новороссийск. Крупнейший завод, выпускающий пушки и пулеметы, ни в коем случае не должен оказаться у немцев. Вы согласны?

— Нельзя не согласиться, товарищ Ленин.

— Подготовьте, пожалуйста, телеграмму и распоряжение ревельский товарищам.

Перехват царскосельской радиостанцией обращения

Леопольда Баварского к солдатам Восточного фронта и немецкому народу, как и надлежало, сначала был переслан в Наркомат иностранных дел.

Троцкому его принесли без задержки. Но нарком не поспешил проинформировать Председателя Совнаркома. Для него более важной оказалась беседа с посетителем, потому что посетителем этим был специальный представитель Англии Локкарт.

Неофициальные контакты Робинса с Советским правительством встревожили Ллойд Джорджа и Керзона. Англичане, при Бьюкенене занимавшие самую консервативную позицию в отношении большевистского правительства — никакого признания, никаких отношений! — вдруг испугались, что хитрые американцы обскачут их, получат в России выгоды и потеснят британского льва, давно уже, еще до американцев, запустившего свою лапу в русский хлеб, лес, руду.

«Владычица морей» имела богатейший опыт шпионажа и заговоров против правительств азиатских, латиноамериканских стран, если те делали попытки освободиться от колониальной зависимости. Так почему бы не использовать эти методы против России?

В Лондоне начали искать человека, который сочетал бы в себе качества хитрого дипломата и ловкого шпиона. Нашли Локкарта, бывшего вице-консула в Москве, молодого, решительного, проворного; он почти в совершенстве владел русским языком, имел многочисленные связи с теми, кого революция смела с должностей, лишила богатства.

Локкарта перед поездкой принял не только министр иностранных дел, но и военный министр и даже сам премьер.

Локкарт записал, что сказал ему Ллойд Джордж; эта часть мемуаров известного организатора антисоветских заговоров не вызывает сомнений:

«Вы поедете в Россию как специальный представитель, — сказал премьер-министр. — Я хочу, чтобы вы нашли человека, имя которого Робинс… Установите, какие у него отношения с Советским правительством. Изучите это все старательно и внимательно. Если вы найдете его действия разумными, сделайте для Англии то же, чего он пытается добиться для Америки».

Локкарт приехал в конце января.

Пробовал попасть к Ленину.

Ленин не принял его.

Троцкий в это время был в Бресте. Вернувшись в Петроград, за одну неделю второй раз принимал Локкарта.

Англичанин нравился Троцкому больше, чем Робинс. У полковника прорывалось явное восхищение Лениным. Этого Лев Давидович вынести не мог, он больше любил, когда восхищались им самим, хотя был не прочь кокетливо поиграть в самокритичность.

Локкарт, несмотря на молодость, производил впечатление своей практичностью, деловитостью, открытостью высказываний, а более всего — знанием России. Например, о Севере — Мурманске, Архангельске, богатствах этого края — он знал больше Троцкого. О силах немцев в Ледовитом океане, о блокаде Баренцева побережья, о планах немецкого генерального штаба относительно Арктики говорил с осведомленностью профессионального военного. Об английских планах, естественно, молчал.

Троцкий вел переговоры о той помощи, которую Советская Россия могла бы получить от Англии, если возобновится война с Германией.

Человек, доказывавший в высшем органе своей партии, что немцы не способны наступать, английскому представителю сказал иное. Оправдал свое двурушничество необходимостью дипломатии. В

действительности же и здесь играл на мировую известность. А для «внутреннего пользования» — на свою объективность. Пусть Ленин знает, что с «левыми» у него принципиальные разногласия, он не такой болван, как Бухарин, чтобы отказываться от всяких контактов с империалистами.

Во время первой встречи Троцкий довольно резко высказал обиду за интернирование его англичанами в Канаде, в Галифаксе, когда он с семьей возвращался из Нью-Йорка.

Локкарт сразу сообразил, что напуганная революцией английская контрразведка перестаралась. Он тут же сообщил об обиде Троцкого Керзону.

Эта, вторая, беседа началась с того, что Локкарт от имени министерства иностранных дел Великобритании попросил извинения: мол, задержали его военные власти доминиона, а военные всегда плохие дипломаты.

Извинение пощекотало самолюбие Троцкого.

«Вот так с ними нужно разговаривать, так утверждать свое имя в мире», — подумал он.

Беседа приобрела иную тональность — стала более доверительной.

Англичанам Троцкий уступал не меньше русских богатств, чем американцам, но делал это более открыто, снова-таки с расчетом на Ленина — пусть знает, что он, Троцкий, тоже заботится об обороне республики.

Перехват немецкого радио принесли при Локкарте.

Любой министр иностранных дел немедленно ударил бы в колокола: война!

Троцкий этого не сделал. Залкинда, принесшего телеграмму, очень удивило спокойствие наркома.

Троцкого не смутило, что обращение Леопольда

Баварского явно свидетельствовало о возобновлении войны, а это опровергало его, Троцкого, утверждение о невозможности немецкого наступления. Он великолепно умел любое свое высказывание, любую мысль повернуть в выгодную для себя в данный момент сторону.

Чтобы поддержать «левых» против Ленина, он не призывал к революционной войне, нет, он просто настойчиво высказывал веру в революцию в Германии. Кто возразит против этого?

В действительности Троцкий лучше, чем кто-либо другой, знал, что наступать Гофман может: в Бресте воинственные настроения пруссака он чувствовал и видел дисциплину его солдат. Но Троцкий не был бы Троцким, если бы пренебрег возможностью создать для партии и Ленина трудную ситуацию, самую трудную из всех складывавшихся в революции раньше. Это, пожалуй, более серьезно, чем каменевско-зиновьевское штрейкбрехерство накануне восстания или союз их с меньшевиками и эсерами через неделю после взятия большевиками власти.

Троцкий спокойно окончил разговор с уполномоченным Ллойд Джорджа. На прощание преподнес Локкарту подарок: прочитал ему немецкое обращение, переведя текст не на русский — на английский язык, хотя до этого говорили по-русски. Заметив, что Локкарт не скрывает своего удовлетворения, сказал:

— Теперь у вас открываются большие возможности. Тепло распрощавшись с иностранным гостем, нарком поехал в Смольный.

Ленин прочитал радиограмму дважды или трижды. На лбу его появились новые морщины, на лицо упала тень, хотя на улице светило щедрое предвесеннее солнце и кабинет был залит светом.

Владимир Ильич подчеркнул карандашом слова: «Исторической задачей Германии издавна было установить плотину против сил, угрожавших с

Востока… Теперь с Востока угрожает новая опасность: моральная инфекция. Теперешняя больная Россия стремится заразить своей болезнью все страны мира. Против этого мы должны бороться».

Прочитал по-немецки, потом по-русски, как бы стремясь глубже вникнуть в смысл. Сказал Троцкому, внимательно следившему за выражением его лица:

— Враги наши не дураки, признаем это. Немецкому пролетариату они не отважились раскрыть свою главную цель — задушить русскую революцию. Но очень ясно дают понять империалистам Франции, Англии: не нажимайте на нас на Западном фронте — и мы вернем России царя, вернем земли помещикам, заводы капиталистам. Как вам нравится «моральная инфекция»? Недурно сказано, правда? Хотя для устрашения обывателя можно было бы найти более крепкие слова, немецкий язык богат. — На какой-то очень короткий миг лицо Ленина посветлело, но тут же снова надвинулась еще более густая тень. — Но наша трагедия — бессилие перед их нашествием. У нас нет иного оружия, кроме незамедлительного подписания мира.

Троцкий смолчал, можно было подумать — согласился.

Ленин сказал:

— Нужно немедленно созвать Центральный Комитет.

Троцкий поддержал:

— Да, собраться нужно поскорее.

Пока Елена Дмитриевна Стасова сообщала членам ЦК о срочном заседании, Ленин трудился с утроенной энергией.

Цель сейчас была одна: ослабить силу немецкого удара, дать Гофману понять, что без сопротивления не сдадимся.

Еще несколько дней назад внимательно изучив по карте

линию фронта, Владимир Ильич отметил, что главное направление удара будет на Двинск. Тут немцы наиболее углубились на восток, тут стык русских фронтов, Западного и Северо-Западного. Наконец, Двинск — железнодорожный узел, взятием его перерезаются пути на восток из Белоруссии, Литвы, Латвии. И еще: в Двинске — концентрация армейских штабов и складов. Немцы были бы дураками, если бы не постарались захватить оружие, амуницию, хлеб. Из Двинска прямая дорога на Петроград.

Другое важнейшее стратегическое направление — на Киев. Между ними — удар на Минск, на Оршу, чтобы приблизиться не только к Петрограду, но и к Москве.

Владимир Ильич пошел в аппаратную, связался с Двинским Советом. Оттуда передали, что с самого утра над городом летают немецкие аэропланы, а, по данным разведки, на участке фронта перед Двинском появились новые кайзеровские дивизии, две или три.

Ленин в ответ продиктовал:

— Оказывайте сопротивление где это возможно. Вывозите все ценное и продукты. Остальное все уничтожайте. Не оставляйте врагу ничего.

Николай Петрович Горбунов, слышавший эти указания, почти дословно повторил их на другой день, девятнадцатого, когда немецкое наступление развернулось в полную силу, в ответе председателю Совета Дриссы Урбану, спрашивавшему у Ленина, что делать, когда немцы подступят к городу.

Подписывая телеграмму, Владимир Ильич дополнил ее двумя короткими, но очень емкими предложениями: «Разбирайте пути — две версты на каждые десять. Взрывайте мосты».

Ленин определил не только тактику отступления, но и тактику партизанской войны.

Заседание ЦК было коротким. Ленин с большей, чем

раньше, категоричностью, потребовал: выступают только представители от фракций, докладчиков ограничить пятью минутами; высказываться, собственно, по одному пункту — о неотложном обращении к немецкому правительству с предложением о возобновлении мирных переговоров.

Бухарин от имени «левых» решительно выступил против такого обращения.

Троцкий, уводя от сути ленинского предложения, снова, как и накануне, призывал ожидать «психологического эффекта», который окажет наступление на немецкий народ, ожидать «взрыва в Германии», в который он, мол, по-прежнему верит.

Одним голосом перетягивают «левые» и троцкисты. Убедить этих людей невозможно. Факты? «Если факты противоречат нашим теориям — пусть будет хуже для фактов» — по такой логике действовали Бухарин и Троцкий.

Ленину было горько от голосования, от упрямства неглупых, казалось бы, людей, от неразумного упрямства, за которое придется кровью расплачиваться солдатам, рабочим.

Однако поражение обезоружить вождя не могло.

Владимир Ильич действительно осуждал себя за мягкость, допущенную в полемике с противниками мира до этого. Дипломатические соображения — не выдать Кюльману и Гофману в ходе переговоров расхождений в руководящей партии, которые немцы могли бы использовать, — сдерживали его от удара по Бухарину и Троцкому со всей силой его, ленинской, непримиримости к любому оппортунизму. Но дольше терпеть такое положение невозможно! За мир нужно начать открытый бой! И — немедленно.

Ленин в каждой паузе продолжал писать свою статью, начатую бессонной ночью, писать мысленно, потому что пауз, позволявших хотя бы на несколько минут

взять карандаш и склониться над бумагой, в тот критический день 18 февраля не было.

«Кто не хочет себя убаюкивать словами, декламацией, восклицаниями, тот не может не видеть, что «лозунг» революционной войны в феврале 1918 года есть пустейшая фраза...»

Вспомнился довод «левых»: Франция 1792 года не меньше страдала от разрухи, но революционная война все излечила, всех воодушевила, все победила.

Ленин хмыкнул. Какое невежество!

Присел все же к маленькому столику, взял блокнот, записал:

«Факт тот, что во Франции конца XVIII века создалась сначала экономическая основа нового, высшего,

способа производства, и уже результатом, надстройкой явилась могучая революционная армия».

А современная Россия?

Ленин снова прошелся по кабинету. Ходил и говорил вслух:

— Неимоверная усталость от войны. Нового экономического строя, более высокого, чем организованный государственный капитализм превосходно оснащенной технически Германии, нет. Еще нет. Наш крестьянин получил землю, но ни одного года свободно на ней не трудился. Рабочий начал сбрасывать капиталиста, но не мог еще успеть организовать производство, повысить производительность труда. Еще раз сказать, что нового, более высокого экономического строя еще нет. Будет... На этот путь мы встали. К этому идем. Но нет еще. Вот так, товарищ Бухарин! Поэтому ваш призыв начать революционную войну — экономическое невежество и политическая авантюра. Резко? Нет! Мягко. Ситуация вынуждает сказать еще более сильно! И я скажу!

Взволнованный Горбунов принес телеграмму начальника штаба генерала Бонч-Бруевича: немцы начали наступление по всей линии фронта, от Риги до Румынии; по расчетам штаба, наступает не менее пятидесяти дивизий.

Ленин заказал автомобиль и поехал в Наркомат по военным делам.

Необычность ситуации проявилась разве что в том, что заседание Совнаркома началось не в восемь вечера, как было заведено сразу же после создания Советского правительства, а в десять. Да еще, пожалуй, в том, что отсутствовали Подвойский, Дыбенко, Дзержинский и Бонч-Бруевич; первые двое занимались фронтом, выполняя указания Ленина, вторые — безопасностью в Петрограде. В остальном все было по-прежнему. Никакой нервозности. Обычная повестка дня. Привычная для всех корректировка повестки Лениным: несколько вопросов — в Малый Совет, перед некоторыми Владимир Ильич написал: «Отложить» или «Поручить ознакомиться». Высказал свои соображения, почему отложить или почему необходимо ознакомиться.

Наркомы согласились.

Еще днем он дополнил повестку «Докладом комиссии о портах». Как будто мирный вопрос тоже был частичкой ленинской стратегии: осмотреть, привести в порядок, взять под контроль все, что имеет отношение к обороне, — не только фронт, военнопленных, службы внутренней охраны, но и железные дороги, порты, склады, уголь и хлеб… Однако для разговора о портах секретариат не успел собрать нужных людей. Пришлось один из важнейших вопросов отложить. Хотя для Ленина не было маловажных вопросов: все, о чем бы ни шла речь, укрепляло экономику или политическую структуру. Ассигнование двух миллионов рублей Наркомторгпрому… Доклад о саботажниках. Назначение председателя Особого комитета по сокращению расходов. Отклик Петроградской городской управы на подписанный декрет — их

заявление о нежелательности поспешной национализации недвижимого имущества. В мирных условиях заявление управы можно было бы просто отклонить, но в связи с немецким наступлением о нем следует подумать: нельзя не занимать принудительно здания для размещения эвакуированных учреждений, людей, раненых, но нельзя и излишне шевелить «буржуазный муравейник», толкать врагов пассивных, сидящих тихо, на активные выступления против Советской власти.

В конце заседания Ленин сообщил членам правительства о масштабах немецкого наступления. Рассказал, что уже сделано и что надлежит делать наркоматам. Попросил членов правительства и аппарат Совнаркома побыть в эту ночь на военном положении — не разъезжаться по домам.

— После заседания ЦК необходимо собраться Совнаркому, от имени которого будет послана телеграмма правительству Германии с предложением о возобновлении мирных переговоров.

Владимир Ильич сказал это с уверенностью, что такая телеграмма не может быть не послана.

При этих словах Троцкий вскинул на лоб пенсне, потом дернул свою всегда вскудлаченную бородку, однако смолчал — не та аудитория! Прикрыл газетой скептическую ухмылку, но тут же опустил газету и демонстративно зевнул.

2

Заседание ЦК, обозначенное в протоколе Еленой Дмитриевной Стасовой как вечернее, в действительности собралось в два часа ночи в Таврическом дворце. Там же, в другом зале, в это же время заседал Центральный Комитет левых эсеров.

После Совнаркома Ленин выслушал доклад командующего войсками Московского военного округа

Муралова. Доклад произвел тяжелое впечатление: силы республики очень слабы. Из десяти корпусов, о которых Ленин говорил еще в январе, до подписания Декрета о создании Красной Армии, сформированы только два, да и те неполного комплекта. Кроме фронтового запаса, который, наверное, захватят немцы, на резервных складах не осталось снарядов, а заводы стоят.

Ленин приехал в Таврический под охраной всего одного матроса, хотя в Петрограде в ту ночь было неспокойно. Несколько раз начиналась перестрелка между отрядами ЧК, которые по указанию Ленина чистили город, и немецкими пленными, русскими офицерами, эсеровскими авантюристами, анархистами-погромщиками. Контрреволюции в Петрограде хватало — всех оттенков, слабость ее была в отсутствии организации, единого центра.

Ленин задержался на несколько минут. Его ждали. Когда он стремительно вошел, все знавшие Ильича по эмиграции, помнившие его бойцовские качества, увидели, насколько воинственно он настроен. Нет, не как боец перед атакой — как командующий, у которого готова диспозиция будущего боя.

Троцкий занял председательское место, но никто не поднял вопрос о процедуре — кому вести заседание, не до того было. Разговор начали без формальностей. Выступали как будто корректно, но с внутренним кипением.

Георгий Ломов предложил перенести заседание, приведя народную пословицу:

— Утро вечера мудренее.

Ленин решительно запротестовал:

— Откладывать ни в коем случае нельзя. У нас должна быть ясность. Если немцы не примут предложения о мире, мы вынуждены будем принимать другое решение. Шутить с войной нельзя. Я еще раз говорю: если мы не подпишем мир на брестских условиях, мы вынуждены

будем подписать его на еще более тяжелых условиях. Объявив революционную войну, мы слетим. Неужели не хватает мужества признать это?

Урицкий. Вы нас пугаете, Владимир Ильич. Не будем впадать в панику и растерянность. Это недостойно революционеров.

Ленину хотелось ответить, что революционное фразерство — это не что иное, как отражение мелкобуржуазной растерянности перед беспощадной реальностью. Но он смолчал, чтобы в самом начале не разжигать страсти.

Троцкий. Есть сведения о взятии немцами Двинска (Двинск был сдан в два часа дня, об этом знали еще вечером, поэтому информация наркома по иностранным делам вызвала улыбки). Есть слухи о наступлении на Украину. Если последний факт подтвердится, это вынудит нас предпринять определенные шаги. Однако нельзя не учитывать, что сообщения о неподписании нами мира только еще расходятся, вопрос сложный, разобраться в нем рабочим нелегко. Телеграмму о нашем согласии подписать мир не поймут ни у нас, в России, ни за границей. Важно, чтобы факты показали, что мы стоим под ударами дубины, вынуждающей нас подписать мир. Наконец, необходимо знать, как повлияло наступление на немецких рабочих. Я не сомневаюсь, что немецкий пролетариат выступит. Поэтому самая правильная тактика с нашей стороны — обратиться с запросом в Берлин и Вену: чего они требуют?

Урицкий. Мы должны или присоединить два голоса сторонников подписания мира, которые отсутствуют, или, наоборот, подчиниться тем, кто в меньшинстве.

Свердлов. Я не против предложения Урицкого, если это сказано серьезно: присоединить голоса Муранова и Артема. С Троцким согласиться нельзя. Ждать мы не можем даже до утра. Решение необходимо принять немедленно.

Сталин. И оно должно быть только одно — возобновить переговоры. Скажем себе откровенно: немцы наступают, и у нас, чтобы остановить их, нет иной силы, кроме согласия на мир.

Ленин. Мы не имеем ни войны, ни мира и втягиваемся в революционную войну. Еще раз повторяю: шутить с войной нельзя! Игра зашла в такой тупик, что крах революции неизбежен, если дальше занимать среднюю линию. Запрашивать немцев, чего они хотят, — это еще одна телеграмма, еще одна бумажка. Единственно правильное решение — предложить возобновить переговоры. Середины нет. Мы могли подписать мир, который нисколько не угрожал революции. А теперь, играя с войной, мы отдаем революцию немцам. История нам скажет: вы отдали революцию. Теперь не время обмениваться нотами. Больше ждать нельзя ни минуты!

Поздно «прощупывать», потому что ясно: немец может наступать. Мы спорим, пишем бумажки, а они берут города, склады, вагоны. Мы идем на невыгодный договор и сепаратный мир потому, что знаем: сейчас мы не готовы для революционной войны, нужно уметь подождать (так мы выждали, терпя кабалу Керенского, с июля по октябрь), подождать, пока мы окрепнем. Если можно получить даже архиневыгодный сепаратный мир, его нужно обязательно, я — подчеркиваю, обязательно принять в интересах социалистической революции, которая еще слаба. Только в случае отказа немцев от мира нам придется сражаться. Не потому, что это будет правильной тактикой, а потому, что не будет выбора. Но пока выбор есть, нужно выбрать сепаратный мир и архиневыгодный договор, потому что это все же в сто раз лучше положения Бельгии.

Иоффе. Прощупывать немецких империалистов действительно поздно. Но прощупать немецкую революцию еще не поздно. Вчера я еще думал, что немцы наступать не будут. Раз они наступают, значит, у них победили милитаристские партии. Теперь они не согласятся на прежний мир, они потребуют невмешательства в дела Лифляндии, Эстляндии,

Финляндии, Украины. Но мне кажется, что мир непременно надо было бы подписать только в том случае, если бы наши войска бежали в панике, с возмущением против нас, если бы народ требовал от нас мира. Пока этого нет, мы по-прежнему должны бить на всемирную революцию.

Троцкий. Я хочу напомнить, что термин «прощупать» немцев принадлежит Ленину. Переговорами в Брест-Литовске мы осуществляли этот план. Нам не удалось его исполнить, потому что Гофман предъявил ультиматум. Считаю, что тактика «прощупывания» может быть продолжена. Нам нужно дознаться, чего они хотят. Контрибуции? Польшу? Эстляндию? Только зная это, мы можем выработать новую тактику.

Троцкий каждым выступлением в ЦК, и ЦИК, в Совнаркоме (позже — в статьях) пытался оправдать свою брестскую предательскую позицию, доказать, что был общий план «прощупывания» кайзеровского правительства, и всюду замалчивал ясное как день ленинское указание: мы маневрируем до ультиматума, после ультиматума — сдаем позиции и подписываем мир.

Так Троцкий выступал и на этом заседании ЦК — путано и хитро. Своей демагогией он добивался еще одной цели: подбодрить «левых», которые под логикой фактов и ленинских доказательств начали «скисать».

Это подействовало: Бухарин, который сутки назад не только не высказался за революционную войну, но даже возмутился, когда поставили так вопрос, и отказался от голосования, вдруг начал воинственно доказывать невозможность иного выхода, кроме революционной войны. Его, мол, удивляет, когда говорят про «игру с войной». Наоборот, события разворачиваются так, как и должны разворачиваться в революции. Они, «левые», дескать, все предвидели (какие ясновидцы!). У Бухарина даже хватило наглости сказать, что Ленин недооценивает социальные силы революции так же, как некоторые (Каменев, Зиновьев) недооценивали их до восстания.

— Во время восстания мы одерживали победы, хотя у нас была неразбериха, а у Керенского организованность. Мы всегда говорили: либо русская революция развернется, либо погибнет под натиском империализма. Сейчас немецким империалистам нет смысла принимать мир, они идут ва-банк. Им нужна Украина. Сейчас у нас нет никакой возможности отложить бой против империализма, наступающего на революцию. Даже если немцы захватят Питер, рабочие не сдадутся, они начнут восстание против оккупантов. Мы можем и мужиков натравить на немцев. У нас есть только наша старая тактика — тактика мировой революции.

Ленин молча слушал выступление Бухарина, изредка только удивленно хмыкал, не поднимая головы от блокнота, в который быстро что-то заносил. Кстати, самолюбивого, самоуверенного, задиристого Николая Ивановича это вдохновляло — Ленин записывает его речь. Когда выступали другие, Ленин брался за карандаш редко. На самом же деле Ленин не Бухарина конспектировал, а разрабатывал свой ответ ему — новые тезисы статьи, которую сегодня-завтра обязательно нужно написать.

Ленин почти с удовлетворением отметил, что Бухарин повторил все те «левые» фразы, свои и своих единомышленников, на которые он, Ленин, уже ответил в статье, почти целиком сложившейся в голове. Бухарин просто помогал «отделить металл от руды», выкристаллизовать главное, композиционно организовать. И Ленин фиксировал это. Он вооружался для решительного боя.

Он выступил сразу после Бухарина. Сначала сказал спокойно, пожалуй, с добродушной иронией:

— Бухарин не заметил, что он снова перешел на позицию революционной войны.

Потом по-ленински горячо, чуть повысив голос, начал разбивать все доводы «левых», а заодно и теорию Троцкого.

Доказав невежество тех, кто сравнивал Россию 1918 года с Францией 1792 года, Ленин начал развенчивать горе-политиков, утверждавших, будто немцы не смогут наступать:

— В чем был исток ошибки, которую революционеры настоящие (а не революционеры чувства) должны уметь признать и продумать? Разве в том, что вообще мы маневрировали и агитировали в связи с переговорами о мире? Нет. Не в этом. Маневрировать и агитировать нужно было. Но нужно было также определить «свой час» как для маневров и агитации — пока можно было маневрировать и агитировать, — так и для прекращения всяческих маневров в момент, когда вопрос встал ребром.

Это был удар по Троцкому. Что касается «левых», то нужно было показать им самим и всей партии, что они не овладели даже азбукой марксизма и революции.

— Мы видели, мы знали, мы объясняли рабочим: войны ведут правительства. Чтобы прекратить войну буржуазную, нужно свергнуть буржуазное правительство. Заявление: «Германцы не смогут наступать» равнялось поэтому заявлению: «Мы знаем, что правительство Германии в ближайшие дни будет свергнуто». На деле мы этого не знали и знать не могли, и поэтому заявление было фразой...

Ленин говорил быстро, тезисами статьи, которую начал «писать» еще прошлой ночью и которая полностью была готова. Стасова успела записать только смысл некоторых практических доводов. Таких, например: «На революционную войну мужик не пойдет и сбросит всякого, кто открыто это скажет».

Стасова волновалась, ей казалось, что «Старик» излишне резок, может распалить страсти, вызвать на себя огонь «молодых».

А между тем Ленин изобличал все более беспощадно:

— Вариантом той же фразистской бессмыслицы

является утверждение Бухарина, Урицкого, Иоффе: сопротивляясь немецкому империализму, мы помогаем немецкой революции, мы приближаем этим победу Либкнехта над Вильгельмом. Да, победа Либкнехта избавит нас от последствий любой нашей глупости. Но неужели это оправдание глупости? Всякое ли сопротивление немецкому империализму помогает немецкой революции? Мы, марксисты, всегда гордились тем, что строгим учетом классовых сил и классовых взаимоотношений определяли целесообразность той или иной формы борьбы. Мы говорили: не всегда целесообразно восстание, без известных массовых предпосылок оно есть авантюра…

Георгий Ломов обычно делал вид, что слушает Ленина без особого внимания, как любого другого, чтобы подчеркнуть этим, что все они, члены ЦК, дескать, равны и ответственность за революцию у них равная. На этот раз Георгий Ипполитович высоко вскинул клинышек своей молодой бородки и слушал, хотя и не соглашаясь, не без восторга: какая логика! какая убежденность! Пафоса и у «левых» хватает, а вот такой теоретической глубины недостает. У Бухарина больше эмоций, чем теории.

— Ясно для всех, кроме разве что тех, кто опьянел от собственных фраз, что идти на серьезное повстанческое или военное столкновение заведомо без сил, заведомо без армии есть авантюра, не помогающая немецким рабочим, а затрудняющая их борьбу, облегчающая дело их врага и нашего врага.

Стасова лаконично записала в протоколе:

«Если мы отдадим Финляндию, Лифляндию и Эстляндию — революция не потеряна. Те перспективы, которыми вчера нас пугал тов. Иоффе, ни малейшим образом не губят революции».

Ломов, любивший «подводить итоги», чувствовал, что бессилен опровергнуть Ленина. Он ограничился в своем выступлении повторением «левых» лозунгов: «С максимальной энергией развивать нашу тактику

всемирной революции».

Зиновьев как будто бы поддержал Ленина, но тяготел к Троцкому:

— Владимир Ильич говорит, — подчеркнул он свою близость к Ленину, — что, если немцы потребуют невмешательства в украинские дела, мы должны принять и это. Но вопрос — какого невмешательства? Поэтому я согласен с товарищем Троцким — узнать, чего они хотят.

Впервые в истории борьбы за мир большинство проголосовало за предложение Ленина. Против голосовали Бухарин, Урицкий, Ломов, Иоффе, Крестинский. Елена Дмитриевна Стасова, на которую сильно нажимали «левые», воздержалась.

Ленину и Троцкому было поручено выработать текст радиограммы. За содержание ее тоже пришлось бороться. «Левые» прямо-таки выходили из себя, не соглашаясь с ленинской мыслью, что Советское правительство готово принять и более тяжелые условия. Однако новое голосование закрепило победу Ленина.

Тогда Троцкий внес предложение, чтобы совместное решение ЦК партии большевиков и ЦК партии левых эсеров считать решением Совнаркома. Мол, поздно, все устали, дело неотложное, поэтому собирать Совнарком нет необходимости. А по существу, это был хитрый и зловещий ход. Троцкий хорошо знал эсеров. Люди, пролившие реки слез, рассуждая о судьбе русского мужика, готовы были с необычайной легкостью во имя фразы бросить этого несчастного мужика под немецкие пушки.

История не оставила следов совместного заседания Центральных Комитетов обеих партий, члены которых входили в правительство. Никакого протокола. Есть только один документ — отчет в московской газете «Социал-демократ». Не потому ли, что Московский комитет все еще держался «левых» взглядов?

Заметка так и называлась: «Война или мир?» В ней сообщалось:

«Ночью состоялось заседание Центрального Комитета большевиков и Центрального Комитета левых эсеров. Вначале заседали отдельно, затем было устроено совместное заседание. Определились два направления: одно за то, что Россия воевать не может и что необходимо подписать мир на тех условиях, которые нам диктуют, однако это направление оказалось в меньшинстве. Большинство держалось той точки зрения, что революция русская выдержит новое испытание; решено сопротивляться до последней возможности».

Это публиковалось после того, как в четыре часа ночи Совнарком утвердил ленинский текст телеграммы немецкому правительству и она была послана.

В пять часов утра Владимир Ильич засел наконец за статью «О революционной фразе». Он уже представлял ее объем — около двух десятков страниц. Писал с обычной скоростью. От левых фразеров летели ошметки, пух и перья.

Работу прервал Бонч-Бруевич.

Владимиру Дмитриевичу сказали караульные, что Ильич еще у себя в кабинете, в то время как все уже давно разошлись и даже охрану клонит в сон. Красноармеец сказал удивленно и восхищенно: «Когда Ильич только спит? Вот кто не дремлет на своем посту!»

Бонч-Бруевич вспомнил, как Ленин посоветовал ему пойти поспать. Было это в начале рабочего дня. Он послушался, днем поспал часа полтора, и это дало силы работать чуть ли не сутки.

Теперь им нужно как бы поменяться ролями. Конечно, у Ленина очень срочная работа, если после такого дня он остался в одиночестве за рабочим столом.

После короткого колебания Владимир Дмитриевич все-таки решился: он оторвет Ленина от работы и заставит пойти отдохнуть.

Однако в кабинет вошел не так решительно, как днем, — тихонько открыл дверь, тихонько притворил ее за собой и остановился у порога.

Ленин глянул на него почти недовольно, но, узнав в полумраке кабинета, протянул примирительно:

— А-а, это вы.

Горела только настольная зеленая лампа. Она освещала белым светом стол, бумагу и зеленым — лицо вождя. От этого неестественного освещения облик Ильича неузнаваемо изменился, что испугало Бонч-Бруевича. Однако оторвать Ленина от писания он не отважился. Стоял молча.

Ленин умел писать в больших залах, на шумных собраниях, под взглядами сотен людей. Но когда чувствовал взгляд одного человека, пусть даже близкого, жены или сестры, он смущался, ему казалось не совсем приличным не обращать внимания на присутствующего, игнорировать его. Так случилось и здесь.

Ленин написал абзац и поднял голову. Встал. Вышел из-за стола. Остановился перед Бонч-Бруевичем. Сказал строго, но весело:

— Вы невозможный человек, Владимир Дмитриевич. Что вы так смотрите? Таким взглядом испугать можно. Вы спали?

— Спал.

— Ну вот, пожалуйста, контрреволюция поднимает голову, а председатель Комиссии по борьбе с погромами спит.

— Вы мне приказали…

— Я — приказал? М-да… Вы правы. Спать-таки надо.

— Половина шестого, Владимир Ильич, — напомнил Бонч-Бруевич.

— Что вы говорите? — казалось, удивился Ленин, достал из кармашка жилета часы, глянул, улыбнулся: — Э-э, батенька, управляющему делами нельзя быть таким неточным. Всего двадцать три минуты, — и похвалил часы швейцарского производства: — Великолепная работа! Наша цель — научиться делать такие же совершенные машины. Для этого советский аппарат должен работать с точностью моих часов. — И вдруг, ступив еще ближе, сказал очень серьезно: — Что с военнопленными?

— Имеем сведения, что, несмотря на нашу чистку и эвакуацию многих тысяч пленных, выступление все же готовится. Те, кто организован и вооружен, скрылись в подполье.

— У русской буржуазии? У бывших ура-патриотов, ненавидевших каждого немца? Вот вам логика классовой борьбы! Садитесь и расскажите подробно.

Ленин вернулся в рабочее кресло и приготовился слушать.

Бонч-Бруевич сам был отличным конспиратором, недаром ему партия поручила охранять Ленина; он умел разгадать и раскрыть конспиративные хитрости врага. Кроме того, он был еще и хорошим пропагандистом.

Ленину особенно понравилось, что самые ценные показания дали не арестованные, а немецкие солдаты, с которыми Бонч-Бруевич наладил искренние отношения, чтобы с их помощью очистить город.

Офицер, бывший социалист, сам пришел и сообщил о наличии повстанческого центра и о появлении в Петрограде немецких тайных эмиссаров.

Владимир Дмитриевич докладывал объективно, но с

излишней уверенностью, что их Комиссия и ЧК во главе с Дзержинским обезвредят любых контрреволюционеров.

Ленина же сообщение о появлении в Петрограде кайзеровских агентов сильно встревожило. При успешном немецком наступлении на фронте восстание в столице не только создаст сложную военную ситуацию, но и обострит политическую. Такое выступление вдохновит русскую буржуазию и подтолкнет «левых» на новые авантюры.

— Нужно поднять рабочих и прочистить все буржуазные кварталы, все квартиры. Немцев легко выявить. — Ленин на минуту задумался. — Завтра утром собрать экстренное совещание здесь… у меня… в десять, не позже…

— Не рано, Владимир Ильич?

— Нет, не рано. Поздно. Вы чего хотите? Дождаться, пока Гофман возьмет нас с вами в плен? Кого приглашаем? — Ленин, не задумываясь, написал фамилии людей, ответственных за безопасность Петрограда. На фамилии у него была удивительная память, случалось, секретариат коллективно не мог вспомнить фамилию нужного человека, а Владимир Ильич подсказывал ее.

Отдав бумажку Бонч-Бруевичу, Ленин тут же, как бы торопясь по позднему времени, перешел к тому, из-за чего забыл о сне и отдыхе:

— Владимир Дмитриевич, мы ожидаем ответа немецкого правительства на нашу радиограмму. Я дал нужные распоряжения. Но проследите, пожалуйста, чтобы на царскосельскую радиостанцию были посланы самые надежные комиссары. Немецкая радиограмма должна быть принята без промедления. Постоянное, без малейших перерывов дежурство! И еще одно. Мы не можем рассчитывать только на одну станцию, которая к тому же далеко. Нужно в самый короткий срок оборудовать радиостанцию Совнаркома… тут, в

Смольном.

— Нелегкая задача, — заметил Бонч-Бруевич.

— Как бы она ни была трудна, решить ее нужно с военной оперативностью и точностью. Поручаю это вам!

Бонч-Бруевич поднялся по-военному:

— Сделаем, Владимир Ильич.

Было шесть часов утра. Ленин посмотрел на часы и тяжело вздохнул: когда же дописать статью «О революционной фразе»?

Два часа шло совещание о положении в Петрограде в связи с возможным выступлением военнопленных и русской контрреволюции. Ленин выслушал доклады Дзержинского, Урицкого, Бонч-Бруевича, Зиновьева. Они немного успокоили. За прошлую ночь город основательно почистили. Удалось арестовать заброшенных из Германии агентов. Не вывезенных в свое время, как требовал Ленин, пленных солдат Дзержинский предложил отослать на заводы небольшими группками, перемешав их, чтобы разорвать заговорщицкие связи: там, на заводах, немцы будут под пристальным глазом рабочих дружин.

Советовались, вносили предложения, уточняли.

Владимир Ильич слушал внимательно, по ходу обсуждения давал советы. Но как только почувствовал, что люди поработали серьезно и Петроград можно считать в безопасности, тут же поймал себя на том, что продолжает «писать» неоконченную статью.

Дела военные вынуждают отменить сегодня некоторые встречи, отнести на более позднее время вопросы хозяйственные. Все отдать обороне, борьбе за мир!

Одного нельзя отложить — беседу с Ольминским, которого назначили председателем комитета по сокращению расходов. С Михаилом Степановичем

нужно обязательно встретиться! Вместе выработать программу этого особого, чрезвычайного и чертовски важного комитета. Бюрократия, раздувание штатов, быстрый рост расходов на аппарат — такой же враг, как немецкие империалисты, как внутренняя контрреволюция.

Принять Ольминского. И обязательно — Цюрупу. Есть решение ЦК о назначении его наркомом продовольственного обеспечения. Цюрупе нужно высказать соображения о хлебной монополии. Об этом давно хотелось написать, но время… Какие короткие сутки! А между тем продовольственная политика, хлебная монополия, снова же экономия и наистрожайший учет всего вместе с подписанием мира — единственное спасение для Советской власти.

После совещания, оставшись один, Владимир Ильич несколько минут думал о том, что скажет Ольминскому и Цюрупе. Еще в «Халиле» в «Дневнике публициста» он определил темы для разработки:

«Учет и контроль как сущность социализма».

«Группы летучих контролеров».

Удалось затронуть эти темы в работе «Как организовать соревнование», в докладе на Третьем съезде Советов, в некоторых устных выступлениях. На более детальную разработку не хватило времени. Тем более необходимо подробно ознакомить со своими соображениями по этим очень важным вопросам людей, которые непосредственно будут заниматься контролем расхода денег и хлебом, его заготовкой, его распределением.

Революция — не одни «ура», товарищи «левые»! Революция — ежедневная, ежеминутная напряженная черновая работа!

Снова обратился к статье «О революционной фразе». Но писал не более получаса. Вдруг появилась мысль: одной радиограммы мало, если в Германии победила партия войны, Гофману и Кюльману легко сделать вид, что

никакой радиограммы не было, утаить ее если не от правительства, то от немецкого народа.

Радиограмма публикуется сегодня в «Правде». Но когда газета в условиях войны может дойти в Германию? Да в конце концов газета — не документ для правительства другой страны.

Ленин собрал исписанные листки, положил в картонную папку. Стремительно вышел в приемную.

— Николай Петрович, сейчас же найдите Крыленко и попросите его безотлагательно явиться в Совнарком.

Найти Главковерха было непросто. Из Генерального штаба ответили, что он поехал в штаб Петроградского округа, а там посоветовали искать Крыленко у латышских стрелков.

Ленин занялся будничной работой. Подписал постановление о назначении Измайлова комиссаром Балтийского флота. Флот, призванный защищать столицу, укреплялся надежными большевиками. Владимир Ильич, который так боролся за сокращение расходов на аппарат, в этом случае сам предложил на Совнаркоме дать Измайлову трех заместителей. Комиссар должен иметь сильную группу партийных работников!

Потом принимал Ольминского. Но и подписывая постановления и распоряжения, и даже беседуя с людьми, Владимир Ильич несколько раз нетерпеливо спрашивал: «Где Крыленко?»

3

Наконец Николай Васильевич Крыленко появился. Наверное, поднимался на третий этаж Смольного бегом — в комнате секретариата, где раздевался, никак не мог отдышаться. Вид у него был утомленный, лицо бледное. В таком состоянии ему не хотелось входить к Ленину: Владимир Ильич не любил «загнанных» работников. Есть люди, демонстрирующие свою

усталость, считающие это доказательством их «горения» на работе. Крыленко был не из таких. Обязанности главнокомандующего он исполнял без спешки, зато основательно. Так, без спешки, спокойно он занял в Могилеве ставку Духонина. Но тогда революция наступала. А теперь? Вынуждена отступать? Мучительно было с этим согласиться. При нынешних событиях не диво и «запыхаться».

Обычно внимательный к тому, как люди выглядят — бодро, утомленно, весело, — на этот раз Ленин не затратил и секунды на то, чтобы всмотреться в посетителя или спросить, как он чувствовал себя, хотя Крыленко, войдя в кабинет, еще больше побледнел от волнения.

Ленин поднялся за рабочим столом и сразу спросил:

— Последние оперативные данные?

Крыленко оглянулся на карту, висевшую на стене, хотел было подойти к ней и доложить Председателю Совнаркома о положении на фронте. Но тут же передумал, вздохнул и совсем не по-военному сказал:

— Плохо, Владимир Ильич. Немецкое наступление набирает темп. По существу, они идут маршем, по тридцать верст в сутки. Полки старой армии панически бегут, оставляя оружие, склады. Сопротивление оказывают только рабочие полки. Немцы это поняли и по нашим боеспособным частям наносят самые тяжелые удары. Шквальный огонь артиллерии. Применяют газы…

— Применяют газы? — На лице у Ленина отразились боль и возмущение, он постучал пальцами по столу как бы выбил ноту тревоги. — Соберите факты применения газов и дайте в прессу. Так, чтобы о вандализме Людендорфа и Гофмана знали и в России, и в мире.

Ленин вышел из-за стола, подошел к карте, Крыленко тоже ступил поближе к стене, достал из кармана карандаш с наконечником, готовый докладывать.

Но Ленин спросил:

— Где ваш штаб?

— Оперативная группа переехала из Могилева в Смоленск. Службы тыла оттягиваем глубже — в Москву.

— Ставка должна быть в Петрограде! Так понимайте ваш вызов сюда!

— Слушаюсь, товарищ Ленин!

Владимир Ильич прошел к окну, минуту постоял там, всматриваясь в серую мглу, висевшую над столицей; февральский день был с оттепелью, туманный, мрачный. Не отрываясь от окна, Ленин вдруг спросил;

— Николай Васильевич… вы военный человек. Скажите: могут немцы взять Петроград?

Крыленко не ожидал такого жесткого вопроса и на секунду растерялся.

Ленин быстро повернулся, без привычного прищура всмотрелся в молодого главнокомандующего. Тот понял, что перед Лениным нельзя маневрировать, и ответил с той же жесткой откровенностью:

— Могут. Но этого нельзя допустить.

Ленин отозвался не сразу, немного подумал. Сказал ровным голосом, но с той силой уверенности, которая зажигала и вдохновляла людей:

— Да, Петроград нельзя сдать! Падение Петрограда… нет, не поставит нас на колени… но поднимет русскую контрреволюцию. Теперь уже нет сомнения, что цель кайзеровского правительства — уничтожить Советскую власть в России, на Украине…

Ленин быстро вернулся к карте и, стоя в двух шагах от Крыленко, сказал:

— Однако одних наших с вами пожеланий мало. Нужно действовать не теряя ни минуты. Нельзя заниматься фразерством, как Бухарин. Три месяца кричит про революционную войну и не пошевелил пальцем для создания новой армии. Левые фразеры, если их не остановить, приведут нас к катастрофе. Что делается для обороны Петрограда?

Крыленко начал докладывать. Ленин остановил его:

— Простите, Николай Васильевич. Карта Петроградского района на столе. Прошу вас.

Они стояли у стола плечом к плечу.

Главнокомандующий докладывал, что сделано уже, и что предполагается сделать.

Ленин слушал внимательно, молча, но недовольно хмурился.

Докладчик в какой-то момент уловил это и замолчал на полуслове.

— Мало. Очень мало мы делаем. Петроград с юга нужно прикрыть двумя, а то и тремя линиями обороны.

— У нас не хватает сил, Владимир Ильич.

— Сил? Организуем десятки тысяч рабочих… Бросим на окопы поголовно всю буржуазию, до одного. Сегодня же определите линии обороны. Направьте лучших специалистов по фортификации, они должны руководить всеми работами. Подготовьте приказ о создании Чрезвычайного штаба Петроградского военного округа. Штаб должен объявить город на осадном положении и безжалостно подавлять любую попытку контрреволюционного выступления. Завтра на заседании Совнаркома мы примем постановление по обороне Петрограда. Заслушаем ваш и Альтфатера доклады. Подготовьте самые свежие данные. — Ленин отошел от стола к карте района боевых действий. — Наша оборона должна быть активной. Срочно бросить на фронт боеспособные части. Если нет сил остановить

немецкое наступление, то нужно хотя бы задержать их продвижение, ослабить натиск. Взрывайте мосты, разбирайте пути. Дайте понять, что у нас хватает сил для сопротивления, что наши силы будут расти. Только это может принудить Гофмана подписать мир. Германия не пойдет на продолжительную войну с нами. Они хотят растоптать нас коротким ударом.

— Рабочие полки рвутся на фронт. Но они слабо обучены.

— М-да, вот они, итоги фразерства «левых». Слишком все верили в революцию в Германии. Военные товарищи тоже. Военным это особенно непростительно.

Крыленко покраснел.

— Десять корпусов Красной Армии, о которых я говорил еще в январе… как бы они пригодились теперь! — Ленин помолчал, утомленно вернулся к рабочему креслу. Сказал с болью: — Да, армии у нас нет. Военные протрезвели от революционных фраз?

— Протрезвели, Владимир Ильич.

— Николай Васильевич, вы уверены, что наша радиограмма дошла до правительства Германии?

— Радисты немецкой станции в Брест-Литовске ответили, что текст ими принят.

— День на исходе, а мы не имеем ответа. Немцы явно стремятся углубиться настолько, чтобы продиктовать нам более тяжелые условия. Я прошу вас очень срочно найти надежного большевика-офицера, владеющего немецким языком. Дайте ему охрану — двух-трех матросов или солдат. Мы сегодня же пошлем парламентеров на линию фронта с текстом письма Совнаркома о нашем согласии подписать мир на брестских условиях. И на худших. Потому что нет сомнения — Кюльман продиктует их нам.

Николай Петрович Горбунов, другие секретари за день почувствовали, как нетерпеливо Владимир Ильич

ожидает радиограммы. Он не выказывал этого открыто, но интересовался, как организована работа радиостанции, надежные ли там большевики, посоветовавшись с Бонч-Бруевичем, послал на станцию одного из комиссаров 75-й комнаты, несколько раз спрашивал, как идет оборудование станции в Смольном.

Поэтому Горбунов не вошел — вбежал в кабинет, взволнованный.

— Радио, Владимир Ильич!

Увидел, как на мгновение рука Ленина застыла над телефонной трубкой, понял, что Владимир Ильич взволнован не меньше. Но ничем не выдал своего волнения, Нет, пожалуй, выдал тем, что не сказал: «Я слушаю», а произнес, как при телеграфных переговорах:

— У аппарата Ленин. Я готов записывать.

Горбунов внимательно следил, как Владимир Ильич записывает, не переспрашивая, очень сосредоточенно, непривычно медленно. На лице его не отражалось ни возмущения, ни тревоги. Спокойствие Ленина передалось секретарю: значит, есть согласие на подписание мира.

Нет, согласия не было. Ленин спокойно принял радиограмму потому, что она подтвердила его догадку о возможном отказе, еще днем он предвидел именно такой ответ.

Гофман подтверждал получение радиограммы Советского правительства. Но сообщал, что «правительство его величества императора Вильгельма» не может считать радиограмму официальным документом. Такой документ должен быть подписан премьером, скреплен правительственной печатью, и его надлежит вручить немецкому коменданту Двинска.

Ленин поблагодарил начальника радиостанции и

попросил его быть готовым сейчас же принять ответную радиограмму — для передачи немцам.

Владимир Ильич посмотрел на Горбунова и отметил его внезапную бледность. Подумал, как много людей вот так же волнуются, ожидая ответа от немцев; нашу радиограмму они прочитали в вечерних газетах. Подумал и о тех, кто порадовался бы молчанию или категорическому отказу немецких милитаристов подписать мир. Грустно вздохнул от мысли, что вместе с русской буржуазией, с контрреволюционерами радовались бы и люди, занимающие высокие советские посты. Горбунов еще больше побледнел, услышав вздох Ильича.

— Плохо, Владимир Ильич?

Ленин ответил неожиданно бодро:

— Гофман хочет переиграть нас. Мы его не переиграем. Поздно. Но нужно сделать одно — выбить его козыри.

Прочитал Горбунову радиограмму и тут же сказал:

— Николай Петрович, сейчас же радируйте ответ. Специальный курьер с таким документом выехал. Обеспечьте ему безопасность на линии фронта. Подпись Главковерха. Найдите Крыленко. Передайте ему: я возмущен. Прошло столько времени, а он не приводит человека, которому мы поручим столь ответственную миссию. Скажите командующему: через полчаса парламентер должен быть в Совнаркоме!

Повестка вечернего заседания Совнаркома, как никогда раньше, была короткой, — по существу, всего два вопроса. Но какие! О внешней политике в связи с немецким наступлением. Об организации обороны Советской Республики. Стоял еще вопрос о грузах в Архангельском порту. Но если раньше вопрос этот рассматривали отдельно, то теперь меры по охране и вывозу военных материалов, которые поставили бывшие союзники России, продуктов, других ценностей органично сливались с мерами по обороне.

Сократив ранее подготовленную повестку дня, Ленин лично дополнил ее «архангельским вопросом», имея в виду, что теперь разговор должен идти не только о спасении грузов от весеннего половодья на Северной Двине, но и от возможного захвата их контрреволюционерами или даже теми же англичанами, корабли которых «охраняют» Мурманск и Архангельск будто бы от немецких подводных лодок. У Ленина давно уже не было никаких иллюзий насчет действительных намерений господина Ллойд Джорджа. Однако в связи с немецким наступлением отношения Советского правительства с бывшими союзниками должны быть более гибкими, дипломатичными — в разумном смысле этого слова. А между тем как раз на этом и столкнулись разные мнения: марксистское, реалистичное, и левацкое, авантюристичное.

Ленин не стал «задавать тон» в споре. В начале заседания он прочитал ответ Гофмана. А в дальнейшем молча, без реплик, без хмыканья, слушал самые противоречивые выступления, записывая их в блокнот — для себя.

Свердлов, как всегда спокойно и аргументированно, доказывал, что в целях обороны было бы неразумно отказываться от предложения Антанты купить у нее оружие и продукты.

«Левые» возмутились таким «оппортунизмом». Урицкий вскочил с места, у него слетело пенсне. Штейнберг мрачно бросил Свердлову:

— Вам хочется поклониться империалистам?

— Нет, я не хочу кланяться, — спокойно ответил Яков Михайлович. — Но было бы мальчишеской глупостью не использовать противоречия между разными группами империалистов. Мы не протягиваем руку за милостыней. Мы можем гарантировать оплату за все, что поставят нам англичане или американцы... Им, как и нам, нужно ослабить немцев.

Ленин размашисто написал: «Свердлов!!!» Целых три

восклицательных знака. И с теплым чувством подумал: «Молодец, Яков Михайлович!»

Урицкий снова прервал:

— Чем вы будете расплачиваться? Революционными принципами?

— Неужели товарищи серьезно считают, что в условиях мира и организации Советской властью своей, социалистической экономики мы не будем иметь никаких отношений ни с немецкими, ни с американскими империалистами? — с усмешкой спросил Свердлов.

— Никаких! — выкрикнул нарком юстиции.

— Штейнберг, я считал юристов трезвыми людьми, — иронично заметил Свердлов.

— Товарищи, симптомы тяжелой болезни — правого оппортунизма — все больше выявляют себя, — пафосно начал свое выступление Бубнов. — Пример тому — выступление Свердлова. До чего договорился председатель ЦИК? Выходит, мы совершали революцию ради того, чтобы потом, нарастив сала, пойти целоваться с капиталистами…

— Целоваться не будем. А торговать будем, — вдруг нарушил свое молчание Ленин.

— Торговать? — Андрей Сергеевич удивился и смешался. Не знал, что ответить Ленину. Хватило такта не бросить обвинение в оппортунизме вождю революции, как бросил Свердлову.

Троцкий, до этого тоже молчавший, с хитрым смешком вскудлатил бородку и пошутил:

— Не пугайте, Владимир Ильич, товарищей. Это страшное слово — торговля. Гнилое, как капитализм. И вонючее.

И тут же с умилением и грустью подумал о своем отце:

как малограмотный Давид Бронштейн умел торговать пшеницей и арбузами! Где он теперь? Имение у него отобрали, землю разделили… Старик подался в Одессу, Нужно немедленно вывезти его оттуда, иначе, если уедет за границу и станет выступать против Советской власти, — на него, на сына, может упасть тень. Если же останется в Одессе, а город займут радовцы или, еще хуже, немцы, то наверняка возьмут старика за шиворот: отец Троцкого!

Троцкий думал, кому поручить эту деликатную миссию — вывезти отца, сестер из Одессы. С его помощью не умрут и в голодной Москве!

Выступления «левых» Ленин слушал не очень внимательно.

Ленин думал: как назвать эту болезнь ультрареволюционизма? И вдруг нашел емкое и точное определение. Чесотка! Втайне усмехнулся находке. Потом нахмурился и, про себя вздохнув, подумал: «Мучительная болезнь — чесотка. А когда людьми овладевает чесотка революционной фразы, то одно уже наблюдение этой болезни причиняет страдания невыносимые».

Хотелось прервать очередного оратора и сказать ему:

«Товарищ высокообразованный марксист! Если бы любой мужик услышал вас сейчас, то, наверное, сказал бы: тебе, барин, не государством управлять, а в словесные клоуны записаться или просто в баньку сходить попариться, чесотку прогнать».

Но сдержался — не сказал. Однако записал эту мысль: пригодится.

В кабинет вошел Крыленко, виновато извинился за опоздание. Однако члены правительства понимали, что могло задержать Главковерха. Все повернулись к нему, с нетерпением ожидая услышать последние известия с фронта.

Ленин посмотрел на него вопросительно. Крыленко глазами показал на двери: человек ожидает там, в комнате секретариата.

Ленин чрезвычайно редко выходил во время заседания. А тут написал Свердлову: «Ведите заседание» — и быстро вышел. За ним вышел Крыленко.

Членов правительства это встревожило и совсем сбило с толку «чесоточных» выступающих.

Прапорщик Турчан, фронтовой коллега и друг советского главнокомандующего, увидев Ленина, вскочил, вытянулся.

Владимир Ильич протянул ему руку, поздоровался. Сразу спросил:

— Охрана у вас есть?

— Даем двух красноармейцев, — ответил Крыленко.

— Им задача известна? Они — ваши дублеры. Что бы с вами ни случилось, пакет должен быть доставлен коменданту Двинска. В этом конверте, — Ленин показал на Горбунова, державшего конверт, — наше спасение. Понимаете, как это важно?

— Так точно, товарищ Ленин.

— Как едете?

— Даем спаренные паровозы, — сказал Крыленко.

— Передайте по линии. Комиссарам станций. Всюду должны быть зеленые светофоры.

Горбунов вручил Турчану засургученный конверт. Тот положил его в полевой планшет, надетый через плечо.

Ленин внимательно проследил, насколько надежно спрятан документ. Снова протянул Турчану руку, заглянул пристально в глаза.

— Ждем вас, товарищ, с ответом. Хорошо, если бы вы

вернулись завтра ночью.

— Сделаем все, что зависит от нас, товарищ Ленин.

Владимир Ильич задумчиво повторил:

— Да... Что зависит от нас.

Когда Турчан, испросив разрешения, повернулся по-военному и вышел, Ленин еще минуту стоял посреди комнаты в задумчивости, как бы прислушиваясь к шагам посыльного в коридоре. Потом обратился к Крыленко и неожиданно весело спросил:

— Николай Васильевич, вы болели чесоткой?

Командующий смутился:

— Что вы, Владимир Ильич!

Его смущение еще больше развеселило Ленина, он тихо засмеялся:

— Уф! И скверная же болезнь чесотка! И тяжкое же ремесло человека, которому приходится парить в баньке чесоточных... Но нужно парить! Нужно! — и пошел в кабинет продолжать вести заседание Совнаркома.

Троцкий снова принимал Локкарта.

После срыва мирных переговоров и начала немецкого наступления неофициальные представители бывших союзников Робинс, Локкарт и даже социалист Садуль активизировали свою деятельность, теперь уже не только по собственной инициативе, как сделал это вначале Садуль, а во исполнение секретных инструкций своих правительств.

Локкарт увидел, что англичане из-за своей консервативной позиции — никаких отношений с большевиками! — много потеряли, и что было силы бросился вдогонку за старшим соперником — Робинсом.

Самоуверенный, необычайно деятельный, пролаза до наглости, воспитанник Кембриджа и дипломатического колледжа (там он прошел курс в специальной секретной группе перед тем, как поехать консулом в Москву в начале войны), англичанин был обеспокоен тем, что Ленин ни разу не принял его, а Робинса, по его данным, за то время, как он, Локкарт, приступил к исполнению своей миссии, принял дважды.

Это било по самолюбию. Выходит, Ленин игнорирует его? Кто же кого не признает? Правительство Ллойд Джорджа — большевистское правительство? Или Ленин — правительство «владычицы морей»? Неудачи с приемом у премьера Локкарт как бы компенсировал встречами с наркомами, с партийными лидерами, в первую очередь с Троцким и Бухариным, так как еще в Лондоне получил указания постараться наладить контакты с этими людьми.

«Именно потому, что они чаще, чем кто-либо из большевиков, становятся в оппозицию к политике, проводимой Лениным», — сказал Керзон.

Локкарт вошел в кабинет Троцкого с экземпляром «Правды», от которого за три сажени отдавало типографской краской. Троцкий догадался, почему англичанин не прячет своей заинтересованности большевистской газетой. Сегодняшний номер «Правды» невозможно достать, его передают из рук в руки, спрашивают друг друга: «Читали?»

У Троцкого об этом спросил Чичерин час назад, и Льву Давидовичу стало неприятно. Он не любил Чичерина не только за преданность Ленину, но и потому, что хорошо понимал: Ленин провел профессионального дипломата в заместители наркома не без намерения иметь человека, который мог бы при первом же удобном случае заменить его, Троцкого. А случай такой назревает. Провал политики «ни войны, ни мира», безусловно, приведет к его отставке. Троцкий с начала немецкого наступления ломал голову, что лучше: ожидать, чтобы его отставили, или самому подать в отставку? Что больней для Ленина?

После обмена приветствиями и короткого, две фразы, разговора о погоде — была оттепель, и снег на петроградских улицах превратился в скользкую кашу — Локкарт показал на газету и спросил чуть ли не заговорщицки:

— Это он?

Троцкому не понравился тон: нашел сообщника! Однако знать мнение англичанина, и, возможно, не только его — Локкарт за утро мог побывать не в одном посольстве, — нужно и полезно. Ответил внешне официально и в то же время таинственно-доверительно, мол, только вам, никому больше:

— Да, это Ленин.

— Много людей знает, что «Карпов» — это он?

— Мы, старые партийцы, знаем.

— Вы хотите сказать: руководящее ядро?

— Считайте так.

— А вам не кажется, что это бомба под вас?

Троцкий нахмурился:

— Я не «левый». И не бросаюсь революционными фразами.

Локкарт понял, что нарком недоволен таким определением ленинской статьи и дал «задний ход».

— Простите, господин министр. — Локкарт при первых встречах понял, что Троцкому нравится обращение «министр». — Я знаю, что вы не «левый». У вас своя, особая, позиция. Я ошибся, я хотел сказать: бомба под «левых». Можете передать своему премьеру мое восхищение его публицистическим талантом. Немногие лидеры умеют так защищать свою позицию. И так говорить с народом! — Локкарт глянул в газету, прочитал заключительные строки: — «Надо воевать

против революционной фразы, приходится воевать, обязательно воевать, чтобы не сказали про нас когда-нибудь горькой правды: «революционная фраза о революционной войне погубила революцию». Сильно, правда?

У Троцкого после прочтения утром статьи осталось сложное впечатление. Да, это бомба, которую, однако, нужно как-то обезвредить, чтобы она не разнесла «левых» в щепки. В то же время он зло порадовался, что болтуна Бухарина, претендовавшего на лидерство, «раздели» и выставили перед партией голым в его фразерской сущности. Одновременно Троцкий, что случалось не однажды, позавидовал Ленину, его умению великолепно совмещать теоретическую глубину с необычайной простотой изложения мыслей, логику серьезных доказательств с иронией и юмором. У него, Троцкого, так не получалось, хотя когда-то он мечтал стать великим поэтом. Он умел недурно сказать устно — захватить аудиторию пафосом голоса и жестов; на бумаге руками не помашешь — пафос исчезал, вместо него появлялись излишняя академичность и усложненность. Ему казалось, Ленин пишет легко. С детства он завидовал людям, которым все легко дается, и старался сам все делать легко. Однако легкость, бывало, подводила.

Вот почему, а не только из дипломатических соображений Троцкий не поддержал восхищения хитрого проныры Локкарта статьей Ленина. Отвел беседу в другое русло, в то, которое вместе прокладывали на предыдущих встречах:

— Я вас, господин Локкарт, могу порадовать другим. Ленин согласился с моей мыслью, — подчеркнул интонацией, что это именно его мысль, — взять у Англии и Америки оружие и продукты.

— Но Ленин же не хочет воевать. Он — за мир.

— Вы ошибаетесь. Угроза немецкого наступления настолько велика, что, если бы Ленин получил военную помощь от союзников, он отказался бы от мира и

сражался с помощью союзников против Германии.

У Локкарта от удивления заблестели глаза. Если бы это было так, он бы мог рассчитывать на благодарность Ллойд Джорджа и короля. Но у него хватило ума усомниться в искренности «господина министра». Опытный разведчик, он лучше Троцкого знал обстановку в Петрограде, потому что проникал везде, где только можно было, — в Советы, на заводы, в красноармейские отряды, уходившие на фронт, и в те круги, где ожидали прихода немцев.

4

Примерно в это же время Ленин в присутствии Сталина писал телефонограмму в Исполнительную Комиссию Петроградского комитета и во все районные комитеты партии большевиков. Писал как военный приказ — с указанием даты, часа:

«21 (8).11.1918. 12 ч 20 мин дня.

Советуем, не теряя ни часа, поднять на ноги всех рабочих, чтобы, согласно решениям Петроградского Совета, имеющим быть принятыми сегодня вечером, организовать десятки тысяч рабочих и двинуть поголовно всю буржуазию до одного, под контролем этих рабочих, на рытье окопов под Питером. Только в этом спасение революции. Революция в опасности. Линию окопов дадут военные. Готовьте орудия, а главное, организуйтесь и мобилизуйтесь поголовно.

Ленин».

Сталин пошел в аппаратную. Диктуя телефонистам текст, не удержался от искушения поставить рядом с Лениным и свой партийный псевдоним.

Оставшись на несколько минут один в кабинете, Ленин быстро дописал другой исторический документ того тревожного дня: «Социалистическое Отечество в опасности!»

И тут же попросил секретаря созвать членов Временного исполнительного комитета СНК. Комитет был создан накануне после тревожных докладов Совнаркому Крыленко и Альтфатера, командующего Балтийским флотом. Ленин сам предложил иметь орган, который обеспечивал бы постоянную работу правительства — днем и ночью. Договорились, что члены комитета живут в Смольном; Бонч-Бруевич подготовил для этого помещение. Обо всех выездах ставить в известность секретаря Совнаркома Горбунова, чтобы тот знал, где кого искать в случае срочной необходимости. Поэтому комитет собрался очень быстро. Пришел Свердлов. Председатель ВЦИК тоже постоянно находился в Смольном.

Аудитория была небольшая — всего семь человек, но Владимир Ильич поднялся за столом с исписанными листками в руках. На мгновение непривычно застыл, оглядел соратников. Убедившись, что все они единомышленники, никто не выступит против, как бы успокоился, сказал ровным голосом:

— Товарищи, кроме обращения «К трудящемуся населению всей России», которое мы приняли сегодня ночью, предлагаю обратиться к питерцам, ко всем солдатам, рабочим, крестьянам страны с декретом-воззванием. Вот текст. — Ленин начал читать, и голос его выдавал волнение и тревогу:

— Социалистическое Отечество в опасности! Чтобы спасти изнуренную, истерзанную страну от новых военных испытаний, мы пошли на величайшую жертву и объявили немцам о нашем согласии подписать их условия мира. — Ленин снова осмотрел товарищей, слушавших с затаенным дыханием. — Наши парламентеры 20 (7) февраля вечером выехали из Режицы в Двинск, и до сих пор нет ответа. Немецкое правительство, очевидно, медлит с ответом. Оно явно не хочет мира. Выполняя поручение капиталистов всех стран, германский милитаризм, — Ленин интонацией подчеркнул следующие слова, — хочет задушить русских и украинских рабочих и крестьян, вернуть

земли помещикам, фабрики и заводы — банкирам, власть — монархии. Германские генералы хотят установить свой «порядок» в Петрограде я в Киеве. Социалистическая республика Советов находится в величайшей опасности.

У Свердлова от слов этих и ленинского голоса сжалось больное сердце. Но тут же в душе смешались гордость, радость, уверенность. Яков Михайлович подумал:

«Какое счастье, что во главе партии и правительства — он. Только он может найти выход из любого положения. Нет сомнения, что его слова поднимут всех, кому дорога Советская власть. Однако — когда… когда он успел написать это? В четыре часа ночи я ушел от него. В восемь он уже был в этом кабинете…»

Ленин читал:

— Совет Народных Комиссаров постановляет:

1) Все силы и средства страны целиком предоставляются на дело революционной обороны. 2) Всем Советам и революционным организациям вменяется в обязанность защищать каждую позицию до последней капли крови.

Ленин прочитал все, снова-таки как в военном приказе: подпись — Совет Народных Комиссаров, дату — 21 февраля 1918 года, место написания документа — Петроград.

Замолчав, Владимир Ильич услышал: члены Исполнительного комитета притаенно, но тяжело дышат, как после быстрой ходьбы. Ему тоже хотелось вздохнуть на полные легкие и пройтись по кабинету. Ах, если бы можно было хоть полчаса погулять по улице!

Обессиленный, хотя ничем не выдавал этого, сел в кресло, припал грудью к столу. Встретился взглядом со Свердловым, благодарно кивнул на его одобрительный жест.

— Товарищи, есть замечания по тексту?

— Штейнберг, наверное, запротестует против расстрелов, — сказал Сталин.

— Никаких уступок на обструкции левых эсеров! Так же как никаких уступок Бухарину, Троцкому… Совнарком поручил нам действовать с военной решительностью. И мы будем действовать только так! Война есть война! Да, неприятельских агентов, германских шпионов, контрреволюционных агитаторов расстреливать!

— Печатаем сегодня? — спросил Бонч-Бруевич.

— Да. В «Правде»… В «Известиях ЦИК», во всех большевистских газетах. И отдельной листовкой. Миллионным тиражом. — Ленин на минуту задумался и уточнил: — Нет, в газетах печатаем завтра. Вечерние выпуски выходят малыми тиражами и плохо распространяются. Да и Совнарком мы днем не соберем. Наркомы заняты обороной Петрограда… Вечером мы встречаемся с военными специалистами. Прошу вас подготовиться к этому очень важному совещанию. Нужно собрать полные данные о формировании рабочих отрядов. О наличии оружия в петроградских арсеналах. Люди рвутся в бой, но не хватает винтовок, патронов. Латышские стрелки, которые высказали желание поехать на фронт и перед которыми я выступал вчера тут, в Смольном, в актовом зале, жаловались на нехватку патронов и зимней одежды. Владимир Дмитриевич, установите наистрожайший контроль за всеми складами.

— Зиновьев и Урицкий занимаются этим.

— Проверьте, пожалуйста. Поручаем это вам. Что ж… за работу, товарищи…

Когда члены комитета поднялись, чтобы выйти, Ленин задержал их.

— Минуточку. Еще об одном посоветуемся. Некоторые товарищи, — Ленин незаметно глянул в сторону Сталина, — высказывают сомнения насчет ходатайства Штейнберга об освобождении из-под ареста министров

Временного правительства. Как договорились на Совнаркоме, я подписал постановление об освобождении Бернацкого. Его взял на поруки Боголепов. Не сделает ли контрреволюция этих людей своим знаменем?

— Если их возьмут на поруки советские работники и будет их письменное заверение, что они не станут заниматься политической деятельностью… — рассудительно начал Дзержинский.

Ленин вдруг засмеялся:

— Товарищ Дзержинский готов верить на слово. Времена рыцарства миновали, дорогой Феликс Эдмундович. К сожалению, давно миновали. Буржуазия растоптала закон рыцарства. Но если Кишкина и Терещенко возьмут на поруки — мы их освободим.

В кабинете остались Свердлов и Сталин. Сидели у стола. Ленин стоял перед картой Российской державы, переводя взгляд сверху, с севера, вниз — на юг, на Киев, Одессу, Ростов.

— Давайте спланируем нашу военную стратегию на ближайшее будущее.

Ленин несколько минут внимательно изучал карту. Потом шагнул к ней, поднявшись на цыпочки, пальцем начертил полукруг между столицей, Псковом и Ревелем, уверенно сказал:

— Петроград мы защитим! С немцами подпишем мир. Как бы он ни был тяжел — все равно подпишем. Несмотря ни на что. Условия нам продиктуют жестокие, и мы вынуждены будем их принять. Но покоя оккупантам не дадим! Нет! Немцы получат партизанскую войну здесь, на севере, в Белоруссии… И войну на Украине. Тот же Восточный фронт. Они подписали мир с Радой. Договора с Украинской Советской Республикой у них нет. Рабоче-крестьянская армия Украины будет бить и радовцев, и их хозяев — немецких оккупантов. Что нужно сделать нам при такой

ситуации? — Владимир Ильич повернулся к Сталину и Свердлову, ожидая их ответа.

— Укрепить украинскую армию, — сказал Свердлов.

— Как это сделать, не нарушая договора? — усомнился Сталин.

— Нужно немедленно украинизировать все наши части, помогающие украинским рабочим! Приказать Антонову-Овсеенко, чтобы отбросил первую часть своей фамилии. Пусть будет только Овсеенко. Подумать, что делать с Муравьевым, если вообще его можно оставить на посту командующего. Создать против немцев единый фронт от Крыма до Великороссии. Убедить крымских товарищей, что ход событий навязывает им оборону, они должны обороняться, независимо от договора, который мы подпишем. Дадим крымчанам понять, что положение севера кардинально отличается от положения юга. Крым немцы могут слопать, как говорят, мимоходом. Поэтому помощь Крыма Украине является не только актом соседского долга, но и требованием самообороны и самосохранения. Донецкую республику немцы будут завоевывать, так как Винниченко включил ее в Украину. Наша задача: убедить донецких товарищей создать единый фронт обороны с Украиной. Сепаратизм Васильченко, как никогда, вреден. Передайте это Артему, — обратился Владимир Ильич к Сталину. — Чтобы закрыть немцам дорогу на Кавказ, нужно добить Алексеева. Сейчас же дадим распоряжение Антонову — безотлагательно взять Ростов и Новочеркасск. Завтра, не позже. Пусть пошлет на это две тысячи надежных петроградских красноармейцев. — Ленин отвернулся от карты, подошел к столу. — Обратимся теперь на север. Немцы не признают суверенитета Советской Эстонии. Как сообщил Анвельт, ведут наступление, высадились на побережье. Мы со Сталиным обсудили положение в Эстляндии. Я предлагаю послать в Ревель такую телеграмму. — Ленин взял со стола листок бумаги, прочитал: — «Двинуть части против врага и опрокинуть его. Если это трудно сделать, испортить все дороги,

произвести ряд партизанских набегов с тем, чтобы не дать врагу укрепиться на материке. Просим этот наш приказ провести в жизнь неуклонно. Ответ исполнения сообщите. Ленин. Сталин». Вот такой, Яков Михайлович, наш общий стратегический план.

— Что ж, я подписываюсь под ним, — сказал Свердлов. — Но главное в этом плане — заключение мира, как я понимаю.

На лбу у Ленина вмиг собрались морщинки.

— Да, все наши военные планы должны иметь одну цель: спасение Республики Советов.

Тревожно было в Петрограде в эти дни.

Варшавский и Балтийский вокзалы были забиты двумя встречными потоками: с фронта панически бежали деморализованные солдаты старой армии. Тех, кто вез домой патроны, винтовки, гранаты, тут же обезоруживали. Из города к вокзалам шли организованные батальоны рабочих, грузились в теплушки и выезжали на фронт. В незабываемый день двадцать третьего февраля эти батальоны дадут под Псковом и Нарвой бой, который не только задержит триумфальное шествие кайзеровских войск на Петроград, но и собьет прусскую спесь с Гофмана.

Крупная буржуазия с нетерпением ожидала немцев. «Мелочь» — чиновники, буржуазные интеллигенты, обыватели, некоторые рабочие и крестьяне бежали. На Николаевском вокзале скопились беженцы — из Белоруссии, Эстонии, с Псковщины, из самого Петрограда. Этим людям помогали уехать, хотя с вагонами было трудно: город нужно было «разгрузить». Но Ленин требовал от тех, кто отвечал за порядок — от Дзержинского, Бонч-Бруевича, Урицкого, Зиновьева, — чтобы эвакуация не превратилась во всеобщее бегство. Самое страшное — паника. А устроить ее было легко, слухи распускались страшные. Некоторые «герои» «революционной войны» сами паковали чемоданы, вывозили семьи. Ультралевый эсер Штейнберг, нарком

юстиции, потребовал у Бонч-Бруевича специальный вагон — для родственников.

Троцкий вел себя иначе — так, будто ничего особенного не происходило. В работе по организации обороны участвовал своеобразно — словами и действиями доказывал, что ничего, мол, страшного, если немцы возьмут Петроград: без революции на Западе русская революция все равно не удержится; насилие, учиненное над авангардом русской революции — питерскими рабочими) — сможет-де «разбудить» немецкий пролетариат.

Троцкий саркастически высмеивал все панические слухи, играл в бесстрашного героя, авторитетом своим, осведомленностью человека, руководившего внешней политикой, старался приуменьшить угрозу, о которой в полный голос сказал Ленин в декрете-воззвании «Социалистическое Отечество в опасности!».

Рабочий день Ленина двадцать второго февраля начался рано, не было еще и восьми часов. Начался с внимательного чтения военной сводки. После переезда Ставки в Петроград начальник штаба генерал Бонч-Бруевич давал сводку аккуратно, она стала по-военному точной, подробной, можно было верить в ее объективность.

Сводка была тяжкая: накануне вечером сдали Псков.

Теперь в кабинете висело несколько подробных карт Украины, Эстляндии, Витебской, Новгородской, Петроградской губерний. Кроме того, на столе лежали трехверстки района, где строились линии обороны.

Ленин долго в одиночестве изучал карты. За дни немецкого наступления в его памяти осели сотни названий городов и сел в районах боевых действий; немного нашлось бы военных штабистов, помнящих столько названий без реляций и карт.

В сводке был существенный недостаток: скупо, по догадкам говорилось о продвижении немецких войск на

Украине, о сопротивлении им. С опозданием приходили оттуда известия.

Ленин пригласил Горбунова и поручил ему связаться по телеграфу с Харьковом, передать Скрыпнику, Орджоникидзе, Антонову, Лугановскому его просьбу: пересылать сводки, получаемые ими от командования советских частей, которые сдерживают натиск врага.

Какую-то минуту Владимир Ильич сидел в глубокой задумчивости, не слыша даже, как наполняется топотом ног и гудением голосов Смольный, — так он гудел только в дни революции. Мысли были тревожные. Немецкого ответа нет. Теперь не может быть сомнения, что Гофман нацелился на Петроград. Что же еще можно сделать для обороны столицы? Что?

Но тут же отогнал минутную тревогу. Поднялся, быстро и решительно прошелся по кабинету.

Сделать надо все возможное, чтобы Гофман обломал зубы на подступах к Петрограду!

— Да, немцы должны обломать зубы. Только в таком случае они согласятся на мир. За Питер будем стоять насмерть!

Сказал это вслух, хотя и был в кабинете один.

Остановился, прислушался, уловил гул Смольного. Обрадовался. Рабочие услышали призыв и горячо откликнулись. В Красную Армию добровольно записываются тысячи сознательных бойцов — авангард класса.

Ленин вспомнил позавчерашнее выступление перед латышскими стрелками. Говорил он по-немецки, так как большинство латышей лучше знают немецкий язык. Но когда сказал: «Измученному русскому народу мы должны дать мир во что бы то ни стало, этим мы укрепим революцию и начнем строительство новой молодой России», — зал взорвался аплодисментами. До радостного спазма в горле тронул такой

интернационализм, такое понимание простыми солдатами задач Советской власти.

Сегодня вечером в актовом зале Смольного он выступит перед питерскими рабочими — представителями заводов. Нужно пригласить начальника штаба Главковерха с его помощниками, чтобы они тут же сформировали полки и указали им участки фронта, куда поехать, где занять позиции. Мешкать нельзя ни минуты!

Владимир Ильич вернулся к столу и сделал отметку в распорядке дня перед пунктом: «Выступление перед рабочими».

Просмотрел распорядок: где нужно быть? Что самое неотложное?

В десять утра заседание ЦК, срочно созываемое по требованию «левых». Вопрос: о приобретении оружия и продуктов у стран Антанты. Очень важно. Но на заседание это он не пойдет, потому что оно затянется, а у него назначены оперативные встречи — с командующими укрепленными районами, с Крыленко, генералами Бонч-Бруевичем и Парским, которого Главковерх рекомендует командующим Нарвским районом; Нарва, как и Псков, — стратегический узел на подступах к Петрограду.

Кроме того, просятся на прием москвичи Радченко и Винтер. Их обязательно нужно принять. Они — специалисты по торфу, по электростанциям на торфе. Немцы или новые Каледины, алексеевы могут отрезать донецкий уголь. А Петроград, Москва должны жить! Спасение — торф! Нужно знать запасы его, чтобы дать рекомендации ВСНХ. Нужно думать о строительстве электростанций на торфе. Какой есть опыт? Где такие станции работают? Изложить товарищам идею электрификации России как основу социалистических преобразований. Работу эту нельзя откладывать. Идея должна овладеть умами не только советских хозяйственников, но и широких масс.

А это заседание ЦК он пропустит. Опять будут «чесаться чесоточные». Вопрос, конечно, жизненно важный. Но вовсе не дискуссионный. Нужно действовать, а не говорить. Для этого достаточно постановления Совнаркома о масштабах закупок. Другое дело — если Англия и Франция выставят политические условия, тогда это может стать предметом обсуждения в высшем партийном органе. Однако единомышленников нужно поддержать.

На небольшом листке бумаги Ленин с веселой размашистостью написал:

«В ЦК РСДРП (б). Прошу присоединить мой голос за взятие картошки и оружия у разбойников англо-французского империализма. Ленин». Предлог «за» подчеркнул двумя чертами.

Николай Петрович Горбунов безукоризненно исполнял секретарские обязанности. Строго требовал аккуратности и точности от всех сотрудников секретариата, от телеграфистов, курьеров, часовых. Вырабатывался новый, советский, стиль делопроизводства. Девизом секретариата было: как можно меньше мешать Владимиру Ильичу, не беспокоить по пустякам. Но на войне — как на войне.

Горбунов неожиданно вошел в кабинет Председателя Совнаркома, пропустив вперед смущенную девушку, которая бережно держала перед собой клубок телеграфной ленты.

— Простите, Владимир Ильич. Но вот она, Маша, считает, что эту телеграмму нужно обязательно и безотлагательно прочитать вам.

Ленин поднялся. Маша увидела тревогу в глазах Ильича и растерялась: напрасно решилась она на такую дерзость. Закраснелась, начала как бы успокаивать:

— Нет, Владимир Ильич, ничего страшного. Но мне показалось, что это очень важно. Я прочитаю…

— Я слушаю.

Лента поползла из девичьих рук на пол. Голос девушки взволнованно дрожал:

— От комиссара почт и телеграфов Москвы Подбельского. «Сейчас нам от имени Троцкого сообщили по телефону, что будто бы Австро-Венгрия заявила о своем отказе наступать против России. Прошу Вас сейчас же добиться по телефону Троцкого или кого-либо из других народных комиссаров, проверить это известие и сообщить нам. У нас сейчас проходит собрание Советов рабочих депутатов, которое ждет проверки этого сообщения. Попутно достаньте вообще последние новости, только проверенные, и сообщите нам сейчас же. Пожалуйста, товарищ, сделайте это, нам это очень важно».

Маша подняла голову, посмотрела на Ленина. Владимир Ильич улыбнулся с одобрением:

— Это важно. Спасибо вам. Это очень важно. Для Москвы. И для нас.

Ленина тронуло и порадовало политическое чутье девушки. Он подумал: «Она понимает ситуацию лучше Троцкого».

Еще раз повторил:

— Это очень важно, — на минуту задумался, давая родиться ответу, решительно сказал: — Пошли в аппаратную!

Телеграфисты поднялись, приветствуя Ленина. Маша, поняв, что Владимир Ильич пришел диктовать текст, стыдливо сказала, не уверенная в себе:

— Может, Павел Иванович… — кивнула на старшего телеграфиста.

— Нет, вы. Передавайте.

Замолчали другие аппараты. Застучал Машин.

— Москва принимает.

— «Проверенных новых сведений не имею, кроме того, что немцы, вообще говоря, продвигаются вперед неуклонно, ибо не встречают сопротивления…»

Маша испуганно глянула на Ленина. Не только ее испугала его безжалостная искренность. Диктовал бы кто-то другой, даже Николай Петрович, она, наверное, подумала бы: «Разве можно такое передавать открытым текстом?» Но это же — сам Ленин!

— «…Я считаю положение чрезвычайно серьезным и малейшее промедление недопустимо с нашей стороны. Что касается сообщения о неучастии Австро-Венгрии в войне, то я лично, в отличие от Троцкого, не считаю это сообщение проверенным, говорят перехватили радио и были телеграммы об этом из Стокгольма, но я таких документов не видал. Ленин».

На следующий день московские газеты опубликовали этот ленинский ответ.

Пришел Яков Михайлович Свердлов. Рассказал о заседании ЦК. Все было так, как Ленин предвидел. Бухарин, Ломов, Урицкий горячо доказывали, что недопустимо, позорно для партии рабочего класса пользоваться поддержкой империалистов.

Порадовал Владимира Ильича Дзержинский. Феликс Эдмундович не только отмежевался от «левых», он выступил против них. «Хотя я и был против подписания мира, но я самый решительный противник точки зрения Бухарина», — сказал Дзержинский. Ленин довольно потер руки:

— Горят «левые».

— Непонятна мне позиция Троцкого, — сказал Свердлов. — Лев Давидович выступал много раз. Кажется, теоретически правильно доказывал необходимость взять оружие и продукты. Но излишне нажимал на приглашение английских и французских

инструкторов, дескать, наша армия осталась без офицеров, а неграмотные солдаты освоить технику не смогут.

— Интересно. Очень интересно, — Владимир Ильич слушал Свердлова с тем особенным ленинским вниманием, о котором писали многие современники.

— Меня не покидала мысль, что, возражая «левым», Троцкий как бы дразнил их и этим подбивал на сопротивление нашей позиции.

— Мысль ваша, Яков Михайлович, верна. Троцкий не может не взбаламутить воду, когда видит, что она начинает отстаиваться, очищаться. Правильную идею он доводит до абсурда. Так, говорите, инструкторы? Офицеры империалистов — командиры Красной Армии? Ай да Троцкий! — Ленин покачал головой, улыбнулся.

— Но не это главное, Владимир Ильич. Во время одного выступления, без логической связи с тем, о чем говорил, Троцкий вдруг сделал заявление, что снимает с себя обязанности народного комиссара по иностранным делам.

Улыбка с лица Ленина исчезла, он нахмурился, насторожился.

— Создается впечатление бегства с корабля. Не кажется ли ему, что мы тонем?

Ленин помассировал пальцами виски — вдруг ощутил боль.

— Троцкого нужно было гнать из наркомата после его брестской авантюры. Но мы с вами понимали, что нельзя. Мы делали все, чтобы избежать раскола. Троцкий для политической демонстрации выбрал самый тяжелый момент. Это удар из-за угла. Я вам скажу, для чего он это сделал. Чтобы подать пример «левым»: делайте как я!

— Владимир Ильич! Да вы, как говорят в народе, будто в воду смотрели! Признаюсь, я не связывал одно с

другим…

— Они заявили об отставке?

— В конце заседания, оставшись при голосовании в меньшинстве, Бухарин заявил о выходе из ЦК и из редакторов «Правды».

На минуту установилась тишина. Но Свердлов слышал, что Владимир Ильич дышит тяжелее обычного, значит, гневается. Но не дал волю гневу. Вздохнул. Задумчиво протянул:

— М-да, — снова помолчал, потом сказал с болью: — Да, это ставка на раскол, — не сдержался, выругался: — Ах, какие подлецы! — и уже совсем другим голосом, бодрым, уверенным: — Пусть бегут, как крысы. А мы не дадим затонуть кораблю революции, что бы ни говорили, что бы ни делали Бухарин с Троцким и компанией…

— После заседания я невольно стал свидетелем комической сцены, — улыбнулся Свердлов. — Бухарин догнал в коридоре Троцкого, обнял, уткнулся лицом ему в грудь и громко зарыдал: «Что вы делаете? Что вы делаете? Вы превращаете партию в кучу дерьма».

Ленин брезгливо сморщился.

— Какая гадость! Политические паяцы!

Ленин спустился на второй этаж в свою квартиру раньше, чем обычно. Обед еще не принесли. Не пришла со службы и Надежда Константиновна.

Прошел в комнату, сел в мягкое кресло, взял большой блокнот, лежавший тут же, на столике, и, держа его на коленях, начал писать. Статья была уже готова. В голове. Поэтому Ленин писал не останавливаясь. Начал с образно-саркастической мысли, появившейся еще два дня назад на заседании Совнаркома: «Мучительная болезнь — чесотка». Сначала ударил по невеждам в марксизме как будто с отцовской мягкостью — чтобы не поломать кости: сказал, что болезнь нередко случается

«из самых лучших, благороднейших, возвышенных побуждений, «просто» в силу непереваренное известных теоретических истин или детски-аляповатого, ученически-рабского повторения их не к месту (не понимают люди, как говорится, «что к чему»)».

Но через минуту не удержался — хлестнул безжалостно: «Но от этого чесотка не перестает быть скверной чесоткой».

От абзаца к абзацу нарастал ленинский сарказм, непримиримость к путаникам, гнев на тех, кто путает не только от ученического недопонимания.

Это уже удар не только по Бухарину, Ломову, Урицкому, но и по Троцкому, новый виток в системе доказательств, что мир, любой мир, — единственное спасение:

«Мир — главное. Если после добросовестных усилий получить общий и справедливый мир оказалось, на деле оказалось, что его сейчас получить нельзя, то любой мужик понял бы, что приходится брать не общий, а сепаратный (отдельный) и несправедливый мир. Всякий мужик, даже самый темный и безграмотный, понял бы это и ценил давшее ему даже такой мир правительство».

У Ленина поднялось настроение. Так бывало всегда, когда хорошо поработалось, без помех, и можно быть довольным проделанной работой.

Надел пальто, шапку, через черный ход вышел во двор — несколько минут погулять перед обедом. Обошел вокруг Смольного. Мороз был легкий, градуса два. Но сильный ветер пронизывал насквозь, даже через зимнее пальто (Александра Михайловна Коллонтай купила где-то). Правда, ветер гнал уже не зимнюю стужу, а запах близкого моря и… весны.

Перед парадным фасадом Смольного строился рабочий батальон. Говорил речь комиссар. Ах, как ему захотелось тоже выступить перед людьми,

отбывающими на фронт! Но нельзя так стихийно. Бонч-Бруевич и без того недоволен такими неожиданными, почти тайными прогулками его, выступлениями. Представил, как нелегко управляющему делами делать ему выговоры, какие хитрые словосплетения тот употребляет, и озорно улыбнулся.

В вестибюле первого этажа красноармейцы узнали его.

— Ленин!

— Товарищ Ленин!

5

В ночь на 23 февраля Владимир Ильич почти совсем не спал. Ответа на согласие подписать мир не было, немецкие радиостанции молчали на этот счет; в газетах нейтральной Швеции, умевших опережать события и давать самую свежую информацию, тоже, видимо, ничего нет, иначе бы Боровский и Коллонтай немедленно сообщили. Особенно тревожило молчание Турчана. Добрался ли он? Связался ли с ответственными немецкими чинами?

Немецкое наступление не только не останавливается, оно делается еще более стремительным. Клин их ударных сил явно нацелен на Петроград. Сломать клин, задержать марш немецких дивизий могут только рабочие полки, с энтузиазмом выезжающие на фронт, вместе с лучшими, сохранившими боеспособность революционными частями. Люди бесстрашно и добровольно идут на смерть, чтобы защитить социалистическое Отечество. Таких людей никто уже не поставит на колени.

Неплохо было бы перенести свой рабочий стол в Генштаб или в штаб обороны Петрограда, как в дни революции, целиком углубиться в военные дела. Но нельзя, приходится еще вести тяжелую, утомительную борьбу с «левыми» большевиками, с левыми эсерами, с Троцким, со всеми, кто не понимает или не хочет

понимать, что в данной ситуации есть только одно спасение — мир.

Владимир Ильич подумал об этом, оторвавшись почти на рассвете от толстого тома «Истории Западной Европы в новое время» Киреева. Он основательно, с выписками (книгу Мария Ильинична по его просьбе принесла из публичной библиотеки, и он не позволял себе делать заметки на полях, как на собственных книгах) проштудировал во второй половине ночи большой раздел «Господство Франции в Европе при Наполеоне I». Чтобы доконать противников мира, нужны не только призывы, но и глубокие теоретические основы, подкрепленные фактами истории. Как освобождались народы Европы от наполеоновской тирании — это очень важно. Так почему же считают, что эстонцы, латыши, литовцы, белорусы, украинцы, поляки не могут освободиться от немецкого нашествия? Завоевателей всегда изгоняли с позором.

Владимир Ильич тихо закрыл книгу, погасил свечу, при которой читал.

День начался как обычно. Короткая прогулка, во время которой снова порадовало скопление рабочих отрядов у Смольного.

Ленин подумал: «Сколько у них революционного энтузиазма! Жаль, не хватило времени научить их военному делу. Из-за этого, безусловно, будут лишние жертвы». С болью подумал о тех, кто отдаст свою жизнь за Советскую власть. Тяжело вздохнул. А могло бы не быть этих жертв, если бы мир с немцами был подписан в январе или, как договорились, 10 февраля. Дорого, ох как дорого обойдется обструкция «левых», авантюра Троцкого!

«Однако как бы велики ни были жертвы, Петроград не сдадим!»

На рабочем столе — подготовленные управлением делами аккуратно перепечатанные на бланках декреты, принятые на предыдущих заседаниях Совнаркома. Что

тут первоочередное? Безусловно, декрет о создании Чрезвычайной комиссии по разгрузке Петрограда. Владимир Ильич подписал его. Комиссию нужно срочно собрать, проинструктировать. Дал на этот счет указания Горбунову. Тот, сделав себе пометку, сказал:

— Крыленко спрашивает, куда эвакуировать из Смоленска управление путей сообщения фронта.

— Куда? — Ленин задумался.

В Москву? Нет. Москва будет перегружена эвакуацией правительственных учреждений из Петрограда.

— Дадим, Николай Петрович, телеграмму двум Советам — Курскому и Орловскому, пусть готовят помещения. Вообще проверьте, в каких городах государственные здания, губернаторские дворцы, дворянские и буржуазные особняки не заняты под госпитали. Запросите Советы. Военные со своей стороны пусть возьмут на учет все, что им может понадобиться на случай отступления в глубь России. Безусловно, самое лучшее — под госпитали!

В этот момент в кабинет вошли Крыленко и Турчан. Молодой прапорщик оброс бородой, шинель была сильно измята: Главковерх не дал курьеру даже умыться, переодеться, прямо с поезда повез в Смольный.

Ленин быстро поднялся, пошел навстречу Турчану, не спуская глаз с его полевого планшета: что в нем?

— Привезли?

— Так точно, товарищ Ленин.

Прапорщик достал из планшета небольшой, из плотной бумаги, с гербом Германской империи и грифом министерства иностранных дел конверт. Вторая его сторона была залеплена толстыми сургучными печатями.

— Что тут?

— Не знаю. Майор генштаба, передавая мне ответ немецкого правительства, сказал, что вручает мир.

— Как немецкие власти к вам относились?

— Подчеркнуто корректно. Хорошо кормили. Но держали под охраной. Из Двинска привезли на станцию Утяны, посадили в какой-то казарме, правда хорошо натопленной, и двое суток не выпускали даже на прогулку. Из окна было видно только голое поле и недалекий лес.

— Да, немцы умеют охранять свои секреты.

— Поговорить удалось только с часовыми.

— Какое у них настроение?

— Немцы — народ осторожный. Однако солдаты открыто высказывались за мир. Война им осточертела. О перемирии говорят как о празднике.

— Так-так… — Ленин стоял, держа в руках конверт, Крыленко с удивлением отметил, что Ленина, похоже, больше интересует обстановка на фронте, чем немецкий ответ.

— Что на линии фронта?

— Когда шли туда, мы не видели ее, линии фронта. Прошли с белым флагом. Наши части отступали хаотической массой, многие солдаты были без оружия. А когда вчера вечером переходили назад, в районе Пскова гремела артиллерия. Немцам едва удалось договориться с нашим командованием о передаче нас. Признаюсь, я даже боялся, как бы не подстрелили свои.

— Чья гремела артиллерия? Наша? Немецкая?

— Шла дуэль. Как фронтовик, я это хорошо услышал.

— Силу… силу нашей артиллерии вы услышали?

— Думаю, с нашей стороны било не меньше стволов.

Ленин заложил руки назад, как бы спрятав конверт. Ему, конечно, не терпелось прочитать немецкие условия. Но не мог он не расспросить человека, только что побывавшего на линии фронта. Пусть на той стороне ему мало что удалось увидеть, но общую обстановку опытный военный не мог не почувствовать.

— Это превосходно, если у нас не меньше стволов, — Ленин повернулся к Крыленко. — Немцам нужно дать понять, что у нас есть силы для сопротивления, — и снова так же быстро подошел к Турчану, протянул руку: — Спасибо вам, товарищ. Передайте мою благодарность солдатам, сопровождавшим вас, Отдыхайте. Николай Васильевич, выдайте товарищам двойной паек. И два дня полного отдыха.

Турчан, по-армейски козырнув, вышел.

Ленин взглянул на конверт.

— «Правительству России». М-да, лаконично. И невыразительно.

Внимательно осмотрел печати и вдруг передал конверт Горбунову.

— Распечатайте.

А сам пошел за стол. Однако не сел в рабочее кресло, остался стоять, настороженный, напряженный, как бы ожидая нападения врага.

Горбунов глянул на стол, остановил взгляд на костяном ноже, которым Владимир Ильич разрезал книги, вскрывал конверты. Показалось, что этот нож непригоден для вскрытия засургученного конверта.

— Я возьму ножницы, — и пошел в комнату секретариата.

Ленин и Крыленко посмотрели друг на друга. Владимир Ильич сказал с горькой усмешкой:

— Сядем, Николай Васильевич. Присутствуем не при

торжественном акте, — и показал глазами на конверт: — Что, по-вашему, тут?

— Ультиматум.

— Да, вы правы. Условия, конечно, жестокие. Но мы вынуждены будем принять их.

Текст был напечатан готическим шрифтом, что, безусловно, подчеркивало государственную важность и, может, даже угрозу — так писали свои ноты прусские князья. Текст уместился на двух страницах. Немецкая лаконичность.

Ленин читал по-немецки так же быстро, как и по-русски. Однако сочиненный Кюльманом и Гофманом и одобренный кайзером документ читал на удивление долго. Горбунов и Крыленко с тревогой следили, как менялось выражение его лица: морщинки резче прочертили широкий лоб, углубились, мучительно, как у человека, вдруг почувствовавшего сильную боль, скривился рот. Но только на миг. Тут же лицо приобрело выражение суровости.

Кончив читать, Ленин положил ладонь на ультиматум, пальцы его сжались в кулак.

— Вот где вылезла морда империалистического хищника! — Стремительно поднялся, взял листы в руки, взмахнул ими. — Вы послушайте, что они требуют! — Но не стал переводить по тексту, сказал своими словами: — В дополнение к брестским условиям немецкие милитаристы требуют всю Прибалтику, половину Белоруссии. Они вынуждают нас заключить мир с Центральной Радой и вывести все войска с Украины и из Финляндии. Мы должны демобилизовать старую армию и все части новой Красной Армии. Ах, мерзавцы! Все корабли наших флотов — Балтийского, Черноморского, в Ледовитом океане — разоружить! Карс, Батум и Ардаган отдать Турции и признать отмену турецких капитуляций. Они требуют беспошлинного вывоза нашей руды и хлеба. И в довершение — контрибуцию, которую прикрывают

формулой — на содержание военнопленных и на покрытие потерь имущества частными лицами. Верни, Советская Россия, немецким баронам то, что отняла у них революция. Все эти условия мы должны принять на протяжении 48 часов и неотложно выслать делегацию в Брест-Литовск. За три дня подписать там этот архитяжелый мир и за две недели провести ратификацию его. Вот что, товарищи, требуют от нас немецкие империалисты! — Последнюю фразу Ленин произнес, словно с трибуны, перед большой аудиторией, и сел в кресло. Потер пальцами виски — заболела голова. Продолжал голосом, полным горечи: — Да, новые условия в десять раз хуже, в десять раз тяжелее, унизительнее, чем тяжкие и наглые брестские условия. А кто в этом виноват? — глянул на Крыленко и Горбунова, какое-то мгновение как бы подождал ответа, но ответил сам, с гневом: — В этом виноваты по отношению к великой Российской Советской Республике наши горе-«левые» Бухарин, Ломов, Урицкий, их компаньон Троцкий... Им давали брестские условия, а они отвечали фанфаронством и бахвальством, явным авантюризмом. И до чего довели? Нет, ответственности за это им с себя не снять! — Взял немецкий ультиматум, протянул Горбунову, сказал совсем другим тоном — добрым, деловитым: — Николай Петрович, Чичерину — для перевода. Архисрочно! Через полчаса соберется Центральный Комитет. Позвоните Стасовой.

Оставшись один, Владимир Ильич минуты три ходил по кабинету в глубокой задумчивости. Потом сел за стол, обмакнул перо в чернильницу, крупными буквами написал: «Мир или война?», подчеркнул заголовок двумя чертами.

Перо летело с быстротой мысли: «Ответ германцев, как видят читатели, ставит нам условия мира еще более тяжкие, чем в Брест-Литовске. И тем не менее, я абсолютно убежден в том, что только полное опьянение революционной фразой способно толкать кое-кого на отказ подписать эти условия. Именно потому я и начал статьями в «Правде» (за подписью Карпов) о

«революционной фразе» и о «чесотке» беспощадную борьбу с революционной фразой, что я видел и вижу в ней теперь наибольшую угрозу нашей партии (а следовательно, и революции)».

Через полчаса статья была готова. Она кончалась словами: «Пусть знает всякий: кто против немедленного, хотя и архитяжкого мира, тот губит Советскую власть.

Мы вынуждены пройти через тяжкий мир. Он не остановит революции в Германии и в Европе. Мы примемся готовить революционную армию не фразами и возгласами (как готовили ее те, кто с 7 января не сделал ничего для того даже, чтобы попытаться остановить бегущие наши войска), а организованной работой, делом, созиданием серьезной, всенародной, могучей армии».

Ленин выступил первый — после того, как Свердлов зачитал русский текст ультиматума, а Троцкий с глубокомысленным видом высчитал: сорок восемь часов, данных на ответ, кончаются завтра в семь часов утра. Для чего ему нужны были эти многозначительные подсчеты? Не для того ли, чтобы дать сигнал «левым» — затянуть дискуссию до завтра и таким образом сорвать принятие немецких условий.

Ленин подумал об этом. Но больше всего Владимира Ильича возмутило, с какими спокойными лицами выслушали ультиматум противники мира, будто бы это была обычная информация, которую можно прослушать и забыть. Неужели люди не понимают, что нужно немедленно решать — жить Советской власти или быть растоптанной сапогами кайзеровских солдат. А вот Дзержинский хватает ртом воздух, видимо, сжало сердце. Побледнела Елена Дмитриевна Стасова, рука ее, писавшая протокол, заметно дрожит.

Ленин тяжело поднялся, хотя на заседаниях ЦК часто выступали сидя, как и на заседаниях Совнаркома. Голос у него с хрипотцой — так он иногда звучал в конце долгих и пламенных речей. Но говорил Ленин с той

внутренней непоколебимой решительностью, какую большинство присутствующих хорошо знали.

— Месяц назад в своих тезисах о мире я писал: если мы откажемся подписать предлагаемый мир, то тяжелейшие поражения заставят Россию заключить еще более невыгодный сепаратный мир. Вышло и того хуже, ибо наша отступающая и демобилизующаяся армия вовсе отказывается сражаться. Только безудержная фраза может толкать Россию при таких условиях, в данный момент на войну. Я заявляю, что я лично ни секунды не останусь ни в правительстве, ни в ЦК, если политика фраз возьмет верх. Я буду бороться против тех, кто своим бездумным фразерством губит революцию. Революционные партии, упорно придерживавшиеся революционных лозунгов, много раз уже в истории заболевали революционной фразой и гибли от этого. Немецкие условия необходимо принять! Это — единственное спасение.

Ультиматум Ленина был как разрыв бомбы. Вмиг изменились все лица. Теперь ни на одном уже не было нарочитого равнодушия: мол, сколько раз говорить об одном и том же, объявили бы «революционную войну» и все занялись бы конкретным делом.

На лицах разных людей отразились самые разные чувства: удивление, ошеломленность, испуг, тревога — как вести себя, что сказать, что сделать? Победно улыбнулся один лишь Ломов, которому до конца жизни будет стыдно за эту улыбку и за слова, сказанные им немного позже.

Ленин сел.

Наступила пауза.

У Троцкого меньше, чем у кого бы то ни было, чувства отразились на лице. Однако, затаив дыхание, он слушал, как учащаются удары его сердца. Мозг опалила мысль: не наступил ли его час, не осуществляется ли мечта, которую он лелеял всю жизнь, — сделаться первым в партии, в государстве? Но тут же его охватил

страх. Как все властолюбцы и эгоцентристы, он был трусом. Взвалить на свои плечи руководство страной в такое время, когда немцы через два-три дня могут быть в Петрограде и все рухнет? На кого опереться? Нет сомнения, за Лениным пойдет большинство партии и народа. При его авторитете иначе не может быть, и никакими самыми пламенными призывами он, Троцкий, людей этих не повернет в свою сторону. При его политическом прошлом, при его происхождении и всем прочем знаменем ему не стать. Несмотря на свой бонапартизм, Троцкий иногда умел рассуждать реалистически. Посмотрел на Бухарина. Он — опора? Да у него же — никакой позиции, он — как флюгер. Уже растерялся: глаз не отрывает от текста немецких условий, лежащего перед ним. Боится глянуть на Ленина, на его единомышленников.

Нагло и смело смотрит Ломов. Но Ломов завтра так же выступит и против него, Троцкого. Да и что за политик Ломов? Практик. Как Иоффе. Как Урицкий. Дзержинский? Этот поляк всегда был и будет с Лениным.

Сталин нервно ломает спички, хочет зажечь еще не потухшую трубку и, пожалуй, с ненавистью смотрит на него, Троцкого. От этого взгляда Льву Давидовичу становится не по себе. С кем же остаться? Кто поддержит? У Свердлова твердый авторитет во ВЦИК, и этот бескомпромиссный ленинец ни за что не согласится на формирование правительства во главе с ним, Троцким.

Как ни тешила его воображение перспектива очутиться на верхней ступеньке государственной лестницы, Троцкий все же сумел отогнать эти мысли. Наивно. Лучше с той же позиции, какую он занял еще на Шестом съезде, понаблюдать, как Ленин выведет страну из этой, по-видимому, безвыходной ситуации. Вот если не выведет, если сдадут Петроград, Москву, — тогда придет его, Троцкого, время. И тогда он найдет надежных союзников...

Так же легко, как завелся, Троцкий успокоил себя.

Пауза затягивалась. Кажется, еще никто не готов говорить. Выгодно будет начать первому и «разрядить атмосферу». Троцкий это умел, недаром коллеги признавали его дипломатические качества.

— Я удивлен заявлением Ленина. Так, Владимир Ильич, полемизировать нельзя.

— Это не полемика, это — ультиматум. Хватит слов! — не удержался Ленин.

— Но давайте порассуждаем без эмоций, — призвал Троцкий. — Вести революционную войну при наличии раскола в партии мы не можем. При тех условиях, которые могут создаться, наша партия не в силах руководить войной, тем более что многие сторонники войны не желают приобрести материальные средства для ведения ее у стран Антанты. Но подписать этот унизительный мир?! Никакие доказательства Ленина меня не убедят. Будь у нас единомыслие, мы смогли бы организовать оборону. Безусловно, вначале пришлось бы отступить. Но положение не было бы безвыходным даже при условии сдачи Питера и Москвы. Мы держали бы весь мир в напряжении. Если же мы подпишем вот этот немецкий ультиматум, то завтра нам будет предъявлен новый. В этом все формулировки таковы, что оставляют возможность новых ультиматумов. Наконец, подписав позорный мир, мы потеряем опору у передовых элементов пролетариата. Но повторяю: для ведения войны необходимо максимальное единодушие. Поскольку его нет, я не возьму на себя ответственность голосовать за войну.

Выступление Троцкого вдохновило Бухарина. Лидер «левых» был несравненно более воинствен, чем на заседании восемнадцатого февраля. Он подробно разобрал все десять пунктов немецкого ультиматума, доказывал, какая угроза таится в каждом из наглых грабительских требований.

Растерявшийся в сложной ситуации Сталин предложил нереальное: мира не подписывать, но переговоры начать.

Дзержинский сказал, что он тоже не может голосовать за войну, но упрекнул Ленина в бескомпромиссности.

Владимир Ильич тут же ответил, на этот раз сидя:

— Я ставлю ультиматум как крайнюю меру. Отвечаю предыдущим ораторам. Когда тут говорят о международной гражданской войне, то это издевка и невежество. Гражданская война есть в России, но ее нет в Германии. Наша агитация остается в силе. Мы агитируем не словом, а революцией. А это остается. Сталин не прав, говоря, что эти условия можно не подписывать. Их нужно подписать. Если вы их не подпишете, то подпишете смертный приговор Советской власти через три недели. Эти условия Советской власти не задевают. У меня нет ни малейшего колебания. Я ставлю ультиматум не для того, чтобы его снимать, когда победит революционная фраза. Условия нужно подписать! Если потом будет новый немецкий ультиматум, то он будет в новой ситуации.

После повторных выступлений Бухарина и Сталина, который на этот раз согласился на немедленное подписание условий, вдруг вылез Ломов и сказал то, чего никто не отважился сказать:

— Если Ленин угрожает отставкой, то напрасно пугаются. Нужно брать власть без Ленина.

Всем стало неловко. Стасова возмутилась:

— Ну, знаете!

Дзержинский стремительно встал и, видимо, чтобы отвести внимание от этой темы, предложил сделать перерыв: связаться со штабом и получить последнюю информацию о положении на фронте. Он также опроверг Зиновьева, перед этим доказывавшего необходимость подписания мира тем, что рисовал обстановку в Петрограде и стране в самых мрачных красках: всюду пессимизм, неуверенность, паника. Председатель Петроградского Совета или не знал, или

нарочно скрывал подъем, царивший среди рабочих после ленинского декрета-призыва «Социалистическое Отечество в опасности!».

Поскольку атмосфера на заседании накалялась, снова выступил «голубь» Троцкий. Он пустился в рассуждения насчет того, что самое правильное было бы Каменеву и Иоффе еще в декабре подписать мирный договор. Но тогда, мол, сам Ленин стоял за затягивание переговоров, поскольку не было ясности в вопросе, почему мы его заключаем.

Троцкий все переворачивал вверх ногами. Он не хотел вспомнить, что для Ленина все было ясно еще в ту октябрьскую ночь, когда он собственноручно писал Декрет о мире. Затягивание переговоров было не только тактическим, но и стратегическим ходом в целях революционизации пролетариата Германии и стран Антанты. Троцкий упрекнул Ленина:

— Ильич уклонился и не защитил мою позицию, когда она проходила. Не могу согласиться, что есть только один выход из положения. Опасность нам угрожает и на пути мира, и на пути революционной войны. Может быть средняя позиция.

Дальше Троцкий сказал:

— В позиции Ленина много субъективизма. У меня нет уверенности, что она правильна, но я ничем не хочу помешать единству партии, наоборот, буду помогать по мере сил. Однако я не могу оставаться и нести персональную ответственность за иностранные дела.

В этих словах — весь Троцкий, вся его демагогия, все фарисейство. Он — за Ленина и против Ленина. Он — за мир, но против принятия немецких условий. Он — за единство партии, но своей отставкой дает сигнал сообщникам: давайте развалим советский аппарат в самое тяжелое для республики время.

Ленин понял маневр Троцкого. Выступил снова. Доказал, что без армии мы не останемся.

Демобилизацию, которой требуют немцы, можно понимать в чисто военном смысле. Немцы не требуют замены политического строя, и мы не дадим им вмешиваться во внутренние дела Советской Республики.

— Я ни на секунду не сомневаюсь, что массы за мир!

Ленин потребовал голосования по трем пунктам:

Принять ли безотлагательно немецкие условия?

Готовить ли безотлагательно революционную войну?

Делать ли безотлагательно опрос среди советских выборщиков Петрограда и Москвы?

Только гений Ленина мог придумать такое простое и мудрое соединение вопросов, по которым надлежало принять решение. Кто выступит против того, что к революционной войне нужно готовиться? Никто, конечно. Это успокоит «левых». Противники мира хорошо понимают, что советские выборщики — пролетариат (буржуи права голоса лишены) — выскажутся за мир. Попробуйте, Бухарин и Урицкий, проголосовать против опроса пролетариата двух столиц!

Ленинский расчет был точен.

За подготовку войны проголосовали все пятнадцать членов ЦК.

За опрос выборщиков — одиннадцать, бухаринцы воздержались. Но главное — немедленное принятие немецких условий.

Елена Дмитриевна Стасова, пребывавшая некоторое время под влиянием «левых», отдала свой голос за Ленина. Семь человек проголосовали за мир, четверо — группа Бухарина — против, четверо воздержались; Троцкий и Иоффе, сорвавшие подписание мира на значительно более легких, брестских условиях, на этот раз воздержались.

Тяжелая, но победа!

Владимир Ильич почувствовал облегчение. Можно считать, республика спасена.

Спасены от смерти сотни тысяч людей.

Спасены дети от сиротства, матери от горькой вдовьей судьбы.

Ленин расслабленно откинулся на спинку стула. На минуту закрыл глаза, прислушиваясь, как стихает пульсация крови в висках, в затылке. Все-таки он сильно волновался. Как участился пульс! Как болит голова! Хорошо бы хоть полчаса отдохнуть в одиночестве, в тишине… Нет, не в кабинете. Пройтись по лесу. Но разве осуществима такая мечта? Нужно скорее, как можно скорее созывать Центральный Исполнительный Комитет Советов, не мешкая ни минуты, послать немецкому правительству радиограмму, срочно готовить мирную делегацию. Сколько дел! А эти люди все еще продолжают до обидного нелепую борьбу!

Поднялся Урицкий и от своего имени, от имени Бухарина, Ломова, Бубнова и Яковлевой зачитал заявление о том, что, не желая нести ответственности за принятое решение, они уходят со всех ответственных партийных и советских постов.

Ленин отметил, что заявление было подготовлено заранее. Это почти развеселило: значит, не верили «левые» в свою победу. Он поддержал предложение Свердлова: всем до съезда партии оставаться на своих местах.

Ломов. Владимир Ильич, допускаете ли вы немую или открытую агитацию против подписания мира?

Ленин. Допускаю.

Сталин. Означает ли выход из ЦК выход из партии?

«Левые» возмущенно зашумели.

Ленин. Выход из ЦК не означает выхода из партии. У нас есть три дня до подписания, двенадцать до ратификации. За это время мы можем получить мнение партии.

«Левые» начали торговаться, как капризные дети. Дескать, если им дадут свободу агитации, то они останутся.

Ленин прикинул, что за два-три дня, оставшихся до подписания мира, агитация «левых» далеко не зайдет, ее может поддержать разве что буржуазия. Ничего себе архиреволюционеры, поддержанные контрреволюцией! Пусть агитируют. Главное — сегодня на заседании ЦИК получить большинство! Ленин спокойно разъяснил уставное положение: агитировать «левые» имеют право, но голосовать против решения ЦК в советских органах не могут. И предложил: во фракции и на заседании ЦИК противникам мира лучше всего во время голосования выходить из зала. Это усмирило «левых».

В пять часов утра Ленин написал и подписал постановление СНК: «Согласно решению, принятому Центральным Исполнительным Комитетом Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 24 февраля в 4 1/2 часа ночи, Совет Народных Комиссаров постановил условия мира, предложенные германским правительством, принять и выслать делегацию в Брест-Литовск».

Глава вторая

Братья Миная

1

Завывала пурга. Поляну и строения на ней заносило снегом. Свирепый ветер сломал старую сосну, и она, падая, задела гумно. В это время на току, вокруг костра, разложенного в специально выкопанной яме,

грелись люди. В гумне они и ночевали. Партизаны сами облюбовали это гумно — в небольшой лесной сторожке весь отряд разместиться не мог, там остались командиры, раненые солдаты-батарейцы, которым удалось отступить после того, как батарею накрыли немецкие снаряды, да крестьяне — кто постарше и слаб здоровьем.

В гумне были молодые. А где молодежь — там веселье даже в самые тяжелые, казалось бы, безысходные минуты.

...В лесничевке царили уныние и тоска. Может, даже отчаянье. Стонали раненые. Между ними тигром метался Бульба-Любецкий и крыл матом все на свете — немцев, бога, непогоду… Вчера попробовал выругать большевиков: «Довели Россию, такую их…» Но Антон Рудковский вызверился на него: «Ты — эсеровская контра! Да я тебя за такие слова!..» Великого террориста, стрелявшего в губернаторов и жандармов, называвшего в глаза дерьмом министров и генералов, ошеломил гнев командира отряда — крестьянина, матроса, — и он отступил, наверное, впервые, только примирительно буркнул: «Ну и эфиоп ты!» — и больше не трогал большевиков, да и анархистские взгляды свои на все, что происходит в России и в мире, высказывал не с тем безжалостным сарказмом, с каким когда-то высказывал самому Керенскому, а недавно, в день, когда началось немецкое наступление, — Богуновичу.

Крестьяне не та аудитория, чтобы говорить им о высокой политике вот так, с нигилистическим отрицанием всего и вся. Чего доброго, фанатик Рудковский не поймет и поставит к стенке. А вообще Бульбе нравились эти люди, простые, открытые, даже в таких условиях веселые. И Рудковский нравился, хотя и был вовсе не весел. Да и откуда взяться веселью? У самого Бульбы, человека, смеявшегося на суде, где ему выносили смертный приговор, настроение хуже некуда, такое было единственный раз, когда получил через друзей известие о смерти в тюрьме Нади.

Бульба признал, что Рудковского он уважает. За

убежденность. За целеустремленность. Делал революцию. Создал первую коммуну. И перед немецким наступлением не растерялся. Еще когда «русское славное воинство» (без иронии Бульба не мог) разбегалось, обрадовавшись перемирию, Рудковский сколачивал партизанский отряд. Стратег, чертов сын. Самородок.

И теперь полон решимости бороться. И нет сомнения — будет бить немцев.

С такими ребятами можно «погулять» по белорусскому лесу, почистить свет от погани.

В свою очередь, Рудковский, зная по рассказам Богуновича биографию Бульбы-Любецкого, тоже не мог не уважать его. Считал полезным иметь такого помощника — образованного офицера, бесстрашного человека и в то же время по-мужицки свойского, без барских мух в носу. Вон как хлопцы полюбили его за два дня! Правда, излишне горячая голова и много анархизма. Но это не страшно, это, может, даже хорошо для партизанства. Лишь бы не вел эсеровской агитации. Тут нужно сразу поставить его на место!

Рудковский сидел за столом в углу и читал старую, трехнедельной давности «Правду», еще с резолюциями Третьего съезда Советов. Больше читать было нечего. Чтение отвлекало от тяжелых мыслей — о судьбе коммунаров, о судьбе Филиппа Калачика — где он? что с ним? — о судьбе революции — вон какая силища двинулась на Россию! Кто ее остановит, если армия действительно развалилась? Кроме того, газетой, как броневым щитом, он отгораживался от злых, ехидных замечаний Бульбы, в которых все-таки хватало если не открытой эсеровщины, то анархизма.

Один из раненых громко стонал, хотя, казалось, был он не из самых тяжелых.

Бульба остановился над ним, цыкнул:

— Тихо ты! Не скули! Нагоняешь тоску на всех добрых

людей. Подумаешь, поцарапало тебе задницу. Не подставляй под немецкие осколки.

Солдат сквозь слезы ответил:

— Эх, гражданин командир! А еще называешь себя социалистом!

Назара проняло, что солдат упрекнул его вот так — вежливо, но с презрением к эсерству; видимо, образованный парень, возможно, большевик! За два дня командования батареей у Бульбы не было времени узнать людей, тем более их партийную принадлежность, не до того было. Он склонился над солдатом, чтобы безобидной шуткой загладить свою бестактность. Хотел сказать: «Прости, брат, я неудачно пошутил. Все мы стонем. Только каждый по-своему: я ругаюсь, Рудковский читает газету». Но от ног солдата потянуло гнойным смрадом. Назар отшатнулся.

Воздух в лесничевке был тяжелый.

Лесник, не за страх, а за совесть служивший графу Хадкевичу, сразу после революции удрал, боясь мести крестьян. Изба месяца три не отапливалась, поэтому печь, пока нагрелась, безжалостно дымила и прокурила все — стены, одежду, людей. В избе ночевало человек двадцать, из них половина раненые. Пахло кровью, потом. Почти все курили, но табака не хватало, и в него домешивали сухой мох, листья, оставшиеся зимовать на молодом дубке за хлевом. Словом, самых разных запахов в лесничевке хватало. Но вот такого, гнойного, пока что не было. А Бульба, не раз выносивший из немецкого тыла своих раненых разведчиков, хорошо помнил этот зловещий запах и знал, что это такое. Гангрена. Террорист, не отступавший перед любым врагом, растерянно замолчал, настроение у него совсем упало. Вырвалось с отчаяньем:

— Эх, напиться бы, такую его!

Рудковский оторвался от газеты, сказал спокойно:

— Напейся.

— Чего?

— Вон вода в ведре.

Удивленный Бульба остановился перед столом.

— А ты, матрос, юморист. Только напрасно не слушаешь меня. В разведку должен был ехать я! С Мустафой. Где твои разведчики? Если не оказались перебежчиками…

— Ну, это ты мне брось! — с гневным выражением на лице поднялся за столом командир отряда.

Двое разведчиков на лошадях были посланы в имение и в село вчера вечером — узнать о судьбе коммунаров, полка, о немецких силах. Прошла ночь, прошло еще полдня, а разведчики не вернулись. Рудковский переживал особенно. Он сам понимал, что стряслась беда. И, не веря в бога, молился: только бы они не попали в плен.

Уж лучше сразу пуля. Больно ему было не только как командиру: один из разведчиков, семнадцатилетний тезка Антон, — его племянник, сын сестры. Как посмотреть Анне в глаза? Она так просила его беречь сына.

…Сосна бухнула так, что в лесничевке показалось, будто на поляне ударила гаубица. Кто мог подняться, схватили винтовки, бросились к дверям. Вслед за выбежавшими поползли к открытым дверям раненые. Свирепый ветер бросил им в лица заряды колючего снега, завыл в печной трубе.

Первым сообразил, что случилось, лесоруб Герась Леска: он хорошо помнил, как падает спиленное или сломанное дерево.

— Гумно! Хлопцы! Накрыло гумно!

Рудковский, побелевший, прыгая через сугробы, побежал к гумну. Бульба-Любецкий не отставал от него.

Рудковский шептал:

— Ах, боже, одна беда не ходит.

Бульба сразу сообразил, что беда скорее всего невелика: сосна ударила по углу, примяла обветшавшую стену, но стропила осели на сложенную в гумне солому, и это не дало крыше обрушиться посередине, над током.

Крикнул:

— Живы вы там, хоробрые воины?

— Живы, — отозвался почти веселый голос.

— Черти! Слышь, командир, они еще смеются? А у нас душа в пятках. Эй вы, командир за вас богу молился.

Рудковский смутился:

— Ну, плетешь ты, капитан, черт знает что! Когда это я молился?

— Неважно когда. Главное, бог тебя слышит, хотя ты и большевик.

— Не мели чепуху!

— А я твой авторитет поднимаю…

Бульбу только зацепи, он в любой ситуации за словом в карман не полезет.

Рудковский властно скомандовал:

— В ворота не выходить! Выбирайтесь через крышу.

Парни начали вылезать по одному и скатывались с крыши в сугробы; их встречали смехом и шутками. Антона Рудковского все это веселье почти оскорбляло: ну что за беззаботность, когда положение — хуже не придумаешь. Назар Бульба лучше понимал людей и, хотя настроение у него было собачье, чудил напропалую и другим не давал унывать.

Для крестьян самое, наверно, тяжкое — сидеть без дела. Поэтому они охотно взялись за ремонт гумна, несмотря на стужу и метель.

Рудковский тоже решил, что только работа может отогнать тяжелые мысли, и тут же встал во главе строителей. Зазвенели пилы. Застучали топоры. Люди занялись делом.

А Бульба-Любецкий вдруг почувствовал себя лишним. Надо сказать, работать он умел: был, спасаясь от смертной казни, матросом, кочегаром, пастухом в Туркмении. Но за время войны ни разу не держал топора в руках. Отвык. А главное — не хотелось работать. Поймал себя на этом и на какое-то время ощутил, что он не нужен этим людям, которые с такой охотой валят лес, обтесывают жерди на стропила, разбирают старую стену и проломанную крышу. Почти со страхом подумал: на что же он годится? Убивать? У него и впрямь зудело внутри от желания вырваться на большак, разгромить немецкий обоз, захватить трофеи… шнапс…

Без дела пробирал холод, и Бульба вернулся в лесничевку. Здесь, в окружении раненых, ясно чувствуя гангренозный запах, Назар вдруг понял, что отчаянье его — от жалости к этим несчастным и к тем, кто остался навечно в окопах. Он подумал о Богуновиче. Где он? Что с ним? В плен Сергей сдаться не мог. Из тех, кто был в окопах, к отступающим батарейцам присоединилось всего два человека. Один рассказывал, что видел, как агитаторша выскочила с красным флагом навстречу немецким шеренгам и ее скосили пулеметы. К ней бросился командир полка…

Рассказывал солдат путано, но одному Назар верил: юная идеалистка могла пойти на такой риск, чтобы остановить немецких пролетариев в шинелях; за ней, конечно, бросился Сергей, не мог не броситься. Бульба представлял себе эту картину и стонал от боли. Только здесь, в лесничевке, он понял, как любил Богуновича. В грязи и крови безумного мира Сережа остался для него рыцарем с чистой душой. А как ему хотелось мира! Для

людей. Для себя. Чуть ли не с кулаками налетел, когда он, Бульба, признался в намерении «погулять» по немецким тылам. Боялся перемирие нарушить. Да нарушили его не мы, мой друг. Политики. Кюльман или Троцкий… черт их знает кто. Политиков Бульба презирал. Всех… Монархистов. Социалистов. Анархистов.

Угнетала бездеятельность.

Чего ждет Рудковский? Надо же, в конце концов, помочь хотя бы этим несчастным, что, кое-как перебинтованные, лежат на полу, на соломе. Иначе гангрена может убить даже легкораненых. В местечке, наверное, есть какой-нибудь фельдшер. Нужно поискать! Батарейных коней привел он, Бульба, и у него есть право распоряжаться ими!

Назар, полный решимости, вышел из избы. На крыльце остановился, пораженный тишиной. Нет, пурга выла по-прежнему, гудел бор. Но не слышно ни пил, ни топоров, ни голосов. Даже жутковато сделалось от этой тишины. Сбежав с крыльца, он глянул на гумно и остановился, уже совсем ошеломленный. От гумна к избе двигалась странная процессия. Впереди партизан, как привидения, шли две женщины в заснеженных платках, в задубеневших кожухах. Шли они тяжело, изнуренно, будто несли на плечах гроб.

Одну женщину капитан узнал издали — хозяйка квартиры, где жил Богунович, жена начальника станции пани Альжбета. Видел ее много раз, наезжая к другу. Особенно подружились на свадьбе Богуновича и Миры. Его забавлял шляхетский гонор Альжбеты.

А вторая женщина? Кто вторая? Как будто тоже знакомая. Но вспомнить никак не мог. Только когда процессия приблизилась, Бульба вдруг узнал ее. Боже мой! Да это же та красавица и хохотушка, что была подружкой у невесты. С нею он целый вечер танцевал, ей, подвыпив, признавался в любви. А она, Стася, кокетничая, весело и звонко смеялась.

Но что с ней стало? К нему идет совсем старая женщина, изможденная, как после тяжелой болезни, с потухшими глазами. Альжбета, которая действительно в годах, поддерживает ее. А Стася, кажется, вот-вот осядет в снег.

Прошла, как слепая, — не узнала его. Альжбета только взглядом ответила на его учтивый полупоклон. А когда он попытался помочь Стасе — взял под другую руку, она затряслась вся и зло вырвала руку, лицо ее страдальчески передернулось.

Бульба растерялся: почему ей так неприятно его прикосновение? Почему партизаны идут, как на похоронах?

В таком молчании вошли в лесничевку. Набилась полная изба. Посадив Стасю на табурет у деревянной кровати, стоявшей в углу, Альжбета села у стола. Сбросила кожух, стянула платок с головы, начала тереть ладонями щеки. Озабоченно спросила:

— Не отморозила я щеки? — будто другой заботы не было. — Нет, щеки не отморозила. Руки отморозила. Пане Антоне, пусть принесет кто-нибудь снега. Растирайте мне руки, — протянула их Рудковскому, сидевшему напротив за столом, сказала шепотом, кивнув на Стасю: — А она, боюсь, ноги обморозила. Но она не даст растирать. Мой муж нашел ее в пакгаузе. Боже мой, какие звери! Какие звери!

Только после этих слов Назар Бульба-Любецкий понял, что случилось со Стасей. Он чуть не завыл от боли и гнева. Великий террорист был гуманистом и рыцарем: насилие над женщиной считал таким же преступлением, как угнетение целого народа. Приговор насильникам у него мог быть только один: смерть. Но что там еще учинили пришельцы? О чем они говорят — пани Альжбета и Рудковский?

— И сколько людей они удушили газом? — спрашивал командир отряда, белый как полотно.

— Ах, пане Антоне, никто точно не знает. Говорят, барон-пастор, пан Еган открыл ворота и, надев противогаз, выводил женщин… Но из мужчин… вышел ли кто? Говорят, солдаты отвезли на кладбище трое саней трупов…

— Они травили людей газом? — спросил Бульба почти шепотом, не сразу поверив тому, что услышал. Но нельзя было не верить, и он закричал во весь голос: — Они травили людей газами! Товарищи! Дорогие мои братья! Да чего же мы сидим здесь? Там травят газами… Там…

Партизаны и солдаты возмущенно загудели. Они готовы были идти вслед за Бульбой на любую, самую рискованную операцию. Но тут снова заговорила Альжбета:

— Это не все еще, пане Антоне. К моему Баранскасу приходила старая Калачиха, просила поговорить с баронами. Барон Артур держит в погребе пана Филиппа и пана поручика…

— Богуновича? Сережа жив? — так и подскочил Бульба.

— Кухарка Эльза передала сельчанам: барон Артур сказал, что их повесят, как большевиков, при всем народе, около церкви.

— А-а! Сто чертей! — простонал Бульба и, выхватив из ножен саблю, со свистом рассек ею воздух над головами людей. — Свобода или смерть!

— Что за мальчишество? — спокойно и строго одернул Рудковский разъяренного капитана.

Но Бульба гремел уже на весь дом:

— А ты что хочешь! Чтобы я сидел и вздыхал, когда какой-то тевтонский ублюдок собирается повесить моего друга?.. Докуда ждать? Корабли Балтийского флота, товарищ матрос, на помощь не придут, — и тут же обратился к Альжбете: — Подождите. Вы говорите — Артур? Какой Артур? Тот? Капитан русского

Генерального штаба?

— Третьего сына у барона не было.

— Ах, паскуда титулованная! Ах, шулер! И почему я не пустил ему пулю в лоб за шулерство? Ну, гад, я тебя достану со дна морского! — и Рудковскому с сарказмом: — Может, и теперь, командир, будешь держать меня на печи? Так я тебе скажу...

— Не горячись. Дай подумать, — спокойно ответил Рудковский. Но послышались голоса:

— Чего там думать?

— Бить их, гадов, надо!

— Людей наших освободить!

— Мустафа! Где мой мешок?

Башкир ответил с печи, где отогревал простуженную спину:

— Мустафа спит твой мешок, ваша бродь. Несколько молодых прыснули со смеху. Но тут же смолкли. Внимание всех в избе привлекло другое.

На кровати лежал раненный в грудь солдат, самый тяжелый, всю ночь бредил. А в этот миг пришел в сознание. Сквозь туман боли и мук, сквозь страшные видения он различил женский облик — Стасю. Та сидела у его изголовья, далекая от всего, что творилось вокруг, ничего не слышала, ничего не воспринимала — полная опустошенность, более ужасная, чем у человека, которого после пыток ведут на виселицу.

Солдату, наверное, в этом женском облике привиделась мать, и он позвал совсем по-детски, слабым, но полным надежды голосом:

— Мама! Мама! Дай мне напиться.

Этот страдальческий голос услышала и Стася.

Повернула к солдату голову, всмотрелась в его лицо. И вдруг быстро поднялась с табурета, склонилась над раненым, похукала на ладони и осторожно положила руки на его горячие щеки, погладила их.

— Родненький ты мой! Голубчик, что же это они с тобой сделали?

Из глаз ее брызнули слезы, крупные и горячие. Они капали солдату на лицо, на губы, он облизывал их запекшимся языком.

— Дайте же ему воды! — крикнула Стася охрипшим, но уже знакомым — своим — голосом.

Мужчины постарше, закрывая глаза шапками, выходили из избы. Бульба плакал не стыдясь. Рудковский и Альжбета смотрели на Стасю взволнованно, но обрадованно, они первые поняли, что слезы эти, материнская забота о раненом — ее очищение от грязного насилия, ее возрождение, возвращение к жизни.

Подали берестяной ковш с водой. Стася приподняла голову солдату и поила его.

— Пей, мой соколик, пей.

В избе появилась сестра милосердия. Рудковскому стало немного легче, хотя мучился другой мукой — за нее, за Стасю, и за свою любовь, которую матрос, искалеченный войной, по-юношески таил.

Альжбета удивлялась, как у них хватило сил дойти: в (поле ветер сбивал с ног, в лесу снег по колено. И к тому же — страх. Не за себя, за дочь, за Юстину. Пятрас, провожая ее, пообещал, что никуда не будет отлучаться из дому. Но его же могут принудить пойти на станцию. Правда, тех, кто изнасиловал Стасю, нет — ушли дальше, на восток. Но через станцию идут эшелоны. А если какой-нибудь задержится? Мать едва не теряла сознания. Понимая, что обратно в этот день и дойдет, а остаться ночевать не сможет, Альжбета еще в

лесу, едва часовой подвел их к гумну, спросила у Рудковского, есть ли у них лошади.

— Мы вас подвезем… товарищ, — пообещал командир, не зная, как обращаться к этой пани.

Стасина забота о раненом на некоторое время заглушила и ее тревогу о дочери: верная завету, которому учили ее мать, потом пан ксендз, а потом учила жизнь — помочь ближнему в беде, Альжбета тоже забеспокоилась о раненых:

— Кормили вы их? Если есть из чего, я приготовлю обед.

Назар Бульба рвался спасать друга. Но план свой не стал выкладывать перед всем отрядом.

— Пошли, командир, потолкуем.

Советовались они недолго, спрятавшись от пурги и любопытных ушей в хлеву, где, мирно фыркая, хрустели сеном лошади. Минут через десять Бульба как одержимый ворвался в избу:

— Мустафа! Мешок! Бритву!

— Горит, да? — недовольно пробурчал башкир.

— Горит! Горит, батыев ты сын! В седле вылечишь свою задницу! Прошу прощения у дам.

— В седле? — У Мустафы загорелись глаза, башкир верил, что седлом можно вылечить все.

Бульба-Любецкий поспешно, без мыла, только смачивая щеки горячей водой, морщась от боли, соскреб трехдневную щетину. Потом достал из мешка немецкую офицерскую шинель. Померил. Осмотрел себя, брезгливо снял шинель, бросил на пол.

Нашел в своем мешке погоны полковника русской армии и приказал Мустафе пришить их к потертой, но еще элегантной русской офицерской шинели с меховой

подкладкой. У Рудковского появилась недобрая мысль:

«Погончики хранит. Зачем? Запасливый. Все у него есть — иголка, нитки, спирт (вчера Бульба отдал бутыль спирта промывать раны). Смотри-ка — и гранаты! Немецкие. Мешок лежал на печи, а в нем гранаты. Рисковый. Вот эсеровская натура!»

Гранаты Бульба передал своему верному оруженосцу — Мустафе. Тот засунул их под ремень.

Тем временем на дворе запрягали лошадей.

2

Барон Артур Зейфель-Уваров (вторую часть фамилии он не без умысла взял от бабки, графини Уваровой) лежал на диване в своем кабинете и курил, пуская из трубки в потолок замысловатые кольца сизого дыма. С наслаждением вдыхал запах турецкого табака высшего сорта.

Наконец он позволил себе вот так расслабиться, отдохнуть, как говорят, душой и телом. Впервые за три месяца, после того как он из русской армии, из штаба Духонина, ликвидированного большевиками, перебрался в свою родную, немецкую армию, где давно уже тайно числился разведчиком особого ранга.

Да, только дома, в собственном имении, в кабинете, таком родном с детства, можно спокойно отдохнуть; это не то, что заплеванные отели в Бресте и Барановичах. Хорошо, что это быдло, его батраки, не тронули кабинета, не сожгли библиотеку. Уцелели не только книги, но и картины. Это его и удивило, и очень обрадовало. Оглядывая свое нетронутое богатство, барон прямо таял от удовольствия. Но тут же хмурился, вспоминая утраты. Что библиотека? Скота нет — сожрали бандиты. Коров. Свиней. Лошадей. Хлева пустые. Увидев все это в день вступления сюда немецких войск, Зейфель посинел от гнева, за богатство свое он готов был отравить газом не только бывших

батраков («Я им покажу коммуну! В могиле будут лежать коммуной!»), но и все (село, всю округу. В тот день он, пожалуй, сделал бы это, если бы не брат Ёган. Этот хромой лютеранин, святой семьи Зейфелей, не только не дал задушить всех коммунаров, — он спас село, пленных солдат…

Они крепко поссорились. Брат обиделся. Теперь, умиротворенный и успокоенный, Артур чувствовал вину перед Ёганом и думал, как помириться с ним. В конце концов, брат был прав. На гуманность можно наплевать. Но не думать о престиже семьи нельзя. А тем более о безопасности на будущее: у каждого из батраков близко или далеко есть родные, и они могут мстить… Укротить же эту стихию не сразу удастся и немцам.

«Да, можно было обойтись без газов», — согласился барон. Сведения об этом в большевистской прессе легко опровергнуть. Да и вряд ли большевики удержатся. Не для того немецкая армия перешла в наступление. Через неделю-другую она вступит в Петроград.

Об этом говорил генерал Гофман на совещании в Бресте.

Хуже, если об удушении людей заговорят немецкие газеты. А газеты такие есть — социал-демократические.

Зейфель выругал в мыслях кайзера Вильгельма. Чего он нянчится с этими социал-демократами? Им даже предоставляется трибуна в рейхстаге, чтобы выступали против войны. Перевешать бы их давно всех — и левых, и правых!

Да, Ёган прав: гнев, чувство мести не лучшие советчики; евангельское всепрощение, богословская рассудительность, пожалуй, не помеха, когда нужно определить свое поведение в этом стихийном мире. Но я не святой Езус и даже не толстовец, чтобы прощать своим врагам. Кару они понесут. Эти двое — первые.

«Эти двое» — Богунович и Калачик. На них барон был до бешенства зол. Но особенно — на офицера,

продавшегося большевикам. За измену… За то, что он тоже грабил поместье. Как выясняется, солдат своих он кормил хлебом из его, Артура, амбаров, мясом — из его хлева и свинарника. А еще гнев Артура Зейфеля кипел, когда он вспоминал о потерях, понесенных немецкой дивизией.

У него был взлет, когда он перешел к своим. Железный крест, звание майора. С ним советовался сам Гофман. Начальник штаба Восточного фронта прикомандировал его к корпусу генерала Шульца, который должен был нанести удар в районе, где находились владения Зейфелей, где он, Артур, охотился с детства. Ясное дело, что он, начальник разведки корпуса, особенно внимательно изучил русскую оборону именно здесь. А кроме того, позаботился, чтобы имение не было разграблено немецкими солдатами, которые тоже вели себя как голодные шакалы.

В заботах об имении он преуспел. Но его данные о возможном сопротивлении русских, увы, не были результатом серьезной разведки. И полк Богуновича, которого, по его расчетам, не должно было существовать, и полк какого-то Черноземова, о котором он вообще не имел никаких сведений, оказали неожиданно сильное сопротивление, убиты и ранены сотни немецких солдат. Шульц высказал свое неудовольствие.

Пустыми, как он и предполагал, оказались только окопы полка его знакомого Бульбы-Любецкого. Но далеко в глубине пущи разгромлены два немецких обоза. Очень похоже, что это работа эсеровского террориста.

Шульц легко согласился дать ему двухнедельный отпуск на улаживание своих дел. Но эта легкость и тревожила Зейфеля. Не хотят ли от него таким образом избавиться, чтобы между собой разделить лавры победы?

Нужно скорее покончить с делами в имении. Сегодня приехал из Кенигсберга отец. Это успокоило: старый

барон непохож на своего сына Ёгана, у него достаточно немецкой деловитости, чтобы заняться хозяйственными делами. И сейчас вот пошел в коровник посмотреть, как там его рогули, уцелевшие от большевистского разгула. Значит, на его, Артура, долю по-прежнему остаются дела военные.

Как же наказать этих двоих?

Зейфель знал, что Богунович в солдатской одежде приходил во время братания в немецкие части, поэтому хотелось осудить его трибуналом за шпионаж и лично присутствовать при расстреле, посмотреть, как будет умирать большевик. Все они храбрые, пока…

Впрочем, все равно слюнявые гуманисты в управлении по делам военнопленных не нашли оснований для передачи пленного командира полка трибуналу. Хорошо, что в спешке наступления о нем забыли.

А метель таки разгулялась. Когда-то его старая нянька, белоруска, называла это стреченьем — зима встречается с весной. Что ж, весна близко, с ней придут новые радости. Кончится война победой Германии. Ах, как шумит парк! Сколько в этом шуме родного, воспоминаний золотого детства.

Барон поднялся, подошел к шкафу.

Что бы это почитать? Гёте? Пушкина?

Буря мглою небо кроет,

Вихри снежные крутя…

В дверь осторожно постучали. Получив разрешение, вошел камердинер — бородатый, в ливрее, латышский немец Фридрих, которого еще в бытность Артура юнкером они в шутку называли Фридрихом Великим; в ноябре он провел отца по лесу через линию фронта.

Объявил торжественно, как объявлял все тридцать лет службы, хотя с некоторым, пожалуй, испугом:

— Полковник Бульба-Любецкий!

Разведчик, которого ценили за выдержку штабы двух воевавших армий, кичливый барон, с детства приученный не выдавать перед лакеями никаких чувств, ошеломленно вытаращил глаза.

— Кто?

— Русский полковник Бульба-Любецкий, — повторил камердинер.

Неприятный холодок, сначала разлившийся в ногах, змеей пополз вверх — в живот, в грудь. А в голову, наоборот, ударил жар.

— Полковник?

— Так точно.

— Кто ему присвоил полковника? — Не могу знать.

— Обезоружить и привести ко мне.

Камердинер вздохнул. Старик заметил, как испугался Артур, и ему стало стыдно за своего воспитанника.

— У часового, пытавшегося задержать его, полковник отнял винтовку и вынул затвор.

Барон побледнел...

— Ваша светлость! Я позволю себе посоветовать вам принять русского...

Барон вспыхнул, поняв, что подумал о нем старый лакей, возмутился, однако сдержался.

— Разве я сказал, что не приму его? Но — оружие сдать!

— С ним — татарин.

— Кто?

— Ординарец-татарин.

— Пусть остается внизу, около часового. Камердинер, тихонько вздохнув, вышел. Артур, как мальчишка, на цыпочках, выскользнул за ним, спрятался за колонной так, что ему видна была широкая лестница. Внизу, поставив ногу на первую ступеньку, стоял Бульба-Любецкий. Барон сразу узнал бывшего разведчика. На нем действительно были полковничьи погоны старой армии. Это произвело впечатление, но, возможно, ослабило бдительность; случается, зрительная деталь поворачивает мысли в иное направление. Фридрих почтительно сказал по-русски:

— Господин полковник, господин барон вас примет. Но сдайте оружие.

— Барон боится? Барон боится меня? — издевательски крикнул Бульба. — Ха-ха! Артур, я не узнаю тебя!

Бульба хорошо знал: трусливый как заяц и хитрый как лис, потомок тевтонского рода слышит его — и нарочно кричал на весь замок, чтобы задеть баронский гонор.

— Сдайте оружие, — мрачно сказал камердинер. — Я? — закричал еще громче Бульба. — Старик, ты можешь не знать, кто такой Бульба, но капитан Зейфель хорошо знает. Мустафа! Сколько у нас гранат?

— Один-три, два-три, два-два! — загадочно и также громко отрапортовал башкир.

— Ты математический гений, Мустафа! Я думаю, достаточно, чтобы не дать обезоружить нас?

— Так точно, ваше бродь! — загремел Мустафа.

Тогда барон вышел из-за колонны на площадку перед лестницей и приветствовал гостя с высоты второго этажа иронически весело:

— А-а, капитан Бульба?

— Полковник Бульба-Любецкий. Имею честь, ваша

баронская светлость.

— Кто вам присвоил высокое звание? — снова иронически ухмыльнулся Зейфель.

— Барон, у вас плохая память. Я двоюродный брат премьера Керенского. Могу сообщить: премьер с радостью встречает немецкую армию. Буду искренним: у меня пока что радости меньше.

У Артура Зейфеля было много гонору, но не очень много ума. В последнее время он больше изучал немецкий двор, немецкий генштаб, его политику, чем силы русской революции. Но он помнил, что Бульба хвастался своей близостью с Керенским и что эсеры — против большевиков. Об использовании этой силы им, офицерам, говорили на совещании в Бресте. Конечно, Бульба нанес немалый вред немецкой армии. Но, если он против большевиков, вряд ли стоит ворошить прошлое.

— Чем могу служить?

— Капитан! Я не разговариваю в передних и на лестницах, даже парадных. Но об одной своей цели я могу сказать здесь. Кроме разговора, который должен быть сугубо конфиденциальным, я хочу получить от вас долг. Карточный. Надеюсь, вы не забыли. У меня в кармане ваша долговая расписка…

Зейфеля обдало жаром. У него была слава лучшего игрока, об этом все знали. Но он вспомнил игру, где крепко продулся. Было это после Февральской революции. Бульба, освобожденный Керенским из каторжной тюрьмы, восстановленный в звании капитана, с полномочиями от военного министра приехал в Могилев, в Ставку, чтобы выяснить, кто его предал. Несколько офицеров контрразведки, похвалявшихся этой своей акцией, в тот же день исчезли. Он, капитан Зейфель, никому не говорил… не мог сказать о своей роли в этом деле. Он пил с Бульбой. А потом, ночью, играли в карты. Как всегда, ему очень везло. Но этот бандит вдруг достал из кобуры

револьвер, положил его на стол. После чего он, Зейфель, проигрался подчистую, до того, что вынужден был отдать золотой портсигар, часы, кольцо и написать вдобавок расписку на довольно значительную сумму.

Напоминание о его позоре было неприятно. Бестактная свинья, этот Бульба, не мог смолчать перед лакеем и солдатами. Хорошо, немецкий солдат по-русски не понимает, но Фридрих отлично владеет русским.

— Прошу вас, капитан. — Зейфель как будто учтиво отступил в сторону.

— Полковник, капитан. Прошу не забывать. И еще одно условие. Ваши люди охраняют нас внизу. Мой человек охраняет меня наверху, перед вашим кабинетом. Только так! Разговор равных!

С этими словами Бульба небрежно бросил солдату, который, дрожа от страха, загораживал штыком лестницу, затвор. Тот с радостью схватил затвор, начал вставлять его дрожащими руками в винтовку.

Бульба-Любецкий, а за ним Мустафа, в толстом кожухе, с гранатами за ремнем, проследовали мимо него с видом победителей.

Зейфель прошел в кабинет первым, успел достать из ящика стола маузер, положил его на стол, накрыл газетой. Гостя он встретил, сжимая в кармане рукоятку бельгийского дамского пистолета.

Бульба мгновенно заметил, что Зейфель вооружен. Это несколько нарушало его план. Но он не терялся ни в какой ситуации.

— О, простите, господин майор. Снизу я не видел ваши погоны. Поздравляю. Немецкое командование оценило ваши заслуги выше русского. Не умел царь воздать вам. И мой кузен тоже не раскусил, какой вы патриот.

При всей преданности Германии Зейфель не любил напоминаний о своей тайной роли в русской Ставке, даже когда напоминали свои, немцы, без иронии, с

похвалой; все равно неприятно называться шпионом.

А этот бандит говорит с таким наглым сарказмом.

— Капитан, я не люблю иронии. В какой валюте вы желаете получить ваш долг?

— Полковник, господин майор. Полковник! Прошу не забывать. Конечно, в марках.

— По какому курсу?

— По довоенному.

— Ха-ха! Капитан! Вы полагаете, меня можно так просто ограбить?

— Господин майор, вы хотите меня разозлить?

— Хорошо, будьте полковником, господин полковник.

— Между прочим, я тоже не люблю иронии. С недавнего времени. Если по векселям мне не хотят платить… ни большевики, ни немецкие бароны.

— Я не сказал, что не хочу платить.

— Спасибо, барон. За искренность — искренность. Я понимаю, вам теперь нелегко. Большевики разорили вас. Я готов получить часть долга в другой валюте. Дайте мне власть над округой. У меня сотня сабель. Очень острых сабель.

Барон похолодел от страха. Черт возьми, похоже на правду, иначе этот авантюрист не явился бы сюда с одним ординарцем и не вел бы себя так нагло. Идиот Шульц! Рвется в Москву, а в тылу у него гуляют такие отряды. А если их несколько и они оставлены здесь большевиками?

Зейфель отказался от намерения, подгадав удобный момент, выстрелить в Бульбу. Пистолет в кармане обжигал руку, и он скорее вынул ее, показал гостю открытую пустую ладонь: мол, смотри, у меня самые

мирные намерения. Представил, что могло бы быть, застрели или арестуй он командира отряда, стоящего, возможно, где-то за конюшней или даже ближе, под стенами замка. В такую пургу можно пробраться куда хочешь. Даже если их не сотня, а полсотни или даже треть сотни — что сделают против таких вот татар, как тот, стоящий за дверью, его двадцать инвалидов, старых бюргеров, часть которых к тому же на станции, в двух верстах? Да эти анархисты разнесут здесь все до основания, одни головешки оставят от поместья. Да и ему самому не удрать, не спрятаться. Пощады такие головорезы не дадут никому. Нет, лучше откупиться любой ценой.

— Что вы, господин полковник, имеете в виду под округой? И что вы имеете в виду под властью?

— На губернию... Минскую или Виленскую я не претендую. С меня хватит одного-двух уездов... Знаю, что за время войны немецкое командование накопило немалый опыт организации власти на оккупированных землях. Высшая гражданская должность меня вполне удовлетворит. С моими собственными вооруженными силами. Я очищу вам округу от большевиков.

Зейфелю захотелось пожать непрошеному гостю руку. Все логично: эсеры и большевики враги. Бульба если и не брат, то, известно было всем, знакомый Керенского. Хотя, пожалуй, движут им не политические цели, а стремление набить себе карманы. А кто не хочет их набить? Один мужик Калачик как был в лаптях, так и остался, хотя три месяца был у власти.

Конечно, определенный риск есть. Но в данной ситуации лучше иметь этого человека союзником, чем врагом. Правда, простит ли ему командование рейды в тылы немецкой армии? Пруссак Гофман упрям и мстителен. Но можно убедить некоторых политиков. Бульба — авторитет среди русского фронтового офицерства, и за выступление против большевиков ему можно многое простить.

Однако высокие соображения промелькнули так, между

прочим. Более заинтересованно Зейфель думал о том, как выйти живым-здоровым из очень неопределенной ситуации. За собственную жизнь можно продать душу черту, дать любое обещание, любую клятву.

— Господин полковник, честность за честность. Я не высокий военный начальник. Но я могу твердо обещать убедить свое командование дать вам такую власть. Надеюсь, мы станем друзьями.

— Благодарю, господин майор. Но часть долга… отдайте. Мне нужно кормить людей.

Зейфель всегда расставался с деньгами, пожалуй, так же тяжело, как расстаются с жизнью, поэтому он не выдержал:

— Вы разгромили два обоза…

— Не мы, — спокойно ответил Бульба. — Это мужицкий партизанский отряд. У них двести штыков или топоров… Вы хотите, чтобы я обратился за хлебом к ним? Но тогда я вынужден буду помогать им. Я — человек слова.

— Мужицкий?.. Партизанский? — побледнел Зейфель.

Очень внимательно следил Бульба за каждым движением, за каждым жестом барона. Увидел, что «сто сабель» сбили с барона воинственность, обезоружили и заставили поверить в искренность его предложения. Мужицкий отряд совсем ошеломил — майор сразу подумал о Рудковском.

Давняя террористическая тактика не подвела: враг деморализован, кроме того, он, Бульба, повеселил себя отличным спектаклем. Теперь наступило время действовать!

На протяжении всего диалога он незаметно приближался к столу. Зейфель все больше терял бдительность. Назар с почти презрительной небрежностью обошел хозяина и, подняв газету, взял со стола маузер.

— О, какая вещь! Именной? Жаль. А я хотел предложить вам за него часть долга.

Зейфель был настолько заворожен игрой талантливого артиста, что даже не очень испугался; он сейчас больше думал об отрядах да сумме, какой можно откупиться от нахального гостя. Его страшило, что запрошено будет немало.

А Бульбе все еще хотелось немного поиграть.

— Если у вас тяжело с деньгами, господин майор, я могу взять хлеб, скот, мед…

— Господин полковник! Все съели большевики. Бульба-Любецкий игриво подбросил маузер, ловко поймал его и решил про себя, что пора ставить точку. Нельзя так долго испытывать судьбу. Там, внизу, могут поднять тревогу. Правда, он не очень-то боялся, «имея сотню сабель»; наоборот, ему хотелось, чтобы собралась охрана, прислуга, пусть насладятся позором «рыцаря двух разведок».

Но тут распахнулись двери. Первый заглянул в комнату Мустафа. Но только он успел выкрикнуть: «Ваше бродь!» — как, отпихнув его, в кабинет ввалился старый барон в заснеженном полушубке.

— Что случилось, Арт? Что это за люди? Фридрих испугал меня.

Барон спросил по-русски. Сын ответил по-немецки:

— Не волнуйся, папа. Полковник Бульба-Любецкий мой давний знакомый.

— Бульба? Тот, что вырезал немецкие батареи? — высказал свое удивление по-немецки старый барон.

— Тот, тот, — ответил по-русски Назар. — Что поделаешь, барон. Война есть война. Каждый зарабатывает награды как умеет. Я — ночными вылазками. Ваш сын — разведкой в Ставке… Устроился он куда более ловко…

— Господин полковник, — сморщился молодой Зейфель.

С Бульбой нередко так бывало: он паясничал словно бы вполне добродушно, играл со своей жертвой, как кот с мышью, пока вдруг не наступал момент, когда его внезапно охватывал гнев, доходящий до бешенства. Тогда исчезал юмор, и взрывалась, как бомба, ненависть. Так случилось и теперь. Возможно, причиной взрыва явились слова старого барона, будто он, Бульба, вырезал немецкие батареи. Это было неправдой: его разведчики только однажды изрубили офицеров штаба германской дивизии. Немцы же сообщили, что вырезана прислуга батареи, полгода расписывали зверства «русских вандалов».

Бульба выхватил свой револьвер — вдруг маузер не заряжен? — нацелил оба пистолета на Артура Зейфеля, гневно засипел:

— Руки, сволочь! И ты, старый мешок! Руки! Хэндэ хох!

Майор попытался выхватить припрятанный дамский пистолет, но бдительный Мустафа моментально очутился возле молодого Зейфеля и вывернул ему руку так, что немец застонал от боли. Обезоружив его, Мустафа тут же, в одну минуту, обыскал старого барона.

«Рыцаря двух разведок» начала трясти нервная лихорадка.

— Вот так, ваши светлости, душители народа! Барон, не лязгай зубами, как голодный волк. Мустафа! Старому барону связать руки, заткнуть пасть.

Мустафа сделал это с необычайной быстротой: вытянул из кармана кушак, связал немцу руки, заткнул рот тряпкой.

Сын попытался возмутиться:

— Что вы делаете со старым человеком?

— Без истерики, барон. Мустафа! Сейчас мы с бароном,

как хорошие друзья, спустимся вниз. Если у барона не хватит ума и там, внизу, начнется шум, проткнешь старый мешок кинжалом. Раз-три, два-три… Десять раз по три!

— Слушаюсь, ваше бродь!

— Вот так, господин майор! Сейчас мы с тобой спустимся вниз… Бодрые, весело беседуя… Мустафа! Воды молодому барону! Перестань трястись! Постыдись солдата и отца. Потомок рыцарского рода! Мы спустимся в погреб и выведем оттуда арестованных… Богуновича, Калачика… Кто там еще? Думаю, тебе не нужно говорить, что никому еще… ни царским жандармам, ни вашей контрразведке… не удалось перехитрить Бульбу-Любецкого. Одно подозрительное движение, и я сделаю из тебя решето. Ну! Радость на лице! Только так!

Молодой Зейфель выпил воды. Наконец овладел собой. Глаза его блеснули решительностью:

— Так я не согласен.

— А как ты согласен?

— Дайте слово офицера, что после освобождения пленных жизни моей и отца ничего не будет угрожать.

Бульба, закусив ус, на миг задумался: не нарушал он никогда своего слова. Злобно дунул вбок, выплюнул ус.

— Просишь много, но я готов дать слово, что сегодня не трону вас. Не буду пачкать руки…

Мустафа брезгливо скривился.

— Видишь, как морщится солдат? Мустафа! Открой форточку. Увидишь нас в парке — догоняй. Лошадей оставляю тебе. Пошли, барон.

Они спускались вниз по лестнице действительно как друзья, только Бульба на ступеньку отставал, хотя по этикету хозяин должен пропускать вперед гостя.

Между прочим, на это сразу обратил внимание старый камердинер. Но молодой барон улыбался; старые глаза Фридриха не заметили, насколько деланной была эта улыбка. Гость весело балагурил, но вдруг сказал барону:

— Возьмем солдата. Не самим же нам...

Фридрих содрогнулся. Они хотят застрелить этих несчастных — контуженого офицера и старого Калачика? С крестьянским бунтарем хитрый и по-своему демократичный лакей с молодых лет поддерживал своеобразные отношения; нередко встречались, ходили вместе на вечерки, на ярмарки в местечко, но при каждой встрече ругались из-за господ: один служил им с немецкой преданностью, другой поносил их самыми страшными словами, призывал отобрать землю, добро и все поделить между людьми, а в пятом году сжег баронский амбар, попал в тюрьму.

Камердинер гордился тем, что совесть его перед Калачиком, перед батраками, перед крестьянами чиста; он никого из них не выдал. Он делал все, чтобы не было крови. Не думал о том, что не всегда это служило добру. Теперь он искренне испугался: неужели бог послал ему на старости лет такую кару — быть свидетелем смерти «друга молодости»?

Барон сказал часовому:

— Пойдешь со мной.

Камердинер упал на колени, взмолился по-русски:

— Ваша светлость, не берите грех на душу. Бульба схватил его за воротник ливреи, поднял с пола. Сказал со злобой:

— Старик, ты тоже пойдешь с нами! Свечку! Дрожащими руками Фридрих зажег свечу и повел их по темноватому коридору первого этажа.

По крутым ступенькам спустились вниз, в погреб, Зейфель долго не мог открыть замок тяжелых железных

дверей, однако ни солдат, ни камердинер не выказали желания помочь ему. Солдат тоже начинал догадываться, зачем его прихватили, и дрожал от страха перед суровым майором и перед тем страшным, что его, наверное, принудят совершить, ведь винтовка только у него.

Дверные петли ржаво завизжали. При тусклом свете свечи Бульба увидел в камере на полу, на мятой соломе, троих, среди них не сразу узнал Богуновича, тот был в солдатской шинели; немецкие мародеры содрали с него бекешу еще в окопе, когда он лежал без сознания.

Бульба при всей безжалостности к врагам был по-женски сентиментален, когда касалось своих, друзей. Горький комок застрял в горле, и он не сразу хрипло скомандовал:

— Выходите!

В ответ Калачик ругнулся. Фридрих сказал упавшим голосом:

— Богу молись, Филипп.

— А-а, и ты здесь, старый хряк?! Пошел ты со своим богом… — и запустил такое соленое словцо, что при всех своих переживаниях Фридрих возмутился:

— Постыдись, богохульник. Не простит тебе бог!

— У нас с тобой разные боги. Мой бог мне все простит.

Он, Калачик, и парень — вокзальный вор из Барановичей, подняли Богуновича и под руки вывели из камеры. Обессилел тот не только от контузии, но и от голода — три дня ничего не ел, отказывался от еды.

Богуновичу казалось, что контузил его не снаряд — смерть Миры. Вместе со слухом в нем погасло все, погас интерес к жизни. Осталась лишь обжигающая боль воспоминаний о Мире, о кроваво-красной косынке, что катилась под ветром по снежному полю.

Ослепший на свету после темноты подвала, Богунович не сразу узнал Бульбу. Но зато в вестибюле его узнал Калачик и бросил в глаза:

— Шафер? Вот гад! Поведешь под венец? Веди, сукин сын! Повенчай. Знал на этом свете и на том не забуду: что ни пан, то продажная шкура. Тьфу на тебя! — и плюнул Бульбе под ноги.

Тогда и Богунович разглядел бывшего командира полка, друга, недавнего командира своей батареи. В его потухших глазах на миг вспыхнул проблеск жизни: нет, не надежда — удивление.

Но он тут же отвернулся.

Бульбу поразило, что Богунович как бы отсутствовал — никакой реакции на то, что происходит, ни малейшего интереса. Потом сообразил, что тот оглох, ничего не слышит. Понятным стало его презрительное равнодушие. Но от того, что в погребе держали тяжело контуженного офицера, гнев его на немцев закипел с новой силой.

Однако игра была еще не окончена. Не исключено, что где-то в доме, может, за теми вон дверьми, ждет караул солдат. С такой возможностью нельзя не считаться.

— Камердинер! Барону — шинель.

Но на вешалке не было баронской одежды, и Фридрих подал свою шинель. Барон же, к удивлению солдата, надел ее, напялил лакейскую шапку.

Впрочем, и Фридрих не остался во дворце. Он взял канделябр со свечой, поставленный поначалу на столик, и в одной ливрее, без шапки, открыл двери и вышел на парадное крыльцо первым.

Чахлый огонек свечи тут же задуло. Но старый камердинер все равно понес свечу перед собой, будто следовал в церковной процессии. Ветер трепал его седые волосы.

За ним двигались арестованные: Калачик и молодой парень все так же поддерживали Богуновича, хотя он, видно было, пытался идти сам. Понуро сгорбившись, растеряв всю свою фанаберию, в незастегнутой лакейской шинели, тяжело меся ногами снег, тащился барон. Замыкали шествие Бульба и солдат-немец. Впрочем, торопился один только Бульба. Солдат следовал за ним едва ли не с большим страхом, чем арестованные: пожилой немец-крестьянин дрожал при мысли, что его заставят расстреливать этих людей; господа не запачкают свои руки, они у них всегда чистые — и во дворцах, и в окопах.

Полсотни шагов прошли молча. Но Калачик не мог стерпеть.

— Что, старый кныр, будешь вместо попа? Причастишь нас? Так от лютеранской свиньи мы причастия не примем, напрасно вы с бароном придумали спектакль.

— Помолись богу.

— Ха-ха! Кто мне советует молиться, люди добрые! Я, свиное твое рыло, иду и ругаю себя, что не утопил тебя тогда в реке, наоборот, спас. Да и барончика… был случай пырнуть вилами. Пожалел — мальчонка еще был, гимназистик. Помнишь, ваша светлость, ты пришел про царский манифест нам рассказывать? Какому царю ты служишь теперь, пес немецкий?

Бульба огляделся — вокруг по-прежнему ни одной души. Только шумят и стонут деревья. Везет. Быстрее бы дойти до конюшни. Но на радостях и позабавиться хочется.

— Дед, ты у меня получишь лишние розги! Калачик даже выпустил руку Богуновича, повернулся.

— Укуси ты меня за с…, ваше звероподобие! Розгами он меня пугает! Сукин ты сын! Погончики нацепил. А я, старый дурень, поверил, что ты человек… На свадьбе веселун такой был, танцор. Дотанцуешься, палач!

— Ох, жаль мне тебя, дед.

— Пожалел волк кобылу…

Воришка, до этого, по-видимому, не понимавший, что может случиться, вдруг захныкал:

— Мамочка родная! Я же ничего не сделал. Калачик отпихнул его от Богуновича, сурово приказал:

— Не реви, дурень!

Но тут же повернулся к барону и Бульбе:

— Ваши благородия! А правда… его за что?

Тут неожиданно для всех тихо засмеялся Богунович, вполголоса прочитал стихи:

В старых часах притаилась кукушка.

Выглянет скоро. И скажет: «Пора».

Калачик посмотрел на него со страхом: уж не повредился ли человек умом? Двое суток молчал. Помешанного и казнить нельзя — по всем законам человеческим.

А у Бульбы снова запершило в горле. Чертов Рудковский! В такое вьюжное безлюдье мог бы и выскочить навстречу. Хотя он, Бульба, сам приказал ждать!

Но, словно услышав его мысли, из-за конюшни вылетели две упряжки. В санях — будто белые привидения. Так показалось Фридриху. Старик не отличался особенной набожностью, однако тут же подумал о каре за грехи. Кого растопчут эти небесные колесницы?

Никто не видел, как Бульба отобрал у солдата-немца винтовку.

Лошади и сани с привидениями сначала миновали их, но тут же круто развернулись и остановились, одна

пара с одной стороны, другая — с другой.

Привидения с винтовками и револьверами соскочили с саней, окружили.

Радостно закричал Филипп Калачик:

— Антонка! Холера ясная! Так это ж ты! Хватай их, душегубов, христопродавцев, мать их за ногу!.. Хватай!

Послышался голос Бульбы-Любецкого:

— Старика и солдата отпустить! Барона — в сани!

Оцепеневшего барона, как куль муки, партизаны забросили в сани. Фридрих упал перед Бульбой-Любецким на колени.

— Ваша светлость...

Калачик, сложивший уже фигу и подбежавший, чтобы ткнуть свои задубевшие пальцы Бульбе под нос, ошеломленно остановился перед «полковником».

— Так это — ты? А, чтоб тебе чирей в бок! Вот артист так артист! Ты, братка, прости старому дурню.

— Все прощу, кроме чирея в бок... — весело сверкнул белыми зубами Бульба.

— А, чтоб тебе здоровьечко было!

— Не подлизывайся, дед!

Бульба говорил с Калачиком, а смотрел на Богуновича. На какие-то мгновения тот остался один, словно забытый всеми. Партизаны связывали барона, шутили с Калачиком, тот успевал каждому ответить.

Бульбе хотелось обнять друга, но что-то удерживало: так боятся обнять близкого человека, пришедшего в себя после потери сознания.

Но вдруг перед Богуновичем остановился Рудковский. По-военному козырнул:

— Товарищ командир полка...

Богунович болезненно улыбнулся и дотронулся до своих ушей, показывая, что не слышит.

Растроганный, обрадованный, Бульба без слов подхватил Богуновича, как маленького, на руки и, забыв, что тот контужен, может, даже ранен, бросил в сани. Сам вскочил в передок, схватил вожжи, громко скомандовал:

— По коням!

Партизаны, валясь друг на друга, на барона, попадали в сани.

Разгоряченные кони сорвались с места.

Старый лакей остался стоять на коленях в глубоком снегу, протянув вслед своему хозяину свечку. Рядом с ним топал, желая согреться, словно маршировал на месте, немецкий солдат.

Остановились версты за три от имения, уже в лесу. Там их догнал Мустафа на взмыленных лошадях.

Бульба-Любецкий с казацкой ловкостью вскочил в седло. Атаманом объехал вокруг саней.

— Как барон? Не подплыл?

— Подплыл! — со смехом ответили молодые парни.

— Поставить к сосне.

Хохот сразу смолк. Два партизана подхватили сомлевшего барона под руки, подвели к сосне.

Богунович поморщился. За измену, за Миру, за Пастушенко, за людей, отравленных в конюшне, этот человек заслуживал самой суровой кары. Но почему-то не хотелось, чтобы барона расстреливали у него на глазах. Он уже видел столько крови... А теперь стало до ужаса, до помутнения сознания страшно снова увидеть

кровь, пусть и кровь врага. Еще с конюшни, с выстрела в Пастушенко, Зейфель перестал для него существовать как человек. Может, именно потому, что барон сам, собственными поступками уничтожил в себе все человеческое, не хотелось видеть его кровь.

Богунович отвернулся, впервые, пожалуй, с удовлетворением подумав, что, глухой, он не услышит выстрелов. В конце концов, эти люди имеют право на любой суд и его вмешательства они не поймут.

Но суд шел совсем иной. Бульба сказал короткую речь:

— Будь у меня доказательства, что людей душили газами по твоему приказу, я повесил бы тебя на первом же суку первой осины, сукин ты сын. Но от меня ты не спрячешься и в Берлине. А теперь я сдержу свое слово. Живи.

Барон встрепенулся, выпрямился. Рудковский удивился, молодые партизаны повеселели: им тоже страшно было расстреливать человека. Но у Бульбы был свой замысел.

— Снимай сапоги!

Барон послушно плюхнулся в снег, начал стаскивать сапоги, но руки его дрожали, и сапог не поддавался.

— Помогите ему, ребята. Барон сам не приучен, его ведь разували слуги.

Два молодых партизана вмиг стянули с барона сапоги.

— Снимай штаны!

Зейфель вскочил, смотрел на «судью» собачьими глазами.

— Помогите ему, ребята.

Столкнули в снег, стянули форменные брюки.

— И кальсоны! И шинель.

Через минуту барон стоял в коротком френче с голыми ногами и дрожал от холода и страха. Рудковский попытался возразить:

— Не по-революционному это.

— Считай, что по-эсеровски, — ответил Бульба. — Но не мешай. — И Зейфелю: — Ложись, барон, и будь рыцарем. Прими кару от народа. Но запомни: будем сечь не только твою высокородную ж…, по и твоего вонючего кайзера, твоих генералов… Помогите барону лечь, ребята. Деликатно. Деликатно. Ах, какие вы грубияны!

Барона разложили на снегу, два молодых парня держали его за руки, причем с удовольствием, лишь бы не стрелять.

— Мустафа! Нагайку!

Испугавшись обнаженного тела, мало обученный конь вздыбился перед бароном, и Бульба секанул не в полную силу.

Калачик возмутился.

— Сечешь, такую твою! Дай мне нагайку.

Ослабевший за дни ареста, Филипп Калачик тем не менее стегал так, что тело барона на пол-аршина подскакивало от снега и сам он скулил, как щенок. Старик выкрикивал:

— Браточки мои, думал ли кто из вас, что мы доберемся до зада господина барона? Как вы себя чувствуете, ваша светлость?

— Это удар? Это удар? Это все равно что баба гладит, — закричал Мустафа. — А ну стой назад!

Он разогнал коня и, когда тот, обученный, перескакивал через человека, так секанул башкирским кнутом, что из высоковельможной, задницы барона брызнула кровь и сам он заревел, как раненый зубр.

Как раз в этот момент оглянулся Богунович. Увидел, что творится на снегу, и его стошнило. Но поскольку он эти дни ничего не ел, тянуло из него кровью, с мучительными спазмами.

Бульба выругался:

— Сопляки! — и тут же приказал: — Хватит! Скажи спасибо, барон, этим людям. Они подлинные гуманисты. Поставь свечку за их здоровье. Беги! И запомни, как горит наша земля под твоими ногами. Поднять барона! Беги! Но помни, что я не найду тебя разве что в Трансваале. Хотя могу и туда добраться!

Все еще не веря в такое счастье — дарована жизнь! — барон Зейфель без штанов, в кайзеровском мундире и в русской лакейской шапке сначала пошел медленно, время от времени оглядываясь, видимо ожидая выстрела в спину. А потом, отойдя саженей на тридцать, побежал изо всех сил.

Партизаны взорвались веселым и легким хохотом: представили, как барон в таком виде явится в имение. Даже Богунович, несмотря на рези в животе, тоже улыбнулся с облегчением. Посмотрел вверх, на сосны, что раскачивались на ветру. По тому, как ходили верхушки деревьев, представил шум пущи. От воображаемого шума к нему словно вернулось ощущение жизни.

Глава третья

По дороге в Москву

1

Поезд маневрировал в Минске у Виленского вокзала. Раза два на короткое мгновение останавливался, но не у перрона, где толпились пассажиры, а на третьем или четвертом пути.

Богунович хотел было сойти, но Стася удержала его. Наверное, ее испугали солдаты, ходившие по перрону. Еще со времен службы у барона она хорошо знала, как немцы не любят нарушения порядка.

Можно соскочить за вокзалом, на стрелках. Но это опасно даже на самом замедленном ходу. Очень уж они окоченели в пустом товарном вагоне, куда через щели врывались свирепые сквозняки. Повезло в одном: прежде в этом вагоне перевозили лошадей, осталось немного соломы, под которую можно было спрятать ноги. Правда, Сергея старый Калачик заставил обуть валенки. Стася валенки не обула. Так рассудил Бульба, да и она сама: если уж ехать под видом сестры милосердия, то по возможности надо выглядеть с форсом. На ней был полушубок — дала Альжбета, когда еще выводила ее в лес, смолчав, что полушубок Мирин.

Тихий Баранскас не побоялся попросить немецкого офицера похоронить агитаторшу отдельно от других солдат, закопанных тут же, на передовой, в братской могиле. Начальник похоронной команды, владелец похоронной конторы в Дрездене, был человек отзывчивый: на своей чуткости и доброте он умел неплохо зарабатывать до войны. Да и — во время войны служба в такой команде, кроме безопасности (не на передовой, не в окопе!), давала и кое-какую прибыль. Нет, он не мародерствовал, он никогда не позволял себе разувать или раздевать мертвых русских, но снять золотые крестики, кольца с офицеров, забрать портсигары, часы — разве это грех? Зачем они мертвым? С русской агитаторши, о которой немецкие солдаты рассказывали легенды, он не снял даже полушубка, хотя на этот счет был специальный приказ интендантской службы. Рассказы солдат, к которым она смело ходила, вызывали уважение к этой мужественной девушке, поэтому могильщик так легко согласился, чтобы семья начальника станции, неплохо говорившего по-немецки, похоронила ее отдельно, около своего дома. Полушубок сняли, когда обряжали Миру в последний путь.

Привезенный в лесничевку, Богунович узнал полушубок, и сначала это больно задело его. Полушубок был Стасе маловат, ее полная грудь распирала его, и это почему-то особенно оскорбило. Сдержал только вид этой некогда веселой женщины: Стася, как и он, была равнодушна ко всему на свете, как и он, была где-то за чертой обычной жизни, на пути в иной мир. А когда Бульба написал ему, оглохшему, на бумаге, кто и как похоронил Миру и что сотворили со Стасей немцы, Богунович вдруг упал перед ней на колени. Это ее сильно потрясло, но, как и просьба тяжелораненого: «Мама, дай напиться», вернуло к жизни. Стася впервые заплакала. Богунович тоже заплакал и почувствовал, как тает лед в душе. Вместе с ними плакал старый Калачик. Сурово молчал один Рудковский. А Бульба крикнул:

— Мустафа! Спирту!

— Нету, ваша бродь. Отдали раненым.

Когда Богунович немного отошел, Бульба написал ему:

«Оставайся в отряде. Воевать можно и не слыша. Мы бы с тобой еще кое с кем рассчитались».

Нет, он, Богунович, воевать больше не мог. Даже мстить за Миру, за Пастушенко не хотелось. Так и сказал Бульбе. Тот написал в ответ: «Размазня!»

Рудковский, Калачик и Стася решили, что контуженого командира полка лучше отвезти домой, к родителям, Минск же рядом. Стася сама напросилась проводить его, хотя Рудковский боялся: как она поведет себя, увидев немцев?

Сергей ехал в солдатской шинели; партизаны разведали, что раненых и контуженых солдат немцы не задерживают, помогают даже добраться домой, если они белорусы или украинцы; литовцев и поляков отпускали всех без исключения.

У Стаей шерстяные носки примерзли к сапогам.

Богуновичу казалось, что примерзла к его худому телу гимнастерка; в окопах в самые лютые морозы так не мерз. На дворе оттепель, снег на станции почернел, а так холодно в этом проклятом вагоне!

Богунович был беспокоен всю дорогу, но, когда увидел знакомый с детства вокзал, его начало лихорадить. Стася, наверное, думает, что дрожит он от холода. Пусть. Пусть думает так.

После всего пережитого Стасе казалось, что ей нечего уже бояться, к тому же она понимала, что в большом городе опасности для нее меньше. Однако, увидев на вокзале в Молодечно немцев, она вцепилась в Богуновича, до боли сжала его руку: будто поддерживала, но он сразу сообразил, что инстинктивно женщина ищет защиты в нем. Грустно подумал: «Какой из меня защитник?!» Но тут же решил, что будет защищать ее ценой собственной жизни, зубами вцепится в горло, если кто-нибудь из этих зеленых насильников… Но, к их счастью, на вокзале легко можно было затеряться в толпе. Шум, сумятица, но — вокруг люди, свои люди. От этого появилась уверенность, ощущение безопасности. Мальчишки-беспризорники, шмыгавшие в толпе и шарившие глазами, где бы чем поживиться, показались до боли, до спазма в горле родными.

В конце концов состав остановился у товарной платформы. Их вагон очутился напротив большого пакгауза. На платформе высилась гора ящиков; рабочие-грузчики, человек шесть, относили их в склад. Но около ящиков прохаживался немецкий солдат с винтовкой на плече. Солдат подходил к самой двери их вагона. Они следили за ним в щель. Что делать? Ведь может получиться так, что состав двинется дальше, на восток или на юг, в неизвестную даль, и Минск, родной Минск, семья, мать, отец, снова начнут отдаляться.

Когда солдат отошел, Сергей тихо сказал:

— Если поезд пойдет дальше, будем прыгать…

Но Стася поступила иначе. Решительно отодвинула тяжелую дверь вагона, подхватила его и вынесла на платформу. Часовой смотрел ошеломленно, но тревоги не поднял. Мало ли их, русских, вот так приезжает? Его обязанность — охранять пакгауз. Удивило только, что двое грузчиков будто ожидали этих людей: выхватили солдата у женщины и, кажется, намеревались вести на вокзал. Да, у рабочих было такое намерение, но Богунович глазами показал им назад, в сторону Московской улицы. Они поняли. Несли почти бегом. Богунович, растерянный и взволнованный, не успевал перебирать ногами.

Забор, некогда отгораживавший территорию станции от улицы, почти весь был разобран: солдаты отапливали им теплушки, да и минчане приложили руки, потому что дрова неимоверно подорожали.

— Отвоевался, браток? Куда ранен?

— Он не слышит. Оглушило его.

— А-а, контузия. А ты кто?

— Сестра милосердия.

— Домой везешь?

— Домой.

— Доведешь одна?

— Доведу.

— Спасибо, товарищи, — сказал Богунович.

— Скажи ему как-нибудь, что с «товарищами» нужно быть поосторожнее. Счастливо.

— Всего вам хорошего!

— Какое там хорошее, сестра!

Они вышли на Захарьевскую. У Церкви слепых Богунович обессиленно остановился, в его

простуженной груди даже забулькало от тяжелого дыхания. На испуганный Стасин взгляд виновато объяснил:

— Это моя улица. Я прожил на ней половину жизни. Стася взяла его под руку и повела. В этом конце главная улица Минска была еще пуста: редкие прохожие месили ни разу за зиму не убиравшийся, превращенный оттепелью в кашу снег. Но у гостиницы «Бельгия» было уже довольно многолюдно. По очищенному здесь тротуару шли не простые люди — господа: барышни прогуливались с немецкими офицерами.

Стася почувствовала: здесь, на минской улице, страх ее перед немцами почти исчез, но ненависть росла — и к ним, к немцам, и ко всем, кто вместе с ними.

У Красного костела Богунович вдруг остановился, бледный, прислонился к решетке церковной ограды — чтобы не упасть. Стася крепче сжала его руку.

— Что с вами? Что вас испугало?

— Вы слышите? — взволнованно спросил Сергей. Она уже несколько минут слышала, как где-то там, в стороне вокзала, цокают копыта множества лошадей.

И больше ничего, кроме голосов людей, проходивших мимо.

— Лошади! Вы слышите лошадей?!

Сергея испугало цоканье, оно показалось галлюцинацией: кроме двух извозчиков, стоявших неподвижно около «Бельгии», лошадей нигде не было видно. Но через минуту с Михайловской на Захарьевскую ровными шеренгами, медленным шагом выехал эскадрон улан. В красивых мундирах, с киверами, у офицеров сияли эполеты, юноша горнист высоко поднял красно-черный штандарт.

Странно смешались чувства у бывшего командира полка. Стало страшно от этой силы, от вида мордастых

солдат, сытых лошадей. И без того воспаленный мозг пронзила мысль, что с такой силой немцы смогут ходить, ездить здесь, по Захарьевской, по всему Минску, по всей земле очень долго… Что против такой силы сделает какой-то отряд Рудковского или Бульбы? Мысль была кошмарной.

Но вместе с тем появилось нечто иное. Он слышал цоканье копыт по мостовой. Что это? Больное воображение? Или к нему возвратился слух? Да, он слышит! Это же чудо, божий дар: как только очутился на улице, где все такое знакомое, такое родное — вернулся слух!

«Мама! Неужели я услышу твой голос?»

Стало до слабости радостно.

Эскадрон скрылся за поворотом. А Богунович все еще стоял, побелевший, онемевший, и слушал уже не цоканье подков, а удары пульса в висках, шее, пальцах рук.

— Что с вами? — повторила Стася, испуганная его состоянием. — Вам больно?

Будто сквозь вату, которой набиты уши, услышал он эти слова: «Вам больно?» Но, может, он прочитал по губам ее? Отдельные слова еще там, в лесу, в отряде, он угадывал по жестикуляции, по выражению глаз.

Однако же и подковы, и ее голос…

Он схватил Стасины руки, горячо зашептал:

— Скажите мне еще что-нибудь!

Двое господ, проходивших мимо и услышавших его слова, оглянулись и засмеялись: странный солдат — на «вы» с бабой, которую, кажется, вообще не нужно уговаривать.

— Что же мне вам сказать, горемычный вы мой?

Нет, такую фразу по жестикуляции прочитать нельзя!

И он почти крикнул:

— Я вас слышу! Стася! Я вас слышу! Боже мой! — и шепотом: — Говорите же со мной, мой добрый ангел-хранитель. Говорите!

— Я рада за вас. Я рада...

А он словно сорвался с места, зашагал быстро, почти бегом. И возбужденно говорил ей, а может, себе:

— Сейчас мы минуем Серпуховскую, потом — Богадельную. Там, между Богадельной и Губернаторской, наш дом. Это самое бойкое место. Почти напротив — ресторан «Селект». А там дальше — кинематографы... «Гигант», «Эден». Когда я был гимназистом, я не пропускал ни одной картины...

Он говорил потому, что все яснее и яснее слышал свой голос, словно у него потихоньку вытаскивали вату из ушей. Нет, он говорил еще и потому, что его, больного, обессиленного, охватили воспоминания детства, молодости. Как это все было далеко! Всю войну было далеко. Даже когда он приезжал на побывку и, здоровый, элегантный офицер, ходил в рестораны, в кинематограф с бывшими одноклассниками, со знакомыми барышнями. Тогда и знакомые люди, невоенные, казались чужими и далекими. Близким были фронт и смерть. И вот вдруг все приблизилось, все вернулось, вернулась его любовь к этому городу, к улицам, домам... Но тут же ему стало стыдно. О чем он говорит этой бедной батрачке? Что ей до ресторанов, до кинематографов?

Без всякой логической связи с предыдущим он сказал совсем о другом — с тревогой, с заботой:

— А у мамы больное сердце.

Стася понимала его, понимала все, что он переживает. Однако слова о матери особенно тронули: она росла сиротой.

У него едва хватило сил повертеть звонок. Открыла Василина Ивановна, давняя кухарка и горничная Богуновичей.

Когда-то в детстве Сергей капризно кричал ей: «Вася! Дай воды! Найди мои носки!» Тогда Василина была молода. Но когда он пошел в первый класс гимназии, отец однажды сказал ему: «Сын, меня огорчает, что ты не замечаешь моего обращения к человеку, который кормит нас, — к Василине». Сергею стало стыдно, но он нашел оправдание себе:

«А мама?»

«У мамы такие отношения с девушкой естественны, они ежедневно вместе на кухне... А мы с тобой будем джентльменами».

Однако этим не кончилось.

У Василины лицо побито оспой, из-за чего она, наверное, пошла в город, в горничные, — не было надежды выйти замуж. Кто-то из его друзей-гимназистов, барских сынков, в насмешку назвал ее «Василисой Прекрасной», и ему, дураку, понравилась шутка; однажды при отце, при матери он обратился так к Василине. Разговор, происшедший у них с отцом после того, как Василина тихо вышла и долго не возвращалась, а мать, вышедшая следом за ней, вернулась с грустными глазами, — тот разговор он запомнил на всю жизнь и всегда краснел вспоминая этот эпизод своей юности. Еще на улице Богунович вспомнил об этом, и ему захотелось рассказать Стасе, как отец учил его, но от волнения не мог вымолвить ни одного слова.

Открыв дверь, Василина минуту недоуменно смотрела на бородатого солдата, который, казалось, хотел что-то сказать и не мог, и на женщину, у которой из-под теплого платка виднелась белая косынка с красным прямоугольником на лбу — частью креста. Когда узнала, не придумала ничего другого, как закричать на всю квартиру, испуганно и радостно:

— Марья Михайловна! Марья Михайловна!

Мать выбежала из комнаты в прихожую. Она вмиг узнала сына. Не крикнула, а, кажется, простонала:

— Сер-режа...

Он не услышал ее голоса. Она пошатнулась и, наверное, осела бы на пол, не подхвати он ее на руки. Сергей крикнул, как в детстве:

— Вася! Воды!

Стася стояла у двери растерянная. Эту растерянность она почувствовала еще на улице, перед домом, и на широкой мраморной лестнице, когда поднимались сюда, в квартиру.

Богуновича она не считала барином ни тогда, когда он командовал полком — раз солдаты выбрали командиром, значит, наш, свойский! — ни тем более после того, что произошло с ними обоими: страдания сблизили. А недолгая жизнь в партизанском отряде и ее роль сестры милосердия еще больше роднили их. Она везла его не как госпитальная сестра, а как родная искалеченного брата.

В политике она разбиралась не особенно, но классовое чутье батрачки было как оголенный нерв. Малейшее прикосновение — острая боль, крик, протест. В имении она доила коров, но ее чаще, чем других батрачек, брали во дворец — перед каким-нибудь непонятным ей праздником, убирать комнаты. Она видела несметное богатство, но, кроме рояля — такое чудо! — и нескольких картин, ко всему остальному относилась с безжалостным презрением. Сжечь бы все!

Дом, лестница и прихожая отдалили ее от Богуновича. Все было по-пански. Правда, немного иначе, чем у барона. В прихожей висели не красочные картины, а фотографические снимки или простые рисунки, сделанные карандашом.

За всю свою жизнь она ни разу не падала в обморок,

даже когда принесли «похоронку» на Адама. Голосила, билась головой о стенку, однако сознания не теряла. Но она видела, как обмирают пани и паненки — в имении, в костеле, — и никогда не верила, что им действительно плохо, всегда считала это панским притворством.

Правда, там, в пакгаузе, она лишилась чувств, добрый Баранскас нашел ее полумертвой. Но разве можно сравнить пережитое ею с тем, из-за чего падают в обморок господа?! Им бы такое! Поэтому она не очень и поверила, что матери Сергея Валентиновича стало плохо, хотя хорошо помнила его слова о больном сердце. Понимала его тревогу, однако не могла понять, почему нужно падать в обморок от того, что вернулся сын — с головой, с руками, с ногами. С глазами, с голосом.

Из другой двери выскочила очень хорошенькая барышня и, не обращая на нее, Стасю, внимания, бросилась к матери, стала поить ее водой. Стася знала, что это его сестра — Алена, Леля. Все трое — сын, дочь, кухарка, поддерживая старую Марию Михайловну, хотя старой она совсем не выглядела — худая, но моложавая женщина, — повели ее в комнату.

Стася поправила платок, собираясь повернуться и тихо выйти из этой барской квартиры. Зачем она здесь? Она выполнила задание Рудковского и должна скорее вернуться домой, в лес. Еще минута — и она исчезла бы. Но вдруг явился он, Сергей, взволнованный и радостный.

— Стася, друг мой! Простите, что о вас забыли.

Я ошалел от радости. Я снова оглох. Нет-нет, я радуюсь тому, что слышу их голоса — мамин, Лелин. Глухо, правда, как через повязку, но слышу. Слышу. Пойдемте, я вас представлю маме.

Он взял ее за руку и повел в комнату. Подвел к матери, та сидела на диване, откинувшись на подушки.

— Мама! Это мой ангел-хранитель... Стася.

Станислава... — Он так и не спросил у нее отчество, поэтому растерялся.

А они, мать и сестра, объяснили его смущение по-своему. Он писал Леле, что полюбил девушку и это очень серьезно. Письмо взбудоражило семью, даже сдержанный в проявлении чувств адвокат Богунович разволновался. А Мария Михайловна не одну ночь не спала. Неудивительно, что мать и сестра решили: Стася — Сережина избранница. Однако Мария Михайловна сразу заметила, что это не девушка — женщина, много пережившая: из-под платка и из-под косынки у нее выбиваются седые пряди, в глазах — боль и грусть, а у глаз, красивых, правда, — сетка морщин. Матери стало больно, что избранница сына такая зрелая женщина. Но Мария Михайловна была воспитанна и тактична. Преодолевая слабость и головокружение, она тяжело поднялась и обняла Стасю.

— Спасибо тебе, дитя мое. За сына... — и заплакала.

Стася (боже, никогда с ней такого не было!) припала лицом к плечу этой незнакомой худенькой женщины.

Леля шмыгнула носом. Мать немного отошла и сразу почувствовала себя хозяйкой.

— Дети мои! Раздевайтесь же. Мойтесь. Сережа! Побрейся! Твой отец никогда не носил бороду. Я не люблю бородатых. Леля! Слетай за отцом. Он, наверное, у Лёсика.

Леля даже завизжала от восторга, обняла мать.

— Мамочка! Какая ты умница! Но сначала я помогу Стасе переодеться. Пойдем со мной, сестра! — Она сразу перешла на «ты».

Стася была не из робких, не терялась ни в баронских залах, ни в костеле, ни на деревенской свадьбе. А в маленькой Лелиной комнате, где увидела много книг и много игрушек, самых обычных, детских, растерялась. Особенно стыдно ей было раздеваться перед этой

тоненькой чистюлькой — снимать самовязаную кофточку, юбку из «чертовой кожи». Нет, стыдно не за бедную верхнюю одежду — за полотняную сорочку, которая была на ней тогда… Теперь она возненавидела эту сорочку. Сжечь бы! Но не попросишь же чужую. Леля поняла ее по-своему:

— Да не стесняйся ты! Я два года в госпитале работаю. Боже, когда это человечество поумнеет?

— Когда не станет господ, — ответила Стася почти зло — чтобы обидеть барышню.

Но Леля не приняла эти слова на свой счет и серьезно сказала:

— Ты так думаешь? Не так все просто, сестра. Произошла революция… А люди все равно продолжают убивать. Какая сила прогонит отсюда немцев? Народное восстание? Но опять же — кровь, кровь, кровь…

Чтобы оправдаться за нечистое белье, Стася хотела рассказать, откуда они приехали — из лесу, из партизанского отряда. Но слова про восстание и кровь сдержали. Кажется, барышня боится восстания? Из тех, значит, о которых как-то сказал Рудковский: революцию им хочется делать в белых перчатках.

Леля с радостным смехом, начинавшим уже не просто злить — оскорблять Стасю, натянула на нее свой тесный халатик и вручила кучу белья и одежды:

— В ванной примеришь, что тебе подойдет. А я побегу отца искать. Боже, как он обрадуется! Мы так волновались… так волновались… за Сережу.

— Его контузило, и он ничего не слышал. Только здесь, в Минске, у него немного отложило уши.

— Что ты говоришь?! — Красивое лицо дрогнуло от страха и боли, и это заглушило Стасину враждебность, появилось доброе чувство женской солидарности, что часто бывает, когда женщины думают об одном и том же человеке — сыне, брате, муже, страдают, боятся за

него.

Оставшись одна, Стася осмотрела комнату. Не так уж богато, совсем не то что в баронском дворце. Очень чисто, аккуратно, но все простенькое. Она облегченно вздохнула.

Отчуждение появилось вновь в ванной комнате, куда ее позвала Василина. Гудело пламя в печурке водяной колонки. Блестела беленькая ванна, и в ней колыхалась зеленая вода — как в речке в сумерки, на столике — коробочки и щеточки. Горели у зеркала свечи — электричества не было. Все это как-то по-новому взволновало и смутило батрачку. Еще больше растерялась, заметив, как Василина осмотрела ее, когда она сняла халат, и как вздохнула. Непонятно вздохнула — то ли пожалев о чем-то, то ли восхитившись ее красотой. Может, пожалела, что и ее когда-то такое же красивое тело из-за проклятой оспы состарилось без пользы, не изведав ласки мужа или ребенка — сыночка или доченьки.

После ванны у Стаей было такое ощущение, что помыла она не только свое оскверненное тело, но и душу, смыла с нее накипь, грязь, и стала она, душа ее, чистой, как была в детстве, но и ранимой такой же: чуть дотронься — больно.

Леля наряжала ее, как невесту, сама расчесывала волосы. Стася покорно давала ей делать это, только один раз ее наряжали так — под венец. От воспоминаний было грустно и тоскливо. А еще боязно: как она выйдет к мужчинам — к Сергею Валентиновичу, к Валентину Викентьевичу? Голоса их гудели за стеной, в большой комнате.

А Сергей не мог нарадоваться, что слышит все лучше и лучше и что он дома, среди своих. Правда, с возвращением слуха перестал думать, как думал в лесу, что война для него кончена навсегда. Нет, он вообще не думал о завтрашнем дне. Когда тут думать? Со слухом возвратилась активность. Он брился — словно священнодействовал. Он слушал шум воды из крана как

самую чудесную музыку. Помогал матери и Василине накрывать на стол и нарочно звенел бокалами. Правда, немного смущала мамина настороженность, но одновременно и трогала ее деликатность: мама не спросила, как он прожил это время — с последней побывки и особенно во время немецкого наступления, когда его контузило.

Еще больше порадовал его отец. Старый адвокат, горячий в суде, но сдержанный дома, целовал его не со слезами — с молодым смехом; так встречаются гимназические или университетские друзья. Он тоже в разговоре хитро обходил войну, немецкую оккупацию. Предупрежденный женой, что сын плохо слышит, Валентин Викентьевич нарочито громко говорил сам — вспоминал прошлое, довоенное прошлое. Впрочем, для серьезного разговора и времени не было еще. Они украшали стол, ожидая Лелю и Стасю. Наконец те вышли. Стася едва узнала Сергея. Кто этот худенький мальчик в белоснежной сорочке, в черной бархатной курточке, чистенький, с прилизанно-мокрыми волосами? Он! Как же он непохож на командира полка, на контуженого солдата! Как вести себя с этим человеком?

Старый Богунович галантно приблизился к ней, одетой в Лелино тесноватое платье, склонил голову в полупоклоне, взял ее руку и поцеловал. Стася страшна сконфузилась. Никто в жизни не целовал ее руки! А Сергею ударило в сердце: он вдруг сообразил, почему со Стасей так обходятся. И воспоминание о Мире обожгло его. Он весь сжался, замер и, казалось, снова оглох; какое-то мгновение не слышал ни громкого голоса отца, ни приглушенного — матери, ни звонкого смеха сестры.

Их посадили рядом — его и Стасю. Но по белой скатерти, как по снежному полю, покатилась красная косынка. От страшного видения он закрылся салфеткой — закрыл глаза, лицо… И вдруг затрясся в тяжелом немом рыдании.

Домашние знали — никогда он не был слезлив, поэтому

очень испугались.

— Сережа! Мальчик мой! Что с тобой?

— Сережа! Братик!

— Ничего, ничего, это нервы, нервы…

— Не трогайте его! — сурово и властно сказала Стася. — Они убили его жену.

На миг все онемели. Даже старый адвокат, умевший многое оправдать, растерялся.

Первая опомнилась Мария Михайловна. Она почувствовала как бы облегчение, утешение, что жена его не эта крестьянка. Но тут же ей стало до сердечной боли стыдно. Боже милостивый, о чем она думает? Выходит, радуется в то время, когда нужно плакать по ее убитой невестке, ее дочери, которую она так и не увидела. Обняв сына, она заплакала. За ней — Леля.

Одна Стася сидела молчаливая, строго-холодная, независимая. Теперь она ничего не стеснялась и почувствовала себя не только отмытой от грязи, но и как бы освобожденной от всего — от этих панских условностей и даже от тех душевных тенет, в которых едва не запуталась сама. Ей хотелось есть: на столе столько вкусного! И хотелось скорее домой — в лес.

2

Возле гостиницы «Европа» стояли извозчики. На удивление много — пролеток двенадцать, им не хватало работы. Русские офицеры, штабисты Западного фронта в свое время умели шикануть; этим пользовались всяк на свой лад, немало развелось и извозчиков, хотя цены на лошадей за время войны неимоверно выросли: лошадей не хватало фронту.

Немцы по своей скупости столько не ездили. Для извозчиков наступили голодные дни.

Мать сказала:

— Возьмем извозчика. Ты слаб еще.

Сергей возразил:

— Нет-нет! Недалеко же!

Хотелось проверить себя. Дома из него действительно сделали больного. Странно, он и сам чувствовал себя больным, три дня пролежал в постели. Поднимался — кружилась голова; такая слабость была только в первые дни контузии, когда сидел в погребе, — в лесу чувствовал себя бодрее. Но дальше лежать не мог. Мучился от воспоминаний, винил себя, что не уберег Миру. Порывался навестить ее близких и вместе с тем боялся этой встречи, не знал, что скажет им, сможет ли сообщить о смерти дочери, сестры. Родители, Леля видели, как он мучается, как хочет пойти и как боится этого посещения. Мария Михайловна пыталась отговорить: окрепни немного, подлечись! Леля предложила: пусть он идет или с матерью, или с ней. Она же придумала легенду, за которую Сергей ухватился как за спасение. Естественно, мать не доверила его сестре, легкомысленной фантазерке. Придумку ее приняла, но пошла сама.

Из парадных дверей гостиницы вышел немецкий офицер. Натянул перчатки, поднял воротник — дул морозный ветер. Повернулся и быстро пошел было навстречу Богуновичам. Но потом вдруг подозвал извозчика — понравился или ездил уже с ним раньше — и с ловкостью человека, привыкшего, чтобы его возили, упал на сиденье. Отъехал.

Богунович прислонился к гранитной стене гостиницы.

Мать испугалась.

— Сережа! Тебе плохо? Ты так побледнел.

Он виновато улыбнулся, перевел дыхание.

— Ничего, мама. Мне показалось, это Зейфель. Тот,

которого отпустил Бульба-Любецкий в обмен на меня и одного старика коммунара. Нет, не он. Однако… раньше я не думал, что мы можем встретиться. А теперь вдруг подумал: можем!

— Ах, Сережа, ты совсем болен.

— Да, мама. Я болен.

Такое честное признание Марию Михайловну еще больше испугало.

— И не знаю, когда выздоровлю. От своего горя. От них, — он кивнул в сторону Преображенской, по которой поехал офицер, — кто топчет мою землю… Видишь, я задыхаюсь от них.

Сказал это в полный голос, и мать боязливо оглянулась на извозчиков, знала эту публику — они все видят, все слышат; вот уже с интересом следят за молодым человеком и немолодой женщиной.

— Пошли, Сережа.

— Пошли, мама, пошли… — Он оторвался от стены и быстро зашагал на Соборную площадь, к ратуше, около которой ходил часовой. Может, ему нарочно хотелось пройти вблизи немца — проверить себя. Хотя куда тут денешься? По другую сторону, выше по площади, у дворца губернатора, тоже ходил немец с винтовкой. Всюду немцы! Всюду…

Молча спустились по Козьмодемьянской к Нижнему рынку.

Сергей еще с детства, с того времени, когда мать или Василина водили его за руку — чтобы не потерялся, — любил этот самый шумный в городе рынок. Здесь, как в Вавилоне, мешались все языки — белорусский, еврейский, русский, польский, татарский… Иногда казалось, что одни и те же люди говорят одновременно на всех языках. Здесь было интересно, весело. Аппетитно пахло от жаровен. Продавались самые вкусные куханы.

Гимназистом он тоже часто приходил сюда с друзьями, иногда с барышнями — ученицами женской гимназии. Считалось приличным ходить на Нижний рынок, хотя состоятельные люди продукты покупали не на этом «грязном базаре», а на чистом Виленском. Неприлично было ходить с барышнями на «конский рынок» — на Замчище, где продавали коров, свиней, овец, — там пахло навозом. Отец, наоборот, ходил чаще именно на тот рынок: любил погутарить с селянами. Отец старался и его, гимназиста, приобщить к своим народническим взглядам, к пониманию социального неравенства. Сергей с сожалением подумал, что отцовские взгляды на мир, на жизнь не сразу и нелегко доходили до него. Нужно было пройти сквозь все круги военного ада, чтобы полюбить этот измученный народ, истекающий не только потом, но и кровью.

Рынок был малолюден и тих, словно онемел. Даже шумные обычно евреи молча выбивали окоченевшими ногами чечетку, подняв воротники, засунув под зипуны свой товар. От холода или страха они не навязывались покупателям, как делали это раньше. Со стороны продовольственного ряда, видимо, давно уже не пахло жареной бараниной и горячими лепешками. Кое-где татарки продавали огурцы и квашеную капусту.

Но на рынок они глянули лишь издалека. Повернули на Немигу. Мария Михайловна тайком наблюдала за сыном, увидела, что он все больше волнуется. Неудивительно: приближались к ее дому. Мария Михайловна сама волновалась. Она по-матерински полюбила покойную невестку, которую так никогда и не сможет увидеть. У сына не осталось даже ее фотографии. Наверное, будет у родителей, видимо, не бедная семья, раз девушка закончила гимназию. Попросить карточку, сделать портреты. А может, не надо? Зачем ежедневно бередить Сережину рану?

— Ты знаешь, мама, ты знаешь, что мне вспомнилось? Она шутила… Она много раз шутила, что всю жизнь прожила на Немецкой улице, поэтому имеет право идти к ним… агитировать за революцию. Какая жуткая

ирония судьбы! Немецкая улица!

«О боже!..» — только и вздохнула про себя мать. Дома он с болью говорил ей, Леле: «Мы так бездумно верили в жизнь, в мир, что не обменялись даже адресами. Мы верили, что поедем домой вместе. Я случайно глянул на письмо, написанное ею сестре. Но я не уверен, запомнил ли номер дома. Почему восемнадцать? Восемнадцатого они пошли в наступление… Ветер катил по полю ее косынку…»

Об этом он сказал в первый день, когда истерически зарыдал за столом в присутствии всей семьи: «Ветер катил ее косынку…»

Потом он несколько раз признавался за завтраком или обедом, без связи с застольным разговором: «У меня перед глазами ее косынка. Нет, она не катится по снегу. Она летит… в воздухе. Красная. Горячая. Мне кажется, что горячая…»

Василина тихо плакала на кухне: «Мария Михайловна, родная вы моя, у него плохо с головой».

Очень испугало мать такое подозрение. Не сказав ничего мужу и дочери, она, отказавшись на этот раз от старого доктора, лечившего всю семью, привела другого, незнакомого, даже адвокат Богунович, знавший, кажется, всю минскую интеллигенцию, с этим доктором не был знаком. Он лечил болезни, по поводу которых обращались тайно, поэтому и сам держался как бы в тени. Психиатр успокоил ее:

«Ничего страшного. Нервное потрясение. — Доктор был циником: — Такая рана, как смерть жены, заживает быстро, особенно в его возрасте… Сами говорите, смертей он видел-перевидел. У таких нервы крепкие».

Дом под номером 18 был старый, двухэтажный, первый этаж — каменный, второй деревянный. Таких домов в этом густонаселенном районе с узкими улицами и переулками было немало. В кирпичной части помещались лавки, мастерские, наверху жила семья.

Часто второй этаж надстраивался позже, когда семья богатела или вырастала настолько, что в каморках позади прилавков становилось слишком уж тесно.

Таким был и этот дом: верхняя часть выглядела новее. Кирпич первого этажа был словно побит пулями — покрошился, выщербился. На улицу выходили две двери, над каждой — вывеска без фамилий хозяев, без указания, что изготовляется или продается, только символы профессий: на одной молоток, выгнутый лист жести в виде противня, на другой — швейная машинка. Соседство странное, редкое. Оправдывал его разве что вид вывесок и замков, висевших на дверях: на жестяной мастерской вывеска облупилась и замок заржавел, на швейной все было, как говорят, в рабочем состоянии. Но и сюда не входили в последние дни — снег на крыльце не утоптали сапоги, не тронула метла.

Через узкую калитку вошли они в тесный двор. У глухой кирпичной стены соседнего дома — сарайчик для дров, покосившийся туалет.

На второй этаж вела лестница со двора. Мария Михайловна и Сергей поднялись по ней, скрипуче-голосистой, обледеневшей. Остановились на тесной площадке перед дверью, обитой войлоком.

Мать затаила дыхание. Сергей дышал шумно. Она снова с тревогой подумала, что сын совсем болен. Она тоже волнуется, однако такой одышки у нее нет. Может, впервые здесь, перед дверью, за которую она ступит свекровью, Мария Михайловна подумала, что она уже стара, что ее собственная жизнь окончена и теперь она будет жить только ради сына... ради детей.

— Серж, — прошептала она почему-то по-французски: возможно, и языком, и тоном, и глазами, в которых загорелась уверенность, хотела подбодрить сына. Но в нем сама по себе проснулась решительность, командирская, фронтовая.

Звонка не было. В войлок не постучишь. Сбоку, за площадкой, на расстоянии вытянутой руки, было узкое

окошечко.

Сергей перегнулся через шаткие перила и настойчиво, громко побарабанил пальцем в стекло.

Когда дверь открылась — он едва не вскрикнул.

На пороге стояла... Мира.

Нет, он, конечно, сразу понял, что перед ним сестра ее, Клара; Мира рассказывала: похожи они друг на друга настолько, что даже дед их, когда приходили к нему в гости, часто путал внучек. Однако Сергея поразило такое сходство. И, конечно, еще больше взволновало.

Клара была разве что повыше ростом да хранила еще забавную угловатость своих семнадцати лет. Она явно испугалась, глаза расширились. Что ее испугало? Узнала? Догадалась? Сергей больше всего боялся слез, отчаянья, рыданий. Но, в конце концов, через все нужно пройти.

— Паненка, можно к вам? — спросила Мария Михайловна почему-то по-польски.

Девушка пропустила их в темный коридор, где сильно пахло специфической кухней, и тут же крикнула по-еврейски, будто просила пощады:

— Мамен! Мамен! К нам пришли!..

В тесноватой комнатке, забитой старыми комодами, за ножной машинкой «зингер» сидела полная женщина с приятным лицом.

«И мать так похожа на нее!» — подумал Сергей без всякой логики: не дочь похожа на мать, а мать — на дочь.

Хозяйка вежливо поднялась — у нее болели ноги, ступила в сторону, опустив на пол кусок белого ситца.

Мария Михайловна поздоровалась опять-таки по-польски. Мирина мать заговорила на своеобразном

тогдашнем минском диалекте:

— День добрый, вельможная пани. Пани хочет что-то заказать? Что? Сорочки? Нижнее белье? Кому? Себе? Сыну? Из какого материала? Пусть пани не думает, что они есть у меня, ситец, сатин. Я вам скажу, что сказал мне Заспицкий, чирей ему в бок, когда я пошла купить хотя бы какой-нибудь чертовой кожи своим и соседским босякам на штаны: они ж просто горят на них. Пани такая молодая, и у нее такой взрослый сын? Да? Я узнала по лицу. У старой Сарры еще острый глаз.

— Мама! — почти в отчаянье простонала Клара; она стояла у двери, прислонившись к косяку.

— Что мама? Что мама? Ах, я забыла пригласить панов сесть. Проше. Коли ласка. Пожалуйста. — Марии Михайловне она показала место на диване, а Сергею подала венский скрипучий стул, на котором только что сидела сама. Будто пожаловалась, но с гордостью за детей: — Они все учат мать. Они молодые. Они умные. А мать — глупая швея. Но я их всех вырастила...

Хозяйка поставила стул так, что, сев, Сергей вздрогнул, сжался: с боковой стены над комодом на него смотрела Мира — с большой фотографии, где они были сняты втроем: две сестры и брат. Снимок был сделан в лучшей минской фотографии братьев Вронских. Клара на нем была, пожалуй, излишне серьезной, а Наум в железнодорожном кителе и Мира в гимназической форме, казалось, вот-вот прыснут смехом, только аппарат принудил на минуту застыть.

«Боже мой! — взмолился Сергей. — Только бы не разрыдаться, как дома, за столом».

Мария Михайловна тоже заметила портрет, поняла, что чувствует, переживает сын, и следила за ним со страхом. Не очень даже слышала, что говорила хозяйка.

— Так что пани хочет заказать? Если у пани свой материал, я поцелую пани ручки. Вы думаете, в наше время так легко найти заказчика? Кому что нужно

шить? И из чего? Фунт хлеба не за что купить, пуд картошки… А эти босяки едят, как перед погибелью… Им только давай!

Мария Михайловна не ответила, что она хочет заказать, не готова была отвечать, не знала же, что их примут за заказчиков. Она со страхом думала: «Боже! Как тяжело сказать вот так сразу страшную правду». Все Лелины придумки, как подготовить Мириных родителей к трагическому известию, казались теперь детскими.

Мать еще верит, что они пришли с заказом, она рада этому, а вот девушка, конечно, о чем-то догадывается: в глазах ее страх.

Сарре захотелось показать, сколько их, детей, и как нелегко их прокормить, и она неожиданно громко позвала:

— Фаня! Соня! Лейба! Идите ко мне!

Из двух узких дверей, завешанных полинявшими плюшевыми занавесками, вышли дети. Вышли по-взрослому чинно, сдержанно. Первой явилась кудрявенькая девочка лет восьми, наверное, мамина любимица — смелее, чем другие, приблизилась к матери, и Сарра ласково погладила ее по голове. За ней — мальчик лет тринадцати, хромой, не по-детски угрюмый, потом — девочка такого же возраста, может, на год поменьше. Она смело осмотрела гостей и снисходительно усмехнулась: мол, из-за чего устраивается парад? Четвертый был совсем маленький, лет пяти, мальчик в девчоночьем платье. Он тоже подошел к матери, и она тоже погладила его по голове.

Дети были приучены к строгой дисциплине, им, наверное, запрещалось появляться в присутствии заказчиков. Однако они привыкли к заказчикам и особенного интереса не проявляли. Разве что удивились: зачем мать позвала их?

Сарра упрекнула двенадцатилетнюю:

— Как ты одела Леву? Ай-яй! Стыдно перед людьми. Ты не могла надеть ему штоников? — И Марии Михайловне: — Я вам скажу: их нелегко накормить, но еще тяжелее научить. Но если пани думает, что это все, то пани ошибается. Кроме тех двоих, что вылетели из-под материнской юбки, по ком болит материнское сердце, еще двое босяков где-то на катке додирают последние сапоги, последние штаны. Так что пани хочет заказать? — И, не ожидая ответа, вдруг Богуновичу: — Пан не может отвести глаз от той картины?

Сергей вздрогнул, повернулся, затуманенными глазами посмотрел на Мирину мать. Его немного раздражало, что она так много говорит. Слова, слова… Зачем? Ему хотелось молча посидеть перед ее портретом. Непременно молча. Чтобы никто не услышал, не увидел, не понял. Кроме матери. Его матери. А ее мать? Как же можно раздражаться против нее?

— Так я вам скажу. Это таки картинка! Я сама сижу за машинкой или с иголкой и смотрю на нее — не насмотрюсь. И — что вы думаете? Иногда плачу. У матери всегда есть причина поплакать.

У Богуновича снова горький комок застрял в горле.

— Мои старшие. Эту босячку, у которой в голове уже женихи…

— Мама! — уже возмущенно крикнула Клара. — Да замолчите вы!

— Вы видели? Она хочет заткнуть матери рот. Пусть пани скажет: разве могло быть такое, когда нам с вами было по стольку лет, сколько ей? Моя мать огрела б меня розгой… Тот красавец — это наш сын. Недавно его называли Наум Наумович. Кто? — Сарра понизила голос почти до шепота: — Известные большевики… Нет, я просто хотела сказать, что это таки голова, мой Наум! Но босяк. Разве я говорю неправду? Мы со старым Наумом порвали все жилы, послепили глаза и покололи пальцы, чтобы послать его учиться. Если пани думает,

что этот босяк кончил училище, то пани ошибается. Он занялся революцией, начал бунтовать против директора. Тогда его вытурили оттуда. С шумом, гамом. Так он пошел в депо. Он решил стать пролетарием. Будто пролетарий — граф, князь. Нас с отцом он называл мелкими буржуями. Как вам это нравится? Я — буржуйка, да еще мелкая. Пани скажет, что я мелкая? — Сарра охватила руками себя за плечи, ей захотелось пошутить. Но Марии Михайловне было не до шуток, она понимала, что сватья подходит к рассказу о Мире, что всем рассказанным до этого она как бы готовила их к чему-то необычному, что касается старшей дочери. Что она скажет? Похвалит? Осудит? Хотя, по существу, она никого из детей не осуждает, а слово «босяк» у нее любовно-ласкательное. Однако что бы она ни сказала — Сергею одинаково будет больно.

Он оторвался от фотографии, сгорбился, сжался: ожидает этого рассказа как удара, приговора. «Бедный мой мальчик!»

— Он таки высоко подпрыгнул. Прямо в революцию, Наумчик мой. Но я у вас спрашиваю: ну и что из того? Пришли немцы — и он вынужден был спуститься на землю. Он не может явиться домой и в свое депо, где работал, где его уважали…

— Мама!

Сарра на этот раз не отмахнулась от дочери, поняв, что та не зря одергивает ее.

— Вы думаете, я знаю, где он? Я только знаю, что у них это называется подпольем…

На какое-то мгновение женщина умолкла, остановив взгляд на Кларе, как бы спрашивая у нее: не наговорила ли она лишнего? Клара не смотрела на мать. Она смотрела на Сергея. Матери, возможно, показалось, что Клара смотрит так потому, что у нее женихи в голове. Клара ее мало беспокоила. Она думала о Мире: о ней — никаких известий. Тяжело вздохнула.

— А эта… слева от брата — такая красавица! — наша Мирочка, наша с отцом гордость.

Сергей скомкал в руках шапку.

Мария Михайловна поднялась и подошла к нему, делая вид, что хочет посмотреть на фотографию вблизи.

— Она таки окончила гимназию. И как? С похвальной грамотой. Если пани думает, что это легко для еврейских детей, то пани ошибается. Сколько нам стоило ее поступление! Мы все отдали… Сами голодали. Этот крещеный еврей Рейман, чтоб на нем черти смолу возили, этот богатый бандит, обирал бедных хуже, чем богатых. Но Рейман сам мне сказал: Сарра Гиршевна, у вас золотая дочь!

Сергей до крови прикусил губу, низко склонился, будто у него сильно заболел живот. Мария Михайловна положила руку ему на голову.

Ей, Мириной матери, хотелось как можно больше рассказать о любимой дочери.

— Она говорила по-русски, как граф Толстой, а по-немецки, поверьте мне, лучше этого разбойника Вильгельма. Но… о горе мне!.. Этот босяк, наш Наум, и сестру потянул к большевикам. Они поверили, что большевики накормят всех бедных. Спросили бы они у меня, я сказала бы, можно ли накормить такую ораву. — Она показала глазами на детей. — И куда, вы думаете, они, большевики, послали мою Миру? Они послали ее на фронт. Поднимать на революцию немецких солдат…

Сергей стремительно поднялся и вышел. Мария Михайловна сказала:

— Простите. Ему бывает плохо, — и бросилась за сыном.

Во дворе их догнала Клара. В одном платье, без платка, она чуть ли не скатилась по обледеневшей лестнице и вцепилась в рукав полушубка Сергея. Глаза ее горели, лицо было бледно. Ее била лихорадка.

— Я знаю... я знаю... Я сразу узнала. Это — вы! Вы! Мира писала мне... Где Мира? Где Мира?

Богунович обнял девушку, ощутил, как бьется ее сердце — как у пойманной, смертельно испуганной птицы. Отстранил ее от себя, глянул в глаза. Сказал тихо, но без слез, которых так боялся, с мужской болью, с суровой мужской искренностью, как писал когда-то похоронки на солдат:

— Сестра моя... Миры нет. Ее убили немцы... Прости. У нас не хватило духу сказать об этом матери.

Клара отшатнулась и закрыла рот ладонями — зажала крик отчаянья.

Марля Михайловна тихо заплакала.

3

«Мысль о бесцельности жизни, о ничтожестве и бренности видимого мира, соломоновская «суета сует» составляли и составляют до сих пор высшую и конечную ступень в области человеческого мышления».

Богунович опустил томик Чехова на грудь, задумался.

«А может, то, что отвергает Ананьев, правда? Дальше он утверждает... Вот здесь, — заглянул в книгу: — Чем нормальные люди кончают, тем мы начинаем». Ананьев непоследователен. Такими мыслями начинают и такими кончают. Только одним на это нужно пятьдесят лет, а другим... Другим достаточно трех, как мне. Четыре года назад я опровергал Ананьева. Я готов был поддерживать Штенберга. А потом, в окопах, перед лицом смерти, я соглашался с Ананьевым. Это странно, парадоксально. Но это так. Мировая скорбь, которой заражались некоторые мои коллеги — офицеры, казалась мне злом и абсурдом. Мне хотелось жить как никогда. После каждой атаки я благодарил бога и судьбу, что мне дарована жизнь. Еще больше я ощущал жажду жизни после революции. А радости... все радости ко мне пришли с ней... с Мирой...»

Он начал читать «Огни», вспомнив спор с Мирой. Желая, чтобы она полюбила все, что любит он, огорченный ее скептицизмом по отношению к Антону Павловичу, советовал ей почитать один, второй рассказ. Порекомендовал «Огни», уверенный, что ей понравится. Не понравилось. Она вынесла безжалостный, суровый приговор:

«Эта история — на потребу мещанину».

«Хорошо. Тебе не нравится история с Кисочкой. Но ты вчитайся в философию!»

«Интеллигентская болтовня. Игра в парадоксы».

Они почти поссорились. Но потом, через полчаса, была радость, — счастье примирения.

Теперь и ему рассказ не нравился. Может ли взволновать подобная дачная любовная история, когда он пережил… когда тысяча людей переживали трагедии, что не снились и героям Шекспира?

Но в мозгу сидела мысль: «Чем нормальные люди кончают…»

«Да, дальше идти некуда. Дошел, мыслитель! — Сергей произнес это с иронией. — Стоп, машина! Моя машина остановилась».

Нет, сдаваться не хотелось. Сопротивлялся!

«А может, это от моей болезни? — И тут снова: — Какая болезнь? Физически больным сделала меня мать в своем воображении. А я болен душевно. Я смирился с мыслью, что все умрем. Умерла Мира. Умер Шекспир… Умер Чехов. Боже мой! Как тяжело согласиться с их смертью, с тем, что их мысли, их дела никого не спасали… не спасают».

Третий день после посещения Мириного дома Богунович лежал не вставая, разбитый, измученный. Казалось, и слух снова стал ослабевать. Но теперь это не пугало: может, и лучше ничего не слышать?

Василина приносила с улицы страшные слухи о зверствах оккупантов. В Лошице немцы пришли в дом, чтобы арестовать большевика, но он скрылся. Тогда они убили его жену, распороли ей живот, отрезали груди, маленький ребенок купался в материнской крови.

Мать ужасалась, но и сердилась: «Не может этого быть, Вася. Не верьте. Немцы — цивилизованная нация. Конечно, на войне люди звереют. Но чтобы до такой степени…»

А он, фронтовик, верил: так и было, представители «цивилизованной нации» могут совершить и не такое… уничтожить село, город… народ… Но он молчал. Оправдывал свое молчание тем, что жалеет мать, не хочет пугать ее. Однако росла в нем ненависть, какой не было ни тогда, когда поднимал солдат в атаку, ни в конюшне, ни в погребе; она родилась разве что в лесу и достигла своего апогея здесь, в Минске, когда его вела Стася и мимо них проскакал эскадрон улан. Наверное, вспышка ненависти была тем шоковым сдвигом, который вылечил его от глухоты. А может, действительно теперь было бы легче, останься он глухим? Ах, какие глупые мысли!

«Почему глупые? Если я вновь дошел до той философии, которой переболел в гимназии, в университете… Круг замкнулся. Однако… Не умирать же! Как говорит Ананьев? — Сергей снова поднес книгу к глазам. — «Добро бы мы со своим пессимизмом отказывались от жизни, уходили б в пещеры или спешили умереть, а то ведь мы… живем, чувствуем…»

Вчера приходили Мирин отец и Клара.

Наум Шкляр, худой, костистый, с опущенным правым плечом, от чего его как бы клонило в сторону, с седой библейской бородой, выглядел значительно старше своей жены. Не в пример ей, он был молчалив: не сказал и трех слов. Говорила Клара. Может, и мать молчала бы, скажи он, Богунович, сразу, с чем пришел?

О любви он, конечно, не говорил. Сказал лишь коротко,

что за день — всего за день! — до немецкого наступления они поженились. Подробно рассказал, как Мира погибла, где ее похоронили, кто похоронил. Клара плакала. Без единого вопроса старый Шкляр поднялся и низко поклонился ему. Это его тронуло, растрогало, взволновало не меньше, чем разговор в доме, где Мира выросла. Это отняло у него остаток сил. Мать входила на цыпочках в отцовский кабинет, где он лежал, заглядывала со страхом, и, не находя что сказать, молча шла на кухню.

Сегодня она, пожалуй, обрадовалась, когда увидела его с книгой. Но ему сейчас Чехов не дал ни успокоения, ни удовлетворения.

Сергей встал. Прошелся по просторному кабинету. Постоял перед окном. На дворе — солнечный день. Капель. Весна. Но и она не радовала. На улицу тоже не хотелось. Более того: он боялся туда выходить. Боялся встречи с немцами. Не стыдился признаться себе в этом.

На письменном отцовском столе лежал томик Бунина. Открыл его. Прочитал одно стихотворение, другое. Ювелирная работа. Но как все это далеко, не нужно его душе!

Норд-остом жгут пылающие зори…

Или:

В сонной степной деревушке
Пахучие хлебы пекут…

Но вдруг словно ожегся. Прочитал один раз, второй:

Герой — как вихрь, срывающий палатки,
Герой врагу безумный дал отпор,
Но сам погиб — сгорел в неравной схватке,
Как искрометный метеор.
А трус — живет. Он тоже месть лелеет,
Он точит меткий дротик, но тайком,
О, да, он — мудр! Но сердце в нем чуть тлеет:

Как огонек под кизяком.

Стихи по-новому взволновали и сразу повернули раздумья в иную сторону. Показалось обывательским намерение, возникшее в лесу, когда он осознал свою глухоту: «Приеду домой — и никуда, отвоевался, буду лежать, читать Лелины или мамины записки. Чехова». Исчезли иссушающие мозг мысли, рожденные чтением «Огней», — мысли о бренности жизни, о неизбежности расставания с ней.

Теперь потрясло другое. Пожалуй, испугало даже. Как бы не превратиться в того мудрого труса, который якобы тайком точит дротик, а в действительности тлеет, как огонек под кизяком. Вот именно: под кизяком, под сырым кизяком — малюсенький угасающий огонек.

Нет, такая жизнь не для него! Но что делать? «Куды пайсц і? І што раб і ць?» Слова Богдановича — их часто повторял отец; поэтами Богдановичем и Купалой восторгался адвокат, считал их предвестниками национального возрождения белорусов.

Походил по кабинету. Останавливаясь у стола, прочел стихи второй раз, третий… Запомнил. Пошел к сестре. Прочитал ей.

У Лели после того, как она послужила в госпитале, насмотрелась на людские муки, появился своеобразный протест против интеллигентщины. В гимназии она увлекалась новой поэзией. Но в госпитале убедилась, что солдаты любят Лермонтова и Кольцова и не понимают Блока, а тем более Северянина и Гумилева. А сама она вообще остыла к любой поэзии, считала: не до поэзии в такое сурово-прозаическое время. Теперь она с большим удовольствием распускала старые кофточки, свитеры и вязала безрукавки — «душегрейки», как их называли солдаты; не только раненые, лежавшие в холодном госпитале, но и врачи, фельдшера готовы были руки ей целовать за такие подарки.

Не прекращая вязания — спицы в ее пальцах так и мелькали, — Леля равнодушно похвалила:

— Ничего. Чьи?

— Бунин.

— Бунин? — удивилась она. — Не то они пишут, поэты, о войне.

— Не то, — согласился Сергей. — Но это написано до войны. Хотя что значит — до войны? Когда люди не воевали?

Стало немного грустно, что сестра не поняла его. Объяснять не захотелось. Вернулся в кабинет. Полежал. Почитал Чехова. Но из головы не выходили строки: «Но сердце в нем чуть тлеет: как огонек под кизяком».

«О, да, он — мудр».

Не лежалось. Не читалось. Заглянул на кухню, где мать и Василина готовили обед; им хотелось получше, повкуснее кормить его, контуженого; делать это в голодное военное время — с приходом немцев рынки опустели — было очень нелегко, поэтому они как могли изощрялись в кулинарном искусстве.

Женщины обрадовались его появлению: если больного потянуло на кухонные запахи — это хорошо.

— Сергей Валентинович, вы пробовали солдатские супы. Попробуйте нашего. Грибного.

Он охотно, что тоже порадовало их, исполнил Василинину просьбу: подул на горячее варево в ложке, хлебнул, похвалил. Отошел к окну. Смотрел во двор, на здание почты на углу Подгорной и Губернаторской, прочитал как бы про себя: «Герой — как вихрь…»

Оглянулся не сразу, словно предчувствуя, что здесь реакция будет иная, нежели у Лели. Глянул: у Василины испуганные глаза, у матери дрожат губы. Они пеняли его. Его настроение. И сердца их в отчаянии кричали:

«Что же это такое? Снова — на войну?»

Отец радостно крикнул из передней:

— Сережа! Посмотри, кого я тебе привел!

Богунович-младший который день страдал от одиночества, от безысходности, чувствуя себя тем «мудрым», который будто бы лелеет месть, а в действительности тлеет, потому что не знает, куда податься. Не однажды думал: счастливые Рудковский и Бульба, они — как вихрь, и если сгорят, то метеорами. Во всяком случае, тлеть не будут. Он возненавидел себя за бездеятельность. Идти никуда не хотелось, встречаться с кем-нибудь из друзей юности не было никакого желания, тем более принимать их у себя. Встретиться ему хотелось разве что с одним человеком, незнакомым — с Мириным братом, который, как проговорилась их словоохотливая мать, скрывается от немцев, работает в подполье.

По голосу отца почувствовал, что привел кого-то из его давних приятелей. Отцу хочется прогнать его хандру. Поморщился, неохотно поднялся с дивана, вышел в переднюю. И — странно — вдруг обрадовался. Перед ним стоял его гимназический друг Болеслав Кручевский.

Одет он был немного странно, но не без элегантности: в офицерских сапогах, кавалерийских галифе, но в гражданском пиджаке, на белоснежной манишке — «бабочка» в крапинку.

Раскрасневшееся от мороза лицо Кручевского сияло как у именинника. Горячо обнялись, поцеловались — на радость отцу. Угодил сыну. От Болеслава попахивало вином. Для Сергея и сам Слава, и особенно отец его, активный деятель Белорусской громады, друг адвоката Богуновича, — были кумирами. Когда они учились в последнем классе гимназии — было это во время реакции, — Петра Кручевского осудили на год или полтора за статью об угнетении самодержавием белорусского народа. Сын подбил друзей-гимназистов на демонстрацию. Десятка три белорусов и поляков в актовом зале читали Купалу и Мицкевича. Директору

Фальковичу, пытавшемуся уговорить их разойтись, гимназисты кричали: «Тиран! Деспот!» — хотя Фалькович считался либералом. С ним случился сердечный приступ. Слава Кручевский ходил потом героем, лидером «прогрессивных белорусов».

В начале войны в патриотическом угаре студент-историк Киевского университета Болеслав Кручевский так же, как и Богунович, пошел в армию вольноопределяющимся. Правда, в окопах он не был, служил в каком-то политическом отделе, проводившем работу среди славян — украинцев, чехов, поляков из Австро-Венгрии. В течение войны они изредка писали друг другу, но ни разу во время коротких побывок не встретились. Поэтому так и обрадовались: были же друзьями — водой не разольешь.

Кручевский с бесцеремонностью, дозволенной разве что самым близким, крутил Сергея, как игрушку.

— Ты что такой дохлый? Отец говорит — контужен?

Вот гады немцы! Не было им иной цели! Слышишь? Или тебе нужно кричать в ухо?

— Тебя — слышу.

— Меня? Других не слышишь? Сережа, ты всегда был тонкий юморист. Ты у нас уникум. Говорят, ты был командиром полка?

— Был.

— Отвечаешь так, будто был каторжником. Хотя теперь каторжники в почете. Вот эсер Белевич героем ходит. А что совершил? Один раз выстрелил в вице-губернатора, да и то мимо. Правда, Валентин Викентьевич? — Кручевский весело хохотнул; Сергей не знал, кто такой Белевич, но отец, наверное, с человеком этим хорошо был знаком, потому что тоже рассмеялся. Старому Богуновичу нравилось веселье гостя и особенно то, что заметно оживал сын, растормошил-таки Болеслав его.

На голоса в передней вышла Леля. Болеслав тут же

бросился к ней:

— О! Как сказал великий русский поэт эфиопского происхождения: «Я помню чудное мгновенье…» Кто вы, ясновельможная? Леля? Неужели Леля? Та тонконогая гимназисточка? Целую ваши ручки, панночка. Ждите сватов. А если есть соперник — к барьеру его! Стреляю я без промашки.

Леле не понравилось это пьяноватое паясничанье. Она сурово спросила:

— Вы всегда так кривляетесь перед женщинами, пан Быковский?

Кручевский сначала растерялся.

— Быковский? Почему Быковский? — но вспомнил, захохотал: — За это люблю вас, дядька Богунович, — начинили детей национальным духом. Не смейтесь над Быковским, он представитель белорусской шляхты, а она сохраняет национальные традиции. Во всяком случае, лучше, чем полесские мужики. Мы привлекли к нашему движению Гаруна. Привлечем и Купалу, Богдановича…

— Богданович умер, — сказала Леля.

— Умер? Жаль, — на мгновение смутился Кручевский и вернулся к заигрыванию: — Вам, спадарка Леля, отвечаю: перед такими хорошенькими девушками я немею. Как рыба. Только хватаю жабрами воздух…

Увидев, что Леля может сказать что-нибудь непочтительное, Валентин Викентьевич поспешил увести гостя и сына в свой кабинет. Из книжного шкафа, из-за толстых томов «Уложения законов Державы Российской», достал бутылку шартреза; безусловно, прятал ее для такого торжественного события, каким было возвращение сына: тогда адвокат выставил такую же бутылку на стол, за которым сын истерически разрыдался.

Отец последние дни ходил озабоченный, а тут вдруг

ожил, развеселился — словно получил награду. Но это было состояние, когда радует, оживляет не подарок, поднесенный тебе, а то, что ты передарил его близкому человеку. Так, во всяком случае, казалось Сергею: отец считает, что сделал сыну чрезвычайно дорогой подарок. Привел лучшего друга юношеских лет.

Что ж, Богуновича-младшего действительно обрадовала встреча с Болеславом — будет хотя бы с кем поговорить, отвести душу. Правда, кривлянье Кручевского перед Лелей не понравилось, появился холодок настороженности.

Однако два давних друга, потягивая из серебряных чарок ликер, смотрели друг на друга с радостью.

— Так, говоришь, командовал полком?

— Ах, какое там командование! От полка и от командира остались одни воспоминания.

— Ты кто — эсер, большевик?

— Я беспартийный.

— И тебя поставили на полк?

— Меня выбрали солдаты.

— Ах, да-да. Я вспоминаю твои письма, где ты клялся в любви к солдатам. Только солдатики эти потом своих благодателей на штыки поднимали.

Ветерок настороженности дунул сильней. Во всяком случае, рассказывать о своей трагедии, о разгроме полка расхотелось, хотя собирался: пусть бы знал Болеслав, что пережил он, через что прошел; надеялся — доверительная исповедь будет способствовать возобновлению их душевной близости.

— Расскажи, Болесь, лучше о себе. Откуда ты приехал? Когда?

— Я — из Киева. Неделю назад…

— Разве штаб Юго-Западного фронта переведен в Киев?

Кручевский засмеялся:

— Ты идеалист, Сережа. И службист. Ты можешь присягнуть и богу, и черту. А меня революция освободила от присяги, от обязанностей. Управление наше распустили. Нет славян. Нет немцев. Есть пролетарии всех стран. — Кручевский иронически хмыкнул. — Шло братание бывших врагов. Чем оно кончилось — ты знаешь.

Братание и ему, Богуновичу, не нравилось, но слов друга он не принял: больно укололо в сердце воспоминание о Мире — она верила в братство людей, в революционность немецких солдат.

— Кончилось трагически, — грустно согласился Сергей.

— Валентин Викентьевич сказал мне, что у тебя погибла жена. Ты успел жениться? Прими мои соболезнования.

Сергей не ответил, в угрюмом молчании вертел в руках рюмку.

Отец снова налил ликера. Ему хотелось отвести разговор от грустного.

— За вас, дети. Чтобы было вам хорошо. Кручевский подхватил:

— Будет хорошо, дядька Богунович. Я же сказал вам, услышав, что Сергей дома: нам повезло!

«Кому это нам?» — хотелось спросить Богуновичу-младшему, но снова дунул сквознячок какой-то неприятной отчужденности: это просто-таки пугало его.

Кручевский выполнял тайную, высказанную тостом, или, может, явную, высказанную раньше, как говорят, открытым текстом, просьбу Богуновича-старшего не говорить о том, что может разволновать Сережу. Он начал о веселом:

— В Киев я махнул просто пожить. Повеселиться. Если воля — так воля для всех. А Центральная Рада, я тебе скажу, дала-таки волю. В ресторанах — как до войны. А хохлушки, брат, — чудо! Этакое, знаешь, что-то такое... от земли — от степи, от пшеницы, от неба, где блещут молнии. «Що цэ то вы робытэ, пан офицер?» А сама млеет, тает, течет, как мед. Пальчики оближешь!

Богунович разве что в начале войны, безусым прапорщиком, с интересом слушал рассказы офицеров об их любовных похождениях. Позже ему было противно. Во-первых, он убедился, что большинство офицеров бесстыдно похвалялись, лгали. Во-вторых, его оскорбляло животное отношение к женщине. Он возмущался: «Господа! У каждого из нас есть мать, сестра, невеста!» Офицеры обычно злились: «Чистоплюй чертов!» Теперь его возмутило, что Болеслав с такой бесцеремонностью рассказывает о своих грязноватых приключениях старому человеку — отцу.

Да, здорово изменился бывший гимназистский пропагандист «свободы, равенства, братства», борец за автономию белорусов!

«Куда он склонился? К какому берегу причалил? Хотя что я спрашиваю? Сам я пристал к какому-нибудь берегу? Я забрался пусть себе в чистенькую, но тихую, уютненькую бухточку, отгороженную от большой реки этими стенами, мнимой болезнью, материнскими заботами».

Сергей прервал рассказ друга о киевских ресторанах:

— Что нового в мире? На фронте?

— На каком? На Восточном? Ты что, не знаешь? Подписан мир. Принудили большевичков...

— Мир?! — вздрогнул Богунович и взволнованно поднялся с мягкого кресла. — Когда?

— Подписан? Вчера в Брест-Литовске. Но если хочешь

знать мое мнение, как говорят, не для прессы, то я скажу: дураки немцы! Находиться в семидесяти верстах от Питера и пойти на мир!.. Еще один рывок — и можно было бы раздавить это осиное гнездо.

Вмиг, в один миг между ними выросла стена. Богунович одновременно и обрадовался ее появлению, и испугался потому, что от одного неосторожного движения стена эта обрушится на него и похоронит под своей тысячепудовой тяжестью.

Как бы опасаясь, что стена действительно может обрушиться от одного его голоса, от дыхания, он ответил приглушенным шепотом:

— Там наши братья.

— Кто это твои братья? Большевики?

Богунович отступил от столика, за которым сидели, сказал обычным голосом:

— Большевики — рабочие Питера. Солдаты. Кого же тебе хочется раздавить?

Отец тоже настороженно поднялся, видя по сыну, что тот вот-вот готов взорваться. Наверное, и Кручевский сообразил, что хватил через край. Ответил добродушно, словно в шутку:

— Однако набрался ты их духа.

И тогда Сергей действительно крикнул:

— А ты какого духа набрался? У киевских проституток?

Испуганный адвокат вмиг очутился между сыном и гостем, раскинул руки.

— Мальчики! Мальчики! Ну что вы как петухи? Чего вы не поделили? Нельзя же так. Вспомните, как вы дружили.

Мария Михайловна, может, впервые за всю жизнь

остановившись у двери послушать, тоже испугалась за сына, за его взрыв. Хотелось знать: из-за чего они так? Конечно, политика. Политика расколола весь мир. Но что конкретно так возмутило сына?

Старый Богунович напрасно испугался, напрасно встал между молодыми. У них совсем не было намерения броситься друг на друга. Сергей, побелев от волнения, отошел к книжному шкафу. А Кручевский продолжал спокойно цедить ликер, снисходительно, с чувством собственного превосходства, усмехаясь.

— Нервишки у тебя, дорогой мой друг, никуда не годятся. Но мы их вылечим. Я пришел к тебе не просто так, а с конкретным предложением, которое, не сомневаюсь, тебя порадует. Настоящие братья мы с тобой, Сергей. Оба белорусы. Это высшее братство. Не так ли?

— Так, безусловно, так, — подтвердил Богунович-старший, чтобы помирить молодых.

— Видишь, такие люди, как мой отец, твой отец, хорошо это понимают. Они — мозг будущей Белорусской республики. А мы с тобой должны стать ее силой. Военной силой.

Сергей наконец понял, куда клонит Кручевский, и скептически улыбнулся, приказывая себе не взрываться больше, а поиздеваться над этим доморощенным полководцем.

— Приветствую просветление на твоей постной физиономии. А то набычился, как беловежский зубр. Сейчас ты будешь прыгать от радости. Слушай внимательно. Я пришел, чтобы официально предложить тебе должность командира первого белорусского полка.

— Какого полка?

— Полка Белорусской военной рады.

— А что это за рада такая?

— Ну, ты меня удивляешь. Будто с неба свалился.

— Я свалился с фронта. Контуженый. — Голос Сергея снова угрожающе задрожал: нет, оставаться спокойным при таком разговоре очень нелегко.

— Как это вы, Валентин Викентьевич, не просветили сына? — с укоризной спросил Кручевский у адвоката.

Сергея снова затрясло:

«Наглец! Тыловая крыса! Ты позволяешь себе упрекать старого человека!»

— Сережа был болен. Несколько дней он ничего не слышал. — Это прозвучало извинительно, и Богунович-младший не сдержался, бросил отцу с гримасой боли и стыда:

— Папа!

Валентин Викентьевич покраснел, как девушка, тяжело вздохнул, пожаловался:

— Непонятными вас сделала война. Непонятными… Кручевский самоуверенно засмеялся, сам налил себе ликера и с размаху выплеснул в рот.

— Сейчас мы, дядька Богунович, все поймем. Просветим. — И Сергею: — Надеюсь, ты слышал про «Всебелорусский конгресс», проходивший еще в январе? Большевики хотели разогнать его. Не удалось. Хотя потом некоторых из наших они арестовали. Теперь, когда белорусский народ освободился…

«Когда и от чего он освободился? Немцы освободили мой народ?!» — возмущенно закричал Сергей, но про себя, ибо голос у него будто отняло, как было отняли немецкие снаряды слух.

— Теперь исполнительный комитет съезда сформировал правительство республики — народный секретариат Белоруссии. Лучшие люди земли белорусской возглавили его — Варонка, Цвикевич, Середа, Гриб…

— И кого они представляют? — спросил Сергей. Спокойно, чтобы проверить голос.

Кручевский засмеялся.

— Ну и большевики! Начинили они тебя марксизмом. Но коль ты лезешь в теорию, я тебе скажу: сила в единстве нации, в единстве всех ее классов и пластов. Теория вашего Маркса — это теория для людей без роду, без племени. А мы — чистое славянское племя. Русские перемешались с татарами…

У Сергея было что ответить на это, но начинать теоретический спор ему не хотелось: слишком много энергии шло на то, чтобы сдерживать себя.

— Я не политик. Я солдат.

— Вот это мне нравится! — почти обрадовался Кручевский. — Политиков у нас хватает. Солдат мало. Поэтому я предлагаю тебе полк. Однако слушай про нашу организацию. При правительстве создана «Военная комиссия». Ее возглавляет Езовитов… Помнишь? Цвикевич и он были организаторами Белорусской социалистической громады. Ума — палата, английский парламент. Меня он взял к себе начальником штаба. Не бойся. Притеснять тебя не буду. У нас полная демократия…

— Кого все же представляет ваша рада?

— Военная?

— Все рады. Все комиссии.

— Ну, знаешь… Мне не нравится твоя ирония. Имей уважение. Как кого? Белорусский народ.

— Весь?

— Конечно, весь.

— А ты знаешь, что крестьяне идут в леса, в партизаны, как при нашествии Наполеона… чтобы бить

«освободителей»?

Кручевский вскинул голову — удивился:

— Однако не так уж ты неосведомлен. Слепым и глухим притворился.

— Я не слепой. Я слышу вас, слышу, господин начальник штаба!

— Мальчики! Мальчики! Не ссорьтесь, пожалуйста, — почувствовав приближение нового взрыва, просил старый Богунович.

Громадовец откусил кончик своего уса, выплюнул волоски в кулак, вытер руку белоснежным платочком. Видно было, что сарказм Богуновича, его издевательски-официальный тон вывел гостя из равновесия. Но Кручевский сдерживал себя.

— Я понимаю твою ненависть к немцам. Думаешь, я их люблю? Но будем реалистами, друг мой. Пока у нас нет своей армии… Немцы помогли нам освободиться от большевизма, с их помощью мы утихомирим мужиков, которых в леса ведут большевистские комиссары. А там видно будет. На все нужно время.

Сергей вдруг сделался удивительно спокойным, более того — ему стало весело, и он понял почему: от осознания своего морального превосходства, своей победы над этим хлюстом, сердцеедом ресторанных барышень, над пигмеем, лезущим в Александры Македонские. Было только горько и противно, что когда-то он считал этого человека своим другом, своим лучшим другом.

Богунович прошел по кабинету, остановился у кресла Кручевского, сбоку. Удивил отца веселой злостью в голосе:

— Болесь! Уважаемый защитник белорусского народа! С этого ты бы и начинал — что вам охота послужить немцам. А если говорить солдатским языком, хорошо нами с тобой изученным, — полизать Вильгельму ж…

Лижите! Он бросит вам кость… Грызите!

— Сережа! — простонал отец.

Кручевский вскочил, пристукнул каблуками, сказал очень зло:

— Кажется, я не туда попал.

— Не туда, Болесь, не туда, господин атаман. Ты попал к честным людям, которые никогда не пойдут чистить сапоги генералу Фалькенгейму. Правда, отец?

— Мальчики! Ей-богу же, как петухи… Ах, боже мой! — горевал старик. — Что творится в этом мире!

— Прошу простить, господин Богунович. — Кручевский в один момент очутился у двери кабинета и распахнул ее с такой силой, что едва не сбил с ног до смерти испуганную Марию Михайловну. Не заметив ее, сорвал в прихожей с вешалки свою шубу и выскочил за дверь, грохнув ею так, что зазвенели стекла, люстры, посуда в буфете.

Выскочила из комнаты Леля.

— Сережа выгнал его, этого наглеца? Напрасно он не спустил его с лестницы. Я слышала сквозь стену…

Марию Михайловну испугал услышанный разговор. Но вместе с тем она радовалась за сына, его благородству. Для нее пока что не имели значения его политические взгляды. Для нее важно было, что он остался порядочным человеком, таким, каким она и отец воспитывали его с детства.

Несмело, но с просветленным лицом вошла мать в кабинет. Сын сидел в кресле и смаковал ликер, Валентин Викентьевич стоял перед окном к ним спиной, словно очень заинтересованный чем-то на улице. Но она знала: ничего особенного там нет, в сильном волнении муж нередко так делает.

— Садись, мама. Выпей ликеру. Превосходный шартрез.

У тебя большие запасы, папа?

Богунович-старший не ответил.

Сергей игриво подмигнул ему в спину.

— Ты сегодня, мама, хорошо выглядишь. Ты помолодела.

— Спасибо, сын, за комплимент, — и вдруг виновато призналась: — Я слушала под дверью.

Отец передернул плечами. Леля сделала страшное лицо:

— Какой ужас, мама! Не признавайся никому.

Она со смехом упала в кресло, в котором сидел до того отец.

— Раз ты так хвалишь это зеленое зелье, то налей и мне. Напьюсь и пойду набью морду твоему лучшему другу. Какой циник и… дурак… Посватался…

Отец неожиданно для всех тихо засмеялся. Мария Михайловна даже испугалась: над чем это он смеется? Нет же повода.

Валентин Викентьевич повернулся к жене, детям, весело сказал:

— Да, не быть мне товарищем министра. Они меня сватали заместителем секретаря юстиции. Но о чем я подумал сейчас? Может, действительно, сын, ты спас меня от позора?

— Не может, а наверняка, — сказала Леля, глотнула ликер и закашлялась: — Фу, гадость, я в госпитале спирт пила — и ничего.

— Я давно тебе говорила, будь подальше от этой своры. Они уже грызутся между собой за власть. — Мария Михайловна была в курсе событий.

— Но что меня беспокоит… — сказал Богунович-

старший, понизив голос и приблизившись к ним. — Не выдаст тебя, сын, этот тип?

Женщины настороженно притихли. Сергей подумал, пригубив рюмку, но не выпивая. Ответил спокойно, чему и сам удивился:

— Наверняка выдаст. Мать ужаснулась:

— Боже мой, Сережа! Как можно так… уверенно и спокойно? Он был твоим другом…

— К немцам он, возможно, и не пойдет. Но своим… правительству своему… военной раде… расскажет несомненно. А там найдутся…

— Там найдутся, — упавшим голосом согласился Валентин Викентьевич.

— И если, не дай бог, где-то близко отирается барон Зейфель, второй раз меня никто не спасет. Сам Бульба…

— Сын мой! — побелела и в единый миг постарела Мария Михайловна. — Как ты можешь о таком говорить спокойно?

— А что делать, мама? Биться в истерике? Рыдать? Я же не барышня — солдат.

— Черт его принес, — сказала Леля.

— Лелечка, не пришел бы он, пришел бы кто-нибудь другой. И мне все равно надо выбирать, куда пойти и что делать. Помнишь Богдановича? Нельзя человеку с моим характером пролежать на диване.

— Я давно увидела, как ты мучаешься. Душа моя чувствовала, что я снова потеряю тебя.

— Подожди, мать. Хоронить его рано. Давай спокойно подумаем — что делать?

Мать смотрела на сына, на мужа с надеждой, мольбой:

придумайте же что-нибудь!

Сергей поднялся, подошел к столу, развернул тот же томик Бунина.

— Я здесь, пока лежал, прочитал: «А когда же, дитятко, ко двору тебя ждать? Уж давай мы, как следует, попрощаемся, мать!»

— Сын, это жестоко. По отношению к матери, — сказал отец.

— Прости, мама. Это жестоко. Но у меня нет иного выхода. Я должен исчезнуть.

— Куда? Как? — Мария Михайловна сцепила руки так, что хрустнули суставы пальцев.

— Есть три пути. Пойти в подполье здесь, в Минске. Но я не обучен воевать из подполья. Вернуться назад в отряд? Заманчиво. Однако боюсь, что в сложный ансамбль Рудковского и Бульбы мне нелегко будет вписаться. Да и больно мне возвращаться в те места. Мир, подписанный Лениным, конечно же, нужно будет защищать. Я хочу защищать этот мир. Мне кажется: я нужен там… — показал вдоль Захарьевской улицы на восток, помолчал, подумал, сказал, стыдясь своей нескромности: — Ленину нужен…

Мать, отец и сестра смотрели на него широко раскрытыми глазами — с боязнью за него и с восхищением его убежденностью — знанием своего места в водовороте событий.

ЭПИЛОГ

Фойе первого этажа с пустыми гардеробами, узковатые лестницы, просторный зал буфета и фойе на втором этаже бывшего Дворянского собрания заполнялись людьми. Впервые этот дворец, этот торжественный зал увидели таких людей разве что месяцев пять назад.

Об этом подумал Сергей Богунович, проходя по мрачноватому фойе вдоль зала. Он вспомнил публику, которую видел здесь перед войной, когда, будучи студентом, нередко ехал из Петербурга не в Минск, а сюда, в Москву, к тетке — сестре матери, и считал обязательным послушать спектакли в опере Мамонтова и посетить концерты зарубежных певцов в Колонном зале. Получалось как-то так, что в Питере он посещал оперы, концерты реже, чем в Москве; там он был занят учебой, а сюда приезжал в гости, на каникулы. У него тогда кружилась голова от дамских театральных нарядов, от французских духов, генеральских и офицерских погон, аксельбантов, эполет.

Теперь он иронически усмехался над тем своим юношеским восхищением мишурой доживавшего последние годы класса.

Насколько ближе ему вот эти люди в тужурках, простых пальто, шинелях, крестьянских кожухах, в сапогах, смазанных березовым дегтем, — этот запах был особенно приятен, как запах природы — соснового бора, березовой рощи.

Некоторые были в валенках, хотя на улице середина марта и совсем по-весеннему светит солнце. Правда, ночью еще ударил хороший морозец, но днем утоптанный снег московских улиц может истечь водой: грязный снег особенно быстро тает.

Сергей с практичностью фронтовика, немного с юмором, но и с сожалением подумал, как неуютно будут чувствовать себя эти селянские делегаты, когда весна во всю свою силу захватит их в Москве.

Особняк — чувствовалось — пытались натопить, но все равно было холодно — настыл за зиму, когда берегли каждый фунт угля, полено дров.

Вешалки пустовали, хотя несколько гардеробщиков в театральных ливреях заняли свои посты. Странно, люди эти, такие же труженики, — стояли ведь на низшей ступени социальной лестницы, — показались

Богуновичу по виду своему, услужливо-настороженному, призраками прошлого. Как они не гармонируют с шинелями и кожухами, с этим каким-то особенным — раскованным, веселым — гулом голосов, совсем непохожим на тот, давнишний, театральный гул, в котором преобладал звон шпор и хрустальных бокалов в буфетах. Те, бывшие, говорили, словно опасаясь, шепотом, только иногда какая-нибудь кокетка-хохотушка заливалась смехом от офицерского анекдота, но тут же глушила свой смех, ибо смотреть на нее начинали с осуждением: какая невоспитанность!

Эти же люди и говорят в полный голос, и смеются громко, жизнерадостно. Больше всего Богуновича поразил их смех. Собрались на такой съезд! Не говоря уж о том, что некоторые, очень может быть, не завтракали сегодня.

Но в этой жизнестойкости — понимал он — сила людей, взявших власть, людей, которым предстоит сказать свое слово о важнейшем государственном акте.

Богунович не сомневался, что скажут они свое слово так, как сказал бы и он, если бы у него спросили. Но временами появлялась тревога. За неполную неделю, пока он в Москве, Сергей узнал, какой жестокой была борьба между Лениным и «левыми» за подписание мирного договора. Только вчера перед ними, курсантами, выступил Крыленко и рассказывал, как эта борьба вспыхнула с новой силой на Седьмом съезде большевистской партии, проходившем неделю назад в Петрограде.

Богунович думал о том, что теперь судьба его, можно сказать, определена.

Но настроение у него было достаточно сложным: удовлетворение, тревога, душевная приподнятость, глубокая тоска… Именно здесь, когда он заглянул в удивительно торжественный зал с белыми колоннами, с низко подвешенными между ними хрустальными люстрами, он с новой силой пережил боль от смерти жены.

Одетый так же, как большинство красноармейцев, в шинель, только новую, не успевшую еще обмяться, и в новые сапоги, слишком хорошие и крепкие по сравнению с теми, которые поступали на фронт, в фуражке с красной звездой, Богунович ходил в толпе, и никто, конечно, не догадывался о его совсем иной миссии, чем у остальных делегатов. Нащупывая в кармане шинели ручку нагана, он вглядывался в лица людей, запоминал их. Взволнованный необычностью всего, что видел вокруг, он не переставал думать о самом близком: как перевернулась его жизнь за какие-то девять дней!

В тот же вечер, после бурного разговора с Кручевским, отец, согласившись с его решением, убедив мать и поссорившись с Лелей, заявившей, что поедет с братом, договорился с железнодорожниками, и он, бывший командир полка, одетый в железнодорожную форму, поднялся кондуктором с фонарем в руках на площадку последнего вагона. Перед отходом товарного состава на Оршу рядом с ним примостился немецкий солдат. Это сначала обеспокоило Богуновича — такое соседство не было предусмотрено. Но ночь была ветреная, вьюжная, за последним вагоном кружился снежный смерч, их продувало до костей, засыпало снегом. Богуновичу железнодорожники не пожалели длинного, до пят, тулупа, обулся он в отцовские охотничьи валенки. А о немце начальство не особенно позаботилось: сапоги и меховая душегрейка под шинелью. Часовой окоченел в первый же час так, что отважился сорвать стоп-кран, погрозил Богуновичу пальцем — гляди, мол, отвечаешь за все! — и побежал к паровозу. Осталась одна задача: не приехать в Оршу, где может быть строгая проверка (железнодорожники сказали, что «линия мира» — демаркационная, на военном языке, — разделила Оршу пополам), и не сойти слишком далеко от Орши. Ему повезло: под утро долго стояли на какой-то станции; когда явились местные железнодорожники, он узнал, что до Орши всего пятнадцать верст. Как раз то, что нужно — ни близко, ни далеко. Он тут же завернул за пакгауз, оттуда, пока еще стояли сумерки, направился к ближайшему лесу, темневшему за версту. Бояться

было нечего, вряд ли немцы станут искать кондуктора.

Обменяв в тот же день в деревне кожух на более легкую одежду — крестьянскую свитку, он без особенных приключений за двое суток добрался до Смоленска.

В поисках пристанища в городе, забитом разрозненными воинскими частями и беженцами, Богунович, к счастью своему, встретил командира батальона Петроградского полка — Степана Горчакова. Горчаков повел его к Черноземову. Командир полка необычайно обрадовался появлению своего коллеги-соседа. Обнял его как сына. Обогрел. Рассказал про свой полк. Богунович пережил нелегкие минуты, узнав, что Черноземов хотя и с немалыми потерями, но организованно, со всей артиллерией и обозом, вывел полк, нанося немцам контрудары на протяжении всего отступления, пока в конце концов не подписали мир. Больно было: какой-то кузнец сумел спасти полк от разгрома, людей от смерти, а он… В чем же дело? Не дорос до командования полком? Нет. Нет. Рядом был Пастушенко. Они вместе думали… И, однако, все равно болело сердце. Думал, что не нашел он того решения, которое, возможно, спасло бы Миру, солдат, оставшихся в братской могиле, да и тех, кого погнали в немецкий плен, в рабство.

Черноземов представил его Мясникову, дав наилучшую рекомендацию. На другой же день его послали в Москву на только что созданные курсы комсостава Красной Армии.

И вот неделю он учится и… учит. Учится понимать законы революции, политику Советской власти. Учит курсантов-рабочих военному делу, умению владеть оружием. Тактику читает генерал Самойло. Он рассказал им, как велись переговоры в Бресте. В тот же вечер, оставшись дневальным, Богунович снял в красном уголке портрет Троцкого, висевший рядом с портретом Ленина. Комиссар курсов Сизов, старый большевик, бывший каторжанин, и курсанты сделали вид, что не заметили исчезновения одного портрета. А вчера будущим командирам дали первую боевую

задачу: охранять Четвертый съезд Советов.

Богунович верил в судьбу, поэтому был глубоко взволнован, что ему выпало охранять съезд, который ратифицирует мирный договор. Еще вчера, получив это задание, он взволновался при мысли, что, охраняя съезд от провокаций контрреволюции, он будет охранять Ленина. Был немного разочарован, получив утром такое прозаическое поручение — ходить среди делегатов, наблюдать и действовать только в случае провокации.

Снова он думал о Мире. А еще соображал, как бы найти возможность послать весточку в Минск, отцу, матери, Леле, что он жив, учится на командира той армии, с которой в скором времени — верил в это! — придет во главе батальона или полка освобождать их. Никогда он не хвастал, не в его это натуре, но выпадет возможность написать, и он, наверное, хотя бы намеком сообщит родным, что охранял Ленина.

Богунович заглянул в буфет. У пустых стоек было так же многолюдно, как когда-то в антрактах. Но тогда ели и пили, а теперь спорили или говорили о весне, о севе. Эти, по выговору слышно, с Дона, где сев, возможно, уже и начался.

В дальнем углу какой-то интеллигент доказывал крестьянам, что мирный договор — кабала, что контрибуция разорит крестьянство. Бородатые дядьки, один из них был в лаптях, слушали молча, почтительно.

Богунович подумал: агитирует, гад, против мира! Что делать в таком случае ему? А если это и есть контрреволюционер, пролезший сюда в целях провокации? Но им было сказано: в политические дискуссии не вступать. Для него военная дисциплина — закон. Однако не выдержал — зло спросил:

— А вы, господин, воевали?

Интеллигент возмутился:

— Я вам не господин! Я член ЦК левых эсеров…

— Оно и видно, — уже добродушно, без злости заметил Сергей и засмеялся. За ним засмеялись почтительные крестьяне. Эсер бросился в сторону, застонав:

— Боже мой! Боже мой! Эти люди не понимают, на что идут.

Довольный собой и крестьянами, Богунович с благодарностью вспомнил другого эсера — Назара Бульбу. Где он? Прижился ли у партизан? Наверное, прижился, это его стихия.

Снова прошел по фойе в сторону сцены, где дежурили двое чекистов, с ними его познакомили. И тут его внимание привлекла группа людей. Их было четверо, они стояли у двери, которая вела на сцену. Собственно говоря, его бдительность возбудил офицер в форме капитана французской армии. «А этот как попал сюда?»

Никто не говорил, что на съезде могут быть иностранцы. Рядом с капитаном стоял рослый человек в полинявшей шубе, тоже по виду и одежде нерусский.

Спиной к Богуновичу стоял невысокий коренастый человек в кепке, в осеннем пальто с плюшевым воротником.

Богунович слышал, как он сказал по-французски, грассируя больше, чем того требовал язык:

— Нет. Я не боюсь. Я не скрываю: на партийном съезде была более серьезная оппозиция, однако две трети делегатов съезда проголосовали за мир. Сейчас я поднимусь на трибуну — и мирный договор будет ратифицирован. Можете, господа, писать депеши господам Вильсону и Клемансо. Для них это будет горькая пилюля.

Человек в шубе засмеялся и что-то сказал по-английски, человек в пальто тоже ответил ему по-английски.

Богунович, услышав разговор, не мог не подойти ближе. Кто так уверенно говорит?

В этот момент человек в пальто ступил в сторону, повернулся, и Богунович не сразу поверил своим глазам: Ленин! Неужели Ленин? Да он же! Он! Такой же, как на портретах... Лоб, бородка... Да и слова... Никто иной так уверенно сказать не мог! По-французски... Сергей был и счастлив, и растерян. Произошло то, о чем он мечтал в бессонную ночь: он рядом с Лениным! Ленин ходит так просто по фойе? Беседует с какими-то иностранцами? Что же в такой ситуации делать ему? Нужно же охранять съезд, Ленина. Как охранять? Как мало им дали инструкций!

А Ленин между тем снова сказал по-французски:

— Только интеллигенты, оторванные от народа, как наши «левые», могут не видеть, что рабочие, крестьяне, солдаты... бывшие солдаты — их на съезде большинство — все за мир. Один из наших «левых» сказал: «Ленин отдает пространство, чтобы выиграть время». Это единственная умная мысль из всего, что было ими сказано. Да, мы отступаем, чтобы выиграть время, ибо мы не сомневаемся: время работает на нас.

Ленин повернулся, как бы ища кого-то глазами, и вдруг обратился к Богуновичу:

— Вот вы, товарищ...

— Я? — растерялся Сергей и оглянулся: может, кто-то стоит у него за спиной?

— Вы, вы. Вы воевали? — спросил Ленин.

Сергей ответил по-французски: пусть слышит офицер союзной армии!

— С осени четырнадцатого и до...

— Вы — офицер? — Ленин спросил по-русски без удивления, спокойно; удивились иностранцы, это было видно по выражению их лиц.

— Командовал ротой. После революции меня выбрали командиром полка. Мой полк разгромлен восемнадцатого февраля…

— Значит, вы — за мир? — по-французски спросил Ленин.

— Слишком много, товарищ Ленин, я похоронил дорогих мне людей, чтобы быть за войну. Мне казалось, я утопаю в крови… Мы, фронтовики, захлебывались…

Ленин склонил голову, помолчал, как в минуту скорби, молчанием своим выказывая сочувствие.

Сергей подумал о Мире, и спазм боли сжал сердце, горло. Испугался, что, если Ленин спросит о тех, кого он похоронил, он не сможет ответить. Слезы — не позор. И, однако, не к лицу ему, боевому офицеру, перед… — нет, не перед Лениным, Ленин поймет! — перед иностранцами выявлять свою слабость.

Но Ленин словно почувствовал его состояние, может, прочитал в глазах, всматриваясь внимательно, ласково. Сказал иностранцам:

— Вот, господин Робинс, господин Садуль, вам ответ от имени интеллигенции… офицеров, которыми нас, большевиков, пугают… передовых офицеров… народных, — и повернулся к Богуновичу, протянул руку, сказал по-русски: — Спасибо вам, товарищ, за поддержку в моем споре с оппонентами. Очень важно иметь ваш голос за мир.

Капитан Садуль пригласил Богуновича сесть с ними в ложу.

— Поможете нам с переводом. С нашим знанием русского языка нам невозможно будет понять все нюансы политической дискуссии.

Сергей на мгновение растерялся: имеет ли он право принять такое приглашение? Потом решил, что из ложи он будет хорошо видеть весь партер, наблюдать за делегатами, тем более что как раз под этой ложей

сидят противники Ленина — эсеры, меньшевики.

Зал взорвался овацией на предложение Свердлова выбрать Ленина почетным председателем съезда. Девять десятых людей поднялись в едином порыве, приветствуя вождя. Не поднялись только те, что сидели прямо под их ложей, кучка противников Ленина. А капиталист Робинс и социалист Садуль тоже встали и громко аплодировали.

Богунович в душе поблагодарил иностранцев: даже если они сделали это из вежливости, все равно хорошо. И он почувствовал презрение к тем русским, что не поднялись вместе со всем залом.

Доклад Ленина захватил с первых минут. Богунович слушал затаив дыхание. Садуль, увидев, с какой жадностью он слушает, не обращался за переводом. Правда, в какое-то мгновение у Сергея появилось опасение: а не слишком ли углубленно? Поймут ли рабочие, неграмотные крестьяне?

Всмотрелся в лица делегатов. Да нет, ни на одном нет тени непонимания, все слушают так же, как он, даже те, кто не приветствовал Ленина.

Глубоко, по-философски глубоко, но в то же время на удивление просто, искренне, до безжалостности честно и открыто:

— Мне кажется, что главным источником разногласий среди советских партий по данному вопросу является именно то, что некоторые слишком поддаются чувству законного и справедливого негодования по поводу поражения Советской Республики, слишком поддаются иногда отчаянью и, вместо того, чтобы учесть исторические условия развития революции, как они сложились перед теперешним миром и как они рисуются нам после мира, вместо этого пытаются ответить относительно тактики революции на основе непосредственного чувства.

Так мог сказать только человек, который знает и

понимает своих оппонентов.

Периоды революции, их удивительно точные характеристики: триумфальное шествие… поражение… Ничего подобного по истории революции, в которой сам участвовал, Богунович до этого не читал, не слышал; в рассказах Миры все было упрощено, поэтому у него нередко появлялся протест, и они спорили.

Да, Ленин великолепно понимает психологию своих противников. Однако он не просто констатирует их взгляды. Он открыл по ним «артиллерийский огонь».

— И опыт истории говорит нам, что всегда, во всех революциях, — в течение такого периода, когда революция переживала крутой перелом и переход от быстрых побед к периоду тяжелых поражений, — наступал период псевдореволюционной фразы, всегда приносившей величайший вред развитию революции.

Собственные мысли и обязанность следить за залом мешали Богуновичу слушать с тем вниманием, с каким нельзя не слушать выступление, так ярко освещающее все, до чего он добирался в черную ночь, в утренних сумерках, а если и днем, то в бездорожье — как шел до Смоленска: по заснеженному полю, по лесу.

— …Надо уметь понять, что лишь принимая во внимание изменение соотношений классовых связей одного государства с другим, можно установить заведомо, что мы не в состоянии принять бой сейчас; мы должны считаться с этим, сказать себе: какой бы ни была передышка, как бы ни был непрочен, как бы ни был короток, тяжек и унизителен мир, он лучше, чем война, ибо он дает возможность вздохнуть народным массам…

— Как это правильно! — вырвалось у Богуновича.

Садуль перевел его возглас на французский — для Робинса. Тот загадочно улыбнулся и спросил:

— Вы большевик?

— Нет, я беспартийный.

— Много в русской армии таких офицеров?

— Той армии, которую вы имеете в виду, уже нет… Но я хочу быть офицером новой армии.

Садуль удивленно протянул:

— О!

Но и ему, как и Богуновичу, не хотелось пропустить ничего из ленинского доклада.

Они снова вслушивались в голос, заполнявший огромный зал, — в голос, как будто внешне спокойный, но непомерно богатый оттенками, внутренним пафосом и естественным, ненаигранным драматизмом.

— Да, наш народ должен вынести тягчайшую ношу, которую он взвалил на себя, но народ, сумевший создать Советскую власть, не может погибнуть.

И такая была сила, такая уверенность в этом «не может погибнуть», что Богунович вдруг почувствовал какую-то совсем новую гордость за свое право называть себя сыном этого народа, — такую гордость и радость, от которой отхлынула волна его грусти.

Он был целиком в плену слов Человека, стоявшего на трибуне. И думал о том, что дорога в Москву привела его к Ленину. Теперь он пойдет только по этой дороге. И это навсегда. На всю жизнь.

Падрыхтаванае на падставе: Иван Шамякин, Петроград — Брест. Роман, — Москва, Художественная литература, 1962.

Роман о первых месяцах существования Советского государства, о борьбе В. И. Ленина и его соратников против троцкистов и «левых» за заключение Брестского мирного договора.